

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ИЛЬЯ АЛЫЙ
НАУМ БАСОВСКИЙ
ЮРИЙ БЕЛИКОВ
АСЯ ВЕКСЛЕР
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
ЮЛИЯ ДРАБКИНА
ВЛАДИМИР ДРУК
ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ
ЛЕОНИД КАЦИС
ГАЛИНА КЛИМОВА
АЛЕКСАНДР КОЛМОГОРОВ
ВИКТОР КОРКИЯ
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ
БОРИС КРУТИЕР
РАХЕЛЬ ЛИХТ
ДАВИД МАРКИШ
МАРИНА МЕЛАМЕД
НАТАЛЬЯ НЕЙМАРК
САРА ПОГРЕБ
ВЕНИАМИН ПРЕЙГЕРЗОН
ЦВИ ПРЕЙГЕРЗОН
АЛЕКС ТАРН
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
СУСАННА ЧЕРНОБРОВА
И ДРУГИЕ

№36



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלמי ספרותי

2010'36

2010

36

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
и Юрия Исааковича КАННЕРА
за поддержку «Иерусалимского Журнала».

От всей души поздравляем постоянных авторов «ИЖ»

Ицхокаса Мераса

с присуждением ему Национальной премии республики Литва
за отражение в литературе трагического опыта человека XX века,

Зинаиду Палванову

с присуждением ей Союзом русскоязычных писателей Израиля
премии им. Д. Самойлова за книгу стихов «Энергия согласия»,

Марину Борог

с присуждением
премии «М

а также
с присуждением
премии «¹
(совмест

מספר 9282
תאריך: 20.04.2004
ספריה

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

36 2010

Иерусалимский журнал, № 36, 2010

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ а также antho.net/jr/index.html

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Алекс Тарн, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва;** Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Редактура и корректура: **Бина Смехова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютинна,**

Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Буриштейн, Виктор Гопман,

Григорий Гордин, Вит Гуткин, Светлана Мойбер, Илан Рисс

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Российский Еврейский Конгресс



Фонд
«Русский мир»



Министерство культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2010. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

Игорь Туберман

*ИЗ ВОСЬМОГО ДНЕВНИКА**

* * *

Блажен, кому дано проснуться
до петушиных кукареков
и блядству мира ужаснуться
первее спящих человеков.

* * *

Но если крикнет Русь святая:
«Вернись, тебя я награжу!»,
то я, душою сладко тая, —
«Избави Господи» скажу.

* * *

Подобные слепым несчастным нищим,
вокруг себя руками жалко водим;
не в том беда, что смысла в жизни ищем,
а в том беда, что изредка находим.

* * *

Вчера во время шумной вечеринки
подумал я, бутылку наклоня,
что скучными получатся поминки
по мне из-за отсутствия меня.

* * *

Я подлинный, наверно, литератор,
поскольку никакая не богема,
а рьяный и тупой эксплуататор
загадочно доставшегося гена.

* Новая книга писателя «Восьмой иерусалимский дневник» запланирована к выходу в свет в издательстве «Библиотека Иерусалимского Журнала» в 2011 году.

* * *

Чтобы смешной не быть фигурой
среди людской душевной стужи,
мы все припудрены культурой,
но кто – внутри, а кто – снаружи.

* * *

Легко творит во мне вино
не ощущение, а знание,
что я не с веком заодно,
а с кем-то из ушедших ранее.

* * *

Недаром я пою хвалу Творцу:
такие сочинил он организмы,
что в душу могут нужному лицу
втереться через дырочку для клизмы.

* * *

Сократ, поднимающий чашу с цикутой,
легко завершающей трудные годы,
весьма наслаждался, наверно, минутой
последней, уже совершенной свободы.

* * *

На жизненной дороге этой длинной,
уже возле последнего вокзала,
душа опять становится невинной,
поскольку напрочь память отказала.

* * *

Во мне ещё мерцает Божья искра
и крепок ум, как мышцы у гимнаста,
я всё соображаю очень быстро,
но только, к сожалению, – не часто.

* * *

На пути к окончательной истине
мы не плачем, не стонем, не ноем,
наши зубы мы некогда чистили,
а теперь мы под краном их моем.

* * *

Заслышав тон высокопарный,
я отвожу глаза с тоской,
и молча корчится базарный,
вульгарный дух мой шутовской.

* * *

Хоть выжил ты, пройдя сквозь ад –
ещё года хрипишь угарно,
а как оглянешься назад –
зло было дьявольски бездарно.

* * *

Всё, что имел, я сжёг дотла,
и дар шута исчез.
«Его печаль ещё светла?» –
спросил у беса бес.

* * *

Шуршанье шин во тьме слышней,
и жизнь во тьме видней бывая,
я ночью думаю о ней,
за всё простить себя желая.

* * *

В кумирах и святынях разуверясь,
отчаявшись постигнуть и понять,
любую погубительную ересь
готовы мы восторженно принять.

* * *

На самом деле древние пророки,
от Бога получая вдохновение,
не только осуждали в нас пороки,
но также и несли благословение.

* * *

Нас как бы днём работа ни ломала,
но к ночи отпущение дано;
в реальности свободы очень мало,
а в выпивке её полным-полно.

* * *

Хотя болит изношенное тело,
мне всё-таки неслыханно везёт:
моя душа настолько очерствела,
что совесть её больше не грызёт.

* * *

Я это давно от кого-то услышал,
и сам убедился не раз:
несчастья на нас насылаются свыше,
а счастье — зависит от нас.

* * *

Я много в этой жизни понял важного,
угрюмы и черны мои зрачки,
но свято уважаю право каждого
на розовые мутные очки.

* * *

Текут последние года,
и мне становится видней:
смерть не торопится туда,
где насмеваются над ней.

* * *

В мире этом, зыбком и суровом,
тихо мы бормочем, как умеем:
лучше быть богатым и здоровым,
чем больным, чем нищим, чем евреем.

* * *

Создал Бог наше мягкое место
с неким свойством, весьма интересным
это место легко, как известно,
прирастает к начальственным креслам.

* * *

Евреи непрерывно что-то роют,
их замыслы и помыслы неясны,
и всякому заржавленному строю
они весьма поэтому опасны.

* * *

Глухое, тёмное, подвальное
во мне есть чувство чисто личное:
мне одиночество буквальное
куда милее, чем публичное.

* * *

По части разных персей и ланит
немало было всяческого форта.
Теперь мой организм себя хранит
и ленью защищает от азарта.

* * *

Очнись, поэт, и Богу внемли,
учись у предков, иудей,
и, обходя моря и земли,
морочь доверчивых людей.

* * *

Мне забавно жить на свете —
даже сидя дома:
в голове то свищет ветер,
то шуршит солома.

* * *

Напрасно языком я не треплю,
мою горячность время не остудит,
ещё я с кем угодно пересплю,
пускай только никто меня не будит.

* * *

Бог даровал мне ощущение
намного разума сильней:
во мне от жизни восхищение
острей, чем ужас перед ней.

* * *

Уже я в Израиле полностью, весь,
душой и умом совокупно,
исполнена смысла судьба моя здесь,
но это словам недоступно.

Марина Меланец

ЭТЮДЫ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ

Ну, давайте, вперёд, пропустите, с чемоданом-сумкой-рюкзаком, расступитесь, вам говорю я, сэр Томас, он же Антон Григорьевич, он же Томашевский, собиратель нот.

Да, нет, не состоял, не привлекался, в разводе, курю, полторы в день, абонемент в бассейн, человек на два паспорта, просроченная виза на ту сторону жизни.

Паспорт российский, паспорт израильский, горчица американская, пельмени из телятины, брюки чёрные, рубаха без галстука, белая, седина в бороду, бес в ребро. Белый верх, чёрный низ, лаковые туфли – флейтист. В сандалиях не прочь бы, но тогда – саксофон, прочь сандалии, когда на пути концерт для флейты с оркестром.

Я иду по трапу, поднимаюсь в самолёт, который никуда не летит. Ни пассажиров, ни пилотов, пусто на борту, сажусь, пристёгиваюсь, подходит стюардесса. На ней строгий английский костюм и белый передник. Предлагает мне чай с малиной, кофе с молоком, гоголь-моголь, орешки. Выбираю гоголь-моголь и предлагаю ей сесть.

Это моя мама. Она садится рядом, вздыхает, смотрит в окно. Молча наливает себе кофе.

Самолёт начинает гудеть, разбегается, за окном темнеет. Мелькают картинки, контурные карты за шестой класс, облетевшие деревья, осенние листья, газетные полосы, медаль за плавание в первом классе, свадебные фотографии: мы с Олей обмениваемся кольцами, а потом она отворачивается, новый этюд, ступеньки, терции, соло...

Мама, вздыхая, гладит меня по голове, беру её за руку, целую. Нас всего двое, в этом самолёте и на всём белом свете, чай с малиной и гоголь-моголь.

Тихо в мире, самолёт уходит в небо, ясное небо над океаном белых облаков.

Просыпаюсь – яркое солнце, новый день, вся жизнь впереди, два дня до июня... Будильник говорит, что уже семь утра.

Израиль, пальмы на пути к автобусу. Днём я существую в Тель-Авиве, а по ночам улетаю неизвестно куда... Мама остаётся во сне, а я возвращаюсь сюда, на улицу Алленби, на продавленный диван под книжными полками и маминым портретом.

Вздыхаю медленно, на счёт восемь, раскрывая руки ладонями вверх, физзарядка перед началом учебных действий. В музыке тоже иногда считают до восьми. А в жизни – до двух, потом до трёх-четырёх, и всегда потом до одного.

С руками, поднятыми ладонями вверх и в стороны, раздвигая мир и отбрасывая ненужное, – руки мастерового, то есть –

флейтиста, дыхание для музыки, остальное подстраивается – к рукам и дыханию.

Завтрак с видом на понедельник для мужчины сорока с лишним лет, без особых примет, невралгия в правом боку. С утра в супер – туда, где вещи с надеждою на комфорт, где люди растаскивают веточки по своим муравейникам и строят свой уют, по дороге выпуская слова, взаимные вулканы и тайфуны. Короче, любят друг друга как умеют...

Я так и не научился вот этому – насильственной заботе, когда идёшь вдвоём, опираясь на соседнее плечо, а оно тебя направляет вправо-влево. Занимается твоим средним и высшим образованием. Уточняет формулировки. И ты перестаёшь отвечать за слова... Зато вас двое, и вам не страшно.

Из супера – домой, потом бегом в автобус, на работу, стоя, сидя, в полунаклоне, вдыхая-выдыхая «Винстон» или «Мальборо», глядя на пролетающие мимо пальмы, насвистывая Чайковского. Щелкунчик, танец феи Драже.

Иногда музыка становится жизнью, а игра переходит в профессию. Пассажи в поисках точности, покорение вершин в подчинении правилам. Правила необходимы, а ноты неожиданны, особенно, если к ним не привыкать...

Когда улетаёт последний звук – приходит пауза, и в тебе начинает собираться новая мелодия – из уличного шума, ночной тишины, телефонных звонков... В конце концов, звучит всё, успевай оглядываться. Если слушать внимательно, музыка не заканчивается никогда.

Кажется, я по-прежнему лечу в давешнем самолёте неизвестно куда. Хорошо бы, к примеру, в Бельгию, я там никогда не был... В крайнем случае, в Данию, в Копенгагене у меня, кажется, сын. То есть, кажется, что он по-прежнему в Швеции. От первого брака.

Возможно, у меня там внук (внучка), ни в чём нельзя быть уверенным наверняка. Надо бы позвонить, спросить, годы идут, люди детей рожают. Дети вырастают и забывают номера телефонов... впрочем, и родители тоже... нет, это никуда не годится. Угрызения совести в утренние часы совершенно выбивают из графика. Чувство вины, возвращайся к вечеру, я буду весь твой, с видом на телевизор.

Проверить газ, ключи на гвоздике. И вплавь, вперёд и вдаль по этой реке жизни.

В детстве я играл на флейте, у окна, раскрытого прямо в питерскую осень-весну – когда моросит дождь, трудно разобраться, какое у нас время года на дворе, но где – известно точно: вон под той звездой, три сантиметра по небу от соседней крыши.

Около маминого дома всегда стоял такой запах, словно ванили насыпали прямо на асфальт. А на втором этаже звучал рояль, холодные россыпи настойчивых клавиш, гаммы, этюды, от которых некуда деться – стойкие прямые лестницы звуков, шаг в сторону – ошибка, только вверх и вниз и только по правилам. В нашем доме жили одни музыканты.

На третьем этаже преподавали фортепиано частным образом, мимо по лестнице ходили чинные дети с нотными папками, некоторые даже в белых гольфах. Они никогда не съезжали по перилам, а я съезжаю до сих пор, хотя в последнее время только во сне.

Когда-то мы с мамой жили сегодняшним днём, не оглядываясь, пока наши дни не разбежались в параллельные реальности. Это такая игра, трое сбоку – ваших нет, все ваши куда-то уехали, море кому Красное, кому Балтийское, засела игла в сердце моём, Адмиралтейская, наверное.

Питер прикарманивает своих так, что не оторвать...

Тель-авивские сны наполнены питерским дождем и тяжёлым небом с редкими просветами, а дорога развернулась сквозь пустынные шоссе, через море пальм – куда-то восточнее Парижа. И значительно южнее Норвегии.

Мама осталась караулить наш старый дом. В последний момент она отказалась ехать со мной в неведомую даль, – нежно погладила паспорт по дерматину, потом меня по руке и, молча вздохнув, порвала заявление на глазах у изумлённой чиновницы ОВИРа. Я своё заявление забирать не стал.

Оркестр слышно, но не видно, переменная облачность, мелкий дождь, уезжаю. Толпа исчезает, чемодан превращается в тыкву, то есть в трость и шляпу, на руках белые перчатки, иду по чистому полю прямо к выходу из страны, дома, города, конец игры, re-start.

Куда хочешь, можно улететь – во сне. На седьмое небо, в конце концов, в Канаду, там, говорят, не так жарко. Когда насвистываешь, мотив пробивает тучи-облака, январь-февраль и даже август.

На седьмом небе утро. И запах ванили...

До пенсии мама преподавала теорию музыки, хотя мир отказывался подчиняться законам классической гармонии, да и композиция постоянно выстраивалась во что-то несусветное...

Истинная гармония, на мамин взгляд, – была разве что во времена Моцарта, затем она исчезла, по созвучию с новыми социальными радостями.

Теперь человек мечется в поисках гармонии, ударяясь об острые углы мироздания, считала мама и строила домашний мир исключительно под музыку Шуберта, в крайнем случае – Вивальди.

Откровенно говоря, я считаю иначе. Гармония существует только в природе. Человек рождается в хаосе и всю жизнь учится звучать с окружающими более-менее гармонично. Музыка – единственный способ создавать гармоничные сочетания сразу, без того чтобы тратить на это всю предыдущую жизнь...

Когда этот мир слышит хорошую музыку – он хоть как-то держится на плаву.

Что можно предложить мелодии для уютного звучания? Флейту, свечу и клавесин – так считала мама и отдала меня на флейту, чтобы хоть как-то поддерживать тонус в окружении рока и

электрогитар. Флейта – солирующий инструмент, нужно какое-то сопровождение, я имею в виду – музыкальное. Как минимум – рояль.

На рояле играла Оля, стараясь удержать меня в рамках мелодии и ритма сегодняшней жизни. Но оказалось, что аккомпаниаторы нужны всем, а солистов – пруд пруди. Каждый из нас – солист, если вдуматься... И Оля ушла аккомпанировать другому солисту, скрипачу с большим концертным стажем.

Что такое дуэт, не знает никто, хотя все догадываются. Умение петь на два голоса, жить на две мелодии, которые превращаются в одну. Считается, что таким дуэтом призвана быть семья, хотя практика показывает – дуэт с собакой (кошкой) создать проще. А с родителями жить в ансамбле – почти невозможно... И я решил изменить тональность и общее звучание окружающего пространства. Знаете, как на Ближнем Востоке дует ветер? Особенно зимой.

Мама по-прежнему жила в Питере, но нас всё равно всегда было двое на этом самолёте и в этом мире и на всех фотографиях, хотя говорить мы предпочитали на расстоянии.

Тут очень помогает эхо, оно усиливает звук...

– Алло, мам, я еду к тебе – ну вот-вот, через месяц-два, знаешь, мне приснился самолётик, а мы с тобой на нём летели неизвестно куда, не грусти, конец связи...

Через неделю:

– У меня всё в порядке, только в квартире взорвался бойлер, обвалилась стенка... все деньги ушли на ремонт. Я приеду, но позже, правда-правда, я скоро, ну, так вот оно... ты пока подбирай ноты...

– Приезжай, я сделаю тебе гоголь-моголь... Когда соберёшься ехать, на забудь привезти ананасы...

Через месяц:

– Мам, пока приезд откладывается, не обижайся, придётся отдавать долги за ремонт, еду... уже ноябрь, наверное, скоро весна...

– Конечно, весна наступит, со мной или без меня, – отвечает мама. – Ничего, мой мальчик, не спеши, а я пока начну варить тебе вишнёвый компот... в крайнем случае – варенье.

А ведь если мама приедет – придётся рассказывать правду. Что всё не так, как ей бы хотелось, и гармония нынче совсем другая...

Что (но, да, поэтому, – нужное подчеркнуть) теперь я охраняю универмаг по кличке «супер», благодаря этому, на квартиру, спасибо, хватает, но нет, не солист и не флейтист ни в какой филармонии.

Заглядывать в чужие сумки, автоматически застёгивать постороннюю жизнь – да что там может быть интересного... Что я открыватель дверей, наблюдатель воздушных потоков, флюгер на крыше ближневосточного супера. Дует ветер, иногда даже перемен, а я вращаюсь вокруг своей оси, показывая людям дверь, то есть вход.

Дождь, дождь на пути, как он шумит в окно, лишь бы на улицу не выходить... но я выйду и даже полечу в Питер – когда-нибудь, обязательно.

Небо становится к вечеру тёмно-синим, ветер уносит пожухлую листву и воспоминания о несбывшемся, и отчаянно хочется праздника, с мандариновой звездой, хрустящим снегом под ногами... Сколько можно без праздника? Организм уже не выдерживает...

Быть может, праздник – это тихая снежная дорога, синий сумрак и пара фонарей... Если есть куда идти, тут и пальмы сгодятся на пути к морю, и освещённые дома на Алленби...

Но во сне пароход уплывает без меня. Я бегу за ним, а вода отступает, и все пароходы уплывают без меня, и все поезда куда-то уходят без оглядки... в конце концов, можно велосипедом, а ещё лучше – на роликах. Да вон – самолётик, бумажный, из газеты, на деревянных планках, звёзды на крыльях...

В какой-то день недели, ничем не примечательный, суббота уже прошла, а следующая никак не наступала – дождь, лица сливаются, люди идут сквозь тебя... я уже уходил из супера, как вдруг послышались крики справа – там, где овощи-фрукты. Я – охранник, моё дело – дверь, но что уж тут... побежал, еле протиснулся сквозь набежавшую толпу... на полу лежал старичок – вроде дыша, но неловко так лежал, рука подвернулась...

Моментально приехала «Скорая», ему сделали укол и хотели переложить на носилки, но тут старичок открыл глаза и стал кого-то искать в толпе, мучительно оглядываясь, запрокидывая голову назад...

Потом у него в кармане зазвонил мобильный, Чайковский, «Маленькая серенада», а он всё не мог достать-ответить, я помог ему подняться. Телефон всё звонил, наконец, он сумел нажать нужную кнопку и взлетел женский голос, высокий, как флейта-пикколо:

– Ты где?! Я так волнуюсь, я тебя потеряла, почему ты вечно куда-то исчезаешь, куда ты подевался?!

– Я тут, в магазине. Ты забыла купить апельсины, пришлось вернуться...

Трубка помолчала, потом изумлённо выдохнула:

– Я не понимаю, зачем тебе апельсины...

– Ты же просила апельсины...

– Когда? Я говорила про ананасы...

Старик сунул под язык таблетку, передохнул, улыбнулся мне на прощанье и пошёл себе, не торопясь, в сторону выхода, высматривая консервированные ананасы.

Как старики медленно ходят. Врач из «Скорой» собирал гораздо быстрее свои причиндалы, но задержался заодно и тоже взял пару банок.

– Видеть не могу ананасы, – сказал он мне, когда выходил из магазина, – но моя мама их обожает...

Через неделю я летел к маме в Питер, моментально нашлись и банковская ссуда, и билет, и самолёт. Тяжёлые облака лежали плотным одеялом, но я прилетел, здравствуй, город, хотя улыбаться тут не принято, но всё-таки, хоть мимолётно, оглянись.

Питерский двор – точнее, проезд, сначала арка, увитая жестяной надписью «Булочная», – пропустил меня без слов. А у подъезда по-прежнему пахло ванилью.

Мама открыла дверь и тихо ахнула, потом обняла меня за голову, как маленького.

– Идём, я как раз компотику сварила, правда, он ещё горячий...

На телевизоре – кружевная салфетка, на стенке – японская плетёнка с птицами, на полу – ковёр, ничего не меняется, и вид за окном тот же.

У мамы тут своя вселенная, – скамейка во дворе, арка, тополь... Целое богатство. Наследство даже, от бабушки-дедушки, как наша квартира и этот двор с запахом ванили... а завещать больше никому.

– Как ты сумел приехать, Тоша? Ты, случайно, флейту не продал?

– Я скорее совесть продам... Просто я трубочист, мам. Дворник. Я моряк дальнего плавания, я играю на пароходе, гаммы, сольфеджио... То есть, я охраняю вход и беру за это деньги...

– Всё-таки, лучше, чем если бы ты играл на похоронах...

– У нас не играют на похоронах, – это разве что в Америке, под саксофон.

– Так то в Америке. Вообще, мне нравится эта концепция.

– Чтобы под саксофон?

– Нет, чтобы молча. Так что перееду я, пожалуй, к тебе, для достойного финала.

– Не надо бы для финала... пускай лучше для жизни.

– А для жизни ты будешь меня охранять и прямо на улице играть на флейте. Старушки, знаешь, любят на свежем воздухе посидеть, на скамейке с видом на любимого сына...

На столе лежат мамины документы, билет... Я поставил рядом банку ананасов для убедительности, для достоверности, что это не во сне, кажется, мы всё-таки полетим вдвоём, а там – будь что будет, какая разница. Я засыпаю без единой печали за пазухой. Вчера уже нет, а завтра ещё не наступило...

В окно заглядывает тополь, – и светится мир – зелёный, щебечущий, я еду на велосипеде по лесу, раннее утро, лучи просвечивают сквозь деревья.

Звучит мелодия флейты, почти свирель, дудочка – а мне четырнадцать, а я лечу на велосипеде сквозь утренний лес домой, на дачу, туда, где мама готовит свой компот из вишен и лесных ягод, где белая кружевная скатёрка и японская плетёнка на стене – две птицы и веточка рябины, и ещё ничего не было, всё только случится...

Илья Альий

ВТЛАВЪ

ГАММЫ

– Господь – мой дом. Я буду жить,
Подскажет голос изнутри,
И я покорно повторю:
«Таскать мой ад. Живую быть».

Зачем мне голос. Замолчи,
Ах нет, постой не умолкай!
(Внутри у флейт – простой покой,
Внутри у слов – сквозняк и щель.)

Но мне не петь, я весь из дыр.
Скрипи, сустав ненужных слов –
Я есть. Лети мой дом стремглав.
Я жить. Мой мир.

* * *

прогнозы не зыбки нимало
ещё далеко до зимы
но ночью полотна тумана
уже накрывают холмы
а в зеркале смотрит мудила
и думает мне в унисон
скорее бы жизнь проходила
как будто работа и сон

* * *

запоёт под рукой рычаг передач
четвертая пятая газ
на звонком шоссе ни бед ни удач
как в тот первый последний раз

где апрель набьёт лепестками рот
май лицо обожжёт
а что до первых и наоборот
будут ещё
вперёд

* * *

С. Ч.

среди мордобоя ли объятий
я мыслю часто об одном
кто выменял коня событий
на безмятежного слона

тот разве кто ведь в этом слове
и меч и щит уже война
а он считаться мной не вправе
и быть хоть кем-нибудь иным

* * *

вода или сеть не все ли равно нам рыба
внутри переливаются те же прозрачные нити
дорога идет одновременно влево и вправо
на короле каждую секунду новое платье

ты смотришь с улыбкой как я пытаюсь взглянуть
глаза-то одни разъезжаются ох лукавят
ради какого смеха мы сделали из воды сеть
не самая ли древняя игра
поймай того кто ловит

* * *

мир обретает полноту слезы
лукавы луковицы чуть солоновато
и воздух честен и провинциален
да
мы здесь намеренно ты прав
ты тоже прав:
пока мы живы мы неповторимы

* * *

что засверкай сверчок уходящий день
листья сохнут и память делает вдох
прежде чем дым рассеется ну-ка глянь
что же там было-то опиши в двух словах

город плывёт начертишь хуй на стене
через неделю надпись уже за углом
почерк другой вот так вот и наши дни
прямо помойка сбоку заглянешь храм

Сара Погреб *ВСЕ СТО ХОЛМОВ*

* * *

Я в двух мирах, пока жива.
Сейчас и здесь – и в раннем детстве.
Оттуда все моё наследство:
Деревья... Лужи... Синева.
Мала. И нет еще подруг.
Мой папа умер. Мама где-то.
Благословляю речку Буг,
Текла в еврейской части света.
Дед Мойша так меня жалел,
И гладил, и в глаза смотрел,
А талес был телесно-бел,
И вижу, как горели свечи.
Без пеня не было ни дня.
Ивриту он учил меня!
А я забыла. Хвастать нечем...
Но смутно шелестит в крови:
Жизнь на тебя имела виды.
О эти пригоршни любви,
Чтоб меньше ранили обиды.

Слиянность тучи и дождя...
Ребячий смех – и тишь ночная...
Не знаю – и никто не знает –
Как все оставить, уходя.

* * *

В парк уже не дойду,
но достался мне маленький сад.
Бог его уронил,
славно выбрав из прочих наград.
Тут деревья, кусты.
Роза бледная радует взгляд.
Слышишь? «Чик! Чик-чирик!» –
клёво птичкам клевать виноград!

*Редакция сердечно поздравляет любимого поэта,
нашего постоянного автора Сару Погреб со славным юбилеем.
Многая лета! Многая стихи!*

А в горшке, в уголке,
 синий-синий разросся цветок.
Это твой, посмотри:
 как тельняшка. Как синее море.
Ты не так далеко,
 я во сне придвигаюсь чуток.
Две родные души
 на бездонном просторе.

* * *

Стеклянная дверь – нараспашку.
И смотрятся ветки в стекляшку.
Соцветья, как неба просветы,
Того же небесного цвета.

А там – ни домов, ни домишек.
Простора прекрасный излишек!
И сколько достанет мне взгляда –
Холмы, точно мамонтов стадо.

Ох, после былой круговерти,
Для жизни земля...
 И для смерти.

* * *

«Шарав!»¹ – как будто про снаряд.
Как горизонт уныл и тесен.
Все сто холмов, за рядом ряд,
Хамсин вплотную занавесил.

И с годовщиной он совпал!
Мои глаза на мокром месте.
Умру, но мы не будем вместе –
Поверить в это Бог не дал.

¹ Шарав (*иврит*) – очень сильная жара.

Алекс Тларн

В ПОИСКАХ УПРАЧЕННОГО ТЕРОЯ

ЧАСТЬ I. ИНТЕЛЛИГЕНТ

1.

Когда наступает хамсин, мы сразу вспоминаем, что окружены пустынями, как врагами. Врагов подобает встречать лицом к лицу, но кто же способен постоянно крутить головой на триста шестьдесят градусов? Поэтому к самой безопасной из пустынь – морской – мы поворачиваемся спиной, и лишь одному Богу известно, насколько обоснован этот вынужденный, но не до конца осознанный риск.

Жизнь в окружении заставляет нас летать, что неудобно и требует огромных энергетических затрат: поди-ка помаша всю дорогу крыльями! Куда удобнее неторопливо ползти в нужном направлении. Увы, удобно не получается – кругом пустыни.

Многие определяют хамсин как жаркий песчаный ветер, но это не так – хотя именно сильнейшим ветром он обычно начинается и заканчивается. Хамсин – это скорее погода, если понимать под этим словом общее состояние души и природы. Хамсин – это очень, очень плохая погода. Да, да, я в курсе: есть легкомысленные люди, которые утверждают, что такого зверя – плохой погоды – в природе не существует вообще. Ха! Они просто не знают, что такое хамсин. Под плохой погодой эти мечтатели разумеют обыкновенный дождик. Подумать только: дождик! В хамсин любой из нас, особенно деревья, без колебаний отдал бы несколько своих листьев за каплю дождя, а уж за полнокровный ливень – так и вовсе целую ветку.

Когда в ту злополучную, не по сезону знойную осеннюю пору я из дому вышел, был сильный хамсин. Голова начала болеть еще до того, как я проснулся – магнитная буря, гиперактивное солнце, параноя луны. Глаза резало, и вдобавок казалось, что горный склон по ту сторону вадии ощутимо подрагивает и плывет в колеблющейся пыльной взвеси, напрочь вытеснившей с поверхности земли весь пригодный для дыхания воздух. В такие расчудесные дни дикторы новостей рекомендуют экипажам подводных лодок лечь на грунт где поглубже и не подавать сигналов, а остальным – задрать окна и по возможности оставаться дома.

К несчастью, мне негодились обе рекомендации – по причине отсутствия и подводной лодки, и вышеупомянутой возможности. Старик Коган не принимал отговорок – он был как тот матч, который состоится в любую погоду. Я ходил к нему как на работу... а впрочем, почему «как»? Общение с Коганом вполне тянуло на полноценную работу – если не на каторгу, нудную и выматывающую.

Когда его сын Карп – надо же назвать ребенка таким именем! – пришел ко мне с соответствующим предложением, я не удивился. Сейчас многие пожилые люди ударились писать мемуары. Почему? Наверное, ощущение уходящей эпохи нынче витает в воздухе

особенно густо – наподобие пыли при сильном хамсине. Каждый справляется с этим как может. Кто-то налегает на аспирин, кто-то, чихая в платок, жалуется на аллергию, а кто-то садится за письменный стол и пытается припомнить забытые имена женщин в шляпках и мужчин в гимнастерках – имена, которые не были в свое время записаны на обороте твердых фотографий, потому что казалось – кой черт записывать, когда и так ясно, кто это.

Все эти воспоминания если не идентичны, то схожи – как те самые шляпки и гимнастерки, отличаясь разве что фамилиями следователей, да и то не всегда. Мне трудно объяснить это простым сходством судеб: разве каждый не переживает по-своему одни и те же события? Но нет – этих людей слишком долго приучали к общности чувства и коллективности впечатлений, чтобы сейчас они могли выразить что-либо индивидуальное, личное, непохожее. Дети эпохи дыхания в такт и жизни в строю – могут ли они теперь писать не под копирку?

– Он уже лет пять как с этим носит, – сказал Карп, немного смущаясь. – Даже на компьютере научился работать. Теперь вот хочет оформить и как-нибудь издать. Вы не могли бы посмотреть взглядом профессионала – отредактировать, и вообще? Конечно, не бесплатно.

Он назвал сумму почасовой оплаты – существенно большую, чем обычно оцениваются услуги подобного рода. Но когда я по-соседски просветил его на этот счет, Карп замахал руками.

– Поверьте, Борис, я знаю, о чем говорю. Мой отец – сложный человек.

«Настолько?» – мысленно усмехнулся я.

Старик Коган был отнюдь не первым моим клиентом-мемуаристом – даже если считать одних только личных знакомых – а со сколькими еще мне приходилось иметь дело по долгу переводных или рецензентских халтур... Все они казались вышедшими из-под одного штампа – неистребимо совкового в своем антисовковом пафосе. Узнаваемо поначалу, стандартно впоследствии, скучно под конец.

Карп всучил мне аванс, или, по его выражению, «оплаченный минимум»; я честно отказывался, но он настоял. Помню, взяв деньги, я испытал незнакомое и неприятное чувство, будто кого-то одурачил. Подумать только, я – кого-то, а не наоборот, как это бывает обычно! Должен заметить, что второй, более привычный вариант всегда нравился мне существенно больше: и людям радость, и тебе спокойствие – никто не заявится с претензиями.

Но я зря торопился с выводами: как раз претензий мне предстояло услышать на сумму, многократно превышающую полученный аванс. Уже первая наша встреча не предвещала ничего хорошего. Помню свою растерянность, когда в ответ на приветствие Коган лишь сурово покачал плешивой головой. Я даже успел предположить, что сын забыл предупредить старика о моем приходе, но в следующий же момент мой клиент гневно прищурился и произнес тоном общественного обвинителя:

– Вы опоздали на семь с половиной минут!

Нечего и говорить, что я онемел от удивления. В наших краях исчисляемые в минутах опоздания не считаются за таковые в принципе. Да и какая ему разница, старому хрычу, – часом раньше, часом позже? Можно подумать, что есть куда торопиться в восемьдесят семь лет...

– Семь с половиной... – дружелюбно улыбнулся я, стараясь смягчить шуткой неприятную атмосферу конфликта. – Еще минутка – и было бы кино.

Старик Коган с нескрываемым отвращением дернул уголком толстобухого рта.

– Идите за мной! – скомандовал он и не оглядываясь двинулся в глубь дома. – Если вы еще раз опоздаете, я буду вынужден вычестить штраф из вашей зарплаты.

Я подавил в себе желание уйти сразу: вмиг проглоченный аванс привязывал меня к старику Когану крепче якорной цепи. Счет в банке краснел безнадежным минусом, подвисали долги по ссудам, алименты... – мне просто не с чего было вернуть Карпу его чертовы деньги. Натянув на лицо выражение бодрой готовности к любым неожиданностям, я последовал за стариком в его комнату на втором этаже. По лестнице он поднимался очень легко и вообще казался существенно моложе своего преклонного возраста. Я приуныл: судя по всему, нечего было и надеяться на то, что мой мучитель быстро устанет и отпустит меня восвояси.

Мы сели: он – в кресло, я – на безразлично указанный мне стул, и Коган немедленно сказал:

– Так. Начнем.

Этот паук не желал терять ни секунды рабочего времени.

– Вот здесь файл, – он взял со стола дискетку и протянул ее мне. – Семьсот пятьдесят страниц, шрифт десять. Вы прочтете их к нашей завтрашней встрече...

– Нет.

– Что? – изумленно переспросил он.

– Нет, – повторил я с максимальной твердостью. – Так быстро я не читаю. Учитывая попутную правку, не более пятнадцати страниц в час. Семьдесят пять в день.

Широкое, изрытое оспой лицо старика недоверчиво сморщилось.

– Вы работаете всего пять часов в сутки? На большее не способны?

– При всем уважении, Эмиль Иосифович, у меня есть и другие дела.

Мой ответ покорибл его своей наглостью; глаза метнули молнии, толстый шрам на лысой макушке побагровел, старик набрал в грудь воздуха, но вовремя опомнился: в данном случае законная правота была на моей стороне.

– Так, – сказал он, с неожиданной легкостью стравливая давление гнева. – Так. Значит, вам потребуется всего десять дней.

Ага. Как же, разбежался. Я злорадно ухмыльнулся прямо в его не по-стариковски толстую морду.

– Четырнадцать. По субботам здесь не работают... – я выдержал издевательскую паузу и для верности добавил чудный совковый канцеляризм. – Согласно трудового законодательства.

Если бы Коган выгнал меня прямо сейчас, за мной оставалось бы полное моральное право не возвращать Карпу аванс – по крайней мере, не возвращать сразу. Ведь разрыв контракта произошел бы не по моей вине. Увы, этим надеждам не суждено было осуществиться: передо мной сидел слишком опытный противник. Он подрагивал толстыми щеками, багровел шрамом, но не произнес ни одного лишнего

слова, просто сидел и смотрел в пол, терпеливо перерабатывая свою черную злобу в полезные виды энергии. Мы не провели вместе и семи с половиной минут, но уже ненавидели друг друга на полную катушку.

Наконец Коган кивнул.

– Так. Значит, две недели. Но это еще не все... – он поднял палец, предупреждая мой напрашивающийся вопрос. – Ваша работа не ограничится обычным редактированием. Я должен убедиться, что вы делаете это достаточно сознательно.

– Сознательно? Это как?

Старик пожевал губами.

– Насколько я успел узнать, вас привезли сюда в раннем детстве.

– В четыре года. Но какое отношение...

– Прямое, – перебил Коган. – Самое прямое, молодой человек. Как вы можете редактировать текст, не имея ни малейшего понятия о русской... – он помолчал, не столько подыскивая нужное слово, сколько сомневаясь, стоит ли произносить его в данное время и в данных обстоятельствах, и все-таки решился, – ...русской трагедии! Я бы меньше беспокоился, если бы вы прожили там достаточно долго... – ну, хотя бы закончили школу...

– Выходит, я вам не подхожу? – вкрадчиво произнес я, лелея в душе новую надежду. – Тогда...

– Да нет же! – с досадой воскликнул старик. – Воспитанные там советские жиденыши подходят мне еще меньше. Зомбированы до мозга костей. Замкнулись в подлости, в отрицании фактов. Я выбрал вас, молодой человек, именно ввиду известной девственности вашего сознания. Если кто-то здесь и может понять мои мысли, то только такие нетронутые индивиды, как вы.

Что ж, у меня нашелся ответ и на это. Я честно признался старику, что мое сознание трудно считать девственным в том специфическом смысле, какой он, видимо, вкладывал в это слово. Как-никак докторская степень по славянской истории и филологии, десятки крупных и сотни мелких переводов с русского... да и с жанром мемуаров я имел... гм... счастье познакомиться довольно основательно – особенно в последнее время.

Коган недоверчиво прищурился.

– Ну-ну. Тогда скажите мне, будьте любезны. Моего отца звали Иосиф Коган. Вам это имя ничего не напоминает?

Я призадумался. Иосиф Коган... нет, на память приходил лишь его однофамилец Павел, ифлийский поэт-фронтовик: «бригантина распускает паруса», «я с детства рисовал овал»... Рисовал?.. Нет, не любил – рисовал угол...

– Багрицкий... – заметив мое затруднение, подсказал старик. – Поэма «Дума про Опанаса»... Нет? Глухо? Вот видите!

Он удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Я пристыженно молчал. Фамилия «Багрицкий» вызывала отдаленные воспоминания о давнем университетском курсе. Что-то послереволюционное, двадцатые годы...

Тем временем настроение старика явно пошло на поправку: мое невежество он воспринял с воодушевлением, как дорогой подарок.

– И поделом! – вскричал он и хлопнул в ладоши. – Так им и надо, прохвостам! Вот еще, помнить всякую шваль поганую! Всех этих

подлых коганов-шмоганов, багрицких, бабелей и примкнувших к ним гайдаров...

И тут меня осенило: вот же на кого он похож! Не так давно я переводил по заказу издательства повесть Аркадия Гайдара «Судьба барabanщика» – о том, как маленький мальчик выводит на чистую воду коварных шпионов. Повесть писалась во второй половине тридцатых годов, в атмосфере процессов над «шпионами» и «врагами народа» и в этом контексте звучала по меньшей мере гаденько. Одного из шпионов звали «старик Яков», и он скрывал свою истинную личину под маской старого революционера: он-де звенел кандалами в ссылках, шел на эшафот и взывал над головой чапаевскую саблю.

Очевидно, что у тогдашних читателей это вызывало неизбежные ассоциации с теми, кого увозили тогда по ночам из соседних домов и подъездов черные ежовские воронки. Мерзкая повестушка. Так вот, описание внешности старика Якова до смешного подходило и к старику Когану: такой же лысый и высокий, такая же рябая физиономия и даже шрам на макушке... Я не смог сдержать улыбки, ошибочно принятой стариком Коганом за знак согласия и поддержки.

– Вот видите! – снова вскричал он почти торжествующе. – Это я и имел в виду! Вы со мной согласны! А какой-нибудь жидо-советикус в жизни бы не согласился! Нет-нет, молчите. Я объясню вам, как мы будем работать.

Он объяснил, и мы тут же приступили. Двумя неделями там и не пахло. Старик Коган настаивал на устном обсуждении каждой главы; ему непременно хотелось убедиться в том, что я правильно понимаю описываемые события. Напрасно я убеждал его, что отношение редактора к тексту никак не сказывается на качестве редактирования; старик оставался непреклонен. Кстати, к моему удивлению, мемуары почти не требовали стилистической правки: писал Коган грамотно и добротнo. Если бы не длительные и абсолютно бесполезные свидания с автором, я мог бы закончить работу впятеро быстрее.

Но нет – мы продвигались мучительно медленно. Каждый день, свободный от семинаров в университете и других неотложных дел, ровно в назначенный час и ни минутой позже я стучался в дверь дома на соседней улице, произносил свое вежливое приветствие и, дождавшись едва заметного кивка, следовал за высокой сутулой спиной на второй этаж, чтобы усесться на неудобный стул напротив удобного стариковского кресла.

– Так. Начнем, – говорил старик Коган, глядя мимо меня в окно на неизменную синь самарийского неба. – Мы остановились на...

Он говорил, а я слушал, изредка перебивая его речь вопросами и далеко не всегда достаиваясь ответа. Зачем ему нужен был этот странный ритуал? Устный рассказ старика не содержал ничего нового – все это так или иначе присутствовало и в тексте, причем в гораздо более четком и продуманном виде. Возможно, здесь имело место естественное желание автора увидеть хоть чью-то реакцию? Старик Коган славился своим несносным характером, не общался в поселке практически ни с кем, и поэтому вряд ли его мемуары удостоились какого-либо читательского внимания – помимо моего, оплаченного.

– Мне нужно, чтоб вы поняли... – часто повторял он.

Понял – что? Эта фраза произносилась вдруг, ни с того ни с сего, ни к селу ни к городу, и я, как ни старался, никак не мог взять в толк,

что именно подразумевается в данный момент, – пока не перестал воспринимать эту фигуру речи в качестве значимой смысловой единицы. Бывают же такие выражения-паразиты – типа «так сказать», или «едрена вошь», или «колечки-бараночки» – вот и стариковское «мне нужно, чтоб вы поняли» относилось, видимо, к их числу.

Конечно, поэму Багрицкого про молодого махновца Опанаса и расстрелянного им комиссара товарища Когана я прочитал в первый же вечер. Старик уверял, что комиссаровым прототипом был его отец Иосиф, вот только в реальности расстрельные пули летели в прямо противоположном направлении. Вообще на своем революционном пути папаша Коган поубивал таких опанасов видимо-невидимо, причем, по словам сына, происходило это большей частью не в чистом гуляй-поле и не лицом к лицу, а в подвале и в затылок.

– Откуда вы это знаете? – спросил я, удивленный не столько даже самой историей, сколько крайне недоброжелательным тоном, которым старик говорил о своем родителе.

В ответ он злобно фыркнул и покачал головой.

– Знаю, есть свидетельства, потом расскажу... Да и без свидетельств ясно: все они одним дерьмом мазаны, еврейская чекистская сволочь. Он ведь не только в украинских продотрядах кантовался, но и в карательных частях особого назначения. А потом его в ЧК перевели, в Питер. Вот вам и подвалы. Мне нужно, чтоб вы поняли. Слушайте и не задавайте глупых вопросов.

Я слушал. Питер так Питер. ЧК так ЧК. Не впервой. Все мои мемуаристы рано или поздно приходили к подобному антуражу. Питер, Москва, ЧК, ОГПУ, НКВД... Но даже в этих хорошо знакомых декорациях старик Коган резко отличался от остальных запредельным градусом своей ненависти. Ненависть бурлила в нем постоянно – ровно и сильно, как в скороварке, регулярно прорываясь сквозь предохранительный клапан то бессмысленной злобной руганью, то неоправданной агрессией по отношению ко мне, то ударом кулака по столу, а то и просто скрежетом зубным. Сначала это немного пугало, но потом я стал находить в общении со стариком известный смак: хотя бы не скучно. Да и деньги, деньги... – эта халтурка и впрямь служила мне нешуточным подспорьем.

Итак, мой странный клиент появился на свет в Питере, в 1922-ом году. Не знаю, правда это или вымысел, но его мать происходила из легендарного рода еврейских банкиров Розенштоков, ссужавших деньгами Габсбургов, Романовых и Гогенцоллернов. Старик Коган говорил о ней со смешанным чувством: с одной стороны, он считал ее жертвой тех же жерновов, что смолоты в прах и его собственную жизнь; с другой – не мог простить матери, что она выбрала в супруги отвратительного и вульгарного чекиста.

Действительно, это казалось немислимым сочетанием: Иосиф Мордухович Коган, двадцатидвухлетний девятый сын нищего житемирского бакалейщика – и старшая его на двенадцать лет Софья Абелевна Маковская, урожденная Розеншток, звезда знаменитого петербургского балета, светская львица, подруга великих князей, блестящих свитских генералов и августейших сестер милосердия!

Мог ли я поверить, что сию рядом с внуком императорского банкира и сыном литературного героя – причем сию здесь, где за окном крохотной комнатухи пестрят серо-зеленые бока спящих

динозавров – округлых самарийских холмов, а неподвижный ястреб, прижавшись к небу спиной, высматривает добычу в хрусткой прошлогодней траве? – Нет, не мог. Рассказ старика Когана выглядел слишком невероятным, чтобы быть правдой, хотя и опирался большей частью на вполне реальные факты и упоминал известных, действительно существовавших когда-то людей.

Не знаю... не знаю... должен, однако, заметить, что поначалу, сколько я ни лазал по интернету, мне не удавалось поймать своего рассказчика на лжи. Если его история и была подтасовкой, то весьма и весьма искусной... А впрочем, какая разница? Меня ведь нанимали для редактирования, а не для проверки исторической аутентичности.

– Мне нужно, чтоб вы поняли, – говорил старик Коган, сложив пальцы правой руки щепотью вверх – совершенно местным, но и совершенно неуместным в данном случае жестом. К слову сказать, весь он был такой: ни здесь – ни там, ни свой – ни чужой. – Почему моя мать не уехала? Тогда ведь можно было. В двадцать втором году из Питера еще отпускали пассажирские пароходы. Уплыли многие: Шаляпин, профессора, писатели, художники. Почему она осталась с этим жидовским отбросом? Да и потом, позднее...

– Это ваш отец, Эмиль Иосифович, – робко напомнил я.

Он не расслышал, слишком занятый своей закипающей ненавистью, в очередной раз грозившей сорвать предохранительный клапан и, затопив комнату, лавой выплеснуться из дома на улицу, и дальше – в русло сухого вади. И если за вади я не боялся – слава Богу, эти ущелья видали и не такие потоки – то опасаться за собственную целостность имел, наверное, все основания.

– Почему? – повторил старик и ответил себе сам, похвальным усилием воли ограничив количество прорвавшейся злобы и слюны. – Потому что она была жидовской шлюхой – вот почему! Ей нравилось, когда он жарил ее на кровати, заваленной расстрельными ордерами! Красная балерина! Так ее называли тогда в городе: красная балерина! Она любила танцевать со смертью, вот почему! Ей нравился запах смерти, моей подлой аидише мамэ... За что он полюбил ее, благородный человек, за что?

– Простите, Эмиль Иосифович, – вставил я, окончательно потеряв нить. – Вы сказали – благородный человек? Но ведь только что, минуту назад, вы называли Иосифа Когана...

– Да не Коган, не Коган... – почти простонал он. – Слушайте, и вы все поймете. Мне нужно, чтоб вы поняли...

Я и раньше читал о странном явлении новой богемы – одной из многих странностей первых лет большевицкой чумы в Питере и Москве. Богема эта включала, конечно, новых красных хозяев в черных кожанках и всякую попутную подлую шваль – мусор, всегда вихрящийся на краях потока силы и власти... – но не только, не только. Что делали рядом с убийцами и разрушителями другие – тонкие, умные, талантливые, принципиально чуждые им по духу?

Можно легко объяснить пристрастие нового временщика к императорскому балету: еще вчера он пресмыкался в грязи, сегодня вышел в князи, а князьям по штату положено волочиться за танцовщицами. Но как понять несомненную тягу в обратном направлении? Чем мог привлечь столичную прима-балерину ничтожный сын житомирского бакалейщика, мешающий русский с идишем, или неграмотный

матрос с «яблочко-песней», навязшей в гнилых зубах? Неужели одним лишь экспроприированным автомобилем или награбленными цацками? Как оказались за одним столом с кожанками и бушлатами сюртуки и капоры людей, составлявших цвет тогдашней интеллектуальной элиты, искусства, науки? Неужели всего лишь из-за жратвы? – Трудно поверить.

У старика Когана имелось другое объяснение: всем им просто нравилось происходящее. Они находили вкус в гибели старого мира; зловонное дыхание зверя-людоеда казалось им свежим ветром перемен, его страшный рык – музыкой революции. Те, кого действительно воротило, уехали, бежали, скрылись – за границей, в провинции, в смерти. Те же, которые остались в чекистских салонах, были не жертвами, а соучастниками, и за это старик Коган порицал их не меньше, чем самих чекистов. В частности, это общее правило выражалось еще и в том, что он ненавидел не только отца, но и мать. Меня это поражало чисто психологически: как может нормальный человек испытывать подобные чувства по отношению к собственным родителям? Да и нормален ли он, этот старик? Впрочем, платили мне за редактирование, а не за врачебный диагноз, так что...

Несколько дней ушло у нас только на описание родословной старика Когана и первых лет его детства. Он помнил этот период смутно – или просто бессознательно не желал припоминать хорошее – потому, наверное, что тогдашнее детское счастье трудно сочеталось со всеобъемлющей злобой, позднее полностью подчинившей его себе. Даже светлые детали своего повествования старик неизменно сопровождал самыми ядовитыми комментариями.

Например, говоря о большом количестве замечательных игрушек, он тут же указывал на их несомненно грабительское происхождение: папашины подручные отняли у беззащитных «лишенцев». Упоминал огромную светлую квартиру на Адмиралтейском проспекте – и сразу пускался в длительные рассуждения о том, кого именно Коган-отец загубил, чтобы вселиться в этот дом, расположенный в двух шагах от его «конторы». А рассказ о семейных обедах в столовой с окнами на Александровский сад служил лишь поводом для описания жуткого голода, поразившего тогда город и всю страну.

Понятно, что продвигались мы крайне медленно. Поначалу я очень уставал. Воспоминания старика более всего походили на монотонный многочасовой фильм ужасов; дата за датой, число за числом, фамилия за фамилией он разворачивал перед моими глазами картины массовых убийств, судьбы загубленных семей, истории расстрелянных, зарубленных, втоптаных в кровавый снег. Ничто так не утомляет душу, как подобные разговоры. Неудивительно, что уже к третьей нашей встрече я окончательно перестал воспринимать страшную суть когановских рассказов: оупевшая ради собственного спасения психика благоразумно переориентировалась на чисто лингвистические задачи литературного редактирования.

Тем поразительней выглядел тот неизменный, ни на минуту не снижающий своего высочайшего градуса эмоциональный накал, который демонстрировал сам рассказчик. На глазах его блестели слезы; он снова и снова переживал каждую смерть, каждую несправедливость – так, словно речь шла о его родных и близких, так, словно он сам видел это воочию. Но ведь нет! Он физически – и по малолетству,

и по географической удаленности, и по личному статусу – не мог быть свидетелем подавляющего большинства описываемых им событий. Откуда же тогда взялась эта болезненная вовлеченность? И как может нормальный человек нести в себе подобную тяжесть? Да-да, волей-неволей я раз за разом возвращался к этому вопросу.

Он вертелся у меня в голове и в то злополучное утро большого хамсина, когда я, беспокойно поглядывая на часы, плелся к старику Когану на очередную сессию наших бесед. Накануне мы добрались до декабрьской ночи 1928-го года, когда от подъезда дома на Адмиралтейском проспекте отъехали два черных автомобиля ОГПУ, увозя в никуда бывшего чекиста Иосифа Когана и бывшую красную балерину Сою Маковскую. Литературному герою шили активное членство в троцкистско-зиновьевской банде; его жене – буржуазно-аристократическое происхождение, а также шпионаж и преступные сношения с контрреволюционными кругами – белофиннов и белояпонцев одновременно.

Последнее звучало настолько нелепо, что я не мог не усмехнуться.

– Чему вы смеетесь? – сердито спросил старик. – Вам все хиханьки-хаханьки, а мы остались вдвоем. В шесть лет – круглое сиротство. Очень смешно.

– Извините, – смутился я. – Уж больно дурацкое обвинение предъявили вашей матери. Добро бы еще что-то одно – финны или японцы... но одновременно?! Они что там, в ЧК, географию не учили? Где Финляндия и где – Япония...

Коган сварливо ощерился и подался вперед всем телом.

– Во-первых, молодой человек, вы крайне невнимательны: в то время «контора» называлась уже не ЧК, а ОГПУ. А во-вторых, в предъявленных обвинениях не было ни слова неправды. Мне нужно, чтобы вы поняли. Ни слова!

– Ладно. Вам виднее, – сказал я примирительно и добавил ради перемены темы: – Кстати, вы упомянули, что остались вдвоем. С няней? С родственницей?

– Няня не в счет, – презрительно хмыкнул старик. – Чего-чего, а прислуги у красных господ хватало. Вдвоем – это вдвоем с братом. У меня был брат-близнец, Густав. Ну что вы так на меня уставились? На сегодня закончили. До свидания.

2.

В каморке на втором этаже было жарко и душно. Непостижимым образом хамсинная пыль проникала сквозь плотно закрытые окна и нежным пушистым слоем скапливалась на поверхности стола, на полу и на стариковской лысине. Казалось, что мы сидим в чердачном чулане заброшенной дачи, куда десятки лет не ступала ничья нога – ни человека, ни крысы, ни даже призрака. Я прикинул, не попросить ли включить кондиционер, – и не стал, чтоб не нарываться на весьма вероятный презрительный отказ.

Старик Коган выглядел раздраженным больше обыкновенного; что-то явно тревожило и отвлекало его – возможно, лежавшая на столе голубая пластиковая папка. Не прерывая своего повествования, он то и дело прикасался к ней пальцем, как дети трогают птенца, выпавшего из гнезда на тропинку: жив ли?.. Как и следовало ожидать,

папка не шевелилась, притворяясь мертвой, зато палец оставлял на гладкой голубой поверхности продолговатый след, и я потом с интересом наблюдал, как пыль, спохватившись, трудолюбиво восполняет недостачу.

Сосредоточиться в такую погоду решительно невозможно: кажется, пыль проникает и в мозг; мысли топчутся в пыльном шуме – каждая сама по себе, как подкуренные подростки на дискотеке, и нет ни силы, ни воли, прикрикнув на самого себя, собрать их воедино. Вот уж действительно – магнитная буря: голова не на месте, как стрелка взбесившегося компаса.

Слова старика едва доносились до меня сквозь пелену хамсина. Опостылевший фильм ужасов... – что мне Гекуба? Зачем я это слушаю? Ах, да, долги... – нет, все-таки поразительно! Что поразительно? Черт, никак не вспомнить – что-то когда-то казалось мне поразительным... но что?.. Ах, да – брат Густав. Надо же – три дня рассказывать о своем детстве и трындеть при этом о политической обстановке, о роли Сталина, о палаче Троцком, о голоде в столицах, о бесчинствах в провинции... – о чем угодно! – и ни разу! – ни разу! – не упомянуть брата-близнеца, рядом с которым все эти годы рос, ел, спал, играл, жил!

Зазвонил телефон – впервые за все время наших сидений. Старик Коган снял трубку, сказал: «Да!..», немного послушал, а затем принялся кричать с небольшими интервалами, все больше и больше раздражаясь и повышая голос: «Нет!.. Нет!!.. Нет!!!»

На этом беседа закончилась. Бросив трубку, старик некоторое время сидел, глядя в пол и тяжело дыша. Я молчал, зная по опыту, что таким образом мой клиент стравливает давление злобы. Наконец Коган поднял голову и уткнулся в мой робкий вопросительный взгляд, тут же, впрочем, сбежавший от греха подальше в направлении двери.

– Вот, звонят! – прошипел старик, едва сдерживаясь. – Звонят! Сперва договариваются на десять, чтобы забрать эту чертову папку, потом не приходят и даже о том не предупреждают, а потом, потом...

Задохнувшись от гнева, он повернулся к настенным часам, и те, в ужасе вздрогнув секундной стрелкой, дали немедленный ответ.

– ...а потом звонят в тридцать шесть минут первого! Как вам это нравится?

– Черт те что, – с готовностью подтвердил я. – Безобразие.

Кое-как успокоившись, мы продолжили, чтобы еще через час прерваться снова – на сей раз надолго. Когда в моем кармане задребезжало, старик недовольно нахмурился.

– Борис, мы ведь договаривались...

– Извините, Эмиль Иосифович, – сказал я. – Это не мобильник, это пейджер. Равшац.

– Какой еще рав Шац? – не понял Коган. – Раввин посылает вам сообщения? Вы ведь не религиозный...

– Да нет же, – рассеянно отвечал я, уставившись на крохотный экранчик, где рядом с номером телефона умещалось лишь слово «срочно» с тремя восклицательными знаками. – Равшац – это такая ивритская аббревиатура. Означает «армейский координатор по безопасности». Вагнера знаете – того, что на тойоте разъезжает, с прожекторами? Вот он и есть равшац. Что-то случилось. Мне нужно срочно позвонить.

– Случилось? Но при чем тут вы?

Хороший вопрос. Я отвернулся от старика Когана и включил свой мобильник. В самом деле, при чем тут я...

Есть понятия, которые существуют только в определенной среде и оттого трудно поддаются переводу или даже просто объяснению на другом языке. Равшац – еще куда ни шло, но как назвать ту горстку мужчин, из-за членства в которой я вынужден повсюду таскать с собой этот чертов пейджер? «Дежурный взвод»?.. «чрезвычайная группа»?.. «народное ополчение»?.. «пестрый сброд, составленный из пузатых неповоротливых чудаков с ружьями подмышкой, строящих из себя спецназовцев, но в глубине души сильно сомневающих в том, что смогут кому-то помочь в случае возникновения реальной опасности»?

Формально нашей задачей считается быстрое реагирование на возможные чрезвычайные ситуации внутри поселения и в непосредственной близости от него – например, нападение террористов, похищение и так далее. Мы призваны локализовать, оцепить и держаться до подхода главных военных сил. Когда в поисках точного перевода я думаю о российском аналоге этого понятия, то на ум приходят разве что пограничные казачьи станицы или даже «Слово о полку Игореве». Перед мысленным взором встают суровые бородатые воины, глядящие из-под руки с бревенчатой сторожевой башни: не пылит ли в степи половецкая волчья стая, не надвигается ли черной тучей невыносимое монголо-татарское иго, не ползет ли злой чечен на высокий на берег крутой, куда столь некстати вышла милая Катюша под руку с Ярославной? Не звенит ли набатный колокол? Или это – тревожный пейджер в кармане верной кольчуги?

Чушь, короче говоря. На самом деле мы заняты лишь идиотскими собраниями-ориентировками, ежегодным продырявливанием мишеней на ближнем армейском стрельбище и частыми учебными тревогами. И слава Богу. Все мы когда-то отслужили в боевых частях, некоторые действительно – в спецназе, но с тех пор много пива утекло через наши тугие животы, так что вояки из нас те еще. За все время, что я ношу пейджер, он задребезжал по настоящему делу лишь однажды, когда сбрендил Фарук – знакомый всему поселению помощник садовника Питуси, араб лет тридцати из соседней деревни. Сбрендил натурально – с воплями «аллах-акбар!» и заполошной бегом по улицам с топором и садовым резакон наперевес.

По-видимому, Фарук затеял охоту на возвращавшихся из школы подростков, но те оказались спортивнее и бежали намного быстрее – тем более что помощник садовника давал им хорошую фору, предупреждая о своем приближении громогласным «аллах-акбаром». Наша бравая группа во главе с Вагнером прибыла к месту основных событий, а точнее, к дому собачницы Шломин с некоторым опозданием.

Как и следовало ожидать, многочисленные псы Шломин взбесились от «аллах-акбаров» почище наших пейджеров. Они лаяли во всю мочь и прыгали на забор, что разбудило сына собачницы – солдата роты автоматчиков бригады «Голани», который как нарочно отсыпался дома по случаю отпуска. Ави взял из-под подушки свой верный автомат и вышел посмотреть, что происходит. Как известно, обычно забеги начинаются с выстрела на старте. Забег Фарука

закончился выстрелом на финише и в этом смысле мог претендовать на новое слово в истории легкой атлетики.

Заодно попали в историю и мы. Газеты написали: *«К месту происшествия прибыла группа...»* – черт!.. как же это назвать порусски?.. – *«...а затем и военные. Раненый террорист был эвакуирован в больницу.»* Кстати, первую перевязку своему – теперь уже бывшему – помощнику сделал не кто иной, как сам садовник Питуси – один из активнейших членов нашей команды, некогда служивший в десанте военфельдшером. К тому моменту запас «аллах-акбаров» у Фарука иссяк, и он лишь стонал и ругался, когда грубые руки садовника не проявляли необходимой при обращении с раненым деликатности. Закончив перевязку, Питуси вклеил пациенту негуманную оплеуху, за что тут же получил от Вагнера пять внеочередных дежурств.

На моей памяти это стало первым и пока единственным случаем, когда мы хоть как-то пригодились. Впрочем, одна несомненная польза от команды была: членство в ней освобождало от ежегодных и весьма обременительных резервистских сборов. Лучше уж разгуливать с пейджером вблизи собственного дома, чем в течение месяца месить грязь где-нибудь на Голанах. Да и сосед-Вагнер в качестве командира нас более чем устраивал.

Я набрал номер его телефона. Армейский опыт учит начинать разговор с непосредственным начальником с места в карьер – тогда меньше шансов, что запрягут.

– Алло, Вагнер? Сколько можно? Опять учебная тревога? И все я да я отдуваюсь – нашел, понимаешь, фраера. Возьми на этот раз хоть Беспалого, а? Или Питуси. Они-то точно в поселении. Ну, что ты молчишь?

– Слова вставить не даешь, вот и молчу, – сказал Вагнер. – Ты рядом?

– Нет, – соврал я. – В Тель-Авиве.

В самом деле, сколько можно? Почти все ребята из команды работают внизу, на равнине, вот и получается, что днем под рукой у Вагнера только я со своим свободным расписанием, садовник Питуси и Беспалый Бенда, который вообще всегда дома.

– Врешь. Твоя тачка у дома стоит, я видел.

– А хоть бы и вру! Какого беса ты всю дорогу одних и тех же людей дергаешь? И было бы из-за чего! Учебки, учебки, учебки, мать их...

– Так. Кончай хныкать! – резко сказал Вагнер. – Я заезжаю за тобой через десять минут. Возьми метлу. Это раз. И два – это не учебка. Человек пропал. Искать надо.

– Пропал? Кто пропал?

– Арье Йосеф из Гинот. Знаешь такого?

– Ну...

– Мне его дочь позвонила. Говорит, Арье вышел из дому по дороге в Эйяль в половине десятого. Хотел забрать какие-то бумаги. Вернуться обещал максимум к одиннадцати. В половине первого она забеспокоилась, стала вызванивать. Мобила не отвечает – отключена, у Карпа он так и не появлялся...

– Погоди, погоди, – остановил его я. – У какого Карпа? У Когана?

– Ну да. Есть у нас еще какой-нибудь Карп?

Я растерянно потер лоб.

– Ты будешь смеяться, но я как раз сейчас сижу у его отца...

– Смеяться? Что тут смешного? – оборвал меня Вагнер. – Борис, ты, может, не врубился? Человек пропал. Попробуй только не стоять через восемь минут у своего дома. С метлой! Понял?

Как не понять... Старик Коган презрительно выслушал мои извинения. Весь его вид говорил: «Как же, как же, чего еще можно ожидать от столь безответственного недотепы?» Наскоро распрощавшись, я выбежал на улицу, в раскаленный хамсинный полдень. Теперь видимость была еще хуже, чем утром. Горизонт почти полностью исчез; я не мог различить очертаний противоположного склона вади. Дышалось тяжело – мне казалось, что я физически ощущаю, как проклятая пыль оседает в легких. И дернул же черт этого Арье Йосефа потеряться именно в такую погоду!

Дома я переобулся в армейские ботинки, наполнил льдом флягу и вытащил из-под матраса старую винтовку М-16 времен вьетнамской войны, называемую еще «метлой» из-за своей общей длины и своеобразной формы приклада. Приготовления заняли около четверти часа, но это меня мало беспокоило: вагнеровы восемь минут вполне могли растянуться на впятеро дольше. По той же причине я не стал выходить наружу – нашли дурака! – а сел на пол возле дверей, поставил метлу между колен и терпеливо ждал, пока не услышал пневноу сирену подъехавшей тойоты.

В машине уже сидели Питуси и Беспалый Бенда.

– О! На ковре все те же, во главе с главным клоуном, – сказал я, залезая на заднее сиденье. – Глаза б мои вас не видели...

Бенда приветственно заржал. Этот удивительный тип никогда не грустил – даже на похоронах. Возможно, из-за образа жизни: Беспалый нигде не работал, практически не выезжал из поселения и целыми днями стоял у калитки собственного дома, ловя прохожих на дымок своей сигареты. Вообще-то прохожих у нас мало – все больше проезжие, но Беспалый редко оставался без добычи: то прихватит соседа, выгуливающего собаку, то остановит соседку с коляской, а то и не побрезгует возвращающимся из школы соседским оболтусом. В случае же полного безлюдья на тротуаре ничто не мешало ему выйти на проезжую часть и дружелюбно притормозить любой приглянувшийся автомобиль.

– Как дела? – спрашивал Бенда для начала и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Что ты на это скажешь?

– На что? – обреченно вздыхали пойманные сосед, соседка, оболтус, а также пес на поводке, ребенок в коляске и школьный рюкзак на спине.

И Беспалый, счастливо улыбаясь, принимался рассказывать. Его голова наполнилась сплетнями, как чердак – пауками. Даже маникюрщица Лизетта, с которой водят близкое знакомство все женщины нашего поселения, – и та никогда не знала больше, чем Бенда, о том, кто, когда, с кем и, главное, почему. Отвязаться от Беспалого можно было всего двумя способами: либо подsunуть ему другого слушателя, либо сходу сообщить что-нибудь свеженькое, пусть даже совершенно невероятное. В последнем случае Беспалый Бенда на какое-то время отключался от разговора и замирал, словно усваивая новую информацию, – ни дать ни взять персонаж компьютерной игры, подпитывающий себя новыми жизнями. Тут-то и следовало делать ноги – немедленно, пока охотник не спохватился.

Кто Беспалого любил, так это Вагнер: всегда человек на месте, всегда готов – хоть на учебную тревогу, хоть на стрельбы. Любил настолько, что даже освободил от громоздкой метлы, какую таскали остальные члены команды, за исключением самого равшаца и особо приближенного к нему садовника Питуси – эти красовались с более удобной укороченной винтовкой. Такую же мог получить и Беспалый, но он выбрал пижонский вариант – старый автомат Узи с настолько разболтанным затвором, что его можно было взвести на голливудский манер – одной рукой, резким движением вверх-вниз.

На правой кисти у Бенды не хватало трех пальцев, и он убедил Вагнера, что из-за этого в принципе не может справиться с затвором американской винтовки.

– То ли дело наш старик Узи, – говорил Беспалый и одной левой, лихим шварценегтеровским жестом взводил свой автомат. – Ни на что не променяю.

Я уверен, что именно это эффектное движение, а вовсе не врожденное уродство и было истинной причиной, по которой Беспалый предпочитал тяжелое и ненадежное оружие легкому и удобному. К несчастью, разболтанность затвора имела неприятную оборотную сторону: Узи Беспалого вполне мог самопроизвольно взвестись и в результате случайного падения. Поэтому на стрельбах все старались держаться подальше от Бенды и его железного друга. Для обозначения этой опасности мы даже придумали специальный сигнал – так называемый «код Бенда».

Вот и теперь, бухнувшись на заднее сиденье рядом с Беспалым, я прежде всего стал искать глазами злополучный автомат. Вагнер тронул машину.

– Стоп! – сказал я. – Так я не поеду. У него магазин вставлен.

– Бенда, – лениво проговорил Вагнер. – Вынь магазин. Потом вставишь.

Беспалый снова радостно заржал. Он выглядел абсолютно счастливым – даже теперь, в хамсин, когда все нормальные люди продолжали жить лишь неимоверным усилием воли.

– Старик Узи... Ни на что не променяю... – этот гад даже не подумал вытащить магазин. – Как дела, Борис? Что ты на это скажешь?

Что я мог на это сказать? Старик Яков, старик Коган, а теперь вот – старик Узи... Объяли меня старики до души моей!

– Вагнер! – крикнул я. – Пусть он вынет, или я выйду! Это смертоубийство, Вагнер! Питуси, что ты молчишь? Питуси, мать твою! Код Бенда!

– Все в порядке, Борис, – сказал Питуси, не оборачиваясь. – Код Бенда. Режим Ван-Дам.

– Ага, – я перевел дыхание. – Тогда понятно. Тогда ладно.

Ну конечно. Иначе они не сидели бы так спокойно, имея за спиной смертельно опасного старика Узи. На кодовом языке слова «режим Ван-Дам» означали, что Питуси уже успел подменить Беспалому магазин на другой, с холостыми патронами.

Мы выехали за ворота Эйяля и повернули направо. Хамсин пыльной непроницаемой занавеской раскачивался перед капотом.

– Вагнер, что с кондиционером, Вагнер?

– Ты что, не чувствуешь? Кондиционер-то работает, – отвечал Вагнер. – А вот с тобой что сегодня, парень?

Он на несколько секунд оторвал глаза от дороги и посмотрел на меня. У Вагнера загорелое жесткое лицо и щеточка небольших усов. Ему за шестьдесят, но выглядит он сильно моложе. Вагнер родился сразу после мировой войны, в Нагариин. Папаша – йеки из Ганновера – и мать – уроженка Лодзи – познакомились в лагере для перемещенных лиц, куда попали после освобождения Маутхаузена. Сабры называли их здесь «лагерным мылом». Если родители – мыло, значит, Вагнер – обмылок? Нет, не похож Вагнер на обмылок. Вагнер похож на ковбоя из фильмов с Клинтом Иствудом. Вагнер – Иствуд, Бенда – Шварценеггер, режим – Ван-Дам... Сплошной Голливуд, хоть кричи «мотор!»

Я мотнул головой:

– Мотор... то есть – хамсин. Хамсин. Башка раскалывается. На шоссе смотри, чего ты на меня уставился?

Он отвернулся, не скрывая усмешки.

– Ботинки надел. Молодец. Учись, Питуси.

Садовник Питуси не удостоил равшаца ответом. Сам он зимой и летом во всех ситуациях, даже в самых торжественных, ходит в кожаных сандалиях на босу ногу. Только я ведь не Питуси. В отличие от него, не дружу ни со скорпионами, ни со змеями, которых более чем хватает в тех местах, где Вагнер намеревался искать пропавшего Арье Йосефа. Себе дороже.

Мы проехали деревню Бейт-Асане и свернули с шоссе в сторону Гинот. Вообще-то официально это небольшое, в пятьдесят домов, поселение называется Гинот Керен, в память о Керен Лави – девятнадцатилетней девушке из Эйяля, погибшей в первую интифаду – интифаду камней. Камни ее и убили – те, которыми арабские подростки забрасывали на шоссе проезжающие машины. Керен тогда только-только получила права. Камень попал в лобовое стекло. В принципе ничего страшного, но она испугалась, дернула руль, машина – в кювет, вот и все. Не повезло. Старики из Бейт-Асане пришли в семью Лави на шиву – выражать соболезнование и извиняться. Мухтар сказал отцу:

– Тот, кто бросил – не наш, не из нашей деревни. Но мы его найдем. Найдем и руки-ноги переломаем. А будешь дочери на могилу памятник делать, приезжай, дадим плиту гранитную, настоящую.

Врал, конечно. Никого они не искали. Просто отношения портить не хотели: тогда Эйяль и Бейт-Асане еще дружили. Мы у них овощи брали, машины ремонтировали, в деревенской кофейне сидели, они в Эйяле работали, покупали в лавке непаленую колу и другое по надобности. Симбиоз, нормальная жизнь, которая потом кончилась. А тогда Ицхак Лави, отец Керен, мухтара выслушал и ответил в том духе, что не надо, мол, никому ничего ломать. А насчет плиты поблагодарил и отказался. Я, говорит, ей другой памятник поставлю – целый город. Она садовые деревья любила, вот и будут ей сады – Гинот Керен. Так это название впервые прозвучало.

В ту минуту никто этого всерьез не воспринял – мало ли что скажет человек в таком состоянии? Но Ицхак Лави не шутил. Отсидев шиву, он уволился из крупной компании, где работал большим начальником, и заложил город. То есть – разбил палатку в двух километрах от Эйяля, если взять напрямик через вади, пересечь плоскую вершину холма и выйти на северную его сторону – примерно напротив того места, где вылетела в кювет машина дочери. Сначала Ицхак

просто вкопал в землю невысокий столбик с надписью «Гинот Керен», затем привез генератор, купил и установил подержанный караван, нанял подрядчика и приступил к строительству дома.

Все это произошло очень быстро, в течение недели. В первые ее дни в Эйяле преобладало мнение, что Ицхак просто чокнулся с горя. Особенно жалели деньги, выкинутые на покупку каравана и генератора: подобные самопальные выселки армия ликвидировала в два счета, конфискуя при этом все, что можно погрузить на тракторную платформу. А то, что не могла увезти армия, разворовывали позднее бедуины. Как справиться со всем этим в одиночку, как уцелеть одному посреди интифады с пистолетиком и двумя обоймами на тринадцать патронов каждая? Ведь Лави и в самом деле корячился там один – буквально один в чистом поле. Даже жена считала его сумасшедшим. Ее жалели еще больше выкинутых денег. Еще бы – вот так разом лишиться и дочери, и мужа...

Но к концу недели к Ицхаку подвалили еще пяток молодых ребят – чисто из солидарности и в помощь, хотя и всего лишь на временной основе. Месяц–другой они дежурили, сменяя друг друга. Но вскоре выяснилось, что в каждую смену их приезжает все больше и больше, так что Ицхаку пришлось выкинуть еще сорок тысяч баксов на два дополнительных каравана. А потом он обратил внимание, что некоторые ребята остаются надолго, не сменяясь. Через полгода, когда у него стали кончаться деньги, в Гинот Керен уже постоянно проживали несколько молодых пар, а еще через полгода родился первый младенец – девчонка, относительно имени которой сомневаться не приходилось: конечно же, Керен.

С этого момента безумную затею Ицхака Лави можно было считать удавшейся, и официальным подтверждением тому стало наличие слов «Гинот Керен» в списке так называемых нелегальных форпостов, а точнее – в доносе, ежеквартально подаваемом куда надо неутомимыми доброхотами из антиизраильских израильских организаций. Теперь имя Керен Лави светилось на столах американского госдепартамента, звучало в коридорах ООН и в кулуарах Европейского Союза. И хотя само по себе это не могло вернуть Ицхаку его девочку, в одном он мог быть уверен: памятник ей получился на славу.

Последующие годы Лави посвятил легализации поселения. Для этого понадобилось по несколько раз пройти все круги ада: нудные бюрократические процедуры, унижительное парламентское лоббирование, нечистые партийные интриги, черное время рабинщины. Он суетился, лгал, изворачивался, обещал невыполнимое, грешил на каждом шагу, за каждую печать, бумажку, разрешение. Его выкидывали из дверей чиновничьих кабинетов – он лез в окна; ему плевали в лицо – он улыбался в ответ, заискивающе и непреклонно. Меньше всего Ицхака Лави волновало, что скажут о нем другие. Гинот Керен – его город, памятник его дочери – рос медленно, но верно.

Они не могли не победить – Ицхак и его город – и они победили. Нужные слова вползли в нужные строчки нужных бумаг; в нужных местах, припечатанные нужными штампами, повисли закорючки нужных подписей, свершилась вожделенная легализация. Слова «Гинот Керен» переключались из ябедных списков в параграфы государственного бюджета; теперь его жители могли вдыхать воздух Самарии на вполне законных – по крайней мере, в пределах Страны – основаниях.

Правда, на Ицхака Лави эта полная и безоговорочная победа оказала неожиданное действие. Он словно сдулся, съехался, усох – как будто десятилетняя неравная борьба с мельницами судьбы – из тех, что мелют не зерно, а человеческие жизни – как будто эта борьба наполняла не столько его время, мысли, воображение, сколько его самого – физическое тело, то, что еще именуется плотью, – как кровь наполняет сосуды; и теперь, с окончанием борьбы, кончилось и наполнение... – и кровь, и воздух.

Он не умер, нет – во всяком случае, не сразу – а просто перешел в полное распоряжение жены, и когда та, воспрянув духом, решила переехать в Петах-Тикву – поближе, как она выразилась, к цивилизации – не возразил ни словом. Где-то там, в высокоразвитой цивилизации Петах-Тиквы, они и растворились, можно сказать – без следа. Если, конечно, не считать таковым поселение Гинот Керен – будущий город, памятник девочке Керен Лави. Некоторые из его жителей восприняли отъезд супругов Лави как предательство. С точки зрения других ничто не могло лишить Ицхака вечных лавров героя...

Что тут скажешь? – Повседневность и впрямь требует иного вида храбрости и упрямства. Да и есть ли они в природе – герои? Или нас слишком пичкали в детстве греческими мифами про безмозглого убийцу Ахиллеса и профессионального мошенника Одиссея? Что нам они и убитая ими Гекуба? Пусть творят свои кровавые подвиги там, на своих берегах, к северу от нашей земли. Здесь же не признают ни героев, ни кумиров.

– Между прочим, – вдруг проговорил Беспалый, – Тали из секретариата утверждает, что этот Арье Йосеф никакой не Арье и даже не Йосеф. На самом деле он из Руси. Сменил по приезду и имя, и фамилию. Что вы на это скажете?

Он выдержал паузу, ожидая от слушателей изумленных возгласов, вопросов и других проявлений заинтересованности. Но мы молчали, глядя на дома Гинот, плывущие в пыли за окнами тойоты.

– Фамилия у него Йозефович! – сообщил Бенда, так и не дождавшись ничьей реакции. – А насчет имени еще круче: то ли Лео, то ли Леон, то ли вообще Леонид. Что вы на это скажете? Кого из них искать будем?

– Всех сразу, – мрачно ответил Вагнер, останавливая машину перед одним из домов. – Вылезайте, приехали.

3.

Нас встретила Ольга – дочь Арье Йосефа. Рядом с ней, держа мать за подол и опасливо поглядывая на вошедших мужчин, переминалась девчужка лет двух-трех.

– Вот, болеет, – виноватой скороговоркой произнесла Ольга после первых приветствий и погладила ребенка по пушистой макушке. – Она болеет, а я больничный взяла. А скоро и муж подъедет. Я ему позвонила насчет отца, так он сказал, что приедет искать. Хотела сама пойти, да вот ее не с кем...

Вагнер поднял руку, и она послушно смолкла, уставившись на него со смешанным выражением надежды и вины, как будто отец пропал не сам по себе, а именно из-за нее, недоглядевшей, не принявшей нужных своевременных мер.

– Стоп, госпожа Ольга, – сказал Вагнер. – Давайте все по порядку. Значит, он вышел из дому в половине десятого в направлении Эйяля и обещал вернуться к одиннадцати. Так?

Ольга кивнула с лихорадочной поспешностью.

– Так. Пошел документы забрать. Карп ему документы оставил. По работе. У отца своего. Только взять документы – и вернуться. А в двенадцать я ее покормила, а сама думаю: где же он? Туда ж дороги полчаса максимум, если очень медленно. А он медленно не ходит. Он только быстро, такой человек. Позвонила. А телефон отключен. А он никогда не отключает, такой человек. Он очень аккуратный, никогда...

Она вдруг поднесла ладонь к лицу и всхлипнула, продолжая другой рукой машинально поглаживать дочку, словно заземляя таким образом электрический заряд своей растущей тревоги.

– Мама! – требовательно позвала девочка.

– Извините... сейчас, Тали, зайчика, сейчас... извините.

Мы молчали, пряча глаза. Виноватая интонация женщины, испуганный ребенок, телефонная трубка в кармане передника – чтоб поближе, чтобы побыстрее ответить, когда все-таки позвонит... *если* все-таки позвонит... позвонит ли?... Запах пригоревшего молока; на журнальном столике, рядом с детским рожком и тряпичным медвежонком – раскрытая лицом вниз старомодная записная книжка – его, отцовская, нынче такими не пользуются. Необъяснимое, не передаваемое словами ощущение несчастья, произошедшего где-то, непонятно где, непонятно как, никем еще не виденного, не доказанного, не зафиксированного официальным протоколом, но уже по-хозяйски расположившегося здесь, в теплых комнатах человеческого жилища – в кресле, на кровати, в воздухе, в ящиках комода.

– Ну мама!

– Последний вопрос, госпожа Ольга, – сказал Вагнер. – Как он был одет? И взял ли с собой что-нибудь помимо одежды? Например, оружие?

– Был? – переспросила женщина. – Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?

Она хватанула ртом воздух, глаза наполнились слезами; теперь Ольга выглядела увеличенной копией обиженного ребенка, вцепившегося в ее собственный подол.

– Вы что, думаете...

Вагнер смущенно кашлянул.

– Ничего мы не думаем, госпожа. Просто расскажите, во что он оделся, перед тем как выйти из дому. Обычный вопрос, не так ли?

Ольга судорожно кивнула.

– Да-да... извините. Светлая футболка с короткими рукавами. Шорты, тоже светлые. Кроссовки. Все.

– Оружие? – напомнил равшац.

– Да, – тихо сказала женщина. – Он взял пистолет мужа. Я еще подумала: зачем это? Он никогда не брал с собой пистолет. И муж тоже не брал. Понятия не имею, зачем мы его купили. Лежал себе в сейфе... а тут вдруг... зачем?

– Вот и спросила бы его, – вдруг вмешался Питуси.

– Я и спросила. А он усмехнулся так и говорит: «Хамсин. Мало ли что». И все. Поцеловал Тали и меня... Я спросила, когда вернется. – «К одиннадцати». И все.

– Поцеловал? – переспросил Вагнер. – Типа распрощался?

– Что? Нет-нет, что вы... Это он всегда так делает. Всегда. При чем тут...

– Ну ма-а-ама-аа! – девочка в очередной раз дернула мать за подол, всхлипнула и зашлась густым решительным ревом.

Мы вышли на улицу.

– Да, – Беспалый многозначительно покачал головой. – Да. Что вы на это скажете?

– А чего тут говорить? – фыркнул Питуси. – Арабы, понятное дело. Или бедуины. Пистолет он взял. Идиот. Бедуин за двадцать шекелей сестру удавит, а уж за ствол... Знаешь, почему пистолет на черном рынке?

– Почему?

Питуси надулся и покачал перед собой обеими руками, словно взвешивая на них огромную рыбину.

– Вот почему! Понял?

– Понял... – восторженно отвечал Беспалый. – Может, мне свою пушку продать?

Разделившись на пары, мы двинулись по предполагаемому маршруту Арье Йосефа. Из Гинот Керен можно попасть в Эйяль либо длинным путем по шоссе – так, как только что проехала наша тойота, либо напрямик, по пешеходной тропе. Тропа эта сначала пересекает небольшое плоскогорье, где спокойно тянется меж оливковых деревьев и апельсиновых рощ, принадлежащих близкой отсюда деревне Бейт-Асане. Затем она довольно круто срывается вниз, в вади, и дальше уже приходится до самого конца прыгать с камня на камень, огибать большие валуны и редкие распаханные террасы, пересекать заросшее кустарником сухое русло и карабкаться вверх по не менее крутому склону к крайним домам Эйяля.

Мы с Питуси пошли справа от тропинки; равшац и Беспалый Бенда искали с другой стороны. Договорились далеко не расходиться, но первая же апельсиновая роща скрыла от нас и Вагнера, и Беспалого. Шаря глазами по земле, я старался не выпускать из виду садовника и думал при этом о его недавних словах. В них был несомненный смысл. Оружие уместно в руках солдата, полицейского, преступника, да и то не всяких, а тех лишь, кто готов применить его без длительных колебаний. Для обычного же человека оно представляет не защиту, а скорее угрозу. Так что пистолет за поясом немолодого одинокого поселенца вполне мог послужить приманкой для недобрых людей из Бейт-Асане или с одной из ближних бедуинских стоянок.

Питуси остановился, я подошел к нему, мы достали флаги. Потлил бы с меня ручьями, если бы не высыхал моментально в горячей топке хамсина. Сделав несколько глотков, садовник кивнул на небо.

– Ветер. Скоро сломается.

И в самом деле, вокруг быстро усиливался невесть откуда взявшийся ветер, трепал жесткую листву одуревших от зноя апельсиновых деревьев, гнул к земле полумертвые саженцы. Небо еще больше пожелтело; пыль бесилась, отказываясь уходить, цеплялась за серый кустарник, за ветви олив, за шершавый воздух, но ветер продолжал упрямо налегать плечом на ее тяжкий неподдающийся столб. Скоро он поймет, что это бесполезно: хамсин нельзя сдвинуть, нельзя прогнать – его можно только сломать. И, поняв, нагонит сюда целую

армию дождевых туч, чтобы уничтожить врага союзными усилиями, обрушить его на почву, прижать спиной к камням, растоптать бесчисленными каблуками ливневых капель.

– Наконец-то, – сказал я. – Обещали еще вчера.

Питуси презрительно фыркнул.

– Что они понимают... Давай, двинули дальше. Ты только далеко не отходи. Чтобы потом двоих не искать. Следопыты, мать вашу... тут вам не Сибирь.

«Сибирь»!.. Как будто ты когда-нибудь бывал в Сибири, толстый дурак... Я кивнул, проигнорировав пренебрежительный тон своего напарника. Лицо садовника Питуси, сколько я его помню, всегда сохраняло гримасу надменного превосходства по отношению к окружающему миру в целом и ко всем его конкретным представителям в частности. Понятия не имею, что являлось тому причиной: уверенность ли в полной никчемности Творения, сознание ли собственного величия, а может, и то и другое вместе? Впрочем, выражение лиц питусиных отпрысков заставляло предположить, что речь идет о наследственном характере этого удивительного качества. Талант вселенского презрения передавался в роду Питуси генетически, от отца к сыну.

Обычно я не упускал случая огрызнуться в ответ, но на сей раз проклятый хамсин выжег во мне весь задор, не оставив сил даже на минимальную перепалку. Казалось, горячий, все усиливающийся ветер проникает внутрь – в легкие, в сердце, в душу, срывая с мест привычные ориентиры, сдвигая опоры, заволакивая желтой непроницаемой пылью когда-то ясные и четко очерченные перспективы. Неловкое неудобство, которое ощущалось мною с самого утра, давно уже переросло размеры того, что обычно называют беспокойством или даже тревогой. Мною овладевала натуральная паника; я с трудом удерживал себя в рамках стандартного поведения. Хотелось скорчиться, забиться под куст, кричать, звать на помощь... К счастью, Питуси не заметил моего состояния – он был слишком занят тем, чтобы как можно дальше оттопырить презрительную верхнюю губу... а может быть, даже он чувствовал себя не в своей тарелке.

Встречный ветер хлестал нас шершавыми песчаными половиками; мы шли, ложась на пыль грудью и закрывая ладонями лицо. Вокруг бился в судорогах агонизирующий, но еще не сломленный хамсин. Густой воздух крутился повсюду желтыми клубами, деревья стояли в обмороке от невозможности убежать, земной ад свистел в их истончившихся, парализованных ужасом ветвях. Могли ли мы найти что-нибудь в этой взбесившейся преисподней? – Ну разве что сатану... Чем дальше, тем бессмысленней выглядели наши поиски: сомневаюсь, что мы обнаружили бы пропавшего Арье Йосефа, даже если бы наступили на его мертвое тело.

На краю вади мы снова приостановились, собираясь с духом перед тем как начать спускаться. Видимость резко ухудшилась, хотя еще недавно казалось, что хуже уже некуда: в пыльном тумане едва можно было различить очертания ближних камней и кустов. Попутное направление и топография вади создавали идеальную аэродинамическую трубу для западного ветра, и он, разогнавшись, с дьявольским вибрирующим воем неся вверх по этому желобу в сторону самарийского нагорья, гоня перед собой желтые пылевые вихри. Я повернулся к ветру спиной и поплотнее прижал ладони к ушам, чтобы унять

нарастающий в них звон, идущий то ли из вад, то ли изнутри – из подавленной дурными предчувствиями души, из головы, оглушенной ветром, хамсином, усталостью, страхом.

Питуси покровительственно хлопнул меня по плечу, улыбнулся и что-то сказал, по-рыбы беззвучно разевая рот. Я приоткрыл уши.

– Что?

Он повторил – опять что-то про Сибир. Этот жлоб в сандалиях строил стену своей презрительной самоуверенности из кирпичей моего страха, свое здоровье – из моей болезни. Я понял это неожиданно, одним ударом, и тут же ощутил дикую, кипящую злобу, словно хамсинный ветер-убийца ворвался в мои жилы и теперь бушевал там, как бушевал внизу, в русле бурлящего вад. Наверное, это отразилось на моем лице так ясно, что садовник попятился. Я потянул из-за спины винтовку. Думаю, что в тот момент я совершенно не владел собой, не отдавал отчета в своих действиях, говоря попросту – сошел с ума. Я стал злобным роботом, адской марионеткой в разнузданной мистерии сатанинского хамсина. Еще секунда-другая – и я бы ударил Питуси прикладом, а то и похуже. Он перестал улыбаться, даже подобрал губу. И тут прогремел выстрел.

Мы вздрогнули и одновременно пригнулись – по рефлекторной привычке, раз и навсегда приобретаемой теми, кто хоть когда-нибудь побывал под настоящим обстрелом. Стреляли совсем рядом, со стороны деревни, возможно даже по нам, возможно даже те, кто убил Арье Йосефа. Его – из-за пистолета, нас – из-за автоматов...

– Вагнер! – Питуси щелкнул затвором. – Это по ним! По Вагнеру! За мной!

Держа автомат наизготовку, он быстрыми перебежками двинулся влево. Я едва поспевал за ним; для своей тучной комплекции садовник передвигался исключительно ловко. Действительно, там ведь Вагнер... Я вдруг осознал, что начисто забыл о Вагнере и Беспалом! И не только... К примеру, с чего это я взял, что Арье Йосеф убит? Разве мы обнаружили тело или следы нападения, борьбы, ранения? – Нет, конечно нет! Это все пыльный мешок хамсина... это он замутил мне мозги... чуть с Питуси не подрался... – с ума сойти можно.

Садовник предостерегающе поднял руку: впереди виднелись две неясные фигуры. Мы подобрались ближе, Питуси выпрямился, а вслед за ним вздохнул с облегчением и я: Вагнер и Беспалый Бенда, живые и невредимые, стояли посреди небольшой каменистой площадки. Бенда выглядел смущенным. Он молчал, но весь вид его говорил: «Что вы на это скажете?»

– Всем расслабиться, – сказал равшац. – Отбой воздушной тревоги.

Питуси презрительно оттопырил губы.

– Какое расслабиться? Откуда стреляли?

– Отсюда... – Вагнер кивнул на Беспалого. – Бенда уронил своего старика Узи. А тот возьми да и выстрелил...

Смешное, как известно, основывается на неожиданном, но кто бы назвал неожиданностью эту проделку старика Узи? Как то чеховское ружье, он просто обязан был выстрелить – тем более, что висел не на инертной стене, а на плече активного придурка. Тем не менее, я просто задохнулся от смеха – так, что мне пришлось упасть и кататься по земле, чтобы выкатить хохот наружу. Думаю, что таким образом я

избавлялся от скопившегося напряжения. Засмеялся и Вагнер, затем Беспалый; даже садовник Питуси выдавил несколько смешков сквозь надменную, не предназначенную для этой цели губу.

Дальше мы шли все вместе, вчетвером, и, конечно, так ничего и не обнаружили. Когда добрались до Эйяля, Вагнер вызвал военных. Они приехали почти сразу на трех джипах, но к тому времени уже стемнело, начался дождь, переходящий в ливень, и офицер решил отложить поиски до утра. Я вернулся домой мокрый до нитки. Как-то разом похолодало; еще несколько часов назад мы не знали, куда деться от жары – теперь у меня зуб на зуб не попадал от холода.

После горячего душа и горячего чая я лег в постель, полагая, что засну, едва коснувшись головой подушки. Какое там... – по всей видимости, усталость перешла ту крайнюю грань, когда она еще нуждается во сне. Меня била непонятная дрожь, в такт сильнейшему ливню, усердно топтавшему ставни и крышу. Перед глазами вертелись образы и картинки безумного хамсинного дня; толстое лицо старика Когана сменялось толстым лицом садовника Питуси, дочь пропавшего Арье заземляла свою бьющую через край тревогу на пушистую головенку собственного ребенка, мелькали дорожные указатели: Эйяль, Гинот Керен, светился в желтом тумане призрак старого Ицхака Лави, подрагивал аккуратной щеточкой усов равшац Вагнер... кстати, ему за шестьдесят – не назвать ли и его стариком?

Тогда-то – вместе с вопросом о стариканстве Вагнера – мне и пришла в голову идея написать рассказ. Или не рассказ, а повесть. Или не повесть, а очерк... эссе... Черт знает что – назовем это для ясности «текст» – перло из меня наружу, не позволяя заснуть, мешая жить. Возможно, это просто выходил на волю хамсин, проникший в мои вены там, на горе. Точнее, не он выходил, а тело само выдавливалось его из себя – по букве, по слову, по предложению.

Я поднялся с постели и сел за клавиатуру. Сначала я думал, что это будет текст о стариках – недаром же мне еще в середине дня подумалось, что объяли меня старики до души моей: старик Яков, старик Коган, старик Узи, старик Ицхак Лави, а теперь вот еще и старик Вагнер... Но вышло иначе: старики получались оболочкой, антуражем... – нет, хороводом – вот оно, правильное слово! Хороводом они кружились вокруг некоего центра, объединяющего и связующего их всех – пока еще непонятно, чем и как.

И этим центром был он, Арье Йосеф, – человек, которого я даже не знал. Его фотография, которую мы взяли у Ольги, вызывала смутные ассоциации: наверное, когда-то я сталкивался с ним в поселковой лавке или на праздновании Дня независимости, где обычно собираются жители обоих поселений. Возможно, я проезжал мимо, когда он стоял на автобусной остановке, а может быть, даже подвозил его до города. Но так или иначе, я не подошел бы к нему, встретив на улице или в компании. Нас не связывало ровным счетом ничего – и тем не менее, этот абсолютно незнакомый человек необъяснимым образом стягивал воедино все составляющие текста: стариков, меня, самарийские вadi и холмы, поздний осенний хамсин, ливень, барабанный в окно, мою изнурительную ночную бессонницу.

Я сказал – «составляющие текста», но, вероятно, правильнее было бы сказать – «составляющие жизни». А впрочем, мне все чаще и чаще кажется, что особой разницы нет.

У меня и у героя моего текста не существовало ни общего прошлого, ни общего настоящего. Иногда это возможно поправить будущим, но у нас не предвиделось и общего будущего – если, конечно, не считать таковым конечную станцию, на которую рано или поздно гарантированно прибывает любое временно живое существо.

О чем же тогда стучала моя клавиатура? – Понятия не имею. Я просто описывал события странного дня... а хотя – почему странно-го? – ведь не произошло ничего невероятного, ничего из ряда вон выходящего... Ну ладно, пусть будет не странного, а утомительного – с этим-то спорить невозможно, правда? – Правда, невозможно...

Экран монитора мерцал перед моими воспаленными глазами, как пыльный хамсинный туман: видимость почти нулевая, ну разве что ближний слой мира – камни, кустарник, толстая питусина спина... ну разве что ровные ряды слов, непостижимым образом выскакивающих из хамсина. Я видел лишь текст, один лишь текст, а за ним покачивалась и плыла глухая неразличимая бесформенность – такая же, как там, на холме между Гинот Керен и Эйялем, только не грязно-желтая, а грязно-белая... – тоже мне большое отличие.

Зачем я это делал? – Не знаю. Наверное, чтобы чем-то занять себя, не сбрендить от бессонницы, удержаться в рамках стандартного поведения, не превратиться во всеобщее посмешище типа Беспалого Бенды... Хотя нет, это не могло быть причиной. Меня ведь и в самом деле мало волновало мнение садовника Питуси, или старика Когана, или даже чересчур самостоятельного старика Узи. Куда вероятнее предположить, что от меня, от моего желания или нежелания не зависело в ту ночь почти ничего – даже мои собственные действия. Да, я сидел перед компьютером и выцеливал клавиши с нужными буквами – но это вовсе не означало контроль над событиями.

Текст создавался сам собой, а потому вопрос «зачем?» следовало адресовать ему, а не мне – почти безвольному медиуму, инструменту текста, роботу хамсина. Забавно, что, поняв это, я испытал странное облегчение, хотя по идее должен был бы почувствовать себя униженным – ведь как ни крути, человек не любит, когда его столь внаглую используют. Но с другой стороны, самостоятельность, проявляемая текстом, начисто освобождала меня от ответственности. Пусть теперь он, а не я, заботится о таких скучных вещах, как определение жанра и поиски пропавшего героя. Он, а не я. Лелея в душе это благотворное злорадство, я вернулся в постель и немедленно заснул.

4.

Утро выдалось превосходным: воздух, до кости промытый дождем и до скрипа протертый солнцем, напоминал чудесную линзу, сквозь которую, как ни посмотри, можно было в деталях различить самые дальние дали и сути. Направляясь к старику Когану, я сделал небольшой крюк, чтобы подойти к тому месту, где начинался спуск в вади, и в который уже раз подивился тому, как быстро происходят в наших краях самые крайние перемены.

Ущелье, которое еще вчера казалось желобом сатанинского аттракциона, дымящимися воротами в ад, представало сегодня невинным футляром для старушечьих очков, выставленным изнутри зеленым плюшем кустарника, бархоткой свежей листвы и мягкими песча-

ными языками. Безумный рев и вой ветра, отвратительный скрежет клубящейся пыли сменились звонкой тишиной, нарушаемой лишь грудным курлыканьем диких голубей, посвистом горных зайцев, шорохом осторожных полевков. Кое-где уже виднелись первые цикламены, и внимательный слух мог отчетливо разобрать тонкое позвякивание их нежных фиолетово-кремовых колокольчиков.

У обрыва стояли два армейских хаммера; небрежно одетый пожилой водитель курил, развалившись на капоте. Хрипло вякнула рация, смолкла, затем продолжительно свистнула, словно отвечая рассвистевшимся в ущелье зайцам, и снова смолкла. «Ну да... – вспомнил я. – Ищут Арье Йосефа, как и обещали. В сегодняшнем вади искать – одно удовольствие, не то что вчера. Вагнер говорил – следопытов привлекут. Только вот – какие, на фиг, следы после такого ливня?..»

Потом, когда я уже сидел со стариком Коганом, прилетел вертолет. Он грохотал примерно с полчаса – казалось, над самой крышей, – и это, вкупе с недосыпом, мешало сосредоточиться.

– Вот, – в ответ на вопросительный взгляд старика я пожал плечами и ткнул пальцем вверх, в потолок, – разлетались, черт бы их побрал...

Коган недовольно поднял брови, и мне стало стыдно своей черствости: все-таки человек пропал.

– Ищут, – добавил я. – Арье Йосефа ищут – того, кто к вам вчера шел и не дошел. Вы его хорошо знали? Ээ-э... знаете?

– Ищут... – мрачно повторил старик. – Ищи ветра в поле. Давайте не будем отвлекаться.

Я снова пожал плечами. Ищи ветра в поле? – Странная реакция. И неожиданная – как будто ему известно что-то важное, недоступное другим. Впрочем, мои попытки предсказать или даже просто истолковать ответы старика Когана редко бывали удачными. А некоторые загадки так и вовсе пробуждали во мне нешуточное любопытство – например, брат-близнец, упомянутый вскользь, почти случайно, и тут же вновь испарившийся из рассказа.

После ареста и бесследного исчезновения родителей шестилетнего мальчика взяла к себе подруга матери, известная балерина Гусарова. Старик Коган подробно описывал ее квартиру, прислугу, тогдашний быт вообще, но ни словом не упоминал брата Густава. Воспользовавшись паузой, вызванной шумом от вертолета, я решил прояснить этот вопрос, а заодно и продемонстрировать похвальную заинтересованность.

– Эмиль Иосифович, а что произошло с Густавом, вашим братом? Старик поперхнулся и метнул на меня быстрый взгляд.

– Откуда вы знаете о брате?

– Ну как же, – удивился я. – Вы сами говорили позавчера, что остались вдвоем в квартире на Адмиралтейском...

Он неуверенно поерзал в кресле, а я удивился еще больше: мне еще никогда не приходилось видеть старика Когана таким смущенным.

– Видите ли, Борис, – произнес он наконец с несвойственным ему выражением крайней задумчивости, – люди вообще мало что помнят из дошкольного детства, особенно если потом жизнь резко меняется в направлении... гм... как бы это определить?..

Старик задумался, так и не найдя нужного слова.

– ...наполненности? – осторожно предположил я.

– Что? – Коган вздрогнул, словно вернулся ко мне и к нашей беседе из очень и очень дальнего далека. – Что вы сказали?

Я повторил его фразу со своим дополнением.

– О, да, наполненности, – подтвердил он. – Наполненности. Но это потом. А тогда, ребенком... брат-близнец – это, наверное, как часть тебя самого, как твоя собственная рука, или нога, или кровать, или соска, или еще что-нибудь такой же степени обыденной важности. Возможно, поэтому его присутствия не замечаешь.

– А его отсутствия?

– Отсутствия... – задумчиво повторил старик Коган. – Видите ли, к Анне Петровне Гусаровой я попал один, без Густава. Тогда-то я, наверное, и обратил внимание на его отсутствие.

– И?...

– И спросил об этом, – старик побарабанил пальцами по столу. – И тетя Аня ответила, что Густава никогда не было. Просто не существовало. Что я придумал его сам. Знаете, дети в таком возрасте часто изобретают себе воображаемых приятелей.

– А! – рассмеялся я. – Теперь все ясно. А я уж было поверил...

– Да-да, – покачал головой старик. – Мне тоже пришлось поверить. В конце концов, мне тогда только-только исполнилось шесть лет. Я был до смерти напуган арестом родителей... вернее, даже не арестом – разве шестилетка понимает, что такое арест? – не арестом, а уводом – грубым, насильственным уводом, похищением, потерей. Это ведь вечный кошмар маленького ребенка – потеряться, лишиться матери и отца, остаться одному. А тут – взяли под руки и увели – бледных, плачущих и несчастных...

Он посмотрел на меня, и я разглядел в его выцветших глазах тень того ужаса восьмидесятилетней давности. Мне стало не по себе. Старик Коган моргнул, и наваждение исчезло.

– А в общем, что тут объяснять, – произнес он своим обычным голосом. – Анна Петровна была для меня непререкаемым авторитетом. Если она утверждала, что Густава не существует, мог ли я ей перечить?

Я разочарованно кивнул. Увы, таинственный брат-близнец оказался всего лишь пшиком, детской фантазией. У моего маленького сына тоже был когда-то воображаемый друг, с которым он вел нескончаемые беседы. Друга звали Дуди, и он жил в стене напротив детской кровати. Правда, друг – это одно, а брат-близнец все-таки...

В кармане дрогнул и задребезжал пейджер.

– Вот же черт! – подосадовал я. – Эмиль Иосифович, я чувствую себя ужасно неудобно, но – сами понимаете... – вынужден...

Старик отчужденно пожал плечами. Видно было, что разговор о Густаве серьезно выбил его из колеи. Я включил мобильник и набрал номер Вагнера.

– Что, опять?! Через десять минут, с метлой, у дома?!

– У какого дома... – угрюмо отвечал равшац. – Разбаловал я вас. Такси ему подавай... выдали?

В трубке слышались истошные вопли и мерное скандирование. Телевизор? Радио в машине?

– Вагнер, – сказал я. – Говори, чего надо. Я ведь занят, Вагнер. Говори. Только не дай Бог это какая-нибудь учебная тревога, Вагнер. После вчерашнего мы тебя точно не пойдем.

Он хмыкнул.

– Какая учебная... Встретишься с Питуси и Бендой у спуска в вади. Через десять минут, с метлой, как положено. А дальше ножками, ножками – пока не увидите. Я Питуси все объяснил. Он за старшего.

– Пока не увидим чего?... – успел спросить я, но Вагнер разъединился, не ответив.

Когда я подошел к указанному равшацем месту, там уже переминался с ноги на ногу Беспалый Бенда. Увидев меня, он радостно осклабился.

– Как дела, Борис? Что ты на это скажешь?

– На что именно? – спросил я, опасливо косясь на старика Узи, который зловеще покачивался на ремне за спиной Бенды.

В душе у меня теплилась надежда, что Беспалому известна причина нашей экстренной мобилизации. Мой товарищ по оружию восторженно хлопнул в ладоши.

– Начальник отдела коммунального хозяйства! Ну, ты знаешь, – Гидон Мизрахи! Ведь что учудил, маньяк...

Я отвернулся и перестал слушать. Время приближалось к полудню; юный поутру воздух успел возмужать и утратить свою прежнюю невинную прозрачность. Теперь он полнился испарениями проснувшейся от дождя почвы, жадными до жизни спорами растений, душным сладковатым запахом неизвестно каких кустов, звоном пчел с ближнего яблочного цвета. Бенда продолжал самозабвенно бубнить у меня над ухом, старик Узи примеривался, как бы поточнее упасть, чертов Питуси все не шел и не шел. Асфальт в десяти метрах от нас – там, где утром стояли армейские джипы, – казался рябым от окурков и шелухи.

– Как дела? – завопил Беспалый, резко поменяв тональность своего бубнежа.

Я обернулся. К нам неторопливо, вразвалочку, приближался садовник Питуси. Его презрительно оттопыренная верхняя губа цепляла с неба редкие пушистые облачка, и те немедленно тускнели и таяли от сознания собственной ничтожности. Рядом с садовником мелкой побегой трусил его пес – пожилой боксер Рокси. Видно было, что собака изо всех сил старается копировать выражение хозяйского лица. Не размениваясь на приветствия, Питуси сделал знак следовать за ним и стал спускаться по тропинке. Бенда тут же присоединился к нему, зато мы с Рокси и не подумали покидать ровный асфальт без надлежащих объяснений.

– Эй, Питуси! – крикнул я. – Так не пойдет, слышишь? Опоздал на полчаса, а теперь просто «за мной» – и все? Генерал, мать твою. Сначала расскажи, что к чему.

Питуси остановился и глянул на нас через плечо.

– Шапиро приехал со своими маньяками, – неохотно процедил он, обращаясь преимущественно к псу. – Балаган устраивают.

– Ну а мы тут при чем?

– Как свидетели. Вагнер приказал. Не хотите – не ходите, мне-то что. Потом с Вагнером сами разбираться будете.

Питуси презрительно сплюнул и двинулся дальше. Беспалый Бенда увивался за ним, не умолкая ни на минуту. Я посмотрел на Рокси.

– Слышал? Ты можешь не ходить. А мне надо. А то Вагнер разозлится.

Пес тяжело вздохнул, словно говоря: мне бы твои проблемы, и, подрагивая обручком хвоста, последовал за хозяином. Я замыкал нашу боевую колонну. За неимением хвоста мне приходилось выражать свои чувства при помощи бессильной ругани.

Упомянутый садовником Шапиро возглавлял организацию «За урожай». Невзирая на свое сугубо сельскохозяйственное наименование, организация преследовала чисто политические цели: борьбу с оккупацией – то есть с армией – и с фашизмом – то есть с нами, поселенцами. Земледельческие же мотивы, отраженные в названии, находили свое выражение лишь в методах, которыми пользовались заурожайники.

Обычно они приезжали в какую-нибудь арабскую деревню и, найдя старика подревнее и посенильнее, принимались его обрабатывать. Шапиро доставал земельные карты неизвестного происхождения, разворачивал их перед стариком и начинал доказывать, что именно он, старик, является истинным хозяином того или иного участка земли, а потому просто обязан снимать с него урожай. По интересному стечению обстоятельств, участок непременно оказывался в непосредственном соседстве с близлежащим израильским поселением, а то и внутри него.

Старый араб растерянно кивал – как правило, ничего не понимая ни в картах, ни в документах. Иногда из-за испуга и старческого слабости он соглашался отправиться за несуществующим урожаем бесплатно. Но чаще всего старики отказывались, и тогда Шапиро доставал деньги. Денег у него водилось много: организация «За урожай» щедро поддерживалась сочувствующими европейскими учреждениями.

Сняв урожай с Шапиро, старик брал клюку, вставал во главе процессии заурожайников и кряхтя шкандыбал в направлении новообретенной собственности. Там он садился в теничке и отдыхал, в то время как Шапиро и его товарищи храбро выкрикивали лозунги в поддержку урожая и швыряли камни в недоумевающих прохожих и проезжих фашистов. Схлопотав по кумполу, фашисты, как и положено по сюжету, вызывали оккупантов, и те получали свою порцию лозунгов и камней. Все это грамотно снималось на видео, затем грамотно редактировалось и грамотно попевало к вечернему выпуску грамотных европейских новостей.

На фоне похожих израильских организаций группа «За урожай» выглядела, пожалуй, самой грамотной. Поговаривали, что у Шапиро имеются карты, позволяющие бороться за сбор арабского урожая в самом центре Тель-Авива, не говоря уж о прочих городах и весях. С точки зрения заурожайников и их европейских друзей, фашистов и оккупантов в Стране хватало; собственно говоря, таковыми являлись все израильские граждане, за исключением, может быть, членов вышеупомянутого десятка организаций... – да и те, если присмотреться...

Придерживая на спине неудобную метлу, я плелся вслед за понурым хвостом старого боксера. Меня одолевали недобрые предчувствия: появляться на демонстрации без каски было более чем неосмотрительно. Но с другой стороны, я понимал и Вагнера: ему хотелось помочь солдатам, которые вели поиски пропавшего Арье Йосефа, а теперь подвергались непредвиденной и совершенно излишней угрозе.

Угроза эта заключалась даже не в камнях заурожайников, а в последующем судебном преследовании. В полном соответствии с

сюрреалистическим характером вышеописанного, этому преследованию подвергались не те, кто бросал камни, то есть заурожайники, а те, кто получал булыжником по башке, то есть оккупанты и фашисты.

После каждой битвы за урожай Шапиро непременно подавал в суд целый букет грамотно составленных исков, обвиняющих оккупантов и защищаемых ими фашистов в совершении всевозможных преступлений – от зверского избиения старика-араба до группового изнасилования демонстрантов. Все это представляло собой откровенную ложь, но, к несчастью, любой юридический процесс устроен так, что его итог или хотя бы скорость напрямую зависят от количества денег, заплаченных адвокатам. В этой ситуации Шапиро с его богатыми европейцами имел заведомое преимущество перед нищим армейским лейтенантом.

Вагнер вызвал нас исключительно в качестве свидетелей. Наши показания должны были позднее подтвердить, что солдаты армии оккупантов не поедают живьем беззащитных борцов за арабский урожай, предварительно подвергнув их нечеловеческим пыткам. Нам предписывалась роль пассивных наблюдателей – и только. Именно это Питуси пытался втолковать Беспалому, когда я догнал их уже на противоположном склоне ущелья. Бенда слушал недоверчиво: ему ужасно не хотелось разоружать старика Узи. Мы с Рокси подтянулись как раз вовремя, чтобы составить решающее большинство: я поддержал садовника по существу предложения, а пес – по долгу собачьей преданности. В итоге Беспалый нехотя вытащил обойму из автомата. Старик Узи обиженно лягнул, зато остальные бойцы вздохнули с облегчением: одной опасностью меньше.

Демонстрация происходила наверху, но скандирование и пронзительные вопли заурожайников стали слышны задолго до нашего выхода на плато. Еще немного продвинувшись, мы оказались наконец в пределах видимости бескомпромиссной битвы за урожай. Ее кипучий эпицентр приходился аккурат на ту каменистую площадку, где Беспалый накануне вечером обронил с плеча своенравного старика Узи.

Демонстрантов я насчитал десятка три – может, больше. Их действия выглядели очень уверенными и организованными – в этом смысле люди Шапиро куда больше походили на армию, чем шесть-семь солдатиков, робкой кучкой сгрудившихся у тропы по другую сторону площадки. Это было заметно даже по форме одежды – ребята из поисковой группы не слишком отличались воинским единообразием: кто в драной куртке, кто в грязном свитере, кто в мятой гимнастерке... На фоне этой прискорбной расхлябанности заурожайники смотрелись просто замечательно.

Одетые в цвета фаластынского знамени, с клетчатыми арафатками на плечах и противогазами на поясе, они явно руководствовались единым, многократно отработанным планом. Каждый четко знал свой маневр. Примерно треть демонстрантов исполняли функции операторов, снимая происходящее на видео со всех ракурсов и положений. На шеях у них болтались журналистские бейджики, внушительная надпись «пресса» украшала спины пуленепробиваемых жилетов. Другая треть предназначалась для камнеметания. Ее составляли крепкие, спортивного вида парни лет по двадцать – двадцать пять. К моменту нашего появления они временно бездействовали, ожидая команды и рассредоточившись на некотором расстоянии грамотным исламским полумесяцем.

Идейный центр заурожайников, напротив, представлял собой плотную компактную массу, состоящую из женщин среднего возраста и крайне агрессивного вида. Столь концентрированной степени стервозности мне не приходилось видеть нигде – даже в учительской комнате школы, куда я ходил подрабатывать в голодные университетские годы. Женщины скандировали заурожайные лозунги, сопровождая их синхронным выкидыванием кулаков вверх и вперед. Случалось и такое, что, устав, какая-нибудь демонстрантка расслабляла сжатый кулак, и тогда антифашистский жест превращался в свою полную противоположность.

Вообще, если бы не эта фашистско-антифашистская жестикуляция, скандирующие заурожайницы вполне могли бы сойти за ансамбль спиричуэлс из небольшой церковной общины где-нибудь в Алабаме. Словно для того, чтобы подтвердить это сходство, то одна, то другая хористка время от времени выступала вперед и, превратившись в солистку, принималась выкрикивать что-то совсем уже запредельное – как по смыслу, так и по уровню пронзительности звука.

Непосредственно перед фронтом своего военно-певческого коллектива тяжелыми шагами командора прохаживался сам Шапиро – вождь и идейный вдохновитель организации «За урожай». На голове его поверх небрежно повязанной арафатки красовалась широкополая ковбойская шляпа угольно-черного цвета. Гамму дополняла красная рубашка, зеленые штаны и ослепительно белые сапоги, что делало вождя похожим на клоуна, хотя задумка кутюрье наверняка заключалась в том, чтобы получше гармонировать с многочисленными фаластынскими флагами, которые демонстранты загодя закрепили на ближних камнях и деревьях.

– Стойте! – скомандовал Питуси. – Вагнер велел близко не подходить.

Но равшац и сам уже спешил к нам навстречу. Мы расположились на теплых от солнца камнях, метрах в пятидесяти от площадки.

– Привет, ребята... – Вагнер присел рядом, устало вздохнул и вытер пот со лба. – Спасибо, что пришли. Такой балаган, мать их...

– Цацкаться с маньяками не надо, – презрительно отрезал Питуси. – А вы цацкаетесь. Я бы их...

– Эй, эй... – равшац оглянулся. – Потихе ты, вояка. А лучше совсем молчи. Неровен час – услышат. У них микрофоны знаешь какие чувствительные...

Шапиро по-дирижерски взмахнул обеими руками – и группа камнеметателей присоединилась к главному хору.

– Смерть оккупантам! Смерть оккупантам!

– Во, слышите? – качнул головой Вагнер.

– А чего они взъелись-то? – поинтересовался Беспалый. – Насчет этого участка вроде как спору нет. Вон маслины ихние, вон цитрусовые... собирай не хочу. Хотя урожай нынче хреновый.

– Год такой, – заметил садовник Питуси. – Маслину понимать надо. Маслина, она как зебра. Год плохо, год...

– ...еще хуже, – подавился смехом Беспалый.

– ...хорошо, – продолжил Питуси, пренебрегая глупостью ничтожного собеседника. – На прошлом году много собрали, а теперь, значит...

– Чего взъелись... – проворчал Вагнер, расшнуровывая ботинок. – Много ли им надо? Ты, Бенда, вообще помалкивал бы, энтузиаст

хренов. Гильзу они твою нашли, вот чего. Вчерашнюю, от Узи. Видно, что свежая – еще пахнет. Да и я тоже дурак – нет чтоб подобрать...

Равшац крикнул с досадой и вытряхнул из ботинка камешек.

– Бей фашистов! Бей фашистов! – теперь кулаки вздымались уже непосредственно в нашу сторону.

– Во, заприметили... – мрачно сказал Вагнер. – Ничего, досюда не докинут. Хотя могут и поближе подойти.

– Пусть только сунутся, – еле слышно прошелестел Питуси.

Беспалый Бенда сидел бледный, губы его дрожали.

– Что ж теперь будет, Вагнер? Арестуют? Я ж нечаянно...

– Нечаянно, нечаянно... – передразнил его равшац. – Тебе сколько раз говорили – вынь обойму, вынь обойму... А теперь вот получи шершавого по самые уши. Мы тебя защищать не станем, правда, ребята?.. Камень!..

Со стороны заурожайников прилетел булыжник, ударился о скалу в нескольких шагах, брызнул известняковой крошкой.

– Я ж говорил – не добросят, – удовлетворенно констатировал Вагнер. – Хорошо сидим.

– Но я ведь нечаянно... – повторил несчастный Бенда. – Я ведь...

– Кончай, Вагнер, зачем ты его пугаешь? – пожалел я Беспалого. – Ничего Бенде не будет. По гильзе-то видно, что из-под холостого.

– За урожай! За урожай! – хором закричали демонстранты, обращаясь на этот раз скорее к небу, а может, даже и еще дальше – к дружественной Европе.

Садовник Питуси вслушался и кивнул:

– А что – полезный лозунг.

– Во-во, – согласился Вагнер. – Может, вступишь?

Он повернулся ко мне.

– Зря ты ему открыл, Борис, про холостые. Пусть бы еще помучился, хуже не стало бы. Говоришь ему, говоришь... – вынь обойму, вынь обойму... Камень!

– Погоди, Вагнер, – сказал я. – Что ж это – весь балаган из-за одной гильзы? И как они ее нашли? И откуда узнали?

– Почему одной? – прищурился равшац. – Одна она в реальности, а в новостях будет – массированный обстрел мирной деревни. Вот увидишь. Как нашли? – Не знаю... мальчишка какой-нибудь нашел... – да и какая разница? Откуда узнали? – У Шапиро, брат, денег хватает. А где деньги, там и информаторы. Все просто.

– А что с Арье Йосефом? Нашли что-нибудь? Тело, след?

– Найдешь след после такого дождя, как же... – хмыкнул Питуси.

– Это смотря как искать, – возразил Вагнер. – Окурки же вот нашли. Следопыт говорит, что свежий. Недалеко отсюда нашли, ближе к Гинот. Его это окурки почти наверняка – Арье Йосефа. «Ноблесс», фильтр отломан, чтоб покрепче. Кроме него тут никто так не курил во всей округе.

– И все?

– И все. Надо бы еще походить, так ведь вот – не дают... – Вагнер кивнул на заурожайников. – Лейтенант попытался объяснить, думал, войдут в положение.

– Эти войдут, как же... – мрачно сказал Питуси.

Вагнер усмехнулся.

– Во-во. Шапиро даже слушать не стал. Я, говорит, оккупантам помогать не стану. Лейтенант ему: человек, мол, пропал, что же вы... А одна там – черная такая, худющая, как драная кошка, вдруг как зарет: «Не человек он, а фашист! Оккупант! Его сама земля поглотила! И вас поглотит – всех до единого!» Тьфу!

Равшац с отвращением сплюнул. Заурожайники снова скандировали «смерть оккупантам». Питуси зевнул.

– И долго нам еще... – он осекся на полуслове.

Дружный хор борцов за урожай вдруг сломался, послышались нестройные выкрики, операторы и фотографы повернулись как по команде, а кто-то так и вовсе бросился бегом в нашу сторону. Вагнер вскочил, за ним и мы. Из группы заурожайниц выскочила худая брюнетка – видимо, та самая, о которой только что говорил равшац, действительно похожая на драную помойную кошку. Брюнетка пронзительно визжала что-то неразборчивое, указывая при этом на нас... – нет, не на нас, а куда-то между...

Я присмотрелся и обмер. Истеричка указывала на старого боксера Рокси, которому уже давно наскучило лежать без движения, и теперь он неторопливо прогуливался неподалеку носом вниз, по собачьему обыкновению все расширяя и расширяя круги познания, а то и задирая кое-где лапку для лучшего усвоения изученного материала. Как раз в тот момент он тщательно обнюхивал весьма удобную для отметки глыбу, где наверняка оставили свои подписи едва ли не все окрестные собаки. Именно туда, к Рокси, и неслись со всех ног заурожайные операторы, на ходу прикладываясь к фотоаппаратам и видеокамерам.

Шапиро театральным жестом сорвал шляпу и заорал густым басом, постепенно переходящим в фальцет:

– Смотрите! Они травят нас собаками! Фашисты! Аушвиц! Они! Травят! Собаками!

Я в жизни не встречал существа дружелюбнее и вежливее этого пса. Достаточно сказать, что Рокси был единственной собакой, которая имела негласное разрешение беспрепятственно бегать по поселению, не подвергаясь при этом опасности санитарного отлова. Конечно, кто-то относил этот факт за счет привилегированного положения Питуси как общественного садовника, но главной причиной все же являлся удивительно ровный и приятный нрав старого боксера. Ему просто органически не могло прийти в голову напасть... – да что там напасть! – гавкнуть на кого бы то ни было, даже на кошку, в особенности – на такую драную и страшную, как заурожайная брюнетка.

Мы застыли на месте, не зная, как поступить. Тем временем Рокси, почувствовав неладное, оторвал нос от глыбы, оглянулся и тоже остолбенел. На него смотрели, на него указывали десятки чужих и страшных людей. Кто-то из них вопил, стоя на месте, кто-то, наоборот, мчался, щелкая при этом непонятными блестящими стекляшками, кто-то огибал его с боку, окружая пса и отрезая тем самым дорогу к отступлению. По многолетнему опыту Рокси представлял себе, что столь концентрированное человеческое внимание не может сулить собаке ничего хорошего.

Я видел, как он повернул голову и посмотрел на нас. На собачьей морде застыло выражение совершенно человеческого ужаса. Думаю, что окажись я на месте Рокси, то выглядел бы примерно так же. К счастью, Питуси вышел из ступора раньше всех.

– Рокси! Ко мне! – хрипло выкрикнул он.

Боксер вздрогнул и со всех ног бросился наутек, к хозяину. Увы, между ним и Питуси уже стоял какой-то особо ретивый оператор и, загораживая дорогу, безостановочно щелкал аппаратом. Пес рванулся влево, туда же качнулся и фотограф. Отчаянно взвизгнув, Рокси оттолкнул человека плечом и героическим усилием вырвался из окружения. Заурожайник упал навзничь, к нему, завывая, уже бежали Шапиро сотоварищи.

– Ничего, ничего, ничего... – как заведенный, повторял Питуси, поглаживая прижавшегося к его ногам пса. – Ничего...

На моей памяти это был первый случай, когда лицо садовника на несколько минут утратило свое обычное презрительное выражение. Рокси не издавал ни звука, только дрожал крупной дрожью.

– Фашисты! – крикнул Шапиро, грозя кулаком в нашу сторону. – Убийцы! Вы искалечили человека!

Похоже, что при падении фотограф расшиб локоть и теперь естественным образом превратился в центр внимания демонстрантов. Особенно старалась драная брюнетка. Торопясь грамотно использовать ценную царапину, она вымазала кровью не только лицо жертвы оккупантов, но и свое собственное, и вскоре уже оба наперебой давали интервью перед объективами. Буквально на наших глазах делались мировые новости, вершилась история.

Подошел молоденький лейтенант, тронул Вагнера за локоть.

– Извините, – сказал он смущенно. – Нам приказано сворачивать. Закончим в другой раз.

– Что так? – нахмурился равшац. – Шапиро скоро уйдет, сам видишь. Он уже получил все что хотел: жертвы, собаки, расстрел демонстрации... полный набор. На десять судебных исков хватит. Чего ты еще боишься?

– Да не в этом дело, – помотал головой лейтенант. – У нас тут инцидент. Обстрел машины. Вам еще не радировали?

Словно услышав его, на поясе у Вагнера проснулась рация, захрипела, залопотала на птичьем языке радио-переговоров. Десять минут назад, на шоссе, при подъезде к Эйялю... по гражданскому автомобилю рено-меган, один легкораненый, стрельба одиночными, с обрыва над обочиной... скорее всего, из пистолета.

– Из пистолета, – повторил Вагнер. – Уж не из того ли...

Он не договорил, но все мы прекрасно поняли, что имелось в виду: из пистолета пропавшего Арье Йосефа. Вернее, убитого Арье Йосефа. Честно говоря, это предположение выглядело самым логичным.

5.

Домой я вернулся поздно, совершенно больным. Процедура осмотра места, где обстреляли меган, отняла от жизни несколько часов, казавшихся бесконечными из-за своего бездейственного, утомительного характера. Как оно обычно и бывает в такие моменты, мы занимались только и исключительно тем, что ждали – сначала минера, затем следопытов, службу безопасности, армейского следователя, полицию, командующего округом...

Мы с Вагнером отдувались вдвоем: Беспалого Бенду со своим нравным стариком Узи равшац отослал сразу – от греха подальше, а

садовник Питуси отпросился сам, мотивируя это необходимостью оказания срочной психологической помощи несчастному боксеру Рокси. Старый пес и впрямь пребывал в таком шоке от пережитых эксцессов борьбы за урожай, что впору было везти его к психоаналитику. Ушлый Питуси упирал именно на это, и Вагнер сдался – махнул рукой, хотя любой дурак знает, что несколько телячьих сосисок в придачу к хозяйской ласке способны исцелить угнетенную собачью душу лучше всяких врачей.

К ночи резко похолодало, и на темном шоссе стало совсем тоскливо. В глазах рябило от мигалок военных и полицейских машин, именуемых в просторечии чоколаками. Синие, желтые, красные, малиновые чоколаки метались по отвесному, розовому в свете автомобильных фар обрыву над дорогой, как сумасшедшие зайцы в наркотическом сне. Как и положено сумасшедшим зайцам, они запросто проникали сквозь закрытые веки и принимались шустрить уже в голове, и голова ответно гудела: чоколака... чоколака... чоколака... – и спрятаться от этого было решительно негде.

У выставленного нами заграждения притормаживали легковухи, плавно опускались стекла, высывались лица – знакомые и незнакомые, – водители просили объяснений, я терпеливо бубнил затверженные формулировки. К исходу четвертого часа этих проезжих лиц накопилось нестерпимо много, и теперь они носились по внутренним стенкам гудящей головы наперегонки с чоколаками. Наверное, и выглядел я соответственно – во всяком случае Вагнер встревожился и отвел меня в тойоту. Но унять суету чоколак оказалось не под силу даже нашему бравому равшацу, потомуку лагерного мыла.

– Слушай, Вагнер, – сказал я. – Твои родители из лагеря, мои – тоже. Почему же ты такой крепкий, а я вот – нет?

– Ты болен, – отвечал Вагнер. – Весь горишь. Грипп, не иначе. А насчет лагеря не ври. Твои родители из Москвы, я знаю. И вообще, при мне эту тему не трогай, понял? Мальчишка, идиот.

– Мои родители – из лагеря социализма, – возразил я. – Потвоему, это менее...

Вагнер захлопнул дверцу. Обиделся... А чего обижаться? Также мне, обмылок... ха-ха... Я чувствовал, что несу полнейшую чушь, но никак не мог сосредоточиться. В дополнение ко всем напастям меня вдруг стал разбирать абсолютно бессмысленный, дурацкий смех. В машине работала печка, но от этого почему-то становилось не теплее, а холоднее. Я смеялся и дрожал крупной дрожью, совсем как перепуганный Рокси в ногах у садовника. Не попросить ли у Вагнера телячьих сосисок для исцеления угнетенной души?... ха-ха... Грипп, а? Неслабый вирусок такой, вот ведь прихватил так прихватил...

А может, это вчерашний хамсин догнал меня своим афт-ршоком, как землетрясение? Да, это тебе не Сибир... ха-ха... Здесь, в Сибири, здесь климат иной, идут хамсины одна за одной... ха-ха... Или текст. А при чем тут текст? Разве от текста болеют? Чушь какая-то...

Ну ладно, не совсем даже текст, или даже совсем не текст, а чертова галиматья, которая скопилась вокруг него. Жуть ведь, жуть: вышел человек из дому – и исчез, будто земля его поглотила. И как нарочно тетка заурожайная, на драную кошку похожая, о том же вопила: «Всех вас земля поглотит, всех!» Ну да, можно подумать, что ее самую

не поглотит... — все там будем... но это ведь после смерти, а тут — живого: хап! — и нету. И еще хамсин этот адский, нереальный какой-то хамсин... а потом сразу ливень... и текст... а сегодняшние заурожайники — это что, реально? Даже у крайнего уродства есть край, но здесь вообще что-то запредельное... здесь тебе не Сибирь... ха-ха...

А пистолет Арье Йосефа, только что ранивший здесь, на шоссе, возвращавшегося с работы соседа? А шоколаки разноцветные — это реально? А вирус, непонятно откуда налетевший, скрутивший так, что не пошевелиться? Или я как раз здоров, а болен, наоборот, мир — то замерзающий питусиным сибиром, то парализованный хамсинным жаром, то истекающий ливнем, то беснующийся ураганным ветром, но одинаково бессмысленный в каждом своем проявлении — что крайнем, что промежуточном?

Подошел Вагнер, сел за руль, выдохнул, покрутил головой — устал. Ну если железный Вагнер устал, то уж мне, чайнику, и подавно положено...

— Извини Вагнер, обидел я тебя...

— Чепуха, — отрезал равшац. — Бред — он бред и есть. Тебя домой везти или в больницу?

— Домой, Вагнер, домой. Таблетку приму. Но завтра ты на меня не рассчитывай, слышишь? Пусть Питуси отдувается, жук садовый. А то Рокси возьми — ему, наверное, доктор антидепрессанты прописал... ха-ха... теперь псу — вади по колено.

— Дурак ты, Борис, — беззлобно сказал Вагнер. — Больной, одно слово... Да, если тебе это еще интересно: пистолет-то не наш оказался, не Арье Йосефа. У него йерихо был, а тут гильзы калибра триста восемьдесят, короткие. Браунинг какой-нибудь несерьезный или чезета. Все, поехали.

И мы поехали.

Насилу добравшись до постели, я лег, но довольно быстро понял, что повторяется вчерашняя история. Меня тошнило — тошнило проклятым текстом, его очередной порцией. Пришлось добраться до клавиатуры и выблевать из себя несколько страниц. Скорчившись в кресле, я стучал по клавишам, не думая при этом ни о смысле, ни о стиле, ни о грамотности — ни о чем, кроме избавления от тошнотворных судорог в животе, куда переместилось на тот момент мое больное сознание. И мне действительно становилось легче — с каждой фразой, с каждым абзацем.

Поставив последнюю точку, я уже совсем было собрался вернуться в постель, но остановился, пораженный неожиданной мыслью. Где гарантия, что назавтра не произойдет то же самое, что текст не потребует нового продолжения? Нет-нет, существовала одна-единственная возможность оторвать присосавшуюся ко мне пиявку — опубликовать.

В публикации или даже просто в отправке рукописи кому-нибудь — хоть другу, хоть в редакцию — есть некая отрадная окончательность: закончил, отдал, точка. После этого текст может вернуться к тебе лишь в виде отказа, или похвалы, или глубокомысленных редакторских замечаний — неважно, — главное, что все эти его возвратные ипостаси абсолютно безвредны: на них можно не обращать никакого внимания, игнорировать — и все, капут. Но чаще всего текст не возвращается вообще! Послал и похоронил — что может быть лучше?

Нет склепа надежнее для назойливой рукописи, чем обычный почтовый ящик. Горсть адресов в справочной книге – как горсть гвоздей, вбиваемых в крышку гроба.

Наколотив побольше гвоздей, я отправил текст в его последнее странствие и лишь тогда вздохнул с облегчением. Тошноты как не бывало; даже температура вроде как спала... А вот и благостная зевота... я залез под одеяло и заснул светлым сном свободного человека.

Наутро я чувствовал себя почти здоровым, но решил не рисковать и даже сходил в поликлинику за справкой, формально освободившей меня от Вагнера, университетских семинаров и старика Когана. Два следующих дня я безвылазно сидел дома, читал, смотрел старые фильмы по ящику и принципиально не подходил к телефону. Мне почти не мешали, лишь Вагнер заехал проверить, жив ли я, неодобрительно покрутил носом, увидев, что жив, и тут же попытался мобилизовать меня как симулянта на учебную тревогу; хорошо справка выручила. По словам равшаца, тело Арье Йосефа так и не обнаружили, и армия прекратила поиски по причине очевидной их бесполезности. Теперь дело перешло к службе безопасности, больше полагающейся на своих информаторов и на электронную прослушку.

Я твердо намеревался отдыхать как минимум неделю. Но уже вечером второго дня зашел Карп, принес деньги и, едва выпустив их из рук, поинтересовался, как скоро я смогу вернуться к старику Когану и его мемуарам. Деньги были честно заработаны, но взяв их, я отчего-то почувствовал себя неловко и, ненавидя себя за мягкотелость, стал договариваться на послезавтра. Как говорит в таких случаях презрительный садовник Питуси, кто фраером родился, тот фраером и помрет. Закрыв дверь за Коганом-младшим, я уже не смог вернуть прежнее пофигистское расположение духа: злился, слонялся из угла в угол, все с меньшим и меньшим успехом притворялся, будто не замечаю укоризненного вида отключенного телефона и наконец, сдавшись, включил и его, и компьютер.

Результаты оказались вполне предсказуемы: телефон немедленно отплатил мне серией неприятных звонков, интернетовская почта – серией неприятных писем. Деканат университета прозрачно намекал на то, что моя болезненность граничит с вопиющим нарушением дисциплины, бывшая жена возмущалась размерами алиментов, выход книги задерживался, издатель просил пока не вкладывать уже высланный чек, армейский друг приглашал на брит, а значит, требовалось кровь из носу наскрести денег на подарок...

Обычно в таких ситуациях я впадаю в некоторую рассеянность, подобно боксеру, на которого сыпется град ударов. По отдельности каждый из них, возможно, не так и силен, но уж больно их много, и все разом... – так что надеяться остается либо на гонг, либо на милосердного судью – не зафиксирует ли нокаут? Впрочем, и то, и другое означает всего лишь временную передышку: в первом случае – короткую, во втором – длинную... – разницы, в общем, нет, поскольку так или иначе в конце концов забьют до смерти.

Итак, я рассеянно открывал мейл за мейлом, нечувствительно водил глазами по строчкам – угрозам, упрекам, колкостям, удалял не подразумевающие ответа сообщения и почти облегченно вздыхал, натываясь на невинный спам, неизвестно как просочившийся сквозь

сито бдительного Гугла. О, как хочется в такие моменты, чтобы подобного рекламного мусора было побольше: по крайней мере, предложение купить виагру, нарастить детородный орган, а затем уже поехать на балет, живо напоминает о существовании иных, нетленных, героических, хотя и почти утраченных ценностей...

Неудивительно поэтому, что поначалу я отнес письмо, озаглавленное «В поисках утраченного героя», именно к этому прекрасному типу и уже совсем собрался было кликнуть мышкой по кнопке «Удалить», как вдруг сообразил: да это же он, мой болезнетворный текст! Явился – не запылится, вернулся – не навернулся, и как быстро!

Внизу, куда я посмотрел прежде всего, стояла подпись: Елена Малевич. Просто – «Елена Малевич», без каких-либо титулов типа «ответственный секретарь», «редактор отдела прозы» или «замзав по культуре». Странно... После обычных приветствий госпожа Малевич сообщала, что на внештатных началах помогает некоему тельавивскому издательству отфильтровывать совсем уж беспомощную чушь из мутного потока приходящих по электронной почте рукописей. Она так и выразилась: «из мутного потока». Моя рукопись, жанр которой госпожа Малевич пока не может определить, поразила ее своей необычностью.

«Мне не хотелось бы, чтобы это пробудило в Вас ненужные надежды, – писала она. – Редакторы нашего издательства – люди весьма ограниченные, чтоб не сказать тупые. Не думаю, что кто-то здесь в состоянии оценить красоту и силу Вашего текста. Конечно, я переслала его, что называется, по инстанции, сопроводив при этом самой восторженной рекомендацией – чем черт не шутит? Но если смотреть на вещи реально, положительное решение кажется практически невозможным. Думаю, что Ваш замечательный пес Рокси не поставил бы даже конфетного фантика против килограмма телячьих сосисок на столь маловероятный исход.»

Вот этим она меня и купила – чего уж теперь скрывать... Элементарная логика самосохранения подсказывала, что я должен ограничиться формальной вежливой отпиской, а еще лучше – просто стереть это странное письмо. Ведь текст уже закончен, отправлен, похоронен – вот пусть и плывет теперь куда хочет, куда несут его в мутных потоках интернета погребальные лады моих безответственных мейлов! И вообще, «безответственных» – значит «без ответа». Нужно было всего лишь оставить послание госпожи Малевич без ответа – и все, точка. Но этот конкретный «конфетный фантик против килограмма телячьих сосисок» решил дело в неправильную сторону. Конфетный фантик этого превосходного образа перевесил многие килограммы резонных соображений моих телячьих мозгов.

«Но я решила написать Вам, – продолжала Елена Малевич, – не только и не столько для того, чтобы выразить свое восхищение текстом, сколько по другой, намного более важной причине. Видите ли, я – корректор, причем весьма и весьма квалифицированный. В современном издательском деле эта профессия не слишком востребованна. Страницы нынешних газет, журналов и книг пестрят чудовищными грамматическими ошибками, и это мало кого волнует.

Но поверьте моему слову: даже одна-единственная не на своем месте стоящая запятая выпирает из текста, как дохлая вмерзшая в лед ворона выпирает из гладкой поверхности катка. Она

мало помешает тем, кто скользит по катку одним лишь взглядом, да и то не очень внимательно. Но по-настоящему хороший читатель – тот, который самолично спускается на лед, – непременно зацепится за нее коньком. Неужели Вам не жаль хороших читателей?»

Что ж... Сам я учился в ивритской школе, а русскую грамматику знал из университетского курса и стихийно – из чтения. Но мне не раз приходилось слышать похожие жалобы от старших товарищей по университету. Пожилые профессора с ностальгией вспоминали те давние времена, когда печатали мало, на плохой бумаге, зато без ошибок в синтаксисе, не говоря уж об орфографии. По их словам, в последнее десятилетие хорошие корректоры почти напрочь исчезли из русскоязычной печати. Новых не появлялось, а прежние быстро вымирали, хотя слухи и утверждали, что кое-где еще можно сыскать какую-нибудь седенькую старушку, способную правильно расставить знаки препинания. Видимо, госпожа Малевич и была одной из таких легендарных старушек.

Далее она писала, что могла бы охотно подправить мой текст, приведя его в удобочитаемый вид, но для этого требуется формальное разрешение автора, поскольку самовольно она никогда не осмелилась бы исправить в чужом сочинении даже очевидную опечатку.

«Коими, – не без яда заканчивала госпожа Малевич, – Ваш замечательный текст богат настолько, что это заставляет предположить, будто Вы не взяли на себя труд хотя бы раз просмотреть его на предмет проверки.»

Прочитав последний пассаж, я не мог не расхохотаться. Просмотреть еще раз! С таким же успехом можно было бы предложить жертве изнасилования добровольно вернуться к насильнику! Хорошо, что почтенная старушенция не видела, как писался этот «замечательный текст», – столь жестокое зрелище вполне могло бы уменьшить еще на единицу и без того исчезающий класс хороших корректоров.

Так, с неостывшей улыбкой на устах, я и настучал ей ответ – не только неоправданно длинный, но и неоправданно личный по своей интонации. Помимо стандартных благодарностей, оборотов типа «почту за честь» и прочих уважимок, он содержал совершенно необязательные объяснения, касающиеся моего душевного состояния, здоровья и других сугубо частных обстоятельств. Зачем? А черт его знает...

Тут, несомненно, сложилось многое – и уже упомянутый «конфетный фантик», и не менее чудесная «дохлая ворона», и чрезвычайно почтенный, чтоб не сказать легендарный профессиональный статус моей корреспондентки, и уважение к ее вымирающему литературно-биологическому виду, и моя болезнь, и дурные новости, и сиюминутное настроение... – все, все.

Но было в этом и что-то мистическое: назойливый текст отказывался умереть и отпустить таким образом на волю своего автора, свою жертву. Зная, как бесполезно возвращаться ко мне обычными путями – отфутболю тут же, без малейших колебаний, – он изобрел крайне замысловатую траекторию и в итоге достиг своей цели. Он по-прежнему оставался на карте моей жизни и тем самым продолжал предъявлять претензии на меня, на мою свободу. Он продолжал владеть мною – пока еще очень слабо, краешком, дальним намеком, но я чувствовал, что наглец намечает экспансию, и нужно держать ухо востро.

Впрочем, давая согласие на корректуру, я рисковал немногим: в конце концов, можно даже не открывать исправленный файл, а просто поблагодарить и на том закончить. В тот вечер будущее развитие событий казалось мне совершенно определенным: требовалось всего лишь щелкнуть по кнопке «В архив», а то и по кнопке «Удалить», и этим щелчком снова сбросить текст с карты в небытие – на сей раз навсегда.

Уже отправив госпоже Малевич ответное письмо, я вдруг осознал, что это еще не конец, что какая-то загадка так и осталась неразрешенной – прежде всего потому, что никак не поддавалась четкой формулировке. Как неясная тень в призрачном лесу, она маячила где-то на грани окова и ловко пряталась за дерево, стоило мне только повернуться в ее сторону. По опыту я знаю, что с подобными шутниками следует разбираться немедленно. В голове и так слишком много мусора, чтобы оставлять на потом еще и такие игривые наваждения – ведь они имеют паршивую привычку высказываться позднее в самые неожиданные моменты.

Мне пришлось несколько раз перечитать письмо Елены Малевич, прежде чем разгадка наконец обнаружилась – и не в самом письме, а в заглавии. Я ведь не давал своему тексту названия – так и отослал безымянным, не знаю почему. Возможно, истинная причина заключалась в том, что обладатели имени всегда попадают в какие-нибудь списки, реестры и интернет-индексы, в то время как неназванный объект словно бы и не вполне существует, а потому его намного легче забыть, ликвидировать, уничтожить. Так политики и генералы предпочитают возлагать венки к памятникам неизвестному солдату, чтобы никто не упрекнул их за конкретные размеры потерь.

Вот и моему тексту предназначалась судьба неизвестного солдата – неизвестно, был такой вообще или нет? Но если бы я все-таки решил дать ему имя, то оно выглядело бы именно так, как заголовок письма госпожи Малевич – «В поисках утраченного героя». Как она ухитрилась догадаться? Конечно, поиски пропавшего персонажа составляли главное содержание этих двадцати страничек; возможно, внутри, в тексте, встречалась похожая формулировка... или даже в *точности* такая, не помню. И все же – какой проницательностью, каким тонким пониманием болезненной, сумбурной рукописи надо было обладать, чтобы сделать столь уверенный и точный вывод! Не прочитала же корректор Елена Малевич мои мысли на расстоянии...

Она ответила в тот же вечер, когда я уже собирался идти спать. Сперва это не показалось мне странным: корректура двадцати страничек не должна занимать много времени, даже если они изобилуют ошибками. Я же писал довольно грамотно, если закрыть глаза на некоторые хронические проблемы с синтаксисом. Странности начались, когда я открыл исправленный файл. Да-да, открыл, хотя еще несколько часов назад твердо намеревался не совершать подобной ошибки. Почему же все-таки?..

Да потому, что не открыть его было бы натуральным свинством – вот почему! В сопроводительном письме госпожа Малевич давала детальные пояснения проделанной работе. По ее словам, следовало провести четкое различие между очевидными ошибками и неоднозначными, сомнительными моментами, требующими повторной оценки. Ошибки и опечатки корректор исправляла сама, выделяя

эти места голубым цветом, чтобы я сразу видел, где и что подверглось изменениям.

«Что же касается фрагментов второго рода, – писала она далее, – то я позволила себе выделить их желтым и сопроводить при этом подробными комментариями. С их помощью Вы можете сами решить, какой именно смысловой трактовке соответствуют эти грамматические конструкции. И еще одно: мне бы очень хотелось увидеть результаты Вашей окончательной правки – просто для того, чтобы понять, насколько они совпадают или, наоборот, противоречат моим собственным догадкам. Пожалуйста, не отказывайте мне в этом удовольствии...»

Ну, и мог ли я после этого не открыть файл? Как ни крути, а пожилой уважаемый человек оказал мне услугу, причем – в высшей степени квалифицированную, редкую по нынешним временам – и сделал это абсолютно бесплатно, не требуя ничего взамен. А что услуга эта не слишком-то мне и требовалась, даже наоборот, в некотором роде противоречила моим планам – так это ведь мои личные тараканы, проблемы и синдромы, госпожи Елены Малевич совсем не касающиеся... Я представил себе, как маленькая, высохшая старушенция сидит перед компьютером – наверняка принадлежащим не ей, а внуку, – сидит, выдержав нешуточный бой за одно лишь право подойти к клавиатуре, – сидит и, мелко трясая седенькой головой, правит мой чертов текст... Имел ли я право отказать ей в испрошенном удовольствии, отделаться надменным «спасибо», а то и вовсе оставить без ответа?!

И я потянулся к мышке, гоня от себя неприятную мысль о том, что ящики Пандоры не исчезают, а всего лишь приобретают новые наименования – например, «файл».

О, там было на что посмотреть! Нет, меня удивило даже не обилие голубого – хотя я никогда не предполагал, что могу совершить такое количество ошибок, квалифицированных госпожой Малевич как «очевидные». Поражало другое: то, с какой тщательностью и вниманием она отнеслась к так называемым «сомнительным» местам. Каждая такая фраза была снабжена подробнейшим комментарием, включающим примеры из классиков и ссылки на интернетовские грамматические сайты. Набранные мелким шрифтом, эти комментарии превышали объем исходного текста едва ли не втрое!

Этот гигантский труд не мог быть проделан в течение двух-трех часов. Госпожа Малевич корпела над моей рукописью сутки, если не больше. Не знаю, трясла ли она при этом седенькой головой, но то, что работа над текстом началась еще до моего разрешения, не подлежало никакому сомнению. Что ж, ладно... взялся за гуж...

Я благоразумно отложил правку на завтрашнее утро и не ошибся. Грамматические хитросплетения требовали свежей головы, хотя корректор и постаралась разжевать для меня смысл каждого варианта. Закончить удалось лишь после полудня; я откинулся на спинку кресла и еще раз пролистал текст. Что и говорить, теперь он выглядел иначе: в его облике появилось некоторое щегольство, и это, возможно, даже радовало глаз. А может, и не радовало – черт его знает...

Меня вдруг одолела зевота – правка вышла не только долгой, но и утомительной. Так вот, зевая, я закрыл файл и немедленно отослал его госпоже Елене Малевич, корректору, – с благодарностью и наилучшими пожеланиями в семейной и личной жизни.

6.

Старик Коган встретил мое возвращение необычно. Вместо того чтобы, как всегда, буркнуть что-то неразборчивое и сразу повернуться спиной, он пристально оглядел меня и проскрипел, покачивая головой:

– Хорошо выглядите...

На его языке это должно было означать крайнюю степень приветливости. Впрочем, уже на лестнице, следуя за стариком в комнатку на втором этаже, я осознал, что скорее всего мой клиент хотел выразить таким образом сомнение в том, что я действительно болел, а не, напротив, злостно симулировал. Эта догадка подтвердилась немедленно после того, как мы заняли свои привычные места – он в кресле, я – на неудобном стуле напротив окна.

– Мне вот с семи лет никто не позволял симулировать, – сказал старик, дернув уголок толстогубого рта. – Наказывали так, что потом уже не хотелось...

Я не стал вступать в бессмысленный спор – зачем? Опыт общения с Коганом учил, что нужно как можно быстрее поставить его на накатанные рельсы воспоминаний, а там уж клиент плавно переплывет сам по себе, не слишком обращая внимания на меня, слушателя. Поэтому я немедленно построил вопрос-стрелку, плавно переключающий разговор на магистральный путь.

– Неужели Гусарова вас наказывала, Эмиль Иосифович?

– При чем тут Гусарова? – он недоуменно взглянул на меня. – Я пробыл у Анны Петровны всего несколько месяцев. Затем меня забрали.

– Забрали? Куда? Кто?

– Куда... кто... – раздраженно фыркнул старик. – Похоже, вы и вправду болели – как с луны свалились. Мне нужно, чтоб вы поняли. Кто тогда забирал? – Вот они и забрали.

Коган неестественно распрямился и произнес четкой скороговоркой, глядя мимо меня, словно рядом за столом сидел еще и какой-то другой, одному лишь старику видимый собеседник, принципиально воспринимающий лишь такие рубленые канцелярские обороты:

– Как член семьи изменников Родины. По достижении школьного возраста. С определением в исправительный интернат-детприемник. Имени вождя германского пролетариата товарища Августа Бебеля.

Похоже, мой невидимый сосед по столу остался доволен, потому что старик Коган снова обмяк в кресле и после небольшой паузы продолжил свое повествование. Я вздохнул с облегчением: стрелка переключилась, поезд вышел на очередной длинный перегон и теперь почешет без остановок. А значит, можно расслабиться и потихоньку думать о своем, не обращая внимания на занудный стариковский бубнеж. Что я и сделал.

Но ненадолго – уж больно странные вещи пришлось мне услышать на этот раз. Жизнь осиротевшего ребенка в детдоме ужасна по определению. Особенно это касается детей, разом выхваченных из счастливого семейного бытия, как из теплого пухового одеяла – голышом в мерзлую слякотную лужу. Еще недавно они были объектом всеобщего обожания – центром, вокруг которого, как в галактических молочных системах, вращались, истекая любовью и лаской, теплые мамы, надежные папы и бесконечно добрые бабушки. И вдруг – нет

никого, лишь вселенское одиночество, заброшенность, ничтожество. Вчера ты представлял собой главную мировую ценность: требовал, капризничал, падал, добиваясь своего, на пол, закатывал истерику, и все домашние хлопотливо сбегались поднимать и успокаивать. Сегодня падать нельзя: сбегаются не поднять и успокоить, а избить ногами, затоптать насмерть.

Жизнь превращается в выживание – некогда в ней были желания, ныне остались лишь правила, простые и страшные: что съел, того не отнимут... сильному не перечь... слабого оттолкни... не высывайся... расслабься, когда старшие сдергивают с тебя штаны... Когда-то ты отказывался от каши, от морковки в бульоне; теперь согласен на отбросы, на древесную кору, на собачье дерьмо – на все, что способен переварить ноющий, бурлящий голодом живот.

Интернат, куда привезли малолетнего чсира Эмочку Когана, находился в прикамском городке – голодном центре голодного района с преимущественно татарским голодным населением. Любой гость из господствующих столиц выглядел здесь незванным и был изначально хуже местного татарина. Это обстоятельство, а также принадлежность к отверженной касте, делали жизнь обитателей детской тюрьмы невыносимой в кубе.

В кубе огромной нетопленной спальни, где стояли железные панцирные кровати, невыносимо скрежетавшие в общей подавленной, придавленной ужасом тишине, когда кого-нибудь насиловали или били. В кубе столовой, заросшей плесенью по стенам и жирной грязью по потолку, где нужно успеть выпить свою баланду по дороге от раздачи к столу, чтоб не отобрали. В кубе так называемого класса – единственного места, где можно отдохнуть от постоянного страха. В кубе карцера, где ребенку выжить почти невозможно, потому что трудно конкурировать в этом с сильными и многочисленными крысами.

– Я бы и не выжил, – сказал старик Коган. – Ведь в дополнение ко всему я был еще и жиденышем. Чсир, да еще и это. Таких в интернате ненавидели больше всего. Мне нужно, чтоб вы поняли.

Думаю, я понимал. Даже законченное человеческое отребье не любит сознавать себя отребьем. Даже самый безжалостный садист не хочет быть плохим в собственных глазах. Кого же тогда обвинить в совершаемых мерзостях? – жертву, кого же еще... Вор непременно обвинит обворованного, палач – казнимого, мучитель – замученного. Обвинит и возненавидит. И чем больше зла причинит, тем больше будет ненавидеть, тем страшнее будет карать – и за что? – за свою же гадкую низость.

Персонал того прикамского детприемника обладал в этом смысле немалым преимуществом перед обычными ворами и садистами из obsługi обычных детских домов: у прикамских имелись *реальные* причины ненавидеть своих воспитанников. Во-первых, те были питерцами и москвичами, во-вторых – контрреволюционерами. Но даже среди самых отверженных обязательно найдутся еще худшие, еще более ненавистные парии – такие, например, как семилетний Эмочка Коган, жиденыш.

– Но я выжил... – старик поднялся с кресла и снял с книжной полки черно-белую фотографию в рамке. – Благодаря этому замечательному человеку. Вот, смотрите. Это Карп Патрикеевич Дёжкин. Он

меня воспитал, поднял и дал путевку в жизнь. Карп Патрикеевич, светлая ему память...

Старик Коган нежно погладил фотографию и поставил ее передо мной на стол. Не осмеливаясь осквернить реликвию прикосновением рук, я наклонился, чтобы рассмотреть поближе.

Снимок запечатлел мужчину и мальчика, стоящих на фоне бревенчатого частокола, довольно высокого, потому что небо над ним виднелось лишь тоненькой светлой полоской. Сначала я посвятил все свое внимание мальчику, но как ни старался, не смог найти даже минимального сходства с нынешним стариком Коганом. Просто незнакомый мальчик лет десяти – худенький, длиннолицый, испуганный, стриженный под ноль, в подпоясанной тонким ремешком гимнастерке, коротких не по росту штанах и драных ботинках.

– А вы сильно изменились, Эмиль Иосифович...

– Мальчик на снимке – не я! – сердито отвечал старик. – Что вы на него уставились? Вы на Карпа Патрикеевича смотрите! К сожалению, со мной Карп Патрикеевич не сфотографировался... я уж так просил, так просил...

В голосе его звучало глубокое сожаление. Я сочувственно кивнул и стал разглядывать мужчину. С первого взгляда Дёжкин производил крайне неприятное впечатление. Со второго – еще худшее. Низкий покатый лоб, мощные надбровные дуги и квадратная челюсть делали его похожим на пещерного человека. Это впечатление еще больше усиливалось деталями общего облика: приземистой широкоплечей фигурой, короткими тумбообразными ногами в сапогах и особенно руками, поистине устрашающими. Правая, свисающая чуть ли не до колена, заканчивалась крупной тяжелой кистью с толстыми пальцами – полусогнутыми в очевидной готовности к немедленному хватательному движению. Левая по-хозяйски лежала на худеньком плече мальчика и сама по себе могла быть достаточной причиной его испуга.

– Ну что? – поторопил меня старик Коган. – Не правда ли, благороднейшая внешность?

– М-да... – неопределенно промямлил я. – Впрочем, часто внешность бывает обманчива...

Коган победно усмехнулся.

– Но не в случае Карпа Патрикеевича!

– Погодите, погодите... – вдруг догадался я. – Это в его честь вы называли...

– Сына? – подхватил старик Коган. – Конечно! Это минимальное уважение, которым я мог почтить его память.

Он снова взял в руки фотографию, глаза его увлажнились.

– Почему же он не стал с вами фотографироваться? – спросил я, желая подтолкнуть старика к дальнейшему рассказу. – Особенно если вы так просили...

– Не захотел фотографироваться с жиденышем, – объяснил Коган и бережно вернул снимок на полку. – Не любил жидов Карп Патрикеевич, на дух не переносил. И поделом. Мне нужно, чтоб вы...

– Секундочку, Эмиль Иосифович, – перебил я. – Вы хотите сказать, что Карп Патрикеевич тоже называл вас жиденышем?

– Тоже? – повторил старик. – Что значит «тоже»? Он первым назвал меня так. И по-другому уже не называл. До самого конца. Даже когда брал к себе.

– К себе?

– Ну да. К себе в комнату. В семь лет это стало для меня настоящим спасением от общей спальни. Давал хлеб, угощал печеньем. Ну и ласка тоже, сами понимаете...

Я смотрел на него разинув рот. Услышанное отказывалось уложиться в моей голове. Сознание выталкивало рассказ старика Когана, как вода – пробку. Он был начисто несовместим с человеческим разумением.

– Ну что вы так на меня смотрите? – раздраженно выпалил старик. – Да, Карп Патрикеевич имел понятные *человеческие* потребности. Он благородно посвятил свою жизнь воспитанию чужих детей, так что на собственную семью у него не хватило ни времени, ни сил. Мы за счастье почитали сделать ему приятное.

– Минимальное уважение... – сказал я через силу, только чтобы что-то сказать.

Да-да, только чтобы что-то сказать... потому что иначе меня бы вытошнило прямо на колени клиенту.

– Вот именно! – подхватил старик Коган. – Минимальное уважение. Мне нужно, чтоб вы поняли...

Я слушал и кивал, как китайский болванчик. Карп Патрикеевич... Почему эта грязная горилла в сапогах, этот неандерталец с руками ниже колен, отвратительный насильник и, несомненно, убийца, ежедневно терзавший в своем логове беззащитных детей, подонки, животное, превратившее изнасилование в обычную практику жизни... – почему эта невообразимая, наипоследнейшая в самой мерзкой иерархии мерзостей мразь стала для старика Когана моральным образцом, нетленным светочем, вечной памятью? Почему? Как такое могло случиться? Как?

Карп Патрикеевич Дёжкин служил в детприемнике старшим воспитателем. Начинал на месте сторожа и истопника, но затем быстро продвинулся – вследствие тотальной чистки преподавательского состава, заблаговременно избавившей специнтернат от лиц чуждого происхождения. Сам Дёжкин пришел в революцию из приказчиков, а потому считался всего лишь социально-близким. Это существенно ограничивало перспективы дальнейшего карьерного роста, хотя по морально-волевым качествам он наверняка мог бы дойти до кремлевского кабинета сколь угодно высокого ранга.

Впрочем, простую, как большевицкая правда, систему приоритетов Карпа Патрикеевича определяли вовсе не честолюбивые устремления. Его главной и единственной духовной потребностью помимо трех физических – жратвы, опорожнения и тяжкого, с храпом и присвистом, сна – была страсть к мальчикам. В этом смысле интернат для детей изменников Родины представлял собой вершину карьеры воспитателя Дёжкина.

Внешний вид поступающих в учреждение змеенышей не оставлял никаких сомнений в подлой измене их родителей. Пухлые, упитанные, хорошо одетые, с чемоданчиками, набитыми невиданными шмотками, они немедленно вызывали у любого жителя разутого-раздетого голодного Прикамья вполне оправданную реакцию отторжения. Разве что Карп Патрикеевич реагировал иначе, но и он ради пользы дела предпочитал до поры до времени сдерживать приятные позывы организма. Кандидата на проживание в комнате старшего воспитателя

следовало прежде всего хорошенько размягчить: Дёжкин не терпел капризов и слез.

Необходимая степень готовности достигалась быстро: уже к концу первой недели шпионское отродье полностью осознавало, что нет и не может быть на свете ничего хуже ночей в общей спальне и что спасения ждать неоткуда. Взрослый человек в такой ситуации ищет утешения в смерти или хотя бы в мыслях о ней; но ребенок лишен и этой возможности – ведь по малости лет он еще не успел познакомиться с ней даже понаслышке. Взрослый знает, что страдания рано или поздно закончатся; ребенок же попадает прямоком в ад, ибо уверен в вечности происходящего.

Избитый, униженный, безнадежно одинокий, дрожащий от холода и ужаса, лишенный прошлого – чемоданчика, отнятого в первые же минуты, теплого белья, содранного с тела грубыми безжалостными руками, даже самой памяти, выбитой из души насилием и побоями, – он просто теряет рассудок, превращается в кусок плоти, в комок запуганной человеческой глины, из которой можно лепить все что угодно, все что угодно... И вот тут-то на худенькое мальчишеское плечо опускается тяжелая обезьянья лапа старшего воспитателя Карпа Патрикеевича Дёжкина.

С этой минуты ребенку обеспечены защита и покровительство, хлеб и печенье, внимание и ласка – страшная, неприятная, не слишком понятная, но ласка. И так – пока Карпу Патрикеевичу не надоест, пока не прибудет следующий кандидат в близкие воспитанники, пока не вышвырнет Дёжкин из своего вонючего рая драную половую тряпку.

– Мне повезло больше других, – сказал старик Коган, ностальгически улыбаясь. – Карп Патрикеевич уделил мне намного больше времени, чем обычно. Так уж получилось. Красивый, здоровый мальчик. Говорили, что я копия матери, а она славилась своим обаянием... И вообще – новенькие тогда поступали нечасто, не то что во второй половине тридцатых. Карп Патрикеевич называл меня «мой жиденыш». Сначала я не слишком понимал, что означает это слово.

Конечно. Да и откуда он мог это знать, семилетний мальчик, с рождения получавший привилегированное домашнее воспитание? Карп Патрикеевич восполнил этот вопиющий пробел – неторопливо и основательно, как и все, что он делал, будь то удовлетворение потребностей – трех физических и одной духовной – или порка провинившихся, после которой если и вставали, то ненадолго. По словам Дёжкина, все зло в мире происходило от жидов, свидетельством чему являлись голод и разруха, царившие вокруг его комнаты и отчасти даже в ней самой.

– Взять хоть твоего папашу-комиссара, жида поганого, – говорил он мальчику в благодные минуты отдыха от удовлетворения потребностей. – Сколько душ христианских загубил, сколько хат пожег... Хорошо нашли люди управу на татя, а сколько еще таких, знаешь? А-а, то-то и оно... Вот и я не знаю. Много вас, тараканов, давить – не передавить.

Больше всего на свете малолетний чсир Эмочка Коган хотел бы родиться заново, пусть даже и чсиром, но только не жиденышем, а лучше всего – нормальным человеком, таким как Карп Патрикеевич. Он ненавидел свою жидовскую фамилию, свое жидовское имя. Он мечтал стать Дёжкиным – некоторым детям в интернате давали новые биографии, и Эмочка, выбрав момент, обратился к Карпу

Патрикеевичу с соответствующей просьбой. Вообще-то воспитатель бил его редко, но на сей раз не сдержался, отвесил такую оплеуху, что мальчик слетел с кровати.

– Думай, что говоришь! – сказал Дёжкин всхлипывающему воспитаннику. – Жиденышу такую фамилию марать? Ишь ты, таракан пархатый...

– Я не хочу быть жидом... – пролепетал Эмочка. – Не хочу...

– Видали, люди добрые? Не хочет он... – усмехнулся Карп Патрикеевич, словно призывая в свидетели невидимую, но физически осязаемую толпу добрых людей. – Вот прежде покайтесь перед людьми, а там посмотрим. Покайтесь, ироды!

Так, собственно, и открылись перед тогда еще семилетним стариком Коганом две главные жизненные истины: об извечной преступной жидовской греховности и о возможном ее искуплении посредством всеобщего жидовского покаяния. Именно всеобщего – на этом Карп Патрикеевич настаивал особо. Из-за этой круговой ответственности получалось, что никакие *личные* усилия не в состоянии спасти маленького мальчика, замаранного принадлежностью к подлому племени. Он мог поменять имя, фамилию, паспорт, запись национальности в паспорте, переломить переносицу и надрезать веки, чтобы сделать нос более курносым, а глаза – менее выкаченными – все это не меняло ровным счетом ничего. Пока не покаются все жида – все до единого! – Эмочка Коган обречен был оставаться жиденышем. Обречен.

Старик Коган наклонился вперед и схватил меня за руку.

– Мне нужно, чтоб вы поняли, – произнес он с силой, делая упор на каждом слове. – Поняли, как это понял тогда я. Нам надо покаяться. Пока мы не покаемся, не будет покоя ни одному из нас. Это очень, очень важно. Мне нужно, чтоб...

Я резко выдернул руку и встал. Меня тошнило.

– А если не пойму, тогда что? – выдавил из себя я. – Тогда что? Сами насиловать станете или Карпа Патрикеевича позовете?

Старик молчал, сверля меня напряженным взглядом. Казалось, он ничуть не удивился моей реакции. Я выскочил на улицу; прозрачный голубой воздух освежающей салфеткой прижался к лицу и отпрянул, смеясь. Небесная глубина тянула душу вверх за собой, и ступеньки многочисленных лестниц, всегда готовых здесь для любого Якова, ласково позвякивали где-то там, в далеких высях. Внизу же ветра не было совсем, что, если разобраться, представляло собой единственную заботу: нет ветра – значит, нет дождя, значит – лишнее беспокойство подсохшей почве и истощившимся подземным озерам.

И все, понял? Мне нужно, чтоб ты понял: эта забота – единственная, и нету других забот, как поется в старой хорошей песне. Выбрось из головы этого сбрендившего старикана. Но все же – каков, а? Каков?.. Вот уж экземпляр так экземпляр...

Дома я сразу включил компьютер. Хотелось как можно скорее отвлечься от старика Когана, образ которого отвратительной жабой то и дело выныривал на поверхность... На поверхность чего? – Сознания? Или болота? Ха-ха, очень смешно... вот не имей дело с жабами – не будет тебе и болота...

Почтовый ящик выглядел в точности как вчера: несколько неприятных новостей, рекламный мусор и письмо от корректора Елены Малевич. Я усмехнулся: этак, чего доброго, одно странное письмо

превратится в странную переписку... Хорошо, что хоть здесь нет ничего похожего на жаб – лишь чистое искусство ради искусства, игра в бисер, жонглирование знаками, тонкая переключка смысла и синтаксиса.

«Я вынуждена извиниться перед Вами, – писала она. – Повторная проверка показала, что в ряде случаев мною допущены неточности в трактовке фраз. Некоторые опечатки я ухитрилась и вовсе пропустить. Такое случается, когда не удается в нужной мере отрешиться от текста. Не ищу себе оправданий, но упомянутую меру вообще найти очень трудно: если текст сильно влияет, подчиняет себе, то корректор невольно перестает замечать ошибки. Но и полное отрешение вредно: теряешь смысл предложения, интонацию прозы. Пожалуйста, учтите исправления, сделанные в приложенном файле. Кроме того, у меня есть ряд вопросов, если позволите...»

Вопросы госпожи Малевич касались решений, которые были приняты мною в предыдущей правке: некоторые из них казались старушке не вполне оправданными, и она полагала, что, возможно, мне следует дополнительно подумать над этими местами. Честно говоря, это уже сильно выходило за рамки традиционной корректуры. Обычно подобные замечания – прерогатива редактора. Но редактор – он редактор и есть: ему по долгу службы предписано елозить по рукописи своими сапожищами, втапывая ее в нужный размер, в правильную политическую линию, в господствующий эстетический шаблон – или во что они там еще втапывают попадающие им под ногу тексты. В устах же корректора, даже самого квалифицированного, подобное вмешательство выглядело совершенно неоправданным, чтоб не сказать наглým.

Скорее всего, в другое время я не на шутку бы рассердился. Но в тот вечер, после мерзких откровений старика Когана, любой чистый человеческий голос казался мне редкой ценностью. Предложенная старушкой игра в бисер была на тот момент единственным способом отвлечься от неприятных мыслей, и я принял ее, почти не колеблясь, – то есть не только воздержался от резкого ответа, но напротив – честно проанализировал указанные корректором сомнительные места и составил краткую записку, объясняющую каждое мое конкретное решение.

В постскрипуме госпожа Малевич интересовалась новостями о судьбе Арье Йосефа. Прочитав это, я смутился: вряд ли в последние дни мне хоть раз вспомнился пропавший сосед. Коря себя за бездушие, я набрал номер Вагнера. Равшац ответил не сразу, в голосе его звучала приветливая расслабленность.

– О, вот и Борис! Ты где, дома? Приходи к Питуси, мы тут как раз собрались. Только тебя не хватает.

– Что, инструктаж?

– Да нет, просто так. Сидим на веранде, трындим о том о сем... Давай присоединяйся.

Я живо представил себе традиционные посиделки нашей боевой группы на веранде у садовника: дюжина пузатых мужиков, огромное блюдо с солеными баранками на столе, горы подсолнечных и арбузных семечек и – судя по голосу Вагнера – несколько бутылей арака, поочередно идущих по кругу. Пойти и мне, что ли? Арак мог поправить настроение еще лучше, чем литературная игра в бисер. Вот только шум... Вагнерово «трындим о том о сем» в реальности означало, что каждый говорит вовсе не о том и не о сем, а о чем-то сугубо

своем, заветном, при этом принципиально не слушая и не слыша соседа: о футболе, о политике, о соседях, о ценах на акции, на доллар, на бензин, на семечки... Вернее, даже не говорит, а вопит во весь голос, чтобы услышать хотя бы самого себя, а потому на веранде стоит ужасающий гвалт, загустевший студень из словесной и семечковой шелухи.

Этот мощный звуковой фон был превосходно слышен в телефонной трубке, пока Вагнер молчал, ожидая моего ответа. Казалось, что равшач сидит на ветке, окруженный гигантской стаей изголодавшихся грачей.

– Спасибо за приглашение, Вагнер, – сказал я. – Арак принести?

Он рассмеялся.

– Не надо. Тут и так хватает. Вот семечки кончаются. Принеси, если есть. Хотя откуда у тебя...

– Как там с Арье Йосефом? Есть новости?

Вагнер укоризненно крикнул, словно досадуя на меня за то, что напоминаю о плохом.

– Пока нету. Никто, ничего. Странно, а?.. – он помолчал и добавил. – И надо было тебе спросить, мать твою... Такое хорошее настроение поломал. Ладно, все равно приходи.

Он разъединился. Никто, ничего... Действительно странно. Обычно наши свободолюбивые соседи убивают нас из удалства и мужской воинской доблести. Нет никакого расчета скрывать проявление столь похвальных человеческих качеств. Как правило, очередной герой уже на следующий день начинает трубить о своем подвиге по всем окрестным деревням – на радость информаторам и аналитикам из службы безопасности. А тут прошла почти неделя – и ничего. Непонятно.

Я вернулся к компьютеру. Полтора листка моей объяснительной записки вопросительно мерцали на экране. Когда я, наконец, удосужусь сменить старый монитор? Глазам вредно, и вообще... Но на деле-то вопрос мерцал вовсе не на тему обновления оргтехники. Какого черта я вообще ввязываюсь в эту переписку? Зачем? Я уже не помнил точных резонансов, по которым дал втянуть себя в это пустое времяпрепровождение. Впрочем, записка уже составлена, стоит ли теперь выкидывать готовую работу? Пускай старушка позабавится – в последний-то раз...

Зато сопроводительное письмо я постарался сделать как можно более сухим и формальным, ясно давая понять, что продолжения наших почтовых контактов не предвидится. Еще раз поблагодарив госпожу Малевич за внимание к моему скромному труду, я желал ей дальнейших творческих успехов и выражал надежду на то, что когда-нибудь, в труднообозримом из-за своей отдаленности будущем, наши пути вновь пересекутся к полному взаимному удовлетворению. В постскрипуме я благодарил старушку вторично, на сей раз – за сочувствие, проявленное ею по отношению к Арье Йосефу, и с сожалением сообщал об отсутствии у меня каких-либо новостей, предусмотрительно отмечая при этом, что если таковые появятся, то с намного большей вероятностью их можно будет обнаружить в средствах массовой информации.

Покончив с этим витиеватыми формулировками, представляющими, если разобраться, наиболее изощренную разновидность хамства, я отправил письмо и вздохнул с облегчением. Кончено! На этот раз –

всё. Телефонную трель, раздавшуюся почти одновременно с завершающим клик-клаком птицы-мышки, вполне можно было сравнить с прощальным звонком отходящего поезда. Наверное, Вагнер. Семечек у меня и впрямь нет, а вот арак найдется. Дождавшись третьего звонка, как оно и положено на вокзальных перронах, я снял трубку.

На проводе был старик Коган. Он никогда не звонил мне до этого – даже при самой срочной необходимости поручал телефонные переговоры сыну Карпу. Но на этом неожиданности не закончились – уже первая фраза выглядела абсолютно не характерной для старого мухомора. Я мог бы поклясться, что впервые слышал подобное из уст старика Когана.

– Возможно, я не прав, – сказал он и помолчал, дабы позволить мне осознать невероятность подобного предположения, – но, по моему, мы расстались не слишком хорошо. Борис?

Я молчал.

– Видите ли, Борис, – продолжил старик. – Мне нужно, чтоб вы поняли. И мне казалось, что наши беседы уже достаточно приблизили нас к правильному пониманию вопроса. Но, возможно, я несколько поторопился. Борис? Пожалуйста, не молчите.

– Я понял, – выдавил из себя я. – И я хочу вам сказать...

– Нет-нет! – поспешно остановил меня Коган. – Мне меньше всего хочется, чтобы вы сейчас принимали решения, которые потом окажутся поспешными и непродуманными. Наша следующая встреча намечена на послезавтра, не так ли? Мне нужно, чтоб вы поняли: я буду очень ждать вас. Очень. Пожалуйста, учтите это. Борис?

– Да, – ответил я. – Учу.

Он скрипнул, как осторожно приоткрываемая дверца столетнего шкафа, и попробовал развить успех.

– А еще лучше было бы, если бы вы вернулись прямо сейчас, и мы вместе...

– Нет, – перебил его я. – Мне нужно идти. К Вагнеру.

– Что ж, надо так надо, – немедленно уступил старик. – Служба, понимаю... Все ищите Леню, да? Не там ищите, кхе, кхе, кхе...

Неужели это странное кудахтанье означало смех? А черт его знает: мне никогда еще не приходилось видеть старика Когана смеющимся. Не прощаясь, я положил трубку и пошел в кладовку за араком. Пусть Вагнер и уверял, что там хватает, но рисковать не хотелось. Я твердо намеревался напиться – хоть под соленые баранки, хоть под семечки – все равно.

7.

Похмелье от дешевого арака не только тяжело, но еще и парфюмерно благодаря проклятой анисовой отрыжке. Вдобавок к этой беде, проснулся я удручающе рано: ужасно хотелось пить. В ушах шумело; память причудливым капризом выбросила на поверхность подходящую строфу – там, где еще «на ум все мысль о море лезет». Что ж, в то утро моя душа безжизненным штилем и берегами в белой потрепанной соляной коросте от вчерашних семечек и баранок действительно напоминала Мертвое море.

Продолжая морские аналогии – я в упор не помнил, какая волна донесла меня вчера до дому и даже до кровати. Морской автопилот?

Несгибаемый лоцман Кацман? Нет, в нашей команде кацманы не водятся... неужели Вагнер? Зато о происхождении шума в ушах я догадывался: наверняка он представлял собой дальний отголосок вчерашнего гвалта на веранде. Подлец Питуси усадил меня рядом с Беспалым Бендой, и тот немедленно принялся орать что-то бессвязное прямо мне в ухо. Впрочем, страдать пришлось недолго: не приспособленный к таким децибелам слух отключился намного раньше сознания, так что большую часть вечера я пил свой арак в полной тишине, злорадно поглядывая на беззвучного и безвредного Беспалого.

К счастью, в университете меня ждали только к двум. Промаявшись час-другой между постелью, душем и кефиром, я включил компьютер, где меня ждали сразу два письма от сумасшедшего корректора Елены Малевич. В принципе следовало бы стереть их сразу, не читая, — ведь отвечать я не собирался в любом случае. Возможно, именно поэтому я и открыл их одно за другим. В первом письме, отправленном буквально спустя полчаса после моего прощального послания, госпожа Малевич выражала пожелания относительно характера нашей дальнейшей переписки.

«Я очень просила бы Вас воздержаться от выражений благодарности, — писала она, — и не только чрезмерных, как в последней Вашей почте, а вообще. Во-первых, я ненавижу ритуалы в любом их виде, а все эти «спасибо», «с уважением» и «вы так любезны» слишком напоминают пляску глухарей на поляне. Думаю, мы оба заслуживаем не глухариного, а человеческого общения. Во-вторых, мне и в самом деле не положено благодарности: я делаю то, что делаю, отнюдь не для Вас, а для себя и для текста, который того более чем заслуживает...»

И так далее — еще полстраницы в том же агрессивно-менторском духе. Если я еще нуждался в обосновании решения прекратить всякие контакты с назойливой старушенцией, то эти полстранички представляли собой развернутое доказательство справедливости подобного шага. Она, видите ли, не любит ритуалов! Но что такое ритуал человеческого общения, как не средство охраны собственного личного пространства от посягательства других? Ей, видите ли, не хочется принимать от меня простое «спасибо» — эту мелкую монетку, которую люди используют при ежедневных разменах и расчетах! Но ведь даже дураку понятно, что отказ взять мелочь означает скрытую претензию на весь сейф, на все состояние...

Второе, куда более умеренное письмо госпожа Малевич написала сегодня утром. Не отказываясь в общем и целом от своей вечерней нотации, она выражала сомнение в адекватности моей возможной реакции. Смогу ли я понять ее правильно? Не рассержусь ли?

«Возможно, я несколько поторопилась...» — писала она.

Поразительно, но эта фраза старухи Малевич почти буквально повторяла слова старика Когана во вчерашнем телефонном разговоре. Поистине, объяли меня старики до души моей! Вот уж пристали...

«Если так, то примите мои извинения, — продолжала госпожа Малевич. — А поскольку совместная работа — лучший способ восстановить отношения, прилагаю файл с некоторыми соображениями по поводу дальнейшей коррекции текста...»

Дальнейшей коррекции текста! Нет, положительно старушка трюхнулась на профессиональной почве... Я даже не стал открывать

приложенный файл, содержащий очередные поправки – просто удалил его вместе с обоими письмами. Да еще и фильтр поставил – чтобы все последующие послания от Елены Малевич направлялись прямиком в мусорную корзину. Это решало проблему раз и навсегда. Бай-бай, старушенция! Ищи себе другую жертву!

Не могу сказать, что эти бодрые восклицания действительно отражали мое тогдашнее настроение... – во всяком случае, не стопроцентно. В конце концов, советы госпожи Малевич несомненно улучшили стиль и внешний вид текста, а кое-где способствовали и более точному выражению мысли. Да, она не принимала обычной благодарности, но могло ли это служить достаточным основанием для грубого фильтрования ее писем наряду с рекламным мусором спамеров и сетевых хулиганов?

Из сомнений меня вывел телефонный звонок. Звонил Ави, сын собачницы Шломин – тот самый, который когда-то метким финишным выстрелом остановил забег незадачливого аллах-акбарного стайера Фарука. Ави просил тремп до Иерусалима. Дело привычное: я езжу в университет дважды в неделю, в фиксированные, известные многим дни, и потому редко выезжаю без попутчиков. Вообще система тремпов у нас довольно распространена: автобусы заходят в поселения нечасто, так что некоторым семьям не хватает и двух машин.

Я обрадовался и оказался прав: длинная дорога пролетела незаметно. Ави на прошлой неделе вернулся из путешествия по Латинской Америке, и впечатления перли из него, как каша из волшебного горшочка. К сожалению, каша эта состояла в основном из восторженных междометий, так что мне пришлось помогать бывшему голанчику наводящими вопросами. В итоге мы оба не скучали. Вдоволь наслушавшись про священные долины инков, Патагонию и бразильские карнавалы, я спросил о дальнейших авиных планах. Мой тремпист неохотно пожал плечами:

– Не знаю. Учиться надо. Наверно, поеду в Безр-Шеву, сниму с кем-нибудь квартиру... – все так делают. Дома все равно не жизнь.

Я понимающе кивнул. Ужиться с собачницей Шломин не мог никто, даже ее собственный сын. Никто, кроме, конечно, собак. А ведь когда-то это была нормальная уважаемая семья, из основателей поселения. В деньгах они никогда не нуждались: муж, Гидон Майзель, сделал немалое состояние на биржевом буме девяностых. Удачные дети – две старшие красавицы-дочери и младший Ави, сильный, способный парень. Сама Шломин работала учительницей начальных классов в местной школе и славилась непримиримым характером.

Рассказывали, что во время первой интифады, застигнутая камнями на шоссе, она не ударила по газам, дабы поскорее выехать из опасной зоны, как это делали тогда все, а напротив, остановила машину, выскочила наружу и стала бросать камни в ответ. Якобы арабские подростки так оторопели от неожиданности, что немедленно ретировались. Не знаю, сколько в этой истории правды, а сколько вымысла, но само наличие легенды говорит о многом.

А потом Шломин сбрендила. Насчет причины ее неожиданного сумасшествия в Эйяле до сих пор существуют непримиримые разногласия. Одна теория утверждает, что бедняжка не перенесла ограбления. Получилось так, что вся семья уехала на две недели в Италию – праздновать авину бар-мицу, и окрестные арабские воры,

воспользовавшись случаем, ухитрились полностью обчистить их весьма не бедный дом. Вынесли почти все, вплоть до мебели, посуды и кухонной утвари, даже люстры и светильники демонтировали. Дом стоял на отшибе, у самого края вади, и вынос накраденного несомненно представлял собой нелегкую техническую задачу. Но арабы привели осликов и справились, оставив после себя лишь пустые стенные шкафы и мусор на полу, развороченном в поисках тайников. Этот-то ужасающий вид разоренного очага и пошатнул рассудок почтенной матери семейства.

Но представители другой школы шломиноведения категорически не согласны с подобной трактовкой. Они справедливо указывают на то, что имущество было полностью застраховано. А это, учитывая известную ушлость Гидона, позволяет с уверенностью предположить, что Майзели как минимум не проиграли материально. Да и не такова Шломин, чтобы долго переживать по цацкам, тряпкам и кастрюлям. А вот по собакам...

Незадолго до этого Гидон приобрел двух щенков добермана. К моменту злосчастного отъезда всей семьи за границу щенки превратились в восьмимесячных красавцев – игривых, ласковых, счастливых и любимых до чрезвычайности. Увы, их частное добродушие не могло перевесить неприятную славу этой в общем злобной породы, а потому все попытки пристроить собак к родственникам или знакомым закончились неудачей. Пришлось запереть доберманов в доме, договорившись с соседями о выгуле и кормлении.

Соседка и обнаружила в то печальное утро разграбленный дом и двух щенков, свисающих с потолка там, где еще накануне вечером светились красивые хрустальные люстры. В полиции потом сказали, что доберманов прежде отравили специально принесенным мясом, а повесили уже мертвыми, проявив тем самым своеобразный арабский юмор: где-то там фигурировала еще и записка, обещающая точно такое же будущее всем еврейским собакам. Это автоматически переводило банальную уголовщину в разряд благородной борьбы с оккупацией, а потому обеспечивало вора в случае поимки сочувствие и защиту всего прогрессивного человечества.

Понятно, что Майзели, срочно прервавшие отпуск, не увидели своими глазами того, что предстало взору потрясенной соседки. Полицейский следователь предупредил Гидона, что детали картины лучше опустить для его же блага, и Гидон согласился. Не согласилась Шломин. По своему обыкновению, она предпочла встретить действительность лицом к лицу – остановить машину и выскочить наружу, как тогда на шоссе. Шломин настояла на том, чтобы ей показали все фотографии. Иногда человек совершает опрометчивые поступки, не вполне сознавая, что сила характера не всегда соответствует силе рук, ног, психики...

Из кабинета следователя вышла уже совсем другая Шломин, хотя окружающие заметили это не сразу. Внешне она почти не изменилась, вот только любой разговор отныне так или иначе сводила к собакам. Сначала это вызывало жалость и сострадание, потом стало раздражать. Затем выяснилось, что к собачьей теме сводились и все ее уроки, так что школу пришлось оставить. Впрочем, к тому времени Шломин уже с головой окунулась в новую деятельность: она разъезжала по округе и подбирала бездомных собак – всех, кого

ей удавалось найти и поймать. Уже через несколько месяцев участок Майзелей превратился в собачий питомник.

Потом пошли жалобы от соседей. Нелегко жить рядом с десятками собак: постоянный лай, шум, вонь... Поселковое начальство разводило руками: как-никак семья основателей, заслуженные люди, да и обстоятельства такие... – вы уж потерпите, примите во внимание, пожалуйста. Соседи, скрепя сердце, терпели: никто не хотел судиться с богатым Майзелем.

Зато взрослые дочери сбежали от свихнувшейся матери при первой же возможности – благо отец имел достаточно денег, чтобы оплатить квартиры в Тель-Авиве и Петах-Тикве. Беспалый Бенда принимал ставки – сколько выдержит сам Гидон. Победили те, кто ставили на полтора года. Нет, супруги не развелись – Майзель по-прежнему поддерживал жену материально, безропотно оплачивал постоянно растущие расходы на питомник, но в Эйяле уже не жил – переселился куда-то в Кейсарию.

Дольше всех продержался младший сын Ави – самый, пожалуй, близкий к маме. Помогал с собаками, стойко выносил насмешки сверстников по поводу не менее стойкого запаха псины, а уйдя служить, проводил в Эйяле почти все свои короткие армейские отпуска. И вот, наконец, сломался и он. «Дома все равно не жизнь...»

– Что, совсем немоготу, Ави? Долго же ты держался...

Он снова пожал плечами.

– Отвык. Да и не нужен я ей. Научилась без меня управляться. С этим, как его... Правда, сейчас он пропал, но ничего, другого найдет.

Мы вскарабкались на Кастель и теперь спускались к садам Сахарова, закладывая крутые виражи из левого в правый ряд и обратно.

– У нее был помощник? – рассеянно спросил я, краем глаза следя за чересчур приблизившейся маздой.

– Ну да, – кивнул Ави. – Как его... ну... Арье этот. Арье Йосеф... Эй, Борис, Борис! Ты куда?!

От неожиданности я чуть не вылетел с виража.

– Арье Йосеф?! Они что – были знакомы?!

– Ну ты даешь... – протянул Ави и перевел дыхание. – Я уж думал, всё – в кювете... Еще как знакомы. Дружили домами. Или будками – не знаю, как правильней. На него даже собаки не лаяли, за своего держали.

Я молчал, переваривая услышанное.

– Выкинь меня после светофора... – сказал Ави. – Ага, вон там, на остановке. Спасибо за тремп!

Он хлопнул дверцей и споро зашагал в направлении автовокзала.

«Ну, дружили и дружили... – подумал я. – Что тут такого особенного? Хотя с другой стороны...»

С другой стороны, по словам Вагнера, Арье Йосеф был крайне нелюдим, едва здоровался с соседями, а мало-мальски общался лишь с Карпом Коганом, которого знал еще по России. Но вот выясняется, что не только. Впрочем, если разобраться, то нет в этой дружбе – или связи? – ничего странного. Шломин давно уже живет без мужа, Арье тоже вроде бы одинок, оба еще совсем не стары. Отчего бы двум изгоям не объединиться? Удивительно лишь, что связь эта так и осталась неизвестной – даже у нас, в маленьком поселении, где все про всех знают как минимум всё.

Хотя и это вполне объяснимо: дом Шломин находится на отшибе, в стороне от любопытных взглядов; отчаявшиеся соседи давно уже отгородились от собачьего гама высокими звукоизолирующими стенами, так что Арье Йосеф вполне мог незамеченным навещать свою безумную подругу. Например, так: говорил дочери, что идет к Карпу, пересекал вади и оказывался прямо у задней калитки участка Майзелей. А оттуда уже куда угодно – хоть в псарню, хоть в спальню... Надо бы позвонить вечером Вагнеру, рассказать.

Сзади загудел подошедший автобус: моя машина блокировала остановку. Страхнув с себя оцепенение, я поспешно отъехал. Все это, может, и интересно – а Беспалому Бенде так и вовсе хватит разговоров на несколько месяцев, – но вряд ли что-либо меняет в деле о пропаже Арье Йосефа. В день своего исчезновения он совершенно определенно направлялся в дом Коганов за документами – хотя бы потому, что иначе незачем было договариваться со стариком Коганом о времени визита...

Сзади снова возмущенно загудели: я проспал переключившийся светофор. Так, хватит. Решительно выбросив из головы Арье Йосефа, я свернул на Герцля и через несколько минут въехал на стоянку Гиват Рама, думая уже только и исключительно о предстоящем семинаре и о встречах, намеченных на послеполуденное время.

В Иерусалиме оказалось намного холоднее, чем внизу, в Самарии; выйдя из машины, я пожалел, что не взял куртку потеплее. Небо тяжелым рваным одеялом навалилось на университетский холм. Между зданиями и галереями тут и там громоздились грязные комья тумана, как клочья ваты, надранные сверху чьими-то истерическими руками. Дождь еще не шел, но уже ощутимо заваривался где-то рядом – не то над холмами, не то в темных земных щелях затаившихся иерусалимских вади. Город примолк, с опаской поглядывая на дышащее угрозой небо, – в Иерусалиме такая угроза всегда кажется особенно страшной.

Семинар прошел без приключений; воодушевленный этой удачей, я отправился дальше по списку запланированных дел. Встреча с редактором, который время от времени подбрасывал дешевые, но необременительные халтурки, не обогатила меня ничем, кроме тремпистки, навязанной на обратную дорогу. Свидания с разгневанным деканом я опасался всерьез, но то ли за прошедшие дни начальство поостыло, то ли реальная гроза, собиравшаяся в тот момент над городом, вернула бумажного громовержца в рамки пропорций. Во всяком случае, молнии он метал весьма вяло и отпустил нерадивого работника восвояси без каких-либо неприятных оргвыводов.

Но главный сюрприз ожидал меня в университетском издательстве: я получил-таки крупный заказ, за которым гонялся несколько месяцев. Подмахнув договор, я в превосходном настроении направился к стоянке. Дождь все еще сомневался – идти или не идти, – и город, довольный отсрочкой экзекуции, прятался в первые вечерние сумерки. Мобильник задребезжал в моем кармане, когда я уже сел в машину.

– Алло, Борис?.. Здравствуйте.

Незнакомый женский голос, низкий, глуховатый, интонация немного неловкая. Кто бы это мог быть?

– Вы еще в кампусе?

– Почти, – неопределенно ответил я и включил двигатель. – А кто это?

– Рафи сказал, что вы не против подбросить меня в Эйяль. Но если вы уже выехали из кампуса...

Черт! Обещание взять попутчицу напрочь вылетело из моей дырявой башки!

– Извините ради Бога, – промямлил я, судорожно восстанавливая в памяти недостающие детали. – Прямо не знаю, что и сказать в свое оправдание. Вас зовут... э-э... Лина, так? И вы ждете меня в... э-э...

– В кафетерии, – подсказала она. – Но я могу подойти и к стоянке.

– Отлично! – воскликнул я с преувеличенным воодушевлением. – Я буду стоять у выезда. Белый лансер с помятым левым крылом. И правым тоже.

– Как же мы взлетим с помятыми крыльями? – отозвалась она намного веселее прежнего и, дождавшись моего ответного смешка, осведомилась уже явно для пущего фасону. – Вы уверены, что вам это удобно?

– Удобнее не бывает, – заверил я. – Вдвоем намного легче менять колесо или вытаскивать машину из кювета.

Лина... – или не Лина?.. – нет, наверное, все-таки Лина – коротко рассмеялась.

– Зря вы так шутите. Я уже иду. Три минуты. Не уезжайте.

Прежде чем отсоединиться, Лина еще некоторое время прерывисто дышала в трубку, как дышат при быстрой ходьбе или даже при беге, словно она и в самом деле боялась, что я вдруг возьму и уеду, словно не хотела обрывать натянутую меж нами цепочку телефонной связи. Я увидел ее издали, сквозь первые капли дождя на ветровом стекле: худенькая фигурка в расстегнутом длинном пальто, какие носят в зимнем Иерусалиме. Джинсы, свитер, рюкзак, темные курчавые волосы до плеч... В одной руке у нее был большой нераскрытый зонт из породы крепких, а другая – сжимала телефон, держа его почему-то впереди на некотором удалении от тела, словно готовую к передаче эстафетную палочку. На расстоянии она выглядела совсем девчонкой.

Лина шла прямо в мою сторону, но я все же вышел из машины и помахал ей – не из боязни разминуться, а чтобы хоть как-то загладить вину своей невежливой забывчивости.

– Вот. Это я. Мы сейчас разговаривали... – проговорила она, подходя и поднимая мобильник на уровень моих глаз доказательством нашей еще не остывшей беседы.

Вблизи Лина уже не выглядела совсем девчонкой: скорее всего, ей было где-то под тридцать. Я с готовностью кивнул и распахнул дверцу, но галантность оказалась востребованной далеко не сразу: поколебавшись секунду-другую, женщина улыбнулась и открыла другую дверь. Сначала на заднее сиденье отправились зонт и рюкзак, затем – аккуратно свернутое пальто. Дурак дураком я наблюдал за этим процессом, стоя в позиции гостиничного швейцара. Дождь между тем завершил свои сомнения в выборе жизненного пути и теперь уверенно набирал ход. Наконец Лина уселась, и я, обежав капот, бухнулся на место водителя.

– Вы не представляете, как я вам благодарна, – сказала она с очевидной целью приободрить. – В такую погоду да на автобусах...

У нее было округлое лицо с несколько тяжеловатым подбородком и удивительные глаза – темные, немного навывкате и с чрезвычайной подвижностью выражения. Казалось, они не просто реагируют на мельчайшие перемены в твоём поведении, мимике, речи, но словно бы предвосхищают их. Это странное, с первых же секунд ощутимое свойство моей тремпистки создавало ощущение некоторой чрезмерности общения, некий неуют, что ли. Какого черта так наседать на случайного человека?

Хотя на самом деле она мне скорее нравилась, чем нет. Нравился запах духов, тела, разгоряченного от быстрой ходьбы, и мокрых волос. Нравилась угловатая непосредственность движений. Но главное – нравилась исходящая от нее энергия авантюры. Моя единственная после развода долгая связь распалась около года назад, и с тех пор я пробавлялся случайными подругами. А случайные подруги обычно опознаются именно по энергии авантюры. Лина искрилась ею, как линия сверхвысокого напряжения. Видимо, это меня и смущало... – хотя чего тут смущаться?

Придумав столь простое и в то же время волнующее объяснение своей скованности, я почти успокоился, а метрономный стук дворников и зажата в кулаках бугристая крутизна руля постепенно поправили пошатнувшееся было чувство контроля над событиями. Мы выехали со стоянки и свернули в направлении туннелей.

– Поедем через Атарот? – спросила Лина.

– Ага. Не хочется в такую погоду петлять по первому. Да и подъем на Кастель мой старичок лансер не очень-то любит.

Дождь все усиливался, гроза приближалась, накатывая на холмы неповоротливые громыхающие колеса своих осадных орудий. Уличные фонари сочлись дождем, замешенным на люминисценте. Свет стекал на мостовую, и колеса автомобилей разбрызгивали его по иерусалимским стенам.

– Серьезный ливень... – она упорно смотрела в сторону, по-видимому, избегая смущать меня своими кассандровыми очами.

– В Иерусалиме все серьезно.

Она хмыкнула:

– Кроме прогноза погоды. Грозу обещали только послезавтра. Но я-то знала...

– Знали? – переспросил я. – Это откуда же?

– Да так...

Она мельком взглянула на меня и снова отвернулась к окну, но я успел рассмотреть на темных экранах забавный перепляс всех моих возможных ответов. Собственно говоря, оставалось только выбрать один из них, как на американском экзамене. Что ж поделаешь, если именно на американских экзаменах мне чаще всего не везло! Не повезло и на этот раз.

– По-моему, вы колдунья, – объявил я и ужаснулся идиотской игривости собственного голоса. – Или ведунья. Глаза у вас такие – ведьмовские.

Стыдливо заткнувшись, я ждал ее реакции. От этого перекрестка уходили всего-навсего две дороги. Во-первых, Лина могла поддержать заданный мною тон – естественно, смягчив его нестерпимую вульгарность. Например, ответить что-нибудь типа: «Да, мне часто приходится это слышать...» Или вызываясь расхохотаться: «А вы

что – ведьм боитесь?» Или свинтить что-то более откровенное: «Я еще и по руке гадать умею...» Или просто подарить долгим взглядом и таинственно улыбнуться. Эти и другие ответы такого рода при всех своих внешних отличиях означали бы на самом деле одно и то же, выражающееся коротеньким словечком «да». Да.

Да, я готова продолжать эту беседу. Да, я готова на дальнейшее наше знакомство. Да, в конце этой поездки, если не случится ничего из ряда вон выходящего, мы можем обменяться телефонами. Да, этот обмен будет подразумевать твое принципиальное желание и мое принципиальное согласие когда-нибудь отобедать и переспать, если опять же ничего не помешает. Ну, и так далее, а короче – «да!»

Второй вариант ответа заключался в том, чтобы презрительно фыркнуть и еще круче отвернуться к окну – на сей раз до самого конца поездки, а точнее – навсегда. В юные годы я по неопытности полагал, что подавляющее большинство женщин – в особенности умных и красивых – ведут себя в подобной ситуации именно таким образом. Затем жизнь убедила меня, что на самом деле этот ответ встречается нечасто, а уж при наличии столь явно выраженной авантюрной энергии – и вовсе крайне, крайне редко.

Но, к моему изумлению, загадочная тремпистка Лина ответила в точности так: фыркнула и отвернулась!

«Вот те раз! – подумал я. – А ты говоришь – крайне редко! Что ж, иногда и крайне редкие встречаются... Ну и чудненько. Ну и слава Богу. Зато теперь уже можно не напрягаться. Не поддерживать дурацкую беседу. Не вести смехотворную охоту мышки на кошку. Расслабься, включи радио и просто веди машину.»

Я даже вздохнул с облегчением и, хотя постарался сделать этот вздох максимально незаметным, она все же услышала: плечи слегка дрогнули и щека напряглась от сдерживаемого смеха. Ну и хрен с тобой, можешь ржать сколько хочешь...

Чертово радио отказывалось помогать: оно и так у меня на ладан дышит, а на этом шоссе меж враждебных деревень еще и прием никудышный. Эфир издевательски завывал и хрипел, причем преимущественно по-арабски. Прокрутив диапазоны от хрипа до воя и обратно, я махнул рукой и сосредоточился на езде. Дождь то усиливался, то ослабевал. Обычно нахальные и нетерпеливые, автомобилисты двигались смирной колонной, держа интервал и избегая резких маневров. Порывами налетал ветер, и тогда машины ощути-мо подавались в сторону, но дождь, раздраженно кренясь, упирался в налетчика грудью и выталкивал его с шоссе.

В полном молчании мы проехали Бейт-Хоронский перевал. За блокпостом, словно получив визу, проснулось радио и голосом Жака Бреля принялось упрашивать не покидать его. А вот само не покидай... У Модиина я свернул направо на новое шоссе. Машин здесь было заметно меньше, а потом и вовсе не стало. Поперхнулся и пропал, утонул в неразборчивом арабском хрипе непоследовательный Жак Брель. Мы остались одни. Слабый свет фар насилу проталкивался сквозь косое сито дождя, и я снизил скорость до пятидесяти, чтоб ехать хотя бы не совсем вслепую.

– Завораживает... – вдруг сказала Лина.

– Что? – переспросил я.

– Эта езда... – она сделала неопределенный жест. – Это непонятное и неоформленное движение.

– Непонятное движение? – недоуменно повторил я. – Вы что – сомневаетесь, что мы едем в Эйаль? Уверю вас...

Она засмеялась – тихо, коротко.

– Не в этом смысле. Куда мы прибудем – известно. Неизвестно только, как.

«Ага, – подумал я с мстительным удовлетворением. – На философию дамочку потянуло. Известно куда, неизвестно как. Типа – все там будем. Могла бы придумать что-нибудь пооригинальнее. Что ж, долг платежом красен... теперь моя очередь.»

Презрительно фыркнув, я уставился на дорогу. Мой взгляд содержал такое количество ядовитой иронии, что если бы не дождь, асфальт неминуемо бы расплавился. Зато моя тремпистка и не думала уступать.

– Мне кажется, вы не согласны. Но это ведь так ясно, так ясно... Эй! – она помахала рукой, пытаясь привлечь мое внимание. – Борис! Ну, Борис! Ну взгляните же...

Я повернулся. Ее странные глаза светились в полумраке кабины, а в них, как блики на воде, металась уверенность и робость, вызов и мольба, храбрость и страх, насмешка и удивление, и еще десятки несовместимых теней и оттенков – все сразу, парами, хороводом и в одиночку. Это было удивительное зрелище, завораживающее не меньше, чем костер, или ручей, или дорога...

«Кстати, о дороге, – мелькнуло у меня в голове. – Не худо бы посмотреть и на нее...»

Почти одновременно с этой благоразумной, но запоздавшей мыслью краешек моего зрения выхватил что-то явно лишнее на шоссе. Нога сама дернулась к тормозам. Машину тряхнуло, по днищу проскрежетало, потом тряхнуло еще раз. Я проехал с десятков метров и остановился на обочине.

– Ой, – испуганно проговорила она. – Извините. Это я виновата...

Я молча взял куртку и вышел под дождь. Поперек шоссе, прямо посередине, чтобы с гарантией хватило на обе полосы, лежал длинный кусок покореженного стального профиля – такие используют в качестве ограждения на виражах. Понятия не имею, как он туда попал. Может, выпал из грузовика сборщиков металлолома, а может – принесен специально и аккуратно уложен в наиболее эффективную позицию заботливыми руками борцов с оккупацией. В такую погоду практически невозможно вовремя заметить эту железяку. Пусть, конечно, девушка переживает – ей не вредно, – но, по правде говоря, мы попались бы в ловушку и без ее помощи. Хорошо еще, что скорость была невелика...

С трудом оттащив профиль в кювет, я вернулся к машине, молясь, чтобы порванной оказалась одна покрышка, а не две. Поразительно, но молитва помогла. С левого заднего колеса свисали лохмотья, зато переднее выстояло! Приободренный неожиданной удачей, я открыл багажник и стал доставать домкрат, ключ и запаску. Вода заливалась за воротник, но до того ли в подобных ситуациях? Хотелось верить, что везение продолжится, и дождь приутихнет именно в ближайшие десять минут. Я услышал сзади хлопок раскрывшегося зонта. О, вышла... помощница, блин...

– Возвращайся в машину! – скомандовал я, не оборачиваясь. – Только зря вымокнешь.

– Нет! Я подержу вам зонт!

Я обернулся. Лина с несчастным, но крайне решительным видом вытягивала руку с зонтом, тщетно стараясь прикрыть мою спину. Тщетно, потому что ветер, уставший сражаться с превосходящими силами дождя, совершенно справедливо узрел в раскрытом зонте не только легкую, но и забавную добычу и теперь с удовольствием примеривался к новой игрушке: пробовал ее на крепость, надувал, хлопал, выгибал то так, то эдак.

– В машину! – крикнул я. – Сам справлюсь! Кому говорю?!

Она не двинулась с места. Ну и фиг с тобой. Нельзя же одновременно... Чертыхаясь, я выгрузил все необходимое и принялся открывать колесо. Как назло, гадские винты поддались не сразу: нога постоянно соскакивала с мокрого рычага. Лина со своим стонущим зонтом продолжала топтаться рядом – абсолютно бессмысленно при таком косом ливне. Вдобавок ко всему она просто мешала, постоянно и некстати попадаясь под руку: как ни повернешься – обязательно наткнешься. Тьфу!

К последнему винту я был уже зол как последний черт. Наверное, именно поэтому приложенное усилие оказалось чрезмерным. Ключ провернулся неожиданно легко, я оступился, потерял равновесие, хватанул воздух, причем под руку попались, естественно, чертова тремпистка и ее зонт; мы синхронно вскрикнули: она – «Ой!», я – что-то матерное, а зонт – что-то свое на эзоповом языке зонтов – и все втроем рухнули в придорожную хлябь.

Дождь отнесся к нашему падению равнодушно, зато ветер чуть не помер со смеху. Визжа и захлебываясь хохотом, он подхватил несчастный зонтик, вывернул его наизнанку, отчего бедняга тут же стал похож на кузнечика, и так – коленками назад – быстро поскакал через шоссе в темноту – туда, где ветер обычно хранит свои любимые игрушки.

– Ой, как мокро, – сказала она.

– Девочка плачет, – сказал я. – Зонтик улетел.

– Вот еще, плакать, – сказала она.

Мы лежали в канаве нос к носу, в ее сумасшедших глазах играли ужас и восторг одновременно, и она нравилась мне так, как давно не нравился никто.

Когда я наконец прикрутил запаску, на нас обоих уже не оставалось ни одной сухой нитки.

– Давай в машину, – сказал я. – Включим печку, согреемся.

– В мокром? – сказала она. – Верное воспаление легких.

– Все равно нет ничего сухого, – сказал я.

– Есть, – сказал она. – Мое пальто. Там, сзади. Нужно раздеться.

Там, под косым безразличным ливнем на темном шоссе, стоя у раскрытого мокрого багажника, она стянула через голову сначала свитер, а потом рубашку, под которой уже не оказалось ничего, а в глазах ее прыгали и метались тени, которым нет названия. А потом была теснота кабины, и неловкая торопливость рук, и заевшее сиденье, никак не желавшее раскладываться, и холодные обжигающие ладони, и мокрая гладкость тел, плавающих друг с другом, друг по другу, друг в друге... Она не закрывала глаз – ни при поцелуе, ни

даже в те особенные моменты, когда смотреть было уже совсем некуда, потому что мир скручивался в точку, в судорогу, пульсирующую в темноте. Даже тогда ее глаза оставались открытыми и лишь на миг теряли свое множественное невыразимое выражение... Впрочем, возможно, мне это просто казалось.

– Надо ехать, – сказала она. – Ты слишком долго меняешь колесо.

– Слушай, – сказал я. – А зачем тебе туда сегодня?

– Куда?

– Ну, к тем людям в Эйяль, к которым ты едешь... Все равно уже поздно. Заночуешь у меня, а утречком...

Она засмеялась – тихонько и коротко.

– Я ж тебе говорила: куда мы приедем, известно заранее. Неизвестно только – как? А ты не верил.

– Ты о чем? – не понял я. – Что известно, что неизвестно?

Она снова засмеялась.

– Лина!

Она наклонилась к моему уху.

– Я не Лина, глупый. Твой Рафи плохо расслышал мое имя. Я – Лена. Елена Малевич, корректор. Мы с тоб

ЧАСТЬ II. ЗАЛОЖНИК

8.

Не встречал еще человека, который говорил бы плохо о свободе. Кого ни послушаешь – стремится к ней прямо-таки неудержимо. В газетах так и пишут: «неудержимое стремление народов к свободе». Ну, с газет-то что взять – врут каждой буквой, известное дело. По глупости врут или предумышленно – это неважно, совсем неважно. Глупость – она ведь тоже вид преднамеренности, потому что любой человек от природы умен и тупит сначала с умыслом, а потом – по рабочей своей привычке.

Вы спрашиваете, при чем тут рабство? Да при том, что ни к какой свободе народы не стремятся, а уж тем более – неудержимо. Народы стремятся к рабству, вернее – к его обновленной разновидности, отличающейся от текущей всего лишь иной формой рабской иерархии. Кто был ничем, тот станет всем, и наоборот. На школьной доске напишут: «Мы не рабы». И тут же: «Рабы – не мы». Последнее утверждение предполагает немедленный вопрос: если не мы, то кто же? – и ответ: другие. Рабы теперь – не мы, рабы теперь – другие. Вот такая, понимаете ли, свобода...

Но это меня занесло, я ведь вовсе не о народах хотел сказать, а об отдельно взятом человеке. Об отдельно взятом за жабры человеке. Вот его держат за жабры, а он весь из себя бьется, трепещет и все куда-то рвется, рвется... Куда, как вы думаете? Полагаете, он стремится к свободе? Черта с два! Как и вышеупомянутые народы, он всего лишь стремится к другой разновидности хватки – не за жабры, а допустим, за шкуру. Или за фалды. Правда, в последнем случае необходим фрак. Но принцип тот же. Люди боятся свободы, боятся свободно жить, боятся свободно думать. От ума у них, видите ли, горе.

От свободы у них, видите ли, одиночество. Стоит ли после этого удивляться скучной глупости и рабской скученности человечества – прогрессивного, как паралич?

Значит, вранье это все – про свободу? Нет, не вранье. В том-то и трагедия, что хочется одновременно и свиньей в загородке хрюкать, и соколом воспарить. Намного проще было бы выбрать что-нибудь одно... – ан нет, естество не дает. Без рабства боязно, без свободы тошно. Прямо гибрид какой-то получается, свинья с крыльями... В рабском Египте такого называли бы свинксом. Куда же податься столь несуразному существу? Хорошо еще если найдется под пирамидами какой-никакой Моисей, прикрикнет грозно: «Встань и иди, свободный человек!» И свободный человек привычно подчинится приказу. А ну как не найдется благородного гражданина начальника? Так ведь и померешь свинксом – и ты, и дети твои, и внуки правнуков...

Хотите практический рецепт? Для начала нужно перестать бояться одиночества. То есть нет, совсем не бояться невозможно, потому что страх этот, как я уже отмечал, присущ нашему естеству от природы, подобно боязни высоты. Но ведь с боязнью высоты мы научились справляться, не так ли? Живем себе на сорок седьмом этаже, летаем на семьсот сорок седьмом Боинге – и ничего, привыкли, не жалуемся. Вот и с одиночеством нужно так же – привыкнуть. Поверьте опытному человеку: главное – решиться, а дальше совсем просто.

Ну, а потом попробуйте вспомнить, что родились-то вы умницей, а разучились думать уже потом, в процессе воспитания. Эта задача труднее, чем первая, но овчинка выделки стоит. А уж когда вспомните, то дальше само пойдет – и крылья вырастут, и небо распахнется.

Да... надо же... опять я не о том. Как видите, заносит меня часто и далеко. Что неудивительно: летаю-то я преимущественно в одиночку, разговариваю сам с собой, вот и выходит, что остановить вашего покорного слугу абсолютно некому. Кто-то отнесет эту особенность моего одинокого полета к недостаткам, но думаю – есть в ней и немалое преимущество. Плановые путешествия уныло болтаются между заранее известными точками, в то время как летая от балды, нет-нет да и залетишь в небывалое место.

Вот и сейчас я налетал от балды чуть ли не десяток абзацев, а планировал-то говорить о заложниках. Хотя, с другой стороны, как приступить к теме заложников, не сказав ни слова о свободе? Вернее, о несвободе. Потому что нет в мире более несвободных людей, чем заложники.

Вообще существуют всего три вида несвободы.

Первую, самую распространенную, я называю несвободой де люкс. Ее мы выбираем сами, по собственной доброй воле, без явного внешнего принуждения. Мы бредем в ненавистную школу, на постылую службу, под нежеланный венец, в гости к друзьям и родственникам, надоевшим до зубовного скрежета. Мы исполняем ритуалы, которые кажутся нам бессмысленными, а иногда даже вредными. Мы, улыбаясь, соглашаемся, хотя в глубине души мечтаем взвыть и дать в морду. Или, напротив, отказываемся, причем с той же фальшивой улыбкой, от того, что надо бы схватить обеими руками, прижать к себе и так провести остаток жизни. И еще много чего в том же духе.

Все это, конечно, неприятно, но терпимо. Почему терпимо? – Потому что все вокруг терпят точно так же, как и мы. А неприятность,

поделенную на всех, принято у людей считать благом. И потом – никто ж тебя не гонит по вышеупомянутым маршрутам? Вроде как сам ножками перебираешь, кнут поверху не свистит, шаг вправо – шаг влево за побег не считается... Въедливый оппонент не упустит здесь случая указать на то, что добровольность эта во многом иллюзорна. Ну и что? Иногда и иллюзия дорога – это ж смотря с чем сравнивать!

Вот, к примеру, второй вид несвободы – тюремный, насильственный. Тут уже и кнут налицо, и конвой с собаками, и решетка на окне, и дверь заперта, и ключ от нее – не у тебя. Эх, хороша была прежняя иллюзия... В тюрьме, что и говорить, приятно намного меньше, чем на воле. Но и это, если вдуматься, отнюдь не худший вариант. Прежде всего, в камеру ты попал не просто так, а в результате исполнения той самой мечты взвыть и дать в морду. Ты взвыл и дал в морду или схватил обеими руками и прижал к себе. А нельзя было. И ты знал, что нельзя, но решил наплевать. Или надеялся, что не поймают. А они поймали. И вот теперь ты расплачиваешься. Все справедливо, чин чинарем.

Более того: тюремная несвобода отличается от несвободы де люкс лишь тем, что не делится на всех. Если бы, предположим, сидели все или почти все, то и тюремная жизнь немедленно перешла бы в разряд обычной. К счастью, чем дольше человек сидит, тем больше он переносит понятие «все» внутрь тюрьмы, естественным образом забывая о мире, который находится по другую сторону решетки. А потому чем дольше сидишь, тем свободнее становишься, переходя в пределе к состоянию «де люкс»! В общем, не так уж страшна и тюремная несвобода...

Но есть еще и третий, действительно ужасный вид несвободы – заложничество. В заложники попадаешь не только насильственно, но и случайно – ни за что ни про что. Шел себе, никого не трогал, не выл, не крал и морды не бил, то есть действовал совершенно «как все»... и тем не менее, вдруг, ни с того ни с сего – цап-царап! – за жабры, за шкуру, за фалды! – пожалуйста в подпол, на цепь, под нож, под огнестрельное дуло. Уму непостижимо!

И это только начало. Потому что там, в подполе, наступает уже полный беспредел. В тюрьме хотя бы знаешь, какой срок тянешь – заложничество же принципиально бессрочно. Обычные виды несвободы – и де люкс, и тюремная, – как правило, хорошо предсказуемы: подъем, еда, работа, прогулка, отбой. Заложник же начисто лишен этой благотворной определенности и оттого пребывает в постоянном страхе и напряжении. Его могут покормить, а могут отрезать палец, могут вывести подышать, а могут засунуть лом в задний проход. Он не защищен ровным счетом ничем – даже видимостью закона, порядка или элементарной логики. Он даже не человек, а предмет – предмет чужого торга, вымогательства, шантажа.

Но и это еще не самое плохое. Хуже любых других бед то, что заложник принципиально лишен возможности быть «как все» – той самой, которая столь милостиво защищает людей от сумасшествия и в тюрьме, и в обыденной жизни. Внутри подпола просто не существует такого понятия – «все». Там страдаешь только ты, ты один, а прочие счастливые «все» пребывают по ту сторону баррикад ужаса. Возможно, они ведут переговоры, чтобы выкупить или выволить тебя; возможно – нет. Но даже если эти переговоры увенчаются успехом, все

равно нет никакой уверенности, что похитители сдержат слово и отпустят тебя ко «всем».

Будешь ли ты теперь когда-нибудь снова «как все»? – Бог весть... Человек может жить и выживать во множестве тяжких, иногда невообразимых ситуаций, но нет ничего страшнее, чем положение заложника. Нет. В результате сплошь и рядом заложник съезжает с катушек и остается уродом на всю жизнь – даже тогда, когда его выпускают из подпола на волю. Как, например, мой душевнобольной отец – Эмиль Иосифович Коган, 1922 года рождения, заложник.

Когда он пожаловался, что Борис Шохат отказывается продолжать совместную работу над воспоминаниями, я встревожился не на шутку. Честно говоря, сами воспоминания мало меня волнуют; да и кому интересны домыслы восьмидесятисемилетнего старика? Но в том-то и дело, что беседы с Борисом служили отцу превосходной психотерапией и при этом обходились мне существенно дешевле, чем сеансы профессионального врача.

Должен заметить, что мой родитель выглядит замечательно для своего преклонного возраста. Пожалуй, душевное расстройство – единственный вид болезни, который не вредит, а наоборот, всячески способствует крепости физического здоровья. Энергия, как известно, – всегда энергия, вне зависимости от того, что именно крутит турбину: горячий пар, речной поток, сила ветра или огонь человеческого безумия. Организм моего отца питается сумасшествием. Конечно, сумасшествие это производит прежде всего ненависть и страх, но есть и полезные побочные продукты: крепость мышц, сила спины, исправная работа сердца, печени и желудка. Мой папаша безумен и потому не дряхлеет. В этом смысле он очень похож на престарелых правителей – они ведь тоже продолжают жить и дышать лишь постольку, поскольку одержимы бесом болезненного пристрастия к власти.

Но я не зря упомянул о ненависти и страхе как о главных продуктах отцовского безумия. Хитрость обращения с моим стариком заключается в том, чтобы взять от его душевной болезни лишь пользу, максимально нейтрализовав при этом вредные ее проявления. Вот тут-то и возникает нужда в психотерапии. Поверьте, Эмиль Коган, предоставленный самому себе, будет опасен для окружающих даже в возрасте ста пятидесяти лет. Хорошо, что к тому времени я уже не буду входить в число окружающих...

К идее писать мемуары отец пришел самостоятельно, как только его выпихнули на пенсию в начале девяностых. Писание само по себе служило достаточной терапией: старик разом помолодел. Лет пятнадцать он метался по кабинету, истекая ненавистью, как гноем, и изредка подбегал к столу, чтобы записать очередное предложение или всего лишь одно слово. Он был настолько поглощен работой, что даже не обратил внимания на наш переезд в Израиль. Проблемы начались два-три года назад, когда отец счел свой труд завершенным.

Мне удалось хитростью продлить действие терапии: я купил старика компьютер и уговорил его превратить машинописные листы в электронный файл, сопроводив при этом дополнительной редакцией. На время это занятие снизило остроту проблемы, однако с завершением третьего варианта воспоминаний мне не оставалось ничего другого, как только заняться поиском читателей. Но кто станет читать

такую злобную галиматью? И не просто читать, но еще и обсуждать прочитанное с жаждающим обратной связи автором?

С решением проблемы следовало поспешить: отцовская ненависть, не найдя выхода в работе, выплескивалась в самых нежелательных направлениях. Например, он завел себе обычай бросать на пол и яростно топтать местные русскоязычные газеты. А вечерами нахохлившись садился перед телевизором – для того лишь, чтобы вдруг ни с того ни с сего вскочить и, брызгая слюной, проклинать всех, кто имел наглость появиться в тот момент на экране. Но хуже всего – старик стал выходить из дому и, останавливая прохожих, с жаром втолковывал им свою злобную чушь, которая, к счастью, оставалась пока абракадаброй для не знающих русского людей.

Долго так продолжаться не могло: я уже всерьез опасался, что кто-либо из соседей, устав от криков, догадается вызвать соответствующий транспорт, и моего драгоценного родителя увезут туда, где ему, честно говоря, самое место, – в психушку. Не знаю почему, но подобная перспектива меня отвращает: возможно, я отношусь к своему старику лучше, чем следовало бы, учитывая... учитывая многое. Но разве человеческая привязанность учитывает что-либо, кроме непонятной тяги одного свинкса к другому?

И тут я вспомнил про Бориса Шохата – соседа-бездельника, доктора неких бесполезных наук, обладателя вечно одноглазой, времен Первой иракской войны, автомашины мицубиши-лансер, которая выглядела так, словно сама принимала деятельное участие в тогдашних военных действиях. Местный информационный центр в лице Беспалого Бенды охотно предоставил мне недостающие детали: лансер и в самом деле хронически нуждался в ремонте, его хозяин – в деньгах, а бесполезные науки оказались, пользуясь словами Бенды, «чем-то русским, про книжки», то есть славянской филологией. Лучшего кандидата и вообразить было трудно. Я с легкостью взял Бориса за жабры, а может, за шкуру, и отец задешево получил новую сессию психотерапии.

Доктор Шохат приходил к больному два-три раза в неделю, но этого хватало с лихвой. Старик успокоился, перестал топтать прессу, ругать телевизор и набрасываться на прохожих. У него наконец-то появился читатель, слушатель! Все свободное от бесед с Борисом время он расхаживал по квартире и на разные лады бормотал себе под нос неопровержимые доказательства своих выводов, своих утверждений, своего безумства. Дело продвигалось медленно и, по моим расчетам, имело все шансы растянуться на несколько счастливейших месяцев, после чего отец вполне мог продержаться в спокойной фазе еще столько же – просто по инерции. Ну, а потом... – потом посмотрим.

Сами понимаете, разрыв отношений с Шохатом совершенно не входил в мои планы. Мне не сразу удалось дозвониться; когда Борис снял наконец трубку, удивления в его голосе не было. Он явно ждал этого звонка и соответственно подготовился. После краткого обмена приветствиями я заговорил о возобновлении бесед с отцом.

– Без сомнения, мой папаша непростой клиент. Кстати, я вас об этом предупреждал – помните?

Борис молчал на другом конце провода.

– Наверняка сморозил что-нибудь обидное – он на это мастер, – осторожно продолжил я. – Но, Борис, он ведь глубокий старик, а

стариков принято прощать, не правда ли? Полагаю, что произошло некое недоразумение и что вина за него лежит целиком и полностью на отце. Так?

Он снова промолчал, и я понял, что дело серьезно и придется попотеть. Для начала я добавил в свой приятельский тон немного обиды.

– Ну не молчите же так, Борис. Это, в конце концов, невежливо. Не перекладывайте на сына ответственность за отцовские грехи. Послушайте, недоразумения для того и возникают, чтобы их улаживать. Давайте уладим и это. Алло! Вы меня слышите?

– Да, – коротко ответил он.

– Ну и?..

– Решение принято, Карп, и я не намерен его менять, – произнес он с той характерной чопорной твердостью, какую слабые люди всегда выдвигают на передний край своих бутафорских защитных позиций. – По-моему, я прояснил это Эмилю Иосифовичу с предельной откровенностью. Не понимаю, зачем вы вновь поднимаете этот вопрос.

– Видите ли, Борис, – сказал я как можно мягче, – работаете вы, конечно, с Эмилем Иосифовичем, но оплачиваю вашу работу я. А потому считайте, что я поднимаю вопрос как ваш непосредственный работодатель. Звучит логично?

Он запальчиво фыркнул.

– Если дело в деньгах, то не вижу проблемы. Чтобы привести текст в порядок, мне понадобится даже больше времени, чем покрывает выданный вами аванс. У меня все подсчитано. Вот...

Борис зашуршал бумажками.

– Не трудитесь, – остановил его я. – Дело не в деньгах.

– А в чем же? Я не намере...

– Вот что, Борис, – мне удалось перебить его тираду аккуратно на взлете, что крайне важно в такого рода разговорах. – Мы с вами это еще обсудим. Не прощаюсь.

Так, не прощаясь, я и повесил трубку – обещанное исполни. У меня не оставалось никаких сомнений, что Шохат вернется. Мы встречались всего два-три раза, но этот весьма распространенный человеческий тип знаком мне достаточно хорошо, чтобы уверенно прогнозировать его поведение. Слабых людей часто именуют бесхарактерными, что в корне неправильно. Причина их слабости не в отсутствии характера, а напротив – в наличии нескольких характеров, каждый из которых тянет в свою сторону и в итоге мешает всем остальным.

Любопытно, что в умозрительных вопросах, не требующих вмешательства личности, такой человек, как правило, уперт до невозможности, компенсируя тем самым свою поведенческую нерешительность. Если уж он решит, что дважды два – пять, то его не переубедит ни ученый совет Гарварда, ни коллегия священной инквизиции. Зато простой житейский контакт с такими людьми сводится всего лишь к поиску союзника внутри осажденной крепости. Найди в ней среди множества характеров свой, союзный – и ворота сами распахнутся перед твоими колесницами.

Подождите... я сказал, что этот тип весьма распространен? Гм... извините, вынужден поправиться: он весьма распространен конкретно в России, а в остальном, нормальном мире встречается далеко не столь часто. Зато там, в стране, где черт догадал меня родиться, таким людям даже придумали специальное название –

«интеллигенты». Я не раз наблюдал, как переводчики удрученно вздыхают, сталкиваясь с этим словом – обманчиво ясным, если судить по корню, от которого оно образовано.

Но в том-то и дело, что ясность эта врет, причем врет нагло, в глаза: интеллигент вовсе не обязательно отличается интеллектом. Чаще всего он скорее глуп, чем умен, ибо, как уже отмечалось, склонен к ослиной компенсации, мешающей нормальному ходу мышления. Он обладает многими характерами – это да, но интеллектом – далеко не всегда. Отчего же, спросите вы, его называли именно «интеллигент», а не, скажем, «полихаракт»? Остается только догадываться... Думаю, это просто самоназвание – в корне неверное, но прижившееся: как я уже заметил, интеллигенты не особенно умны, беспринципны в поступках, зато чудовищно упрямы во всем, что касается терминологии.

Понятия не имею, как мой сосед по самарийскому поселению Борис Шохат, в относительно раннем возрасте вывезенный из всемирной кузницы интеллигентов, ухитрился вырасти в столь типичного представителя вышеописанной породы. Видимо, родители постарались, воспитали. Не может же быть, чтобы подобная пакость передавалась с генами, по наследству?!

Об этом я думал вечером, спустя несколько часов после нашей телефонной беседы, когда направлялся к Борису для разговора, в котором все выглядело предрешенным, за исключением разве что протяженности. Он открыл дверь, увидел меня, и в лице его что-то дрогнуло.

– Карп? Зачем вы...

– Станный прием, Боря, – улыбнулся я. – Ты всех соседей так встречаешь? Знаешь, лучше измени вопрос. С «зачем пришел» на «какого черта приперся». Так будет намного приветливее. Зайти-то дашь? А то дождик...

Шохат неохотно посторонился, пропуская меня в дом. Я сел в кресло перед выключенным телевизором. На диване ты всегда с кем-то, даже если сидишь на нем в одиночку, зато кресло – явная претензия на царство, особенно если оно единственное в комнате. Борис остановился передо мной.

– Вот, попрощаться пришел, – я похлопал по мягким подлокотникам.

– Ты уезжаешь? – с заметным облегчением сказал он, принимая мой тон и санкционируя тем самым переход на «ты».

Эта первая быстрая подвижка предвещала блицкриг.

– Нет, – рассмеялся я. – По телефону мы не попрощались, помнишь? Нехорошо, надо исправить. Ты садись, в ногах правды нет.

Борис неловко примостился на краешке дивана. Растрепанный и небритый, словно только из постели, он казался гостем в собственном доме. На лице его отражалась ожесточенная внутренняя борьба: наиболее разумный голос, требующий немедленно выгнать меня ко всем чертям, успешно заглушался нестройным гамом противодействующих мнений. У бедняги просто не оставалось ни времени, ни сил на анализ моих нехитрых маневров.

– Мы ведь уже обсудили... – он вяло взмахнул рукой.

– Кончай, Боря, – перебил его я. – Ты не хуже меня знаешь...

Я не особо утруждал себя выбором аргументов. На этом этапе главную работу за меня совершали невидимые союзники внутри

мятущейся интеллигентской души, бьющейся в груди Бориса, как в тесной печурке огонь. Мне лишь оставалось подкидывать дровишки в эту нелепую топку, изрекая банальности об уважении к старости, трудностях абсорбции, испытаниях, выпавших на долю наших дедов, проекции прошлого в настоящее и так далее в том же духе. Шохат слушал, кивая все беспомощней. По плану все должен был решить заранее заготовленный финальный аккорд. Неожиданно оборвав свою тираду на полуслове, я принялся смущенно тереть лоб, как человек, которому только сейчас пришло в голову нечто, уже давно очевидное всем окружающим.

– Ах ты... как это я сразу не догадался... – я искоса взглянул на удивленное лицо Бориса и тут же отвел глаза. – Что ж ты сразу не объяснил, Боря?... Хотя я понимаю, неудобно... Но я согласен, конечно. Конечно.

– Согласен? С чем? – спросил он, выпучив глаза.

– Добавить тебе денег. Дело ведь просто в деньгах, не так ли?

Это был шокирующий удар наотмашь, под дых. Борис отреагировал соответственно: побелел, задохнулся, помолчал, хватая открытым ртом воздух, затем покраснел и издал несколько междометий, сигнализируя о частичном возврате речи. Я терпеливо ждал продолжения. Сейчас он скажет с оттенком безграничного возмущения: «Как ты мог подумать? При чем тут деньги? Да если хочешь знать, я готов...» – и далее по нотам этой вечной, зауценной вхрусть интеллигентской сонаты. После чего, поплавав друг у друга на плече, мы назначим дату его следующей встречи с папашей и разойдемся, утирая слезы. Брось, Александр Герцович, на улице темно...

– Как ты мог... – тоненько начал Шохат, но его снова перебили, причем на этот раз – не я.

– А что, интересное предложение, – произнес задорный женский голос. – Сколько конкретно вы собираетесь добавить?

Я обернулся и сразу понял, что плану моему каюк. Сзади на ступеньках лестницы сидела молодая женщина в джинсах и большом не по размеру свитере, явно с борисова плеча. Судя по состоянию ее прически и общему облику, она вылезла из постели не раньше четверти часа тому назад. Проблема заключалась в том, что большую часть этого времени женщина провела здесь, за моей спиной, и несомненно слышала все. А насмешливая улыбка и выбранный для вмешательства момент не оставляли никаких сомнений в совершенно ином уровне противостояния, чем тот, на который я рассчитывал, отправляясь к Шохату. Было от чего приуныть...

Борис же, напротив, просиял.

– Познакомьтесь... – он протянул руку, и женщина снизошла в гостиную царственной поступью командующего парадом. – Это Карп, мой сосед... – помнишь, сын стари... сын Эмиля Иосифовича Когана? Вот. Карп. А это – Лена Малевич, моя подруга...

Последние два слова Шохат произнес с несколько вопросительной интонацией, свидетельствующей о том, что указанный статус еще не вполне утвержден – видимо, за недавностью. Лена дважды кивнула, поставив тем самым утверждающие резолюции и на «моя», и на «подруга», отчего Борис просиял дополнительно. Я поднялся с кресла, как свергнутый самодержец с трона, и уныло пожал протянутую ладошку. Плохи мои дела...

– Так что вы говорили про добавку? – напомнила Лена.

– Леночка, разве в этом... – неуверенно вступил Борис, но тут же умолк, повинуясь ее короткому взгляду.

Сколько бы характеров ни вмещала его сложная интеллигентская душа, в тот вечер все они подчинялись стоявшей передо мной женщине. Решение зависело от нее, лишь от нее. Вот только собирается ли она торговаться всерьез или просто хочет отплатить мне за манипуляцию ее беззащитным приятелем? Я пожал плечами.

– Ну, не знаю... Может, двадцать процентов?

Пока я говорил, она, улыбаясь, смотрела на меня, и выражение ее лица неуловимо менялось с каждым моим словом или даже слогом, как будто лицо – это пруд, а слова – листья, падающие на его поверхность и добавляющие всей картине не столь существенные, но заметные внимательному глазу новые пятнышки, тени и штрихи. В этом калейдоскопе быстро сменяющихся реакций невозможно было разглядеть что-либо определенное. Поняв это, я достал из своего арсенала полезный в таких случаях покер-фейс, и физиономия Лены тут же ответно застыла отражением моей неподвижной маски. Потом она отвернулась, но явно не потому, что не могла выдержать моего стеклянного взгляда – просто ей наскучило, вот и все.

– Давайте сделаем так, – сказала она, подытоживая так и не начавшиеся переговоры. – Борис вам позвонит и сообщит свое окончательное решение. Чтоб не вышло с бухты-барахты. Мы ведь не хотим с бухты-барахты, правда?

Шохат восторженно закивал. Он не хотел с бухты-барахты. Судя по его лицу, он хотел совсем другого, а именно – Лену, и прямо сейчас – бухнуться и барахтаться в постели, откуда они оба только что вылезли. Я вздохнул и пошел к выходу.

– Карп!

Взявшись за ручку двери, я обернулся. Лена улыбалась, стоя на нижней ступеньке, Борис нетерпеливо пританцовывал чуть выше, подтягивая подругу к себе за талию.

– Что ж вы опять не попрощались? Два раза подряд – плохая примета.

– Ничего, справлюсь, – ответил я, не скрывая досады.

На улице шел дождь. Дома отец, бормоча себе под нос, мерил шагами гостиную. Он редко отвечал на мое приветствие, не ответил и теперь. Я сделал ужин, и мы поели, причем отец не переставал бормотать даже с полным ртом. Потом я поднялся наверх, прикидывая, сколько будет стоить психотерапевт и как долго он выдержит моего папашу, прежде чем упечь его в дурдом. Борис позвонил поздно, когда я уже засыпал под аккомпанемент отцовских шагов.

– Я решил принять ваше предложение, – сказал он. – Двадцать пять процентов прибавки, так?

– Двадцать, – поправил я.

– О'кей, пусть будет двадцать. Но с одним условием. Вместе со мной в наших беседах будет принимать участие Лена. В качестве ассистентки. Если это вас устраивает, то...

– Устраивает, – остановил его я. – Вы придете завтра?

– Мы придем завтра? – спросил он, адресуясь к своей подруге, и тут же вернулся ко мне с подтверждением. – О'кей, завтра.

Я повесил трубку, не зная – радоваться удаче или признать свое поражение. С одной стороны, я добился того, чего хотел, пусть даже и пришлось заплатить за это непредусмотренную цену. С другой – трудно было избавиться от ощущения, что меня используют. Неприятно чувствовать себя объектом манипуляции – особенно когда готовил роль марионетки для другого. Понятия не имею, действительно ли хотела новая борисова пассия отплатить мне той же монетой за своего униженного дружочка. Так или иначе, ей это удалось на двести процентов.

9.

На следующий день я остался дома и слышал, как они пришли. Появление ассистентки отец встретил равнодушно: аудитория была необходима ему в принципе, безотносительно к количеству слушателей. Думаю, он с одинаковым жаром выступал бы и перед одиноким подростком, и на переполненном стадионе. Сначала они поднялись наверх, но затем вернулись в гостиную: отцовский семиметровый кабинет насилиу вмещал двоих.

Через полчаса я выглянул из кухни, где листал газету за утренней чашкой кофе. Как и следовало ожидать, отец расхаживал по комнате, целиком поглощенный собственным монологом. Борис беззастенчиво дремал, даже не прикрыв глаза рукой. Зато ассистентка заворожено следила за рассказчиком, буквально впитывая каждое его слово и движение. Она едва ответила на мой приветственный жест. Я усмехнулся: наконец-то нашелся хоть кто-то, кому интересны папашины бредни. Надолго ли?

Отец как раз вещал о своем возвращении из детского дома. Его выпустили в 38-ом. Гусарова к тому времени переехала в Москву и была отнюдь не последней фигурой в тогдашнем культурном и артистическом истеблишменте. Кажется неправдоподобным, что шестнадцатилетний парнишка, выйдя из ворот специнтерната в богом забытом прикамском городке, смог вспомнить и разыскать добрую тетю, которая давным-давно приютила его на несколько месяцев после ареста родителей. Маловероятно, не правда ли? Впрочем, таких нестыковок в его рассказе хватает.

Честно говоря, я никогда не пробовал удостовериться те или иные детали папашиных воспоминаний. Гусарова умерла в середине пятидесятых, еще до моего рождения; маму отец вогнал в гроб прежде, чем я вырос достаточно, чтобы задавать подобные вопросы; я никогда не встречал отцовских друзей или родственников – да и существовали ли такие в природе? Спрашивать было абсолютно некого. Самого отца я видел крайне редко: сразу после маминей смерти он протащил меня сквозь строй интернатов и военных училищ напрямик в отдаленный степной гарнизон. А потом... – потом суп с котом.

Я попробовал спрятаться наверху, но голос папаши разносился по всему дому. Оставалось лишь одеться и выйти на улицу, под дождь. Дойдя до машины, я постоял перед нею, перебирая ключи в кармане плаща. Поехать? Но куда? Зачем? Тем не менее сама возможность сесть за руль и отправиться куда глаза глядят подействовала утешающе. Утешающе? – Я удивился этой мысли. С чего это

вдруг мне понадобилось утешение? Неужели разбредили душу по десятому разу услышанные небылицы? Но почему именно сейчас?

Это все она. Она. Ее странный, неестественный интерес к сказаниям старого маразматика словно бы переводил их в разряд действительно бывшего, серьезного, требующего реакции, оценки, отношения. «Нет, не поеду, – решил я. – Пройдусь, пожалуй.» Дождик прекратился, над холмами висели в безветрии низкие облака, в ущелье оседал ветхий реденький туманец. Плохая погода, непривычная. Скорей бы уж солнце вернулось.

Дождя здесь ждут долго, призывают молебнами, тоскуют в метеорологических прогнозах, но когда он, сжалившись, приходит, то радуются вынужденно, лицемерно. Так празднуют получение разрешения на дорогостоящую врачебную процедуру – неприятную, но необходимую для жизни: хорошо, что дали! – хотя, если вдуматься, ничего хорошего в самой процедуре нет, кроме вожденной ее бесплатности. Вот и я не заметил, как стал таким же. Скучаю по солнцу, по небу, по синеве, даже по жаре этой чертовой. О, опять зарядил...

Удивительно, что я чувствую себя дома именно здесь. Всегда был далек от всяких сионистских штучек, и вот... Генетическая память, как не преминул бы заметить мой босс Эфи Липштейн. На самом-то деле у меня никогда не было дома. Папаша позаботился. Он лишил меня матери, семьи, домашнего уюта. Не странно ли, что при этом он – единственный, кто представляет для меня сейчас дом и семью? Наверное, поэтому мне так не хочется лишиться еще и этого сумасшедшего старика. Ведь тогда я останусь совсем один. Да-да, я помню: не надо бояться одиночества. Но и стремиться к нему тоже не следует.

Интересно, что он чувствовал тогда, когда вышел за ворота детприемника, оставив позади десять ужасающих лет и моего тезку – обожаемого Карпа Патрикеевича Дёжкина? Светило ли ему солнце, падал ли снег? Утром ли это происходило или в полдень? Что он уносил с собой, кроме фотографии низколобого звероподобного благодетеля, почтившего когда-то своим августейшим вниманием его тощую мальчишескую попку? Кроме фотографии и ненависти... и какой она была в тот момент, эта ненависть? Еще молодой, не оформившейся, плохо сформулированной и оттого недостаточно острой, или уже тогда – ослепительно яркой и всепоглощающей, как теперь?

Как он ухитрился найти Анну Петровну? А может быть, это она его нашла – нашла и вытащила, когда это стало возможным? Я никогда не пытался выяснить... В следующий раз отца взяли зимой сорок первого, перед войной, с первого курса геологического факультета. Значит, судьба подарила ему целых три года нормальной жизни – и не просто нормальной, а такой, какая и не снилась подавляющему большинству жителей, пленников, рабов тогдашнего обожаемого режима, низколобого и звероподобного, как Карп Патрикеевич.

Он, должно быть, попал прямиком в московскую элиту, в просторную квартиру с прислугой, в престижную школу, а затем, как само собой разумеющееся, – в университет... Как он воспринял эту перемену? Не со стыдом ли предателя заветных дежкинских

заповедей? Или наоборот – оттаял, встряхнулся, попробовал забыть ужасы детдомовской спальни и руки похотливого неандертальца – как ночной кошмар, как нечто никогда не бывшее уже хотя бы потому, что такого не должно происходить ни с кем, а с детьми в особенности?

Не знаю. Вероятнее всего первое – то есть стыд, тайное жгучее сознание, что снова пользуется не своим, а краденым, чужим, нагло отобранным у того же Карпа Патрикеевича. Потому что иначе трудно представить, как отец вынес бы вторичное сошествие в преисподнюю. А так – арест мог быть воспринят им как закономерное и справедливое наказание за воровство, даже в определенном смысле облегчение – а потому и огорчаться, собственно говоря, было решительно нечему. Почему я никогда не спрашивал его об этом? Не потому ли, что знал ответы наперед?

Я вернулся, когда Борис и его женщина уже стояли в дверях, а отец церемонно пожимал им руки. Обычно за ним такого не водилось – по всему было видно, что старик чрезвычайно доволен прошедшим сеансом. Увидев меня, Шохат отчего-то засуетился, что-то шепнул своей ассистентке. Та кивнула и вышла на улицу, оставив Бориса наедине со мной. Что такое?

– Карп, мне нужно с вами поговорить... – неловко, но решительно произнес он.

– Вижу. Говорите, – кивнул я, даже не думая приглашать его вернуться в гостиную.

– Это касается Лены.

Я усмехнулся.

– Да уж понятно.

Он протестующее вскинул брови, но не стал возражать.

– Вы ведь по профессии... – начал Борис и остановился, ожидая, что я продолжу за него.

Я молчал. Какое отношение моя профессия может иметь к его крале?

– Ладно, неважно, – сдался Шохат. – Я всего лишь хотел проиллюстрировать одну общеизвестную истину... Понимаете, профессиональный подход иногда может показаться странным и даже нелепым с точки зрения неспециалиста. Прошу вас учесть это, когда вы будете меня слушать. Мы – Лена и я – специализируемся в области филологии. Она называет себя корректором, но, поверьте, степень ее проникновения в текст заслуживает по меньшей мере...

– Борис, – перебил его я. – Нельзя ли ближе к делу? Только предупреждаю: выше четверки по русской литературе у меня никогда не было.

– Да-да, – заторопился он. – Вы правы. К делу. Помните тот день, когда пропал Арье Йосеф? Я как раз находился у вашего отца, когда Вагнер позвонил мне на пейджер...

Сначала Борис так и рассказывал – переминаясь с ноги на ногу на коврик у двери, как пес, терпеливо ожидающий выхода на прогулку; он рассказывал, а я столь же терпеливо пытался понять, в чем тут дело. Клянусь вам, в его голосе было намного больше удивления, чем спеси им же обещанного «профессионального подхода». Потом я взял Шохата за локоть и отвел в гостиную, и дальше он рассказывал, уже сидя на диване, но все с той же степенью

удивления. Он явно не знал, как ко всему этому относиться, и, похоже, смирился со своим непониманием, со своей беспомощностью. В какой-то момент у меня даже возникло впечатление, что Борис просто хочет перекинуть обжигающую картофелину в чьи-либо другие руки – в данном случае мои, но я тут же отбросил эту мысль: его желания и намерения действительно не играли здесь почти никакой роли. За него решали другие; бедный интеллигент казался полностью подчиненным чужой направляющей воле.

Понятно, что я слушал его вовсе не из интереса к правилам расстановки знаков препинания. Борис упомянул имя моего приятеля и коллеги. Странная филологическая история могла иметь отношение к пропаже Лёни Йозефовича – уже одно это требовало моего повышенного внимания. Однако чем старательней я вникал в хитросплетения корректорской правки, тем дальше они уводили меня от главной темы – исчезновения Лёни. Наконец терпение мое лопнуло.

– Так. Стоп! – скомандовал я. – Борис, вы меня совсем запутали. Все эти запятые, многоточия и тире... – черт ногу сломит. И зачем вы посвящаете меня в такие детали? То есть я могу себе представить, что эти, как их... орфография и так далее... имеют определенное значение, и все такое прочее. Но это ведь косметика, так?

Он задумчиво скривил лицо.

– Так и не так. Видите ли, Карп, косметика тоже может быть разной. Вы имеете в виду самую начальную степень вмешательства, ограничивающуюся слоем пудры-помады. Но согласитесь, возможны и другие уровни. Например, специальные крема, инъекции ботокса, силикон... Но и это еще не все – вспомните о косметической хирургии, о пластических операциях...

– Погодите, – перебил я. – Оставим косметику. Давайте вернемся к вашей повестушке.

– Да, – печально кивнул он, – к моей повестушке... Наверное, я и впрямь чересчур подробен. Мне просто хотелось, чтобы вы получили полное представление о процессе с самого начала.

– Я уже получил, уверяю вас. Вы написали нечто – непонятно что, а ваша подруга под предлогом коррекции перелопатила это нечто до неузнаваемости, впрыснув ботокс, наставив силикон и кардинально изменив хрящики носа. Так?

– Нет, не так, – улыбнулся Борис. – Речь тут все же идет не о пластической хирургии, которая меняет уже сложившуюся внешность, изготавливает другого человека. Не уверен, что вы поймете, но попробую объяснить. Видите ли, настоящий текст обладает собственной самостоятельной жизнью. Она берется непонятно откуда; сидишь себе, пишешь слова, складываешь предложения, никакой мистики, никаких загадок. И вдруг начинаешь чувствовать, что уже не совсем волен в своих действиях. Что, скажем, это слово подходит, а это – нет. Что эта интонация годится, а та – звучит неестественно. Что твой, тобою же придуманный персонаж начинает сам решать, как ему поступить. То есть ты, конечно, можешь силой заставить его сесть в автобус, когда он хочет остаться дома, но в итоге это насилие выйдет боком уже в следующем абзаце: он приедет на свидание с кислой рожей, и намеченная автором любовь пойдет наперекосяк. Как пример. Понимаете?

– Нет.

– Так я и думал. Но вам придется поверить: это факт, знакомый любому пишущему. Тексты обладают самостоятельностью. Возможно, они уже существуют заранее, а авторы всего лишь выявляют их, как надпись молоком на бумаге. А может, слова ложатся на какие-то невидимые трафареты, и те начинают направлять их...

– Борис, – прервал его я, снова теряя терпение. – Вы не могли бы оставить этот спиритический сеанс для более благодарной аудитории? Давайте все же вернемся к Лене... и к Лёне. Или, как вы его называете, Арье Йосефу. Полагаю, вашу подругу заинтересовала конкретная тема. Навряд ли госпожа Малевич вкладывает столько душевного огня в корректуру каждого текста, который ложится на ее стол. Но именно ваша повесть захватила ее настолько, что она даже...

Шохат покраснел.

– Вы можете полагать все, что вам заблагорассудится, – сердито сказал он. – Но поскольку у меня нет иного объяснения, вам придется полагаться на то, что я говорю. Или списать все на безумие и душевную болезнь, как обычно поступают идиоты, когда сталкиваются с чем-то недоступным их скромному разумению.

Я рассмеялся.

– Не обижайтесь. Вы правы. Продолжайте, пожалуйста.

Борис глубоко вздохнул, возвращая себе прежнюю относительную невозмутимость.

– Как я уже отметил, самостоятельность текстов – факт! – он искоса взглянул на меня, но я нашел в себе силы сохранить полную серьезность. – А коли так, то что остается автору? Если он настраивается на правильную волну, то возникает благотворный резонанс и, как правило, – замечательный результат. Но случается и другое: находясь в плену своих первоначальных замыслов, автор принимается силой втискивать текст в прокрустово ложе своего плана. Добром подобное насилие не кончается никогда – на свет появляется урод, обрубок без ног, без рук, без головы.

Он замолчал, покачивая головой, словно заново проглядывал сказанное, подтверждая при этом каждое слово в отдельности. Молчал и я. В тишине дома слышались лишь шаги старика, расхаживавшего по своей семиметровой комнатухе.

– Тогда в чем заключается роль корректора? – продолжил Борис. – Если иметь в виду не поверхностную правку, а истинную, глубинную коррекцию? Корректор уровня Лены не просто расставляет запятые. Она в состоянии уловить и прочувствовать тот самый *внутренний* текст, понимаете? Внутренний! Она способна почти безошибочно различить места, где автор соскочил с общей волны, нарушил резонанс, сфальшивил, ошибся. Как вам такой уровень правки?

Он смотрел на меня круглыми глазами одержимого.

– Хорошо, – сказал я. – Похоже, я начал понимать, что вы имеете в виду. Но это не дает ответа на мой главный вопрос: почему именно ваш текст привлек столь пристальное внимание столь квалифицированного корректора?

– О! – воскликнул он. – В этом-то и суть проблемы! Смотрите, тему моего текста можно определить как поиск. Что, в общем, банально до невообразимости. В подавляющем большинстве текстов, вышедших из-под пера авторов всех времен и народов, главный

герой что-либо ищет: клад, преступника, формулу, идею, любовь, себя, наконец... Поиск, поиск, поиск – вот извечная тема пишущего человечества. Но особенность моего текста заключается в том, что его главный герой – Арье Йосеф – сам находится в розыске! Честно говоря, я тоже далеко не сразу обратил на это внимание. Зато заметила Лена, мой корректор. Она определяет это так...

Борис приподнялся с дивана и, впившись в меня горящим взглядом, продекламировал:

– Этот текст пребывает в поиске своего главного героя! В поиске Арье Йосефа!

Он снова откинулся на спинку и перевел дух. Вообще-то я чужд какой бы то ни было мистики, но тут, признаюсь, мурашки пробежали по моей спине.

– Погодите, погодите... – я откашлялся. – Вы утверждаете, что...

Шохат молчал, и мне пришлось сказать это вслух самому.

– Вы утверждаете, что правильно отредактированный...

– ...откорректированный! – поправил он.

– ...что правильно откорректированный текст сможет сам найти пропавшего человека? Найти Лёню?

Борис пожал плечами.

– Так подсказывает логика, – сухо произнес он. – Хотя с точки зрения здравого смысла это кажется абсолютно невероятным.

В комнате воцарилась неприятная напряженная тишина. Даже отец перестал шагать у себя наверху.

– Так за чем же дело стало? – сказал я. – Пусть откорректирует как надо и скажет, где он.

– Угу... – удовлетворенно пробурчал Борис. – Вот мы и подошли к моей просьбе. Теперь, когда я могу рассчитывать на ваше понимание... Видите ли, Лена полностью завершила коррекцию текста в его нынешней форме.

– И?..

– И пришла к важному выводу. Он написан не от того лица.

– То есть?

Шохат нетерпеливо поерзал на своем месте.

– Как уже отмечалось, текст написан от моего лица. По мнению корректора, это в корне неверно.

– Что это значит?

Я ничего не понимал. Наверное, выражение моего лица было настолько глупым, что Борис улыбнулся, как профессор, растолковывающий троечнику азы умной науки.

– Нужно переписать текст от другого лица, – пояснил он. – И тогда, скорее всего, многое предстанет в совершенно ином свете.

– От другого? – переспросил я, уже предвосхищая ответ.

– О, да... – кивнул Шохат. – Именно так. От вашего, Карп. Эту, как вы выразились, повестушку следует переписать от вашего лица.

Я молчал, не зная, что ответить. В жизни мне еще не приходилось вести столь странные разговоры. Мой гость расслабленно развалился на диване, как человек, только что благополучно завершивший трудную миссию.

– Отсюда и просьба, – почти беспечно проговорил он. – Не откажитесь, пожалуйста, немного побеседовать с Леной. Вы ведь хорошо знали Арье Йосефа, не так ли?

10.

Знал ли я Арье Йосефа, отставного майора отставной армии отставной державы? Еще бы... Вернее сказать, я помнил его еще Леонидом Йозефовичем – курсантом Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны. Да и как не помнить единственного – помимо тебя самого – еврея в, мягко говоря, не слишком дружелюбной среде российской казармы начала семидесятых!

Впервые я увидел его в очереди у «чепка» – буфета для курсантов, где нам предоставлялась ценная возможность купить лежалые вафли, вязнувшее на зубах печенье, а если повезет, то и шоколадку. Возможность эта, впрочем, реализовывалась далеко не всегда: на шопинг выделялось не более получаса, а очередь продвигалась крайне медленно из-за «стариков»-четверокурсников, вразвалочку подходивших к прилавку с левой стороны. «Старики» гадствовали и, уже получив свое, не уходили, а нарочно тянули время, разводя тары-бары с продавщицей, в то время как очередь бессильно топталась справа, поглядывая на часы и накаляясь ненавистью.

Помню, что чем дальше я стоял от раздачи, тем желаннее казались заплесневелые лакомства. Дома никто на них даже не взглянул бы, но там, у «чепка», за эту дрянь дрались и грызлись: крысы, ночью – по ту сторону прилавка, люди, днем – по эту. Кто-то – уж не сам ли Лёня? – рассказывал мне в этой связи о некоем сюжете из высоколобого французского романа. Наверное, все-таки Лёня – жена у него была из таких, с филологического. Так вот – герой в романе собирается побаловаться чайком, и один лишь запах бисквита рождает у него воспоминаний на три десятка страниц. Думаю, что попадись мне сейчас тогдашнее «чепковое» печенье, счет страниц пошел бы на сотни... Хотя черт его знает: иногда только кажется, что воспоминаний много, а как рот раскроешь, так и сказать нечего. Да и не выпускают уже давно такого дерьма – ни печенья «Дружба», ни политработников.

Перечить четверокурсникам не осмеливался никто, поэтому волна злобы, поднимавшаяся со стороны очереди, всей своей мощью обрушивалась на спину стоящего впереди. Ясное дело, вины на нем не было никакой, но тем не менее именно его ненавидели люто и бессмысленно. Все в нем бесило очередь, все раздражало. Отчего он встал слишком далеко от окошка или наоборот – чересчур близко? Отчего не выражает даже робкого протеста или напротив – зачем дразнит «старика» своим излишним нетерпением? Отчего он неподобающе слаб – или силен?.. низок – или высок?.. молчалив – или разговорчив?..

В том же конкретном случае ситуация отягощалась еще одним обстоятельством, которое доводило раздражение очереди до уровня невыносимости: стоявший впереди был жидярой, абрамом. Его близость к прилавку выглядела доказательством известной жидовской проницательности, его неспособность оттереть четверокурсника – доказательством жидовской трусости, подлости, злоумышленного подъевреивания. Как на грех, заветные полчаса близились к концу, «старики» подходили и подходили, нарыв ненависти рос и набухал быстрее обычного.

Когда он наконец закономерно лопнул и еврея выкинули из очереди, я испытал точно такое же удовлетворение, что и все остальные: как-никак, одним человеком по дороге к прилавку стало меньше. Должен заметить, что подобная несправедливость случалась и с другими, так что не произошло ничего из ряда вон выходящего, кроме, конечно, самого еврея. Он сунулся было обратно в ряд, но сразу с десяток рук отшвырнули беднягу в сторону. Весь красный, тяжело дыша и упрямо наклонив голову, парень стоял перед слитной враждебной стеной и явно готовился к следующей попытке.

— Ты смотри — лезет и лезет, — возмущенно произнес за моей спиной голос Лехи Пузракова. — Блясука жидовская...

Я обернулся — сам не знаю зачем, ошибся. В таких ситуациях предпочтительней не расслышать. Но когда мы встретились с Лехой глазами, было уже поздно. Его взгляд стал меняться — на фоне пружинной нетерпеливой злобы вдруг промелькнуло смущение, за ним вызов, снова смущение и снова — вызов. Затем Леха ухмыльнулся и сказал почти по-дружески:

— Что, обидели земляка?

Поразительно, как быстро человек становится изгоем. Всего лишь мгновением раньше я ощущал себя частью общего целого, и общее целое нисколько не возражало. И вот — на тебе... Внешне я еще пребывал в очереди, внутри, но по сути лехино замечание уже выбросило меня наружу, на остров отверженных, далеко от огромного, надежного материка «своих».

К тому времени за моими плечами уже стоял многолетний опыт интернатского выживания. Нет ничего глупее и безнадежнее, чем напрашиваться в «свои». Отказ быть тем, кто ты есть, приводит к тому, что становишься никем, даже ничем, нулем, объектом всеобщего презрения. На лехин вызов, на вызов враждебной очереди следовало реагировать без промедления. И я встал рядом с «земляком», даже не зная в тот момент его имени, хотя мой товарищ по батарее и сосед по койке Леха Пузраков представлялся мне тогда по всем параметрам неизмеримо ближе, чем незнакомый длинноносый абрам. Кстати говоря, и сам «земляк» нисколько не вдохновился моим геройством — понимал, что думаю я вовсе не о нем, а о себе. Как, собственно, и он. Потом нас обоих слегка помяли — что называется, за борзость.

Мы поняли, что влипли, когда в очередной раз поднимались на ноги — поняли по вдруг воцарившейся вокруг нехорошей тишине. Площадка перед «чепком» волшебным образом опустела: вы не представляете себе, с какой скоростью умеют разбежаться курсанты при появлении начальства. Продавщица Маргарита Сергеевна насмешливо топорщила губы, а рядом, облокотившись на прилавок, стоял комендант училища майор Супилко, по прозвищу Пенек. Вообще-то Пенек охотился за курсантами круглыми сутками по всей вверенной ему территории и без каких-либо сезонных ограничений, но «чепок» был его самым заповедным угольем. Стоило задержаться там всего на секунду свыше отведенного времени, как тут же словно из-под земли рядом вырастал Пенек с записной книжкой наготове.

Свое прозвище он заработал благодаря нескольким равно значимым обстоятельствам: карликовому росту, природной тупости и легендарной тактической находке, вошедшей в анналы задолго до нашего попадания в училище. Якобы, делаясь с курсантами личным опы-

том, Супилко посоветовал им при попадании в полевые условия «первым делом раздать солдатам по селедке, а потом спилить дерево пошире, чтоб был пенек, где карту разложить». На вопрос, зачем раздавать селедку, Супилко отвечал, что «иначе солдаты пилить не захочут, а без пенька никак».

Да, смешно, но в тот момент нам с «земляком» было не до шуток.

– Та-ак... – зловеще протянул Пенек, вынимая из нагрудного кармана печально знаменитый блокнот. – Нарушаем, значит. Давайте сюда!

Мы послушно достали свои документы.

– Та-ак...

Комендант раскрыл мой военный билет и радостно сощурился.

– Коган? Мое фамилие тоже на «ко». Майор Супилко мое фамилие. Хе-хе... Та-ак... А это кто? Йо... Йо... Йо-зе... Йо-зе-фо-вич... надо же... чего только не бывает. Хе-хе... Та-ак...

Он долго переписывал наши данные: ручка как живая вертелась в неуклюжих комендантских пальцах, привычных разве что к стакану. Сказывалось и отсутствие подходящего пенька, на котором товарищ майор мог бы удобно разложить записную книжку или даже карту. Мы обреченно топтались рядом. Дисциплинарные прегрешения на первом году карались особенно строго: нам светило попадание в «диссиденты», то есть отмена отпусков. Но вышло намного хуже.

Незадолго до этого доблестные питерские чекисты вскрыли сразу два змеиных гнезда еврейского национализма, причем одно из дел – знаменитое «самолетное» – имело прямое отношение к противовоздушному профилю нашего училища. И хотя войска ПВО продолжали демонстрировать повышенную боевую и политическую готовность немедленно проучить всякого, кому вздумается перелететь через государственную границу в любом направлении, генералов не покидало неприятное ощущение неудачи. Сионистский противник был в итоге арестован чекистами еще на аэродроме, то есть не сбит! А «не сбит» на языке ПВО означает «упущен». Наше начальство, таким образом, воспринимало «самолетное дело» как свой личный промах и жаждало исправиться.

В этой ситуации совместное выступление двух оборзевших абрамов у прилавка училищного «чепка» вполне тянуло на новую акцию еврейского подполья – и на сей раз не где-нибудь, а в армии! Для начала нам дали трое суток ареста, а более тщательное разбирательство отложили на потом, до завершения консультаций с компетентными товарищами. Так я попал в одну камеру с Лёней Йозефовичем.

Предохраняя здоровый коллектив от сионистской заразы, нас не напрягали обычными арестантскими работами, так что мы свободно подрыхли и протрындели целые сутки. Это был наш самый длинный и, как потом оказалось, единственный серьезный разговор за все три с половиной десятилетия знакомства. Потому что назавтра выяснилось, что на вышеупомянутой консультации нашему бдительному начальству тактично посоветовали меньше пить, а затем грубо послали туда, куда испокон веков нанизывается весь личный и командирский состав всех без исключения российских армий.

Если посылка звучала привычно и оттого необходимо, то совет смущал своей очевидной невыполнимостью. Вернувшись, смущенное начальство заменило нам вечную каторгу внеочередной побелкой

офицерского сортира, после чего мы с Лёней разошлись по своим батареям и теперь уже, наученные горьким опытом, избегали встречаться взглядами до самого последнего училищного дня... да и в последний день тоже.

Зато там, на губе, мы наговорились на всю оставшуюся жизнь. Главный вопрос, занимавший тогда нас обоих, касался причин нашего попадания в камеру – от частных, типа лёниной невезухи у прилавка и несвоевременного появления коменданта Пенька, до общих, которые умный Лёня громко именовал *экзистенциальными*. Как видите, он совсем меня не стеснялся: попробуй-ка произнеси подобное ругательство в казарме – сразу таких звездюлей навешают, что мало не покажется...

Моя *экзистенциальная* причина описывалась одним коротким словом – отец. Я уже упоминал где-то о том, что он вогнал мою мать в гроб, а меня – в беспросветный туннель казенных интернатов, венцом которых стало военно-политическое училище. Второе прямо следовало из первого: мать, будь она жива, никогда бы не позволила такому случиться. Она меня очень любила – думаю, главным мучением в ее смертных муках безнадежной раковой больной было сознание того, что я остаюсь в полной папашинной власти. Мама хорошо представляла себе, что меня ждет, и скорее всего это наполняло ее такой горечью, от которой не помогал даже морфий.

В палату для умирающих мою мать тоже привела вполне экзистенциальная причина – и причиной этой был тоже отец – только ее собственный, обожаемый сверх всякой меры. Видный ученый-генетик, он погиб почти сразу после ареста, о чем его родственники, как водится, догадывались, но официального подтверждения не имели. Дочь надеялась и ждала любимого папу дольше всех. Когда во второй половине пятидесятых в Москву стали возвращаться люди с отрешенными взглядами, она не уставала хватать их за рукав, заглядывать в лица, задавать вопросы – естественные с точки зрения нормальной человеческой логики, но крайне нелепые в вывернутой наизнанку галактике черных дыр и черных планет.

Эмиля Когана, практически полностью оттоптавшего свои «десять и пять по рогам», она встретила в университете, куда бывший зэк пришел восстанавливаться в списке студентов. За время вынужденного академического отпуска длиной в пятнадцать лет он успел приобрести немалый практический опыт в разведке и добыче полезных ископаемых. К несчастью моей будущей мамы, Коган был внешне чрезвычайно похож на ее пропавшего отца. А может, ей это просто казалось – ведь она действительно искала папу повсюду.

«Повсюду» означало еще и в каждом мужчине, особенно в тех, кто только-только вернулся. Над их головами зримо витал папин мученический ореол, их глаза еще хранили отражение любимого облика, в ушах еще раздавался звук ласкового голоса – того самого, когда-то читавшего ей перед сном. А в Эмиле Когане подкупало еще и то, что моя бедная мама приняла за благородное смирение, столь высоко ценимое русской литературой, на которой она воспитывалась. Ее избранник ничуть не сердился на тех, кто украсил лучшие годы его жизни тюремными нарами, цингой и каторжным рабским трудом. Наоборот, он оправдывал своих мучителей, и этот величавый аристократизм духа еще больше роднил его с дорогим отеческим образом.

Сейчас, восстанавливая те события задним числом, я почти уверен, что мой отец принял ухаживания восторженной девицы более чем равнодушно: не поощрял, но и не сопротивлялся. Его душа была к тому времени уже полностью занята ненавистью – настолько, что ни для чего другого просто не оставалось места – ни для любви, ни для дружбы, ни даже для элементарной человеческой симпатии. Но энтузиазма и энергии дочери репрессированного генетика с избытком хватило на двоих. Они поженились, мама почти сразу забеременела, и на свет появился я.

Когда она поняла, что ошиблась сказкой, что теперь ей предстоит жить не на зеленых полянах «Аленького цветочка», а в мрачных декорациях «Синей Бороды»? Думаю, достаточно быстро. Вот тут бы ей схватить ребенка в охапку и бежать, бежать без оглядки – тем более что отец наверняка не стал бы ее удерживать. Ему было решительно наплевать и на жену, и на сына – на все, кроме бессмертных заветов пещерного философа Карпа Патрикеевича Дёжкина. Но я ведь не зря назвал мотивы моей матери экзистенциальными: развод с Синей Бородой казался ей бегством не столько от чудовищного мужа, сколько от страдающего отца.

Она наивно полагала, что сможет отогреть его – честное слово, ее самоотверженного тепла хватило бы на целый ледник – если бы речь тут шла о леднике. Но речь-то шла, наоборот, о пожаре – о черном пожаре всепоглощающей ненависти – поди отогрей пожар! И вот этой своей ошибки мама никак не могла осознать. Она слишком долго не сдавалась – слишком долго, чтобы выжить.

Нет, не поймите меня превратно: Эмиль Коган не избивал жену, не морил ее голодом в сыром подполье, не угрожал ужасными пытками. Он просто высушил ее насмерть. Трудно все время находиться рядом с чужим враждебным человеком. Людям для дыхания требуется не только кислород; радость – не менее важный компонент. Моя мама умерла, надышавшись ядовитыми испарениями отцовской злобы – в этом и только в этом заключалась истинная причина ее заболевания. Помните, я рассказывал вам о заложниках? – Мать была типичной заложницей: ее захватили еще подростком одновременно с арестом любимого папы и держали взаперти, пока не задохнулась.

Отец отнесся к смерти жены с тем же равнодушием, с каким принимал когда-то знаки ее внимания. Думаю, что если не нужно было бы совершать необходимые похоронные процедуры, то мой папаша едва бы заметил мамино исчезновение. Он к тому моменту уже работал в ВАКе – Высшей аттестационной комиссии. Понятия не имею, как он туда попал. Видимо, поначалу сыграли свою роль серьезные связи и знакомства в научном мире, которые тогда еще оставались у маминой семьи. Но именно поначалу, на самой первой ступеньке карьерной лестницы, потому что дальнейшее – и чрезвычайно успешное – отцовское продвижение обеспечивалось отнюдь не протекцией.

На первый взгляд это кажется странным: многолетний зэк, отпрыск троцкиста-зиновьевца и японо-финской шпионки да еще и еврей к тому же... ну во что, скажите на милость, может вырасти столь диковинный саженец чекистско-мичуринской лаборатории? И есть ли ему вообще место на чистой советской грядке? А вот ведь – нашлось местечко, и отнюдь не последнее.

В ВАКе папашина ненависть оказалась весьма и весьма востребованной: в мире не существовало лучшего способа зарубить диссертацию еврейского соискателя, чем направить ее на рассмотрение Эмиля Иосифовича Когана. Его из ряда вон выходящее жидоедство стало легендой: ни одна рукопись, отмеченная хотя бы легким подозрением в несовершенстве пятого пункта, не миновала «еврейского кладбища» – так между собой именовали сотрудники ВАКа мусорную корзину в когановском кабинете. В то же время беспримесная и несомненная национальная принадлежность самого душителя служила почтенному органу наилучшим доказательством абсурдности возможных обвинений в антисемитизме: вот, мол, смотрите – свояк свояка проверяет – чего же еще желать-то?

Уверен: будь на то отцовская воля, он отправил бы на «еврейское кладбище» и меня – ведь я представлял собой еще один постыдный артефакт в ряду результатов разрушительной жидовской деятельности и в этом смысле не сильно отличался от диссертации какого-нибудь абрама. Но к счастью, младенцем я пребывал под защитой матери, а после ее смерти был уже достаточно большим и в мусорную корзину не помещался. Зато прекрасно помещался в провинциальный интернат, куда папаша и запихнул меня при первой возможности. Впрочем, допускаю, что им двигали и другие мотивы помимо желания избавиться от мусора. Например, бессознательная надежда на то, что ко мне, как к заброшенной наугад наживке, поднимется со дна старая замшелая рыбина – безвозвратно потерянный, но по-прежнему обожаемый Карп Патрикеевич Дёжкин.

В ту пору мне стукнуло двенадцать; я был обыкновенным несчастным мальчишкой, только что потерявшим мать и отчаянно мечтающим стать достойным своего необыкновенного отца. Да, да, тогда я совершенно не понимал всей вышеизложенной подоплеки – да и доступна ли она детскому пониманию? Сказать, что папаша не уделял мне никакого внимания, значило бы преувеличить степень его любви к сыну – скорее он меня просто не замечал. Видя мои переживания по этому поводу, мама выходила из положения, скармливая мне ту же ложь, которой врачевала себя. Что делать?.. – у нее и в самом деле не было другого лекарства.

Меня пичкали легендами об отцовском мученичестве и благородстве; злобный ядовитый гриб казался мне величественным образцом для подражания, недостижимым в прямом и переносном смысле. Конечно, я любил мать, но – как-то небрежно, походя, как дети и люди вообще относятся к тому, что достается даром, что само собой разумеется, а потому не требует заботы и благодарности. Эх... если бы меня сейчас спросили, что мне хотелось бы исправить в собственном прошлом, то я, не задумываясь, выбрал бы именно это. Знаете, я бы даже заплатил за эту правку несколькими годами жизни – возможно, мое тогдашнее внимание добавило бы эти годы ей, моей маме.

Но что я понимал тогда – мальчишка?

Свою отправку в интернат я воспринял как испытание. Отец прошел детский дом – теперь настала моя очередь. Он не склонил головы перед тяготами одиночества и несправедливости – теперь я должен доказать, что достоин называться его сыном. И тогда... тогда он, наконец, поймет, тогда он, наконец, оценит... По сути я был заложником – заложником образа своего отца – в точности как покойная

мама. В самые трудные моменты я напоминал себе о нем, и это добавляло сил мышцам, наполняло энергией душу и придавало остроты разуму. Парадокс, не правда ли: отцовская ненависть погубила мать, а мне, наоборот, помогла выжить, выучила быть сильным, сделала тем, кто я есть. Хотя, с другой стороны, не будь его, мне, возможно, не пришлось бы вообще учиться этой волчьей науке – просто не возникло бы такой необходимости.

Ко времени поступления в училище я уже кое-что соображал – достаточно, чтобы начать понимать своего родителя, но еще не настолько, чтобы осмелиться ему перечить. В общих чертах отцовский замысел стал ясен мне уже в первые месяцы пребывания в казарме. Не зря папаша так долго тренировался на диссертациях. Для парня с фамилией Коган военно-политическое училище начала 70-х представляло собой разновидность мусорного ведра. Вернее погубить меня можно было, только поставив к стенке перед расстрельной командой. В лучшем – недалеко ушедшем от худшего – случае мне светили лишь отдаленнейший гарнизон до скончания дней и одинокая майорская звезда – почти недостижимым венцом блистательной военной карьеры.

К сожалению, мне было решительно не с кем это обсудить, так что по-настоящему я осознал весь унылый ужас своего положения лишь во время того памятного разговора с Лёней Йозефовичем на училищной губе. Знаете, как это – пока не определишь словами, до конца не поймешь. Вот и мне выпало понять свою *экзистенциальную* причину лишь там, в камере.

Выслушав меня, Лёня рассмеялся: его отправил в училище тоже отец, хотя и из совсем других соображений. Тогда мы наивно полагали себя заложниками наших отцов, что под определенным углом зрения выглядело даже неплохо. Лишь много-много позже я осознал, что дело обстояло значительно хуже: мы были *наследниками* отцовского заложничества. Карп Патрикеевич Дёжкин добрался и до наших задниц.

Один из его известных клонов как-то объявил, что сын за отца не отвечает. Возможно, не отвечает перед Дёжкиным – это уж как повернутся маршруты дёжкинских воронок. Их никогда не хватает на всех, у кого-то получается спрятаться. Проблема в том, что сын отвечает за отца на суде, от которого не спрячешься, не убежишь, потому что невозможно убежать от самого себя. Мы сами судим своих отцов, сами выносим им приговор и сами несем потом наказание. Как написано в умной книге, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Какова тогда оскомина на наших зубах, если припомнить, что именно заталкивали во рты нашим отцам – заложникам одного огромного омерзительного подвала, где даже крысы панически боялись шарканья мягких сапог Карпа Патрикеевича Дёжкина?

11.

С моим боссом и нанимателем Эфи Липштейном мы примерно одного возраста, зато по званию он круче меня на целых два ранга. И если бы только по званию... Чего стоит майорская звездочка отставной козы барабанщика супротив трех фалафелей полковника запаса одной из самых сильных армий в мире? Впрочем, в последнем сам Эфи не слишком уверен, а потому при каждом удобном случае самоутверждается, подкалывая меня моим «красноармейским» прошлым.

Я в ответ улыбаюсь и помалкиваю. Надо ли сравнивать трактор с транзистором? Разве ЦАХАЛ – армия, в российском понимании этого слова? Армия – это, дорогие мои, прежде всего – тыл, затем – тыл, затем еще раз – тыл, а уже потом все остальное. А какой такой тыл в стране, где тыла не существует в принципе? Тут даже понятия такого – «военный госпиталь» – нету. Разве представляет себе здешний генштаб, что это такое – помыть солдата в бане? Солдаты тут дома душ принимают, на пару с подружкой-солдаткой из той же части. И кстати, о солдатках: где-то подобным словом обозначают скорбную вдову, здесь же – знойную красавицу в макияже, с автоматом, кокетливо перекинутом через плечико. Армия, скажете тоже...

Я молчу, но Эфи без слов чувствует то, что могло бы быть сказано. Он вообще очень чуткий, этот полковник запаса, – профессия обязывает. Эфи Липштейн торгует оружием.

– А что, Карп, есть что-нибудь новенькое по Арье Йосефу? – спрашивает он, прищуривая маленькие глазки.

У Эфи длинное чисто выбритое лицо и столь же чисто выбритая голова. Он высок, широкоплеч и вообще здоров как бык. По выходным дням крутит педали горного байка – так, что молодым не угнаться. Я знаю его братьев – они такие же: семья потомственных мошавников, от земли, от плуга. Старший до сих пор держит семейное хозяйство – коровник, оранжерею, пруд, плантацию авокадо. Остальные Липштейны время от времени наезжают помогать, хотя давно уже разбрелись кто куда: тот в университете, этот в хайтеке, а Эфи вот пошел по военной части.

Я пожимаю плечами:

– Нет, ничего.

– А что говорят? – не отстает Эфи.

– Всё то же. На арабов валят.

Он ощупывает взглядом мою недовольную мину.

– А ты не веришь?

– Кончай, Эфи, ладно? – говорю я, начиная сердиться. – Были бы арабы, давно бы уже обнаружилось. Ты это не хуже меня знаешь.

– Что же тогда?

– Что же тогда? – эхом повторяю я. – Думаю, что и это ты знаешь лучше меня.

Мы молча смотрим друг другу в глаза. Зачем зря трепать языком? Наконец Эфи качает головой.

– Брось, Карп. Несерьезно. Кому он был нужен, твой Арье?

– Был?

– А ты меня на слове не лови, понял?! – теперь уже сердится он. – Был – в смысле... тьфу!..

Эфи досадливо качает головой, выщелкивает сигарету и закуривает. Только на моей памяти он бросал курить трижды.

– Эфи, – говорю я. – Ты меня знаешь, я лишних вопросов не задаю. Но Арье Йосеф – мой сосед... друг, можно сказать. Я его на это дело рекомендовал, помнишь? Посмотри мне в глаза: это точно, что ему бояться было нечего? Сто процентов?

– Тьфу! – снова плюется он. – Двести процентов! Глазами своими клянусь! Я тебе даже покажу, где и что он за последние два года консультировал – перед тем, как от дел отошел... вот!..

Эфи открывает ящик стола и достает лист бумаги с несколькими рукописными строчками. Судя по скорости, с которой он это делает, мой босс заранее готовился к этому разговору. Я читаю: Узбекистан, Киргизия, Украина... запчасти к вертолетам Ми-24, «Грады», гаубицы Д-30... Конго, Уганда, Сенегал.

– Запомнил? – он отбирает у меня список и, аккуратно скомкав, пристраивает в пепельнице. – Все чисто. Сертификаты белы как снег.

Сертификатом конечного пользователя называется документ, удостоверяющий право клиента на покупку. Например, если клиент – некая сенегальская фирма, то и сертификат должен исходить от правительства Сенегала. С точки зрения Интерпола такая бумажка является одним из необходимых условий любой торговой операции, в которой замешано оружие или товары подозрительного назначения. Предполагается, что подобная ксива «обеляет» сделку со стороны покупателя. Понятно, что у продавца тоже должны быть свои разрешения – от соответствующих органов страны-экспортера. Если какой-то из документов отсутствует, сделка автоматически превращается из «белой» в «черную».

Но, как известно, между двумя этими цветовыми полюсами плещется огромное серое море. «Серые» сделки добавляют к законной операции дополнительные, никем не санкционированные ступени. Такие сделки напоминают айсберг: сверху все ослепительно бело, зато внизу, под водой – многоэтажный мрак, и единственные в округе «белые» существа зовутся белыми акулами. Те, кто плавает там, в темноте, пьяны от адреналина и шальных денег. Они могут уповать лишь на везение и на способность вовремя вынырнуть. Возможно, Лёня как раз не успел?

– Сертификаты... – говорю я. – Арье называл их «смертификаты». Знаешь, что такое по-русски «смерть», Эфи?

Он кивает. Научился в последние годы. С волками жить... Эфи вздыхает и выкладывает на стол свои главные аргументы – тяжелые руки потомственного фермера.

– Слушай сюда, Карп, и слушай внимательно... – босс наклоняется вперед, и его длинное лицо оказывается совсем рядом с моим. – Я в жизни через такое прошел, что тебе в твоей маме-Раше и не снилось. Многое бывало, практически всё. Всё, кроме одного: Эфи Липштейн никогда не бросал товарища. Никогда. Ни живого, ни мертвого. Ни в бою, ни в общем деле. Понял?

Сверлящие маленькие глаза держат, не отпускают – настолько, что я начинаю ощущать легкое жжение в районе переносицы. Он не врет, или я совсем ничего не понимаю в людях. А может, мой умелый босс часто разыгрывал этот спектакль и потому здорово настропалился.

– Понял?

Теперь моя очередь кивать.

– Ты должен верить, когда я говорю, что во всех делах, которые когда-то вел Арье Йосеф, не было ничего опасного, – продолжает Эфи, слегка пригасив интенсивность своего рентгеновского взгляда. – Ни-че-го. Даже близко не лежало. Во всяком случае, мне ни о чем таком не известно. А если что всплывет, то, клянусь глазами, ты узнаешь об этом первым. Хотя что может всплыть, сам подумай? Он ведь уже почти год как от дел отошел!

– Восемь месяцев, если уж быть совсем точным, – поправляю я. – Да и не совсем отошел. Факт – ты передавал ему эту папку. Через меня же и передавал.

– Ну и что, Карп? Ты ведь эту папку сам видел – там все белое, как папин талит, прости Господи. Я хотел его заинтересовать, вернуть хотел. Сколько раз мы с тобой это обсуждали... Он был хороший консультант, Карп. Не хуже тебя.

– Опять «был»?!

Эфи беспомощно откидывается на спинку кресла. Ему нечего добавить. Видимо, он все-таки хороший парень. Типичный сабра, таких здесь обычно называют «солью земли» – этой земли, а не какой-нибудь другой. Крепкий, уверенный, сильный, без капли самоедской рефлексии – той самой, которая желеобразно подрагивает в глазах моего соседа Бориса Шохата, интеллигента. Эфи нисколько не сомневается в том, что нет такого дела, с которым он не мог бы справиться лучше всех – если, конечно, это дело стоящее, потому что в сторону нестоящего «соль земли» не просыпется даже случайной крупинкой.

И ведь действительно справляется – не сам, так с помощниками. Я никогда не видел его смущенным – похоже, чувство приниженного стеснения незнакомо Эфи Липштейну в принципе. Суньте его в шортах и потной футболке на великосветский лондонский прием – он разве что ухмыльнется: «Вот ведь вырядились...» – и протянет за шампанским свою волосатую увесистую лапу. Он незлобив и никогда не полезет в драку – наоборот, сделает все, чтобы от нее уклониться, но я бы не рекомендовал никакому противнику повстречать его на поле боя: уложит в долю секунды, не только без вышеупомянутой рефлексии, но и без последующих горьких угрызений и воспоминаний. Просто убьет как сотрет, и точка.

Сомневаюсь, что он прочитал в своей жизни хоть какую-нибудь книжку, за исключением технических каталогов и сельскохозяйственных справочников – «соль земли» не переносит болтовни, как устной, так и письменной. Но Эфи не чужд и определенной философичности, любит красивый парадокс, не лезет в карман за острым словом и точно знает, зачем живет: чтобы получать удовольствие от жизни. Последнее выглядит несколько эгоистичным, если не легкомысленным, вот только устроен этот фермерский сын так, что удовольствие свое он получает от вполне конвенциональных вещей: семьи, детей, лихого велосипедного трека, прогулки на джипах по ночной пустыне, веселой дружеской беседы за стаканом хорошего вина...

Эфи Липштейн действительно мог бы заниматься чем угодно, но в настоящий момент он торгует оружием. Так получилось: армия, спецназ, демобилизация по ранению, плавно перетекшая в работу на министерство обороны. А уж после четырех лет в должности военного атташе трудно не поддаваться соблазну использовать наработанные связи. Вот вам и прямая дорога из «соли земли» в оружейные бароны. Начинаешь, наверное, с малого, думаешь, что ненадолго. «Белые» сделки, легкие посреднические деньги. А что сертификаты покупные – так они и прежде только через взятку выдавались...

Но в определенный момент выясняется, что продаешь ты автоматы в Буркина-Фасо, а стреляют они почему-то в Либерии. И выходишь ты фраер-фраером, потому что операция по факту – «серая»,

а значит, и проценты твои должны были быть как минимум втрое выше. А кто же любит быть фраером? И вот порог перейден – сначала невзначай, незаметно, но дали впереди – все серее и серее. Схемы известны, никто не изобретает велосипед: подставные кипрские фирмы, оффшорные каймановы счета. Их в каждой сделке несколько, и все твои, потому как зачем плодить лишних посредников?

И вот уже знакомый офицер подмигивает, встретив тебя в коридоре министерства – слышал, мол, слышал о твоих подвигах... – ты только не слишком борзеей, Эфи, братан. «Да кто ж борзеет, братан?! Всё схвачено!» – в тон кричишь ты вслед ему, своему пацану, с которым когда-то вместе да по сирийской пустыне... Кричишь, а сам знаешь, что плохо твое дело, что живешь ты уже на лезвии бритвы, что знают здесь о тебе всё, до последнего байта, – и про счета твои, и про компании... – знают и терпят, потому что пока ты им выгоден, потому что пока они – часть твоей серой цепочки. Но ключевое слово тут – «пока». Пока кому-то не надоест, пока не наступишь на ногу влиятельному конкуренту, пока не закончится твоя серая цепочка в ливанском туннеле или на иранском заводе. Поди докажи потом, что проданные тобою бронежилеты предназначались не хизбалле, а сенегалле... Тут уже никакие свои пацаны не помогут. Напротив – отвернутся, в предатели запишут...

– Эфи, – говорю я. – Я тут подумал... пора мне завязывать с этим делом. Пока не поздно.

– Тебе? Завязывать? – повторяет он с видом крайнего изумления. – Тебе-то чего бояться? Это у меня очко играет, а ты-то что? Карп, дорогой, ты ведь у меня на зарплате, ничего не подписываешь, только бумажки с места на место переносишь...

– Вернее, из страны в страну, – уточняю я. – А потом, вслед за бумажками...

– Какая разница? – вовремя перебивает Эфи. – Из страны в страну – тоже с места на место. И куда ты пойдешь – в твоём-то возрасте и без специальности? В сторожа, у входа в супермаркет сидеть? Так там не в пример опаснее, можешь мне поверить.

– К брату твоему пойду, на ферму, – улыбаюсь я.

– На фе-е-ерму... – передразнивает Эфи. – Кто тебя такого на ферму возьмет? Там, брат, тайландцы. Вот это работники! А ты...

Он хлопает по столу тяжелой ладонью.

– Так, господин Коган. Пошутили – и хватит. Та папка, которую я для Арье приготовил... – она еще у тебя?

– Вот, – я вынимаю папку из кейса и кладу ее перед Липштейном.

Эфи смотрит на голубенький пластик и качает головой.

– Зря принес, – говорит он. – Она теперь твоя. Вылетаешь в Ташкент на следующей неделе. Бери.

Мы оба смотрим на папку и молчим. Нужно встать и уйти. Нет, встать, пожать Эфи руку и тогда уже уйти... Не слишком ли театрально?... Черт, видимо, я очень напоминаю в этот момент своего соседа-интеллигента.

– Бери! – повторяет Эфи.

Я сгребаю со стола папку и выхожу из кабинета. Будем считать, что я делаю это для Лёни. Авось удастся понять что-нибудь. Как говорит Шохат, текст сам выведет. Глупость, однако. Куда он выведет, что прояснит? Чушь, натуральная чушь. Не вернуться ли?..

Я думал об этом всю обратную дорогу из Тель-Авива в Эйяль, почти час, попеременно решая то так, то эдак. Один раз даже съехал на обочину, чтобы развернуться, но разворачивался не стал, а так и сидел неподвижно, пока старик-араб, продававший у шоссе апельсины, не постучал в окошко деликатным участливым стуком: не случилось ли чего с господином?.. не хочет ли господин воды?.. или, например, апельсинов – чудесные апельсины, десять шекелей ящик, не погрузить ли господину в багажник?

– Валяй, отец, – сказал я, выходя из анабиоза. – Грузите апельсины ящиками.

Что я, собственно, могу рассказать женщине Шохата о Лёне Йозефовиче? Да, мы учились в одном училище, но при этом не общались никак. Да, потом нас обоих направили по одной и той же тупиковой стезе – замполитами военно-строительных отрядов, а попростому – стройбатов, каждого в свою тмутаракань. Да, в Израиле получилось так, что мы оказались в одном поселении и какое-то время работали на одного человека. Ну и что? При всей общности наших обстоятельств, нашего окружения, я мог бы описать лишь это окружение, эти обстоятельства – но только не самого Лёню; как раз его-то я совершенно не знал.

По большому счету мы разговаривали с ним всего один раз – тогда, на училищной губе. А кроме этого – уже в Эйяле, или во время деловых встреч где-нибудь в гостиничном лобби, или в аэропорту, а то и на растрескавшейся взлетно-посадочной полосе захолустного азиатского, африканского, украинского аэродрома – наш контакт сводился к минимальному обмену словами и документами:

- Привет!
- Привет!
- Как дела?
- Порядок.
- Принес?
- Принес.
- Ну, бывай.
- Бывай.

Хотя нет... были еще две беседы – тоже не слишком продолжительные – на полчаса, не более, но все же. Первая случилась лет двенадцать назад, когда Эфи неожиданно вызвал меня в кабинет. Я тогда уже третий год работал у него на должности консультанта. Недавний распад Союза оставил бесхозными грандиозные массы всевозможного военного добра, которым торговали все кому не лень – начиная от министров новоявленных государств и кончая последними кладовщиками, синюшными от выпитого формалина. На рынке вдруг возникло огромное предложение, и каждый торговец оружием волей-неволей стремился приспособиться к новой ситуации. А тут уже никак было не обойтись без офицеров-отставников со знанием российской армейской специфики.

Эфи Липштейн никогда не зарывался, не лез в первые ряды оружейных баронов, не гнался за впечатляющим ассортиментом. Статус мелкой рыбешки его вполне устраивал. Но в условиях безумных девяностых даже «соли земли» пришлось расширить набор предлагаемых специй. Мой среднеазиатский опыт и некоторые знакомства пришлись ему как раз ко двору.

В кабинете напротив Эфи сидел длинноносый высоколобый человек моего возраста, с густыми седеющими волосами, неудержимо курчавящимися даже в короткой стрижке. Я, конечно, не узнал его сразу – как-никак столько лет прошло.

– Присаживайся, Карп, – сказал Липштейн. – Вот, знакомься – Арье Йосеф. Карп Коган.

Человек поспешно поднялся для рукопожатия. Эфи вывел меня за дверь и, приобняв за плечи, перешел на полусшепот.

– Это один из кандидатов тебе в помощники. Поговори с ним, будь добр. А то у нас не очень получается. Языковой барьер, понимаешь ли...

Мы с кандидатом перешли в другую комнату.

– У вас туговато с ивритом? – спросил я, чтобы с чего-то начать.

Он улыбнулся.

– Что, Карп, неужели так и не признаешь?

Я честно напрягся, пытаюсь вспомнить. Арье Йосеф... – нет, хоть убей. Кандидат вздохнул.

– Вообще-то я бы тебя тоже не вспомнил. Просто Карп – имя такое, редкое. А уж Карп Коган так и вообще один такой на все мировые пруды, реки и озера. Я Лёня. Лёня Йозефович. Припоминаешь? Нет? – он еще немного подождет и начал выкладывать слова по одному, как карты. – Горелово... политуха... губа...

Тут только – на слове «губа», и ни секундой раньше – я его и узнал. Ну конечно. Как же, как же. Мы не стали бросаться друг другу на шею: недаром знающие люди утверждают, что одна совместно проведенная ночь – не повод для знакомства, а уж для дружбы – тем более. Просто поговорили – кратко, без подробностей – и сразу перешли на темы, существенные для Эфи Липштейна.

Лёня рассказал, что приехал сюда с дочерью-подростком, что вот уже несколько лет бедствует, пробавляясь мелкими ремонтами, что раньше приходилось конкурировать только с арабами, а теперь еще и китайцы добавились, цены сбили, совсем гроб. Языка так и не выучил – не идет, и все тут. Снимает квартиру в Нетании, полторы комнаты – ему-то хватает, а вот дочку жалко: никакой личной жизни.

– Вот уж не думал, что я к языкам такой неспособный, – он недоуменно посмотрел на собственные ладони, словно ждал от них возражения, которого, впрочем, так и не последовало. – Ни иврит, ни английский – ничего не получается. Слова-то заучиваю, а вот дальше – никак. Как полсобаки. Та хоть и сказать не может, но понимает. А я вот даже не понимаю. Представляешь?

Я сочувственно покачал головой. К счастью, Эфи Липштейн искал человека на должность, которая не подразумевала знание иных языков, кроме русского.

– Странно, да? – сказал Лёня задумчиво. – Я всегда был очень способен к литературе. Писал грамотно. Стихи мог экспромтом выдавать, в рифму, почти не задумываясь. Как пушкинский итальянец в «Египетских ночах». Я и сейчас еще...

– Ну да, – поспешно перебил его я, опасаясь, что кандидат прямо здесь начнет демонстрировать свои поэтические способности. – Помню, помню. В училищной самодеятельности.

– Ага, – улыбнулся он. – Ты, наверное, не знаешь, но у меня даже кличка такая была – «Пушкин». Не только за стихи, но и... вообще...

Что верно, то верно: внешне Лёня удивительно походил на Александра Сергеевича. Та же курчавость, то же длинное лицо с близко посаженными глазами и скошенным назад подбородком и главное – такой же огромный нос, нависающий над верхней губой, как утес, с которого вечно готова была сорваться прозрачная капля. Помню, тогда на губе, в холодной камере Лёня все время шмыгал носом. Поначалу это раздражало меня, и он, поймав мой взгляд, неловко произнес: «Но вреден север для меня...» – и пояснил в ответ на мое невежественное недоумение: «Пушкин». Израильский климат явно пошел на пользу лениному пушкинскому носу: его кончик подсох, побледнел и даже приобрел некоторую аристократическую утонченность.

– А зачем ты имя сменил?

Он усмехнулся – в точности как тридцать пять лет тому назад.

– По экзистенциальным причинам. Помнишь?.. – и добавил, не дожидаясь моего ответа: – Ладно, давай к делу. Вас, видимо, интересует мой служебный опыт? Ты сам-то после училища куда попал?

Я назвал место. Лёня кивнул: его стройбат располагался примерно в таком же азиатском углу. Неудивительно, что результаты интервью оказались превосходными – Арье Йосеф идеально подходил на роль консультанта. Быстрый в решениях Эфи поверил моей рекомендации, и Лёня приступил к работе, а вскоре и перебрался поближе ко мне, в Эйяль: так было удобнее во всех отношениях. Сначала они с дочерью жили в съемном вагончике, а затем Ольга выросла, отслужила в армии, вышла замуж, и все пошло по накатанному, как у всех: ссуда, покупка площадки, строительство дома, переезд. И вдруг – это непонятное исчезновение. Как? Куда? Почему?

12.

– Подождите, – говорит она. – Вы упоминали еще об одном разговоре.

– На губе?

– Нет, еще одним – таком же коротком, как во время интервью. Но, кстати, если уж мы вспомнили про губу... – женщина переворачивает несколько листков, заглядывает в свои позавчерашние записи. – Вы описали только половину разговора, про вашу экзистенциальную причину. Но почему попал в училище сам Лёня Йозефович? Он ведь вам это рассказал, правда? Там, в камере.

Мы сидим в гостиной вдвоем и беседуем под аккомпанемент дождя и отцовских шагов наверху. Вернее, я говорю, а ассистентка Шохата слушает и время от времени что-то черкает в своем блокноте. Начинать я неохотно, но теперь это занятие мне даже нравится: полезно привести в порядок... – что?.. Что я привожу в порядок – мысли?.. ощущения?.. душу?.. А может просто – когда проговариваешь прошлое, когда переводишь его в слова, то и настоящее становится намного яснее? Черт его знает.

– Да, вы правы. Действительно. Как это я упустил? Всё о себе да о себе. Вам, наверное, скучно, и к делу не относится.

– Нет-нет, – быстро отвечает она, не отрываясь от блокнота. – Мы ведь уже договорились, что я всего лишь корректор. Дело не в моем интересе, а в интересах дела. То есть текста. Текст сам решит, что важно, а что нет. Продолжайте, пожалуйста.

И я продолжаю – с тем же странным чувством, будто слушаю не себя, а кого-то другого – слушаю и удивляюсь. Удивительно, как много я помню из того давнего разговора. Удивительно, сколько нового открывается мне сейчас – словно прошедшие десятилетия превратились не в толщу густеющей мути, а в увеличительное стекло, которое становится все ясней и прозрачней с каждым наслаивающимся годом.

Лёня Йозефович попал в военное училище из соображений династической преемственности: три поколения его семьи непременно отправляли своих мальчиков в офицеры Советской Армии – другие варианты карьеры просто не рассматривались. Но почему именно в военно-политическое? На это, по словам Лёни, имелась весьма веская причина. Его дед, герой Отечественной и генерал-полковник в отставке, утратил к семидесятым годам все свои прежние связи, за исключением одной: некий старый фронтовой кореш пока еще генеральствовал в управлении кадрами. По иронии судьбы, это оказалось управление кадрами политучилищ – в те времена отдельное от общеармейского. Кто ж мог тогда знать, что кореш сыграет в ящик всего через месяц после того, как Лёня станет гореловским курсантом?

Но настоящий интерес в лёниной истории представляли вовсе не его загубленные карьерные перспективы. Лёня был бледненьким побегом могучего древа сибирских Йозефовичей – лекарей, железнодорожников и партизан. Его прадед, весовой мастер Канской дистанции Транссибирской железной дороги, происходил из семьи военфельдшера, ветерана Крымской войны. Поначалу евреев в Сибири было немного – лишь ссыльные да откомандированные по государственной службе, как тот фельдшер. Затем, с началом строительства железной дороги, открылись заманчивые возможности для образованных, быстрых на подъем людей – технарей, купцов и промышленников. А после столыпинских реформ нахлынули переселенцы из Белоруссии, Польши и Украины – за дармовой землей и свободой.

Свобода свободой, но черта оседлости действовала и в Сибири: в губернские города евреев не допускали. Зато в уездах никто не мешал и не травил – жили на равных со всеми, антисемитизмом почти не пахло. Огромному Транссибу позарез требовались работники; инициативные и грамотные евреи стали самым распространенным кадровым решением на всем протяжении сибирской магистрали. По словам Лёни, главным их преимуществом являлись даже не технические способности, а устойчивость к пьянству. Не то чтобы совсем не пили – как в России не пить? – но умели вовремя остановиться, ответственность свою железнодорожную соблюдали.

Дед рассказывал ему, как мальчиком выезжал с отцом на дистанцию – инспектировать станционные весы.

– Ты человек столичный, знать не знаешь, что такое для Сибири эта железная дорога, – говорил Лёня, блестя глазами в промозглой полутьме камеры. – Даже и теперь еще, а уж в начале века и подавно. Это ведь не просто главная артерия – это *единственная* артерия. А кроме нее – ничего, кроме крохотных сосудов – таежных троп и грунтовых дорожек, непролазных восемь месяцев в году. На всю гигантскую Сибирь – ничего! Представляешь? По рекам еще иногда можно сплавиться, но реки – они ведь по-своему норовят, с людскими нуждами не считаются.

Вот и выходит: есть железка – есть жизнь, а нет железки – и жизни нету. Грузы-то купцам и промышленникам возить как-то надо. А груз оплатить нужно. А для оплаты что требуется? Правильно – взвесить и посчитать. Ну и скажи мне теперь, был ли кто в Сибири главнее станционного весовщика? А прадед мой этих весовщиков инспектировал! Чуешь масштаб фигуры? Бог и цари! В рамках своей Канской дистанции, конечно.

– Свой вагон у него имелся, как у императора. Прибывает к полудню на станцию, а там уже местный весовщик стоит с хлебом-солью, с ноги на ногу переминается: «Наконец-то, свет-Евсей Давыдыч, мы тут все глаза проглядели ожидаючи...» И сразу в вагон – шашть. А за ним бабы закуски несут: казанки с парком, котелки с дымком, стерлядь да икорку, пироги с осетриной. Оглянуться не успеешь – вот и стол накрыт, четверть стоит запотевшая, стаканчики блестят, огурчики подмигивают. Садится весовой мастер сам-друг с весовщиком, начинают дружить и жизнь обсуждать, а о весах между тем – ни слова.

За окошком темнеет, зато светлеет бутылъ зеленого стекла – вот и вышла вся. Подзывает отец сына не слишком уже послушным пальцем: «А сходи-ка, сынок, принеси...» «Обижаешь, Евсей Давыдыч, – качает отяжелевшей головой весовщик. – Где это видано, чтобы гость хозяина угощал?» Хоп – и откуда ни возьмись – вторая четверть. Все ниже буйны головы, все бессвязнее дружеская беседа. Так и пьют, под конец уже совсем молча, косят налитым сивухой глазом, ждут: кто первый под стол упадет? Это вопрос важности первостатейной, потому как ежели скопытитса весовщик, быть наутро проверке. А ежели, напротив, не выдержит мастер, тут уж – не обессудь, Евсей Давыдыч, обычай есть обычай, – езжай себе с миром дальше, до следующей станции.

Так и жили – хорошо жили, спокойно, себя не забывали, но и дорога работала как часы, никто не жаловался. У деда пять братьев было и сестра – все образование получили, все домой вернулись – в родную Сибирь, к родной дороге. Потому что от добра добра не ищут. Но тут грянули в столицах известные неприятности. В восемнадцатом году ленин дед учился в Томском университете, на втором курсе медицинского. Оттуда Колчак его и мобилизовал в свою армию.

По словам деда выходило, что поначалу власть адмирала казалась вполне приемлемой. Но потом пришла Народная армия Каппеля, ядро которой составлял ударный корниловский полк, не сумевший пробиться на юг к Деникину. Офицеры Первой мировой привыкли рассматривать прифронтовых бессарабских и польских жидов как потенциальных шпионов и саботажников. К несчастью для белых, евреи Транссиба успели прочно забыть о подобном к себе отношении. Дед уверял Лёню, что в конечном счете именно каппелевские антисемитские эксцессы сгубили адмирала Колчака: от него отвернулась железная дорога, а как уже отмечалось, без железки в Сибири – смерть.

Когда почтенного весового мастера Йозефовича в очередной раз обозвали грязным жидом и пригрозили вздернуть на станционной водокачке, он взял карабин и ушел в тайгу с сыновьями. Так поступили тогда многие евреи-железнодорожники. Дезертировал в тайгу от Колчака и дед. Дорога досталась красным, а с нею – и вся Сибирь.

Гражданскую войну Йозефовичи закончили красными командирами, героями партизанского движения. Увы, за победу пришлось заплатить дорожную цену: погибли два брата из шести, умерла от тифа сестра, был схвачен белыми и повешен отец. Это превратило идеологические счёты в личные и не оставило выбора уцелевшим: до последней капли крови мстить гидре мирового империализма.

Гидра оказалась зубастой. Птенцы гнезда канского весового мастера исправно клали свои головы в пески Средней Азии и Испании, в снега Забайкалья и Финляндии, в кровавое месиво Великой Отечественной. Впрочем, неожиданно выяснилось, что есть чудовища поопаснее гидры: большинству Йозефовичей выпало погибнуть как раз от пуль великого отечественного производства – ввиду своей преступной близости к некоему опальному маршалу. Послевоенные сталинские кампании тоже не отличались юдофильством. В итоге к моменту моего знакомства с Лёней мощный когда-то род Йозефовичей насчитывал всего лишь восьмидесятилетнего деда-генерала, заткнутого куда-то за Можай отца-подполковника и, наконец, последнего из могикан – самого Лёню, курсанта-арестанта Ленинградского военнополитического училища.

Я слышу скрип открывшейся двери наверху. Иногда отцу становится тесно, и он удлиняет свой возвратно-поступательный маршрут за счёт коридора. Снаружи насвистывает ветер. Дождь лупит по ставням. Настоящая зима, какой она должна быть, – с дождем, с мокрой землей, с зеленью на наших газонах и на наших холмах. Наша зима. Черт бы побрал их – те, чужие зимы, с их снегами по пояс, трансибами, колчаками, каппелевцами, чекистами и опальными маршалами. Черт бы побрал Карпа Патрикеевича Дёжкина. Черт бы побрал наше похмелье в чужом пиру. Что вы забыли на той чужой железной дороге, Евсей Давыдыч? – Виселицу? Штык в грудь? Пулю в затылок? Да пусть они катятся к этой самой матери со всеми своими дорогами, фронтами и столицами...

– Карп... Карп?..

Я оборачиваюсь от окна. Совсем забыл о ее присутствии. Уютно устроилась на диване – ноги поджаты, плед, блокнот на коленях, лампа. Красивую он себе ассистентку отхватил. Вернее, кто кого отхватил...

– Да?

– Это всё? – спрашивает она. – Всё, что он тогда рассказал?

– Да, всё... Вы разочарованы?

Лена поднимает брови, одновременно перелистывая взад-вперед свои записи.

– Как вам сказать... Тут ведь только косвенная информация, причем давняя. Ну, сибирский прадед. Ну, взятки брал, ну, пил не подетски. Ну, война чекистов с колчакистами. Но где тут о самом Лёне? Вы не обижайтесь, но...

Я пожимаю плечами.

– Только не говорите, что я вас не предупреждал. Мы с ним практически не знали друг друга, хотя тридцать пять лет плавали в одинаковых корытах: сначала училище, потом среднеазиатские стройбаты, потом переезд сюда и Эфи Липштейн. Простите великодушно, но я могу рассказать только об этих корытах. То есть о ленинском окружении, но не о самом Лёне. Может, будет лучше, если вы расспросите его дочь?

– Об окружении... – задумчиво повторяет она. – Вот и Борис описывает одно лишь окружение. А впрочем, что это я удивляюсь? Закон жанра. В поисках утраченного героя.

Лена снова шуршит страницами и поднимает голову.

– Карп, я так и не поняла, о какой экзистенциальной причине он говорил. Повешенный каппелевцами прадед? Семейная традиция? Первое произошло ужасно давно, так что мстить уже некому. Второе реально привело к исчезновению семьи как таковой – зачем тогда чтить подобную традицию? Идеология? Неужели умный молодой человек в начале семидесятых настолько верил в советскую идеологию? Карьера? Но вы и сами упомянули, что отец служил где-то далеко на периферии. Если старый генерал не смог помочь сыну, то как можно было рассчитывать, что он поможет внуку? В общем, я поняла, как попали в училище вы. Но зачем согласился пойти туда Лёня Йозефович?

– Вы когда-нибудь слышали о стокгольмском синдроме? – спрашиваю я вместо ответа.

Теперь ее очередь пожимать плечами.

– Что-то про заложников?..

– Именно.

И я рассказываю ей эту поучительную историю, которая столь многое объясняет. История, в общем, стандартная, да и выводы вроде бы сами напрашиваются, а вот – сформулировали их лишь совсем недавно. А что словами не сформулировано, того словно и нет.

В начале семидесятых из шведской тюрьмы сбежал некий отморозок – не то Олсон, не то Персон – не помню. Пусть будет Сукинсон. Сидел по мелочи, скоро бы и так вышел, да вот заскучал. На воле, однако, тоже оказалось невесело: как назло, все друзья были в отлучке – кто в бегах, кто в заключении. И по этой причине беглец решил развлечься ограблением банка. Достал где-то пушку и пошел на дело, один.

Бабки ему, видимо, особенно и не нужны были, потому что никакого планирования этот Сукинсон не продемонстрировал, даже самого минимального – включая вопрос, как и куда потом убежать. Просто вошел и принялся тупо пулять в потолок. Через несколько минут, как и положено, прибыла полиция и окружила здание. Но Сукинсон против такого развития событий отнюдь не возражал: развлекаться – так с музыкой!

Он взял в заложники четырех человек – из них трех женщин – и забаррикадировался в подвале. Когда полиция попробовала сунуться внутрь банка, подлец пришел в настоящий восторг, открыл стрельбу и даже ранил одного мента. То есть пролилась первая кровь. Власти поняли, что Сукинсон не шутит, и перешли к стадии переговоров. Приехали специалисты, психологи, аналитики – целая команда. То ли благодаря столь высоконучному подходу, то ли вопреки ему, шведы быстро поняли, что имеют дело с отморозком. Решено было действовать с максимальной деликатностью.

Для начала Сукинсон потребовал выпивки, жратвы и друга. На воле он больше всего скучал по своему тюремному корешу и теперь не видел причины, по которой ему могут отказать в дружеском общении. Отказывать действительно не рекомендовалось, потому что в ответ на любое возражение отморозок угрожал убийством заложников – по одному, медленно и мучительно. Для демонстрации серьезности своих намерений мерзавец накидывал женщинам на шею веревочную

петлю и с наслаждением придушивал. Заложницы вопили и от ужаса мочились под себя, а Сукинсон тащился от собственной крутости.

В итоге друг был доставлен. Не слишком понимая причины такой срочности, он даже немного сердился на Сукинсона, ибо успел за время его отсутствия сдружиться с другим весьма симпатичным отморозком. Но обещание досрочного освобождения, а также неограниченные количества жратвы и пива быстро подняли ему настроение. С момента воссоединения друзей степень отмороженности Сукинсона изменилась, перейдя из острой стадии в вялотекущую. Подлец расслабился и дальнейшие переговоры вел вполне благодушно. Хотя шутки свои с петлей продолжал – исключительно для поддержания хорошего расположения духа.

Власти, конечно, обратили внимание на новые обстоятельства. Тут нужно упомянуть еще один момент: страна находилась накануне выборов, и правительство меньше всего хотело облажаться. Историю надлежало завершить чисто – кровь из носу, но чтоб без крови. Поэтому никто не спешил принимать резких решений. Никто вообще никуда не спешил. Так и вышло, что Сукинсон держал заложников в подвале необычно долго для подобных ситуаций – почти неделю.

Неделю шли непрерывные переговоры, в том числе – с самим премьер-министром, причем – в прямом телевизионном эфире. Вокруг осажденного банка толпились десятки репортеров, операторы телеканалов, кинодокументалисты, папарацци. Каждое выпорхнувшее из подвала слово тщательно обсасывалось и анализировалось комментаторами бесчисленных новостных, дискуссионных и развлекательных программ. О Сукинсоне и его пленниках заговорили по всей Швеции, если не по всей Европе. Будь власти поумнее, они наверняка запатентовали бы первое в мире реалити-шоу.

Тут-то некий шведский психолог и обратил внимание на странные явления в поведении заложников. Дело в том, что начиная с какого-то момента они все больше и больше переходили в явные и добровольные союзники своего мучителя. Например, пленники обрушивались с упреками на стокгольмские власти. Полиции ставилось в вину собственно ее существование, а также ее присутствие в шведской столице и особенно – в окрестностях захваченного банка. Ведь тем самым менты подвергали опасности жизнь захваченных людей! Одна из заложниц даже объявила о намерении бежать вместе с Сукинсоном: мол, в полной безопасности она чувствует себя только и исключительно с ним. Все четверо многократно обращались к премьер-министру и требовали исполнить все пожелания отморозка...

При этом заявления несчастных звучали абсолютно искренне! Всегда видно, когда человек говорит что-либо под давлением. Но здесь был совершенно иной случай: заступаясь за мерзавца Сукинсона, люди нисколько не фальшивили. По их словам, они поддерживали требования похитителя вовсе не потому, что им, заложникам, угрожает опасность, а единственно из соображений высшей справедливости.

И так далее и тому подобное. Вы можете подумать, что пленники всего-навсего притворялись, чтобы не сердить психопата. Как бы не так! Сага продолжалась в том же духе и после благополучного освобождения. Бывшие заложники раздавали бесчисленные интервью, допрашивались на следствии и повсюду упорно придерживались прежней, «подвальной» линии – то есть обвиняли власти и изо всех

сил выгораживали преступника. Они даже наняли адвоката для защиты Сукинсона – вскладчину, на свои кровные! А кореш отморозка довольно быстро вышел из тюрьмы и стал, что называется, дружить домами с одной из заложниц. Пока снова не сел за торговлю наркотиками. В общем, симпатия была действительно искренней и неподдельной. Факт.

Психолог весь этот странный материал собрал, проанализировал и опубликовал, назвав описанный тип поведения «стокгольмским синдромом». В статье утверждалось, что, попадая в заложники, люди испытывают неимоверный, поистине невыносимый стресс. А потому психика начинает задействовать весьма специфические защитные механизмы.

Например, отождествление: человек убеждает себя в том, что он – свой, то есть – не чужой похитителю. Что он – часть общей компании. Что он «как все», и уже только поэтому ему ничего не угрожает. Разве не естественно для заложника в такой ситуации выступать в переговорах от имени своего нового «коллектива»? На каком-то этапе он начинает реально радоваться этим «коллективным» успехам, даже когда они объективно угрожают лично ему.

Действие другого механизма видоизменяет отношение похищенного к похитителю. Для заложника невыносимо сознание того, что он всецело находится во власти подонка, злодея. Один из способов избавиться от этой мысли заключается в позиционировании, то есть в перемещении похитителя из «плохих» в «хорошие». Пленник внутренне готов... – да что там готов! – он просто жаждет признать резоны своего мучителя исключительно правильными и справедливыми. Он счастлив согласиться с любой политической программой, оправдать любую пакость, простить любую подлость за одно лишь подобие кривой улыбки. Еще бы – ведь если похититель оказывается хорошим, то, значит, и угрозы от него нет никакой!

Третий механизм психолог назвал дистанцированием. Угроза сама по себе ужасна, но еще хуже – вынужденное бездействие. Все твоё существо панически требует действия, а ты не в состоянии даже пошевелить пальцем. В самом деле, чем заняться в ситуации захвата, когда похититель усадил тебя на пол, связал, заткнул рот кляпом, приковал к батарее отопления? Человек буквально не может ничем отвлечься, он вынужден все время возвращаться мыслями к своей беде, обречен постоянно вариться в мучительном котле кошмарных фантазий. Единственный, да и то не всегда предлагаемый вид занятий – активное сотрудничество с преступником. Причем чем больше заложник сотрудничает, тем больше у него появляется шансов на развитие этой целебной для психики деятельности: она становится более разнообразной, интересной, а значит, дает больше возможностей «забыть» о главной беде, отдалиться, дистанцироваться от нее.

А кроме этого...

13.

– Зачем вы мне это рассказываете?

– Что?.. – ее вопрос выбивает меня из колеи.

Что она вообще делает здесь, эта ассистентка... или как ее там?.. – корректор? Мне не требуется никакой коррекции.

– Поймите, Карп, – говорит женщина, и в голосе ее звучат недоумение и раздражение, прорвавшиеся наконец через барьер вынужденной сдержанности. – Поймите, текст не может бросаться из стороны в сторону. Требуется хотя бы минимальное композиционное единство. Нашей темой, как мы договаривались, является пропавший человек по имени Арье Йосеф, он же Лёня Йозефович. Понимаете? Арье Йосеф, а не железнодорожные проблемы адмирала Колчака. Лёня Йозефович, а не шведский сукин сын и общая теория психологии заложников. Ну при чем тут все это? Вы вообще слишком часто отвлекаетесь на тему заложников. Я не буду спрашивать – почему, наверное, есть тому причины, но...

– Отчего же, спросите, – перебиваю я. – Потому что в этом все дело – в заложничестве. Как вы не понимаете? – Все мы заложники, больше или меньше. Вот я...

– Да-да, я помню – вы заложник своего отца. Но речь-то...

– Подождите. Да, я заложник отцовского безумия. Но и сам отец... – посмотрите на него, Лена! Налицо все признаки стокгольмского синдрома. Вы ведь уже знакомы с его историей, по крайней мере, частично. Борису эта история претит, ему кажется отвратительным отцовское пристрастие к Карпу Патрикеевичу, ему непонятен отцовский антисемитизм, призывы покаяться неизвестно в чем... ну, вы слышали. Но это болезнь, Лена! Человека искалечили в детстве – вот и всё. Вернее, нет, не всё – его продолжали калечить и дальше. Он попал в заложники в шестилетнем возрасте, только представьте себе – шестилетним ребенком!

Мне становится душно, я не могу говорить. Молчит и она. Возможно ли описать словами эту невозможную ситуацию? Еще вчера были мама с папой, и игрушки, и капризы, и песочница, и прогулки с няней по Александровскому саду, и «хочу мороженое», и «не хочу спать»... А кроме этого – непоколебимая уверенность в том, что ты – важнее всего на свете. Тебе еще непонятны слова «мир», «вселенная», но если бы они были понятны, ты бы твердо знал, что именно ты – центр мира, ось вселенной, а все остальные только и заняты тем, что крутятся вокруг подобно большим, любящим, теплым планетам.

И вдруг – бах!.. – и нету этого ничего, а есть только недобрые тети в грязных халатах, и грубые дяди в смазных сапогах, и голод, и побои, и ругань, и вместо имени – слово «жиденыш», которое, как выясняется, еще хуже ругани. И смерть – тут же, рядом, на соседних койках, на заплыванном полу, под теми же смазными сапогами, под ремнем, под палкой, под велосипедной цепью. Кто он, этот ребенок, если не заложник, похищенный, украденный, удерживаемый силой... еще вчера – царь мира, а сегодня – гроша ломаного не стоящая вещь, вошь ничтожная? И ведь надежды, заметьте, никакой; да и умеет ли надеяться шестилетний ребенок? Ему выжить бы... – выжить, не сойдя при этом с ума.

Тут-то они и включаются, механизмы стокгольмского синдрома. Проходит месяц, другой, третий, и вот он, итог: маленький заложник уже *любит* своего похитителя, и чем дальше, тем сильнее. Уж такой он душа-человек, Карп Патрикеевич, такой умница... А что образования у него неполных четыре класса – так это и неважно, он ведь сердцем видит. А что каждое утро трясет его похмельный колотун – так это все жиды подлые народу заместо хорошей водки пакость

подсовывают... сами-то небось коньяки с винами шампанскими распивают. А что заедет он с бодуна сапожищем по детской заднице – так сам же ты, жиденок, и виноват, нечего под ногами вертеться. А что к вечеру поволок он в свой кабинет малую Светку, а не тебя, то на это тоже обижаться не надо – значит, сегодня такое настроение у Карпа Патрикеевича, на девочек...

Как отвернуться теперь от того ребенка, Лена? В чем обвинить? В том, что смышленная психика шестилетнего несмышлениша выбрала милосердный стокгольмский синдром, а не помешательство, не смерть? В том, что он выжил? Да?.. Со всеми своими безумными заскоками он не преступник, а жертва. Жертва. Как та стокгольмская четверка, только в намного более страшной степени. Они вон – за неделю сбрендили. А сколько таких недель пережил он?

– Тише, Карп, тише, – шепчет она и показывает в сторону лестницы, туда, где наверху топчет свой маятниковый маршрут безумный старик. – Он ведь может...

Не может. Не услышит. Гроном гремят в его старческих волосатых ушах убийственные обвинения, бьет в барабан ненависть, вскипает злоба: громче!.. еще громче!!.. еще!!! – лишь бы заглушить тот далекий, давний, едва различимый тоненький плач, лишь бы не дать ему пробиться наружу, лишь бы не испытать еще раз того, чего не в силах вынести взрослый человек.

Женщина смотрит на меня во все глаза. Неужели проняло? Она вздыхает и снова начинает перелистывать блокнот. Нет, не проняло... Она ведь корректор, и у нее сейчас конкретная задача, напрямую не связанная ни со мной, ни со стариком, ни даже с Борисом, которому она якобы ассистирует. Она воссоздает текст... или человека из текста... из абзаца, из строчки, из ребра...

– Вы сказали «все мы заложники», – тихо напоминает она. – Ладно, давайте пойдём отсюда. Все мы – это и Лёня-Арье? Он тоже был заложником?

Был ли Лёня заложником... Он, как и я, прослужил десять лет замполитом военно-строительного отряда в одном из забытых закутков советской Средней Азии. Мне снова придется рассказывать о себе, потому что с ним происходило в точности то же самое. Что такое стройбаты? Не саперные воинские части, существующие в каждой нормальной армии, а именно стройбаты социалистической империи? Возможно, зря я приплел сюда социализм: в России ведь испокон веков строили кнутом и колодками, на костях и слезах бессловесного человеческого скота. А может, и не зря: большевицкое державное рабство пришлось как раз впору большой рабской державе.

Сталинские соколы, не мудрствуя лукаво, хватили рабов где попало: на советских пирамидах вкалывали миллионы заключенных, ссыльных, выселенных, перемещенных. А вот наследникам фараона пришлось изыскивать иные ресурсы рабской биомассы. Ею и стали стройбаты – сотни тысяч молодых рабов ежегодно.

Помню, как их привозили к нам: мелких, забитых, сбившихся в овечью кучу. Сначала прибежал дежурный офицер:

– Карпыч, прибыли!

– Состав? – сразу спрашивал я, заранее, впрочем, зная ответ.

– Тридцать пять ленинградцев, полста москвичей, остальные – славяне-посрочки! – бодро рапортовал дежурный.

На армейском жаргоне «ленинградцами» именовались кавказцы, а «москвичами» – таджики, узбеки и прочий азиатский люд. Не знаю, кто придумал это, когда и почему. Смысл, очевидно, заключался в том, что Ленинград расположен севернее Москвы – примерно как Кавказ относительно Средней Азии. Вдобавок Питер считался тогда культурней. У «москвичей» в этом плане и впрямь дела обстояли не ах: многие не умели читать, по-русски понимали с трудом.

«Славянами» же называли всех остальных. Чаще всего это почему-то оказывались прибалты. На каждом из них висела судимость: кто отсидел три года, кто – пять. Отсюда и «посрочники» – после срока то есть. Это были, как правило, законченные беспредельщики – сильные и жестокие до крайности. Заставить их работать не представлялось возможным – так же, как и воров в исправительном лагере. Так же, как и воры, они использовались в стройбате для того, чтобы заставить работать остальных.

Я поднимался со стула и шел к своему начальнику, полковнику Левенцу, по прозвищу «Знаш-понимаш». Левенца сослали к нам за пьянство, исключительное даже для безразмерных стандартов российской гарнизонной жизни. Обычно полковник запирает дверь своего кабинета изнутри, но особо приближенные знали, где лежит запасной ключ – на всякий случай. Меня Левенец ценил за устойчивость к пьянству. Не то чтобы я совсем не пил, но, в отличие от остальных офицеров, никогда не уходил в глухой многодневный запой.

Вообще говоря, подобный недостаток удали не заслуживал ничего, кроме презрения нормальных людей. Но лично мне он прощался, хотя и сквозь зубы, – во-первых, как абраму, который ненормален по определению, а во-вторых – ввиду прискорбной необходимости все же выполнять какой-никакой производственный план. Для стройбата я был такой же ручной обезьянкой, какими являлись в свое время для Транссиба ответственные «железнодорожные евреи» из лениного рассказа.

Я стучался, немного выжидал и, не услышав запрещающего мычания, поворачивал ключ в замке. Как правило, Левенец спал, положив на стол седенькую голову в трогательных алкогольных прожилках. Я тряс его за погон – раз, другой, третий... Наконец полковника передергивало, и он произносил, не разжимая плотно склеенных век:

– Ты кто, знаш-понимаш? Ты чего, знаш-понимаш?

– Пополнение прибыло, Александр Васильевич, – докладывал я по возможности тихо, чтобы не тревожить измученную многолетней службой полковничью душу. – Куда назначать?

Если Левенец молчал, я с облегчением вздыхал и уходил, заперев за собой дверь. Это означало передышку на день – для новобранцев и для моей совести – весьма, впрочем, молчаливой тогда. Но чаще полковник начинал пыхтеть, причмокивать и шарить рукой по столу. Тогда я наливал ему стакан воды и терпеливо ждал, пока отец-командир сможет сложить несколько простых предложений из весьма ограниченного количества известных ему цензурных слов.

Обычно он не спешил ответить на заданный вопрос, а предпочитал начать с культурно-воспитательной работы.

– Это у тебя, знаш-понимаш, что? – говорил он, уставившись тяжелым взглядом в стакан с водой, словно недоумевая, почему эта прозрачная жидкость пахнет неправильно, то есть ничем.

Несведущий человек мог бы тут ошибиться с реакцией, но я уже имел достаточный опыт для того, чтобы знать, что речь идет вовсе не о стакане.

– Галстук, товарищ полковник, – четко отвечал я.

Левенец одобрительно наклонял голову.

– Это, товарищ капитан, не просто галстук. Это казенный галстук! Ты, знаш-понимаш, казенный галстук носишь! Значит, думать должен, знаш-понимаш...

На этом просветительская часть аудиенции заканчивалась, и полковник переходил к директивной.

– Поставь их... – он надолго задумывался, клоня голову все ниже.

Молчал и я, затаив дыхание, чтобы не помешать начальственной мысли выплыть из тяжелого водочного тумана.

– ...к штукатурам! Знаш-понимаш... – заканчивал Левенец и обессилено опускал голову на руки. – Свободен...

Время от времени, очень редко, он совершал слабые попытки встать и выйти из-за стола. Связанные с этим усилия наверняка казались полковнику сопоставимыми с героическим марш-броском типа перехода Суворова через Альпы. Мучительно морщась, Левенец обводил взглядом кабинет, словно стараясь припомнить список самых необходимых в походе вещей, затем лицо его светлело, и полковник почти торжествующе начинал декламировать заветную формулу:

– Планшет, гондон, манишка...

Тут он замолкал и вопросительно приподнимал указательный палец, провоцируя на продолжение кого-либо из присутствующих. Но опять же, по опыту, следовало молчать, напустив на рыло побольше показного недоумения, дабы не испортить командиру праздник.

– ...и записная книжка! – радостно заканчивал Левенец. – Свободен!

Ага, свободен. Воистину свободен. Я выходил на изнывающий от зноя плац, где ждало своей участи пополнение, и подзывал к себе младшего офицера.

– Есть приказ – к штукатурам.

– Как же так, товарищ капитан? Они ведь ничего еще не умеют...

– Не умеют – научи! – обрывал его я.

– Как их нау...

– Как, как... Думай, как! – бросал я уже на отходе. – Галстук казенный надел – значит, думай.

Реально это означало следующее: новобранцы получают нереальное задание – для того лишь, чтобы быть жестоко наказанными за невыполнение. А еще через неделю мучений сержант-сверхсрочник вызовет покурить кого-нибудь поумнее из «славян-посрочников» и между делом выразит недоумение: отчего это такие крутые парни до сих пор не заставили чурок пахать как положено. Затем случится несколько тяжелых травм, виновными в которых будут признаны сами пострадавшие. Кого-то увезут в больничку, кого-то – на кладбище, но в итоге «москвичи» начнут работать, «славяне» – надзирать, а «ленинградцы» – держать круговую оборону и не мешать вторым гнобить первых. Пополнение, таким образом, войдет в стандартную производственную колею.

Осознавал ли я тогда знаменательную преемственность своего преступного поведения? Маленький Эмочка Коган когда-то мечтал

стать Дёжкиным, всего лишь мечтал. Тем не менее одно даже это намерение является теперь поводом для того, чтобы презрительно воротить нос от моего безумного отца. Чего же тогда заслуживаю я, немногим по сути отличавшийся от мерзкого Карпа Патрикеевича? В конечном счете папаша осуществил свою детскую фантазию – он стал Дёжкиным, воплотив его в собственном сыне.

Я не насиловал и не убивал сам – я «всего лишь» толкал на это других. Но это не облегчает, а наоборот, отягощает вину, добавляя к ней трусливую безответственность – один из самых гнусных человеческих грехов. Все офицеры прекрасно знали, что творится в казармах. Возможно, еще и поэтому они убегали в запой, как в забой, забивая себя водкой насмерть, как последнюю гадину. На вахте оставался лишь я один – ручная обезьянка, «железнодорожный еврей» за рычагами нашего паровоза.

Наш паровоз, вперед лети!.. – и он вправду летел, разбрызгивая веер человеческих брызг, – от пирамиды к пирамиде, от карпа патрикеевича к карпу патрикеевичу, без остановки, без надежды на остановку... Или как там у них дальше пелось?.. – никому не остановка?.. – в кому не остановка?.. – не помню, да и какая теперь разница?

Но это – теперь. А тогда, в азиатской пыли и за рычагами, я даже приблизительно не сознавал ни вышеозначенной преемственности, ни вышезаклейменной преступности. На шее моей висел казенный галстук, и его жесткая петля незамедлительно душила любой неприятный вопрос на самых ранних стадиях его возникновения. Не правда ли – трудно не усмотреть здесь напрашивающуюся параллель с удавками Сукинсона? Я был классическим заложником, и защитные механизмы стоктольмского синдрома денно и ночно крутили во мне свои приводные ремни и зубчатые колеса.

Отождествление? – Еще какое! Я совершенно искренне считал себя неотъемлемой частью общего процесса, до боли в сердце любил березки, Отечество и сборную по хоккею, гордился пирамидами и пел про паровоз едва ли не громче всех. Я чувствовал себя близнецом-братом своего сукинсона, и только в этом видел свою личную историческую ценность. Говоря «Россия», я подразумевал Карпа Когана. Говоря «Карп Коган», я подразумевал Россию.

Позиционирование? – Конечно! От моего сукинсона разило погромом и перегаром, он был ленив, груб и драчлив. Любую работу он полагал несчастьем и всегда предпочитал не сотворить добро, а отнять его у других. Как любой завистливый жлоб, он постоянно топал на весь мир сапогом, грозился, скандалил и требовал к себе уважения. Все эти милые фактические достоинства волшебным образом замещались в моем «стоктольмском» сознании совершенно иными, сугубо воображаемыми качествами: великодушием, добротой, трудолюбием и щедрой природной одаренностью. Я поистине преклонялся перед этим наилучшим из всех сукинсонов!

Дистанцирование? – Несомненно! Я и минуты не мог прожить без дела, хватался за любой проект, без мыла лез в любую дырку. Знал, что лишний раз подтверждаю тем самым репутацию «пронырливого абрама», но ничего не мог с собой поделать: сидеть сложа руки было бы намного хуже...

Что там еще в списке шведского психолога? Оукливание, боязнь перемен? – О, да! В конце концов, ничто не мешало мне попробовать

убежать из этого гигантского стройбата намного раньше, чем он развалился вместе со всеми своими пирамидами и паровозами, выпустив меня, таким образом, на свободу. Хотя бы попробовать, как это делали другие... Но нет, я боялся. Боялся. Чего? Что могло быть хуже моего тогдашнего состояния? – Поди пойми... Болезнь заложника, стокгольмский синдром, хроническо-панический паралич воли...

Для излечения требовалось как минимум осознать эту ситуацию. Но мне долго, очень долго не везло в этом смысле. Видите ли, голова моя устроена так, что для настоящего понимания мне нужно обязательно перевести мысль в слова – услышать, прочитать... все равно как, но словами, текстом... А с кем я мог поговорить на столь отвлеченную тему? Человек я одинокий. Не с отцом же...

– И кто же оказался этим собеседником? – спрашивает ассистентка, и я вижу по ее глазам, что она уже угадала ответ. – Неужели Лёня?

Это была последняя сделка, в которой он принимал участие. Примерно десять месяцев назад. Совершенно законная «белая» комбинация с продажей боевых патрульных машин в одну из среднеазиатских республик. Сложность ее, однако, заключалась в большом количестве поставщиков: корпуса брали в одном месте, двигатели – в другом, электронику – в третьем, вооружение – в четвертом. Все это требовалось согласовать, собрать и доставить. Лёня и я – каждый из нас отвечал за свой участок работы, так что встретились мы лишь однажды, на взлетно-посадочной полосе бывшего советского военного аэродрома. Я уже закончил свои дела и ждал вертолета; Лёня, который должен был задержаться еще на несколько дней, вышел меня провожать.

Вертушка запаздывала. Местные деликатно откланялись, и мы стояли вдвоем на растрескавшемся старом бетоне, с досадой переживая ту неизвестно откуда берущуюся неловкость, какая часто возникает между малознакомыми людьми в подобных ситуациях. Лёня достал пачку сигарет «Ноблесс», отломил фильтр и закурил. Неказистые аэродромные бараки выглядели знакомо – сколько таких пришлось нам слепить за десять стройбатовских лет...

– Помнишь «москвичей»? – вдруг сказал я неожиданно для самого себя. – Где-то они теперь?

– Где ж им быть, «москвичам»? – хмыкнул Лёня. – В Москве, конечно. Строят новую Россию.

– Знаешь, если бы можно было отмотать назад... Что мы тогда творили, Лёня? Хуже рабства.

Он вздохнул.

– Думаешь, сейчас эти парни – не рабы? Такие же рабы, только пашут не на русского дядю, а на своего бабая. Хотя свой – он всегда ближе.

– Да я не об этом, – отмахнулся я. – Я о себе. На каком суде за всё за это отвечать придется? И что ответить?

– Что ответить? – Лёня отщелкнул окурочек и снова достал пачку. – Это просто, Карп. Мы ведь с тобой заложники. Разве можно судить заложника?

– Заложника? – не понял я. – При чем тут...

С севера послышался гул подлетавшего вертолета.

– Приедешь домой – почитай про стокгольмский синдром, – сказал Лёня. – Запомнил? Стокгольмский. Много объясняет.

Я кивнул и взялся за ручку чемодана.

– А я вот другого не понимаю, Карп, – прокричал он, придерживая меня за локоть. – Что мы делаем здесь, в этой чертовой параше? Зачем мы сюда возвращаемся, раз за разом? Раз за разом!.. Раз за разом!.. Зачем мы...

Он кричал и еще что-то, чего уже невозможно было разобрать. А через три дня я прочитал в интернете про стокгольмский синдром и всё понял. Или почти поня

ЧАСТЬ III. КОРРЕКТОР

14.

Я сижу на кухне и пишу в своем новом блокноте. Не сменить ли заодно и ручку? Пожалуй, сменю – просто так, на всякий случай, чтобы уж точно не осталось ничего от прежнего варианта. Ну вот, теперь и ручка другая. Интересно, куда они вдвоем меня выведут – этот блокнот и эта ручка?

В определенном смысле я испытала облегчение от того, что текст от Карпа Когана оказался тупиковым. Уж больно детективная история вырисовывалась. Торговцы оружием, пиф-паф, Форсайт, Ле Карре, солдаты удачи. Совсем другое кино.

Честно говоря, слово «оказался» тут не к месту. Ничего он не оказался. Это я так решила, чего уж там. В принципе вполне возможно, что Арье Йосефа хотели достать – и достали – какие-нибудь обманутые клиенты. Или обиженные поставщики. Или сердитые конкуренты. Или предводители армий двенадцатилетних солдат, упорно сражающихся за свое неотъемлемое право питаться человечиною. Его могли убить и спрятать. Или похитить. Или похитить и убить. Он мог сбежать сам, вовремя почувствовав опасность. В этом последнем варианте Арье прячется сейчас где-то в укромном уголке, чтобы вернуться через год-другой, когда поутихнет.

Но я смотрю на предыдущий абзац и чувствую: не про него все это, не про Арье Йосефа. Ну не подходит к нему такой сюжет. Во-первых, не работал он уже у Эфи Липштейна – давно от дел отошел. Зачем похищать отставного служащего небольшой торговой фирмы, мелкую сошку? Кому он нужен? Во-вторых, не движется наш текст в детективном направлении, ну абсолютно. Просто не катит. Даже Карп ничего такого рассказать не сумел, как я его ни наталкивала, – а уж он-то на теме оружия профессионально сидит. Все твердил про заложников да про заложников, а толку – чуть.

А если тексту куда-то не хочется, то и настаивать не надо – все равно рано или поздно упрусь в стену. Значит, нужно искать совсем в другом месте. Другой блокнот, другая ручка, другой рассказчик. Первые два компонента уже есть, остановка теперь за малым... Где его взять, нужного рассказчика?

Я сижу на кухне и пишу, а Борис спит наверху. Хороший мальчик. Беззащитный... Как обидишь беззащитного? Наверное, он меня любит. Смотрит такими глазами, что хочется убежать. Но бежать я не могу: ведь текст еще не закончен. Может, я и не обижаю его вовсе – я

имею в виду Бориса. Может, я его тоже люблю. Не знаю. Сейчас, пока текст не закончен, трудно что-либо понять. Сейчас по-настоящему мне думается только о нем – я имею в виду текст. Так у меня всегда, ничего не напишешь. Не напишешь ничего – кроме того, что пишется ручкой в блокнот. Очередной ручкой в очередной блокнот.

Борис давно уже достает меня расспросами: кто я, да что я, да откуда взялась, да где работала, да с кем жила... Достает, пристаёт и надоедает. Чаще всего я легко отделяюсь шутками или просто улыбкой, но иногда он продолжает настаивать – и тогда я срываюсь и кричу на него, и он сникает, как маленький ребенок, и мне становится стыдно, и я утешаю его как могу. Это обычно заканчивается постелью, нам хорошо вместе, и иногда я даже забываю о тексте – очень ненадолго, но все-таки.

Но все-таки главное – это текст, его правильное состояние, которое требуется отыскать, высвободить, раскрыть. К несчастью, слишком многие этого не понимают – даже такие, как Борис, которым по профессии положено. Но люди вообще – в подавляющем большинстве своем – идиоты, причем безнадежные. Как-то я случайно зашла к подруге на биофак, в лабораторию, где изучают поведение животных, и увидела лабиринт – не слишком сложный, если смотреть на него сверху, сквозь прозрачную крышку. Вернее, прозрачна эта крышка лишь со стороны наблюдателя, а изнутри – нет, глуха, как бетон.

В комнате как раз шли занятия. Вокруг лабиринта стояли студенты, держа блокноты и ручки наготове. Профессор, неопрятный тип с лошадиным лицом и волосатыми руками садиста, запустил в лабиринт крысу. Крыса выглядела испуганной и поначалу много суетилась, но потом притихла, и садисту пришлось понуждать ее к действию при помощи электрических разрядов и съедобной приманки. Морда у профессора лоснилась, он виртуозно шаманствовал над своими четырьмя кнопками и только что не урчал от удовольствия.

Лекция как таковая состояла всего из двух слов. Когда крыса в очередной раз замирала, профессор тыкал в ее сторону волосатым указательным пальцем и вкрадчиво произносил: «Встала...» Затем он переносил палец на кнопку, делал глубокий вдох и нажимал. Крыса вздрагивала от боли и пробегала несколько шагов. «Бежит!» – восторженно верещал профессор. Процедура повторялась снова и снова. Студенты молча строчили в своих блокнотах. Под сводами храма науки только и слышалось: «Встала... Бежит!... Встала... Бежит!... Встала... Бежит!...»

Потом все закончилось. Мы вышли из лаборатории, и я выразила подруге свое недоумение.

– Ты, верно, думаешь, что все это ужасная лажа, – ответила она, иронически улыбаясь. – Встала... бежит... Где же сложность реакций и половодье чувств, да? А нету их, сестренка. Просто нету. Жизнь действительно сводится к самому простому: встала, бежит... И больше ничего, поверь мне, специалисту. Причем относится это правило отнюдь не только к лабораторным крысам.

Мы стояли на газоне университетского кампуса, а рядом по бетонным дорожкам торопились в буфет студенты и преподаватели. И тут я поняла – она ведь совершенно права, моя подруга. Вот он, лабиринт. Вот они, крысы. Вот она, приманка, и вот они, электрические разряды. Я задрала голову – и там, наверху, за непрозрачной

голубизной того, что мы называем небом, мне вдруг почудилась тень чьего-то лошадиного лица. Встала... бежит...

– Бежим, Ленка, – толкнула меня подруга. – Еще успеем перекусить. Ну что ты встала, как... как крыса?

И мы побежали. И я в самом деле ощущала себя крыса крысой, пока не вспомнила о текстах. Потому что наше единственное отличие от крыс, наш единственный шанс на свободу заключается в способности написать текст. Текст – это луч. Он проникает сквозь непрозрачное стекло – и тогда становится видно если не все, то многое: и лошадиное лицо, и волосатые руки садиста, и блокноты студентов, и своды лаборатории... А если луч достаточно ярок, то можно забраться и еще выше, ведь своды *их* лаборатории и своды *их* неба – тоже всего лишь крышка, над которой склонился еще один любопытный садист, за которым, в свою очередь, кто-нибудь наблюдает. И так все дальше и дальше – возможно, до бесконечности, а возможно, и нет, не знаю.

Одна беда: как правило, текст рождается на свет бесформенным комом, опутанным многими слоями ошибок, несоответствий, несуразностей и даже прямого вранья. Знать бы, почему это происходит именно так. Наверное, авторы слишком заняты повседневным «встала-бежит» и не уделяют своему тексту достаточно внимания. В этом смысле они немногим отличаются от остальных крыс. Из всех видов подавляющего большинства наиболее подавляет именно подавляющее большинство идиотов.

В результате даже очень хороший текст напоминает пружину, сжатую до упора. Но стоит размотать навязшие на нем бесконечные мотки соплей и водорослей, корабельных канатов, тюремных и якорных цепей... – стоит лишь освободить его от всей этой гадости... – и – оп!.. – пружина распрямляется с волшебным звоном! Пружина превращается в луч – тот самый, пронзающий непрозрачные стекла, крышки и крыши, купола и своды, проникающий в потроха зазеркалья, и в потроха потрохов, и дальше, и дальше – пока хватит слов и фотонов.

Вот в чем заключается моя задача – задача корректора. Занимаясь правкой, я высвобождаю луч. Луч создает новую реальность, новое знание. Ведь того, о чем не знаешь, не существует. Крысы не умеют творить миры. Максимум, на что они способны, – это на крысиное столпотворение. Но крысиный столп неизбежно упрется в непроницаемую крышку. Крыса не в состоянии найти себя, определить свое место в лабиринте – ее заполошная паническая жизнь неизбежно заканчивается тупиком – неважно, «встала» она или «бежит». Чем заниматься не своим делом, не лучше ли просто откорректировать текст и получить ответ на любой вопрос?

Поразительно, что так мало людей осознает эту элементарную дилемму. Мало! Точнее было бы сказать – почти никто. Или даже просто – никто. Всех подавили идиоты. «Вы превосходный корректор, Елена, но надо ли добиваться такой точности?.. Сейчас так не принято, госпожа Малевич... Поправьте только орфографию, Леночка, на запятые давно уже никто не обращает внимания... Ну зачем вы так старались – читатель все равно ничего не заметит...»

Кретины! Можно подумать, что я стараюсь для вашего идиота-читателя! Даже Борис далеко не сразу понял: я корректирую ради

себя самой. Я не хочу быть крысой, слышите, вы, – там, наверху?! Я хочу распрямить пружину, я хочу видеть... И я ли виновата в том, что на те пружины, которые попадают на мой стол, намотано столько мусора, что жизни не хватит распутать?

Но эта небольшая борина повесть... О, я сразу определила ее потенциал. Корректор видит такие вещи с первого взгляда, особенно если пружина текста явно просвечивает сквозь безобразный колтун грамматических ошибок и чуждых наслоений. А здесь заветный луч едва ли не сам высовывался наружу. Так мне, во всяком случае, казалось сначала.

Авторы всегда приступают к работе, имея в виду некий план – как правило, чрезвычайно банальный – ведь все возможные сюжеты давно уже изжеваны до полного безвкусицы, как позавчерашний мастик. Наиболее упрямые дураки придерживаются намеченных линий до конца, получая в итоге аляповатый набор слов, который нельзя даже назвать мертвым – ведь это название следует еще заслужить предшествующим пребыванием в живых, а словесные муляжи дураков не живут ни единой секунды.

Те, кто поумнее, вслушиваются в написанное, ожидая того момента, когда новорожденный текст ощутит свое самостоятельное бытие и начнет брыкаться, выбираясь из прокрустовы ложа исходных авторских намерений. Дальнейшее зависит от тонкости писательского слуха, от готовности вовремя отойти в сторону и дать ребенку выпрыгнуть наружу, от способности терпеливо следовать за уже оформившимся существом, расчищая ему дорогу и не воздвигая препятствий. От умения сделать привал, когда текст устанет, от смирения, с которым следует принимать решение текста прекратить себя, остановиться навсегда, поставить последнюю точку. Как жаль, что подавляющее большинство авторов глухи, неумны, нетерпеливы и чересчур привязчивы!

Борин текст проснулся намного раньше, чем это происходит обычно – возможно, потому, что его автор сел за клавиатуру, не имея вообще никакого первоначального плана. Проснулся и полез жить, а у Бори не оказалось ни сил, ни желания хотя бы минимально противодействовать нахалу. Так уж сложилось, одно к одному: жутчайший хамсин, борино раздражение от общения с неприятным стариком и с хамоватым садовником, душевный неуют, болезнь, усталость, одиночество. Текст вертел автором как хотел. Честно говоря, это больше походило на изнасилование, чем на творчество.

Боря и сам это чувствовал, пытался высвободиться и не мог. Почувствовав свободу текст не сковывал себя никакими ограничениями – ни жанром, ни сюжетом. Его швыряло из стороны в сторону: от старика Когана и старика Узи – к истории Ицхака Лави и его дочери-города, от хамсина, песчаной бури и ночного ливня – к садовнику Питуси и Беспалому Бенде, от демонстрантов-отморозков – к псу Рокси, собачнице Шломин и ее взрослому сыну...

И тем не менее, весь этот разномастный круговорот несомненно вращался вокруг одного общего центра. Да, в тексте отсутствовал сюжет, зато в нем было то, что обычно именуется «главным героем». Но вот что удивительно: об этом главном герое – некоем Арье Йосефе – не сообщалось практически ничего – в отличие от, скажем, равшаца Вагнера или садовника Питуси, которые не имели к

Арье Йосефу ровно никакого отношения. Даже ничтожному болтуну и путанику Беспалому Бенде уделялось намного больше внимания! Главный герой, которого нет? Возможно ли такое?

В этом поразительном факте таилась загадка. Промучившись над нею битый день и полночи, я легла спать, и, как это часто бывает, решение обнаружилось во сне. Задремав около трех, я пробудилась меньше чем через час свежей морского ветерка, с готовой формулировкой в голове. Бороина повесть вовсе не пыталась маскировать свои намерения, шифровать коды, экзаменовать на догадливость. Отсутствие главного героя представляло собой не загадку, а подсказку!

Текст будто бы говорил: «Да, нужно отыскать Арье Йосефа, но не это является здесь главной задачей. Сам Арье Йосеф – более чем второстепенен. Именно поэтому на него почти не тратится слов. Он всего лишь станция по дороге к истинной цели, возможно – конечная, возможно – нет. Отыщите эту станцию, затерянную в безнадежном захолустье неизвестности – и там, на пыльной платформе, рядом с парой ржавых рельсов, в царстве бурьяна и закаменевших окурков, вам, может быть, откроется...»

Что? А черт его знает. Что-то. Что-то по-настоящему важное. Впервые в моей практике корректируемый текст не прятался от меня, а наоборот, звал за собой, приглашал, указывал путь. Могла ли я после этого не прилипнуть к нему, как жена к мужу? Я – крыса, выбившаяся в корректоры, выбивающаяся из сил и рассудка, лишь бы выбиться из своего проклятого лабиринта?

На кухне ужасно холодно. Снаружи грохочет. В горах, где легко дотянуться до земли, грозы ведут себя особенно разнузданно. Трудно представить, что всего две недели назад тут было не продохнуть от сорокаградусного хамсина. Зато сейчас зуб на зуб не попадает. Дома в поселении почти не отапливаются. Холодных дней не так много, чтобы не обойтись одними электрическими обогревателями. Печки на соларке есть мало у какого хозяина, да и тот еще трижды подумает, прежде чем разводить канитель: а ну как послезавтра переменится ветер и снова потеплеет?

Днем Боря включает на обогрев кондиционер – подозреваю, что только ради меня. Старый и очень шумный компрессор установлен на крыше. Возможно, где-нибудь в городе его не было бы так слышно, но здесь, в поселении посреди пустыни, грохот кондиционера мучителен, хуже холода. Перед тем как ложиться спать, Боря торжественно нажимает на красную клавишу, и мы оба замираем, вслушиваясь в целебную, высшего качества тишину, которую лишь подчеркивают редкие родственные ей звуки: тиканье часов, урчанье подъехавшей машины, хлопок дверцы, затихающие шаги, хохоток шакала из соседнего вади, шелест крыльев летучих мышей, тонкий звон комара, перепутавшего сезон.

Эфемерное тепло кондиционера мгновенно уходит, и я успеваю замерзнуть, прежде чем залезаю под одеяло к горячим бороиным рукам.

– Что ты так долго? Совсем ледышка... – говорит он, и каждое его слово звучит поцелуем.

Я молчу, потому что слишком хорошо знаю причину своей медлительности: мне стыдно. Я никак не могу избавиться от чувства, что использую его, занимаюсь бессовестной манипуляцией. Ведь я здесь

не из-за Бори, а из-за текста. Наверное, поэтому я и загоняю себя холодом едва ли не до коматозного состояния – так, по крайней мере, появляется настоящая, жизненно-важная причина прижаться к обманутому мной человеку: срочная необходимость согреться.

Правда, потом наступает момент, когда мне уже совсем не холодно, и я начинаю уплывать по руслу его рук туда, где можно на время забыть об обмане, о тексте и о крысином лабиринте – обо всем, кроме самого забытья. Это длится недолго... хотела бы я, чтоб дольше? Нет, не хотела бы. Забыть, даже любовное, похоже на смерть. Те, кто хотят забытья, могут заполучить его в любой момент, причем навсегда. Для этого достаточно сунуть голову в петлю или шагнуть из окна. Но я хочу жить. И не просто жить – я хочу выбиться из лабиринта, хотя бы взглядом.

Потом я лежу без сна – горячая, как надувная кукла с подогревом, и ощущаю себя последней сволочью. Боря спит, накачав меня своим теплом, своей любовью, силой, спермой, жизнью, а я думаю о тексте, потому что не могу иначе. Это необходимо. Это невыносимо. Я встаю, заворачиваюсь во все подручные пледы и одеяла и ухожу на кухню – сюда, к своему блокноту и своей ручке. Включать кондиционер означает разбудить весь Эйяль, поэтому я сижу так, без отопления, если не считать накрученных на мне сотни пледов и тысячи одеял. Сижу, пока холод не заползет внутрь. Они обнимают меня по очереди – то Боря, то холод.

Дрожь пробирает... но пока еще терпимо. Единственная проблема с бориным текстом заключается в том, что он не дописан. Просто не дописан. Это иногда случается. Бывает, распутаешь почти всё, сто раз пропадешь страницы, как гектары поля, вдоль и поперек, исправишь, изменишь, развернешь... И видишь – нет, оборвалась тропинка, не дошла до конца, не вывела к цели. И ничего с этим уже не поделать: автор умер, или оказался несостоятелен, или слишком далек, или продолжение принципиально невозможно в силу многочисленных помех и обстоятельств.

Но тут... тут ситуация выглядела поистине уникальной. Помимо самого текста, в пределах моей прямой досягаемости оказались и автор, и реальные обстоятельства поиска главного героя Арье Йосефа! Сама судьба предлагала мне углубить степень коррекции, распространить ее еще дальше, за пределы собственно текста. Непростительно было бы упускать такую возможность. Тем более что для моего приезда в Эйяль существовала еще одна немаловажная причина.

Да, текст остался незаконченным. Да, Боря и слышать не хочет о том, чтобы писать продолжение и вообще прикасаться к своей повести тем или иным образом. Но Боря ведь и с самого начала не желал садиться за клавиатуру! Он работал помимо собственной воли – так женщина не может не рожать, когда приходит срок. Текст силой принуждал своего автора. Принуждал – гнул, ломал, насиловал, – пока вдруг не высвободил раз и навсегда – как отрезал. В чем причина такого внезапного равнодушия? Только в одном: Боря перестал быть автором. Для продолжения текст требовал себе иного писателя!

На первый взгляд это заявление выглядит чрезмерным, но на самом деле нет более естественного продолжения коррекции, чем выбор другого автора. Тысячи текстов мировой литературы безнадежно

загублены оттого, что написаны *не теми* писателями, и тут уже ничего не изменишь – не прогонишь самозванца, не пригласишь кого-нибудь более подходящего. Зато в случае бориной повести такая возможность не только имелась, но прямо-таки напрашивалась.

Текст изобилует прозрачными намеками, которые определенно указывали на кандидатуру бориного сменщика. Карп Коган – человек, связанный с Арье Йосефом происхождением, возрастом и деловыми отношениями, – наверняка знал о пропавшем намного больше, чем любой другой второстепенный персонаж, включая самого Бориса. Более того, судя по многозначительному замечанию, которое обронил старик Коган в разговоре с Борей – «ищи ветра в поле!», у Карпа и его папаша существовала собственная версия исчезновения их давнего знакомого. Получалось, что для продолжения текста следовало выйти на Карпа и заставить его говорить. Что я и сделала.

Новый автор тоже сперва упирался, приступал к делу с очевидной неохотой, зато, начав, уже не мог остановиться, словно рассказ сам лез из него помимо желания рассказчика. Но опять – в точности как и Борис – Карп повествовал о чем угодно, только не о нашем главном герое. Например, мне пришлось выслушивать казарменные байки об отцах-командирах и горькие жалобы на отца-садиста, до полусмерти пришибленного Отцом народов. Не сомневаюсь, что какой-нибудь психоаналитик накопал бы там не на одну диссертацию, но меня фрейдистская круговерть отцов интересовала не больше прошлогоднего снега.

А какое отношение к пропаже Арье Йосефа могли иметь давние контры адмирала Колчака с еврейским техперсоналом Транссибирской железной дороги? Где Шомрон, и где – Транссиб? Как справедливо заметил тот же садовник Питуси, «здесь тебе не Сибирь»... В то же время бледнел и таял единственный реальный вариант, первоначально казавшийся мне весьма перспективным. По всему выходило, что торговля оружием, которой занимался Арье Йосеф, не могла быть причиной его исчезновения – во всяком случае, причиной прямой. Это торжество бессмыслицы бесило и удручало.

Но больше всего меня раздражала одна и та же навязчивая тема, к которой Карп неизменно сводил все, о чем он только ни заговаривал. «Заложники... стокгольмский синдром... – ну при чем тут это?!» – думала я, кусая ручку и насилу сдерживаясь, чтоб не взорваться. Географический размах заложничества – от Стокгольма до Транссиба – очень напоминал обвинения, прилепленные питерскими чекистами родителям старика Когана: шпионаж в пользу Финляндии и Японии одновременно. Бессвязные басни внука предполагаемых шпионов выглядели столь же оторванными от реальности.

Но я терпела – ведь сам текст двигал языком Карпа Когана. Если тексту угодно было шить это пестрое, как лоскутное одеяло, повествование, значит на то имелась достаточно веская причина. У корректора нет права на самостоятельное суждение. Поэтому я держала свое недоумение за зубами. Я упорно ждала последней точки, ждала и надеялась на логику текста. И он, как всегда, вознаграждал меня за мою скромную верность.

Сцена на степном аэродроме стала тем ключевым фрагментом паззла, который одним разом превращает бессмысленную лоскутную пестроту в стройный, безупречно выверенный узор. Да, Карп Коган

постоянно говорил о заложниках, о заложничестве как образе жизни, но эта всеобъемлющая аналогия пришла ему в голову не сама по себе. Он впервые услышал ее от Арье Йосефа, причем не так давно – меньше года тому назад! Услышал и был потрясен тем, насколько хорошо вписывается в эту модель его собственная судьба – и если бы только она!

Заложниками оказывались не только он сам, но и его отец, его родные и друзья, а также родные и друзья Лёни Йозефовича, и еще шире – весь их несчастный, громимый и гонимый народ, веками прикованный к подвальной скобе, вбитой в чужую злобную землю между Атлантикой и Тихим океаном. Народ-заложник, одержимый стокгольмским синдромом, то придушиваемый для острстки тем или иным сукинсоном, то насилуемый для удовольствия тем или иным карпом патрикеевичем, счастливый уже позволением дышать или надеть штаны – и славящий при этом своих убийц и насильников, слагающий слащавые песни о любви к ним, с рабской готовностью подсовывающий собственных детей под их мерзкие чресла!

По-видимому, сила и точность этой неприятной мысли так поразили Карпа, что с тех пор он поверяет ею любые ситуации. Скорее всего, теперь ему кажется, что он знал и помнил о своем глобальном заложничестве в течение всей жизни. Так иногда случается при очень большом потрясении... Но меня здесь интересует отнюдь не Карп. Меня интересует текст. Текст, который снова потребовал смены автора. Грубо говоря, это можно описать следующим образом: Боря сфокусировал повествование на Арье Йосефе и таким образом выполнил свое авторское назначение. Карп, в свою очередь, еще больше уточнил фокус, наведя его на самый позвоночник судьбы, на смысловую жизненную ось пропавшего главного героя – комплекс заложничества. Следовательно, роль Карпа можно также полагать завершенной.

Вот только где его искать, нового автора, где? Если в борином тексте содержались явные намеки на преемника, то теперь я не видела решительно никого, кто подходил бы на роль очередного рассказчика. Не Эфи же Липштейн в самом деле... И не старик Коган... А впрочем, кто его знает...

Я чувствую, что еще немного – и ноги мои зазвенят от холода. Хватит, Лена. Умрешь – не закончишь текста. Сейчас я встану, спрячу в сумку блокнот и ручку и пойду наверх, в спальню, где посапывает и улыбается во сне Боря. Я лягу рядом, прижмусь и разбужу его. И когда он проснется и руки его потекут по моему животу, по груди и спине, а рот станет требовательным и жадным – тогда я снова согреюсь и буду снова готова к работе над текстом... хотя в какой-то момент и забуду о нем на несколько коротких простительных минут.

15.

Утром старик Коган встретил нас необычно приветливо. Честно говоря, он и до того не казался мне таким злобным, каким обрисовал его Борис в своей повести. Возможно, сильное чувство, ощути-мо звучавшее в рассказах старика, и впрямь следовало назвать ненавистью. Но я не спешила осуждать его за это. Во-первых, могли ли не сказаться на психике те чудовищные испытания, которые судьба обрушила на этого человека? Раннее сиротство, детдом,

насилие, лагерь... – есть от чего озлобиться. Во-вторых, старик Коган пока еще оставался одним из возможных кандидатов в авторы. А корректор никогда не должен судить автора – ведь это может повлиять на отношение к тексту.

Не исключая также, что в моем присутствии старик вел себя несколько иначе, чем наедине с Борей. Я ему явно понравилась. Во всяком случае, пока рассказ шел на мирных тонах, Коган обращался исключительно ко мне, полностью игнорируя Бориса. Но стоило возникнуть в его речи хоть сколько-нибудь обвинительной патетики, как вся она незамедлительно переадресовывалась мирно дремлющему доктору Шохату. Потрявоженный гневными выкриками, Боря вздрагивал, просыпался и принимался хлопать глазами – сначала недоуменно, затем сердито. Неудивительно, что доктор и его клиент испытывали друг к другу нескрываемую антипатию.

Но в то утро, открывая нам дверь, старик даже попытался выдать из себя некое подобие сердечности – абсолютно безуспешно, ибо последняя улыбка давно уже сгнила от многолетнего неупотребления в самой дальней кладовке старицовой души. Карп отсутствовал. Хозяин усадил нас в гостиной и потер руки. В этот момент он напоминал почтенного ученого, готовящегося представить труд своей жизни Королевскому обществу, с сэром Ньютоном во главе.

– Мне нужно, чтобы вы поняли, – торжественно произнес он. – Сегодня у нас чрезвычайно важный момент. Он прояснит вам очень и очень многое. Прольет, так сказать, свет. В том числе и на вещи, которые столь многие хотели бы забыть. Хотели бы, да только кто им позволит!

Последнюю фразу Коган прорычал в сторону пока еще бодрствующего Бори. Тот презрительно фыркнул, но промолчал.

– Как вам уже известно, Леночка... – Коган вновь повернулся ко мне, сменив по такому случаю гнев на милость, – ...я сидел в Ухти-жемлаге.

Я кивнула – да, помню. Старик рассказывал об этом на нашей предыдущей встрече. После короткого следствия его признали троцкистским вредителем и определили в Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь, находившийся в республике Коми, в поселке Чибью, который впоследствии превратился в город Ухту. Когану крупно повезло попасть в оборот с первого курса геофака. Случись это полугодом раньше, он загремел бы по общему маршруту – на лесоповал или в рудники. А так сразу заделался аристократом – в геологоразведку, искать нефть и асфальтиты.

– Так вот, – тихо сказал старик. – В начале сорок четвертого начальник нашей поисковой группы был арестован за вредительство. А с ним, как водится, выдернули с поля и всех остальных. Вернули в Ухту и раскидали по разным лагункам. Я попал на спецзавод, почтовый ящик 3179. Это было страшное место. Верная смерть. От поэзии.

– От какой поэзии? – хмыкнул Боря. – Вас что там – Лебедевым-Кумачом насмерть зачитывали? Или Исаковским? Или...

Старик остановил его движением руки и приосанился.

– Поэзия – та же добыча радия, – продекламировал он. – В грамм добыча, в год труды...

– Значит, Маяковским, – догадался Борис. – Не такая уж страшная смерть...

– Прекратите паясничать! – рявкнул старик, немного помолчал и снова повернулся ко мне. – На спецзаводе добывали радий. Вы знаете, что такое добыча радия из воды? Хотя откуда вам знать... Да и никто уже сейчас так не добывает – слишком дорого. Но при Сталине, когда жизни зеков не стоили ничего...

Он несколько раз прошелся по комнате из конца в конец. Я не знаю, много ли правды в его последующем рассказе, но это и не столь важно – по крайней мере, для моих целей. Со слов старика выходило, что во второй половине двадцатых годов рядом с поселком Чибью забурили нефтяную скважину, но вместо ожидаемой нефти на поверхность хлынула вода, причем вода радиоактивная. Она содержала ничтожный, но вполне реальный процент солей радия.

Пригодными для добычи считались тогда месторождения Канады и Конго с выходом одного грамма продукта на пять тонн руды. Это чудовищное соотношение и поразило в свое время пролетарского певца-футуриста. Любопытно, что сказал бы Маяковский о том способе, который практиковался в Ухтижемлаге? Для получения того же результата – одного грамма радия – на ухтинском спецзаводе требовалось переработать в *пятьдесят тысяч* раз больше сырья – двести пятьдесят тысяч тонн радиоактивной воды! На один грамм вещества – четверть миллиона кубометров!

Акведуки подводили воду от десятков скважин в приемные желоба огромных отстойных чанов. Затем концентрат отцеживался допотопными фильтрами из мха и опилок, обрабатывался в муфельных печах и центрифугах. После многоступенчатой кристаллизации миллиграммы конечного продукта запаивали в стеклянные ампулы.

– Почти всё там было из дерева, – говорил старик Коган по дороге из угла в угол. – Всё – трубы, чаны, корпуса. Дерево накапливает радиацию. Но сталь не выдерживала этой воды, разрушалась моментально. Быстрее людей. А люди... люди... видели бы вы...

Он покачал головой.

– В этом тоже евреи виноваты, Эмиль Иосифович? – мрачно спросил Борис. – Ну, выкладывайте, выкладывайте... Я ведь вижу, у вас и тут заготовлен какой-нибудь Фельдман.

Коган яростно всплеснул руками.

– Представьте себе! Только не Фельдман, а Ферсман! Профессор! Академик! Рапортовал о победе советской науки. Над нами, мол, западные коллеги смеялись: невозможна, мол, добыча при такой концентрации. А мы вот доказали – при советском строе все возможно! Все! О цене он, правда, умалчивал, сволочь... А детально разрабатывал эту технологию – знаете кто?

Тяжело дыша, он стоял перед нами. Мы с Борисом молчали.

– Инженер Гинсбург! – завопил старик. – Мне нужно, чтобы вы поняли. Гинсбург! Они же весь край отравили, мерзавцы! Потом из этих досок школы строили, детские сады! Вы слышите?! Преступная ваша нация!

– Так, – сказал Борис, вставая. – Знаете, Эмиль Иосифович, мне это надоело. Всему есть предел. На этой мажорной ноте мы и закончим, если не возражаете. А если и возра...

– Подождите, – остановил его старик Коган. – Сядьте, я вас очень прошу. Я ведь не об этом вовсе хотел рассказать. Это так, вступление. К чему-то очень важному. Мне нужно, чтобы вы поняли. Пожалуйста.

Видно было, что он и в самом деле опомнился и сожалеет о своем явно незапланированном взрыве.

– Ну, не знаю... – Борис пожал плечами и посмотрел на меня.

– Сядь, Боря, – сказала я.

Старик облегченно вздохнул.

– Спасибо, Лена. Я ведь всего лишь хотел... Для фона... – он горько усмехнулся. – Не знаю, насколько он был радиоактивным, этот фон, – дозиметров там не было, никто даже слова такого не слышал. Я лично провел на спецзаводе всего несколько дней. Пока начальство не договорилось с чекистами. План по геологоразведке никто не отменял, а как его без геологов вытянешь? Вот и вернули нас в поле. Чудом выжил. Но я все равно благодарен судьбе за эти несколько дней. Потому что там я познакомился с необыкновенным человеком. Он работал на первом этаже, чистил фильтры и уже доходил. Жить ему оставалось не больше месяца...

Старик Коган судорожно сжал в кулаке правой руки кисть левой, затем – наоборот. В тишине гостиной сухо щелкали старческие суставы. Судя по бориному удивлению, он никогда еще не видел своего клиента таким взволнованным. Рассказ старика то трещал сбивчивой скороговоркой, то прерывался длительными паузами.

Необыкновенного человека звали Антон Вебер; его взяли в плен на Украине летом сорок второго года. Мюнхенский немец, он тем не менее хорошо говорил по-русски. Языку Вебер научился в Бердянске, где также оказался в качестве военнопленного – только на двадцать шесть лет раньше Ухтижемлага, еще во время Первой мировой.

– Такая моя фатальность, – печально сказал он Когану. – Мой плен получается уже на второй войне. Ту войну мое здоровье трудно, но пережить. Эту – уже нет.

Тогда, в шестнадцатом году, Антон был восторженным двадцатилетним юнцом, убежденным социалистом и пацифистом. Он прятался от мобилизации больше года, пока баварская полиция не доставила его на призывной участок. Но даже грубая сила не могла заставить Вебера стрелять в угнетенных пролетариев всех стран. С пролетариями всех стран надлежало объединяться, что Антон и проделал, сдавшись в плен при первой же возможности.

Русские братья встретили его приветливо. Социалистические лозунги были тогда в моде, особенно в армии. А уж в семнадцатом году Антон Вебер и вовсе стал своим в доску, германским братишкой. В Бердянске он даже выступал на митингах, и толпа восторженно рукоплескала этому живому свидетельству всемирного единения трудящихся. В преимущественно немецких речах товарища Вебера можно было, хотя и с трудом, различить небольшое, но постоянно растущее количество русских слов. Впрочем, языковой барьер никому не мешал: всем известно, что в социалистической речи главное не смысл, а интонация. С интонацией же у товарища Вебера все обстояло в полном порядке.

В конце восемнадцатого Антон всерьез стал подумывать о переносе своей успешной политической карьеры куда-нибудь поближе к столицам и поделился этими соображениями с революционным матросом товарищем Дыбенко, весьма кстати оказавшимся в то время в окрестностях Бердянска. Товарищ Дыбенко выслушал германского коллегу трижды, но не понял ни слова, хотя интонацию

одобрил. Когда Антон завел свою шарманку в четвертый раз, товарищ Дыбенко решил взять инициативу в свои руки.

– Вот что, товарищ, – сказал он, крутя свой матросский анархистский ус. – Поезжай-ка ты в свою родную Германию раздувать там пожар мировой революции. Чтобы встретились потом наши красные бронепоезда на магистральных путях человечества. Вот тебе мандат.

И товарищ Дыбенко недрогнувшей рукой выписал товарищу Веберу мандат на беспрепятственный проезд из Бердянска в Германию, включая всемерное содействие, сапоги и казенный кошт, где получится.

Чтобы уж больше не возвращаться к этой беседе, следует заметить, что, оказавшись полезной поначалу, впоследствии она сыграла весьма роковую роль. Попав в плен в сорок втором и не слишком разбираясь в свежих советских реалиях, Антон Вебер решил вести себя согласно проверенному образцу. От добра добра не ищут. Поэтому на первом же допросе он объявил себя убежденным социалистом-интернационалистом, насильно мобилизованным в вермахт гитлеровской военщиной. А в подтверждение своих слов Вебер рассказал о своем революционном прошлом и особо упомянул личную дружбу с товарищем Дыбенко. Он ожидал в ответ как минимум того же приветливого понимания, какого удостоился в аналогичной ситуации во время Первой мировой.

К несчастью для Антона, товарищ Дыбенко был к тому времени давно уже расстрелян как американский шпион – невзирая даже на очевидное незнание американского языка, о чем он наивно и безуспешно пытался поставить в известность своих проникательных следователей. Но если о языковых трудностях товарища Дыбенко Антон кое-какое представление имел, то знать о его расстреле никак не мог. В итоге вместо любви и приветия бывший товарищ Вебер получил сапогом в рыло, допросы с пристрастием и терновый венец – мучительную смерть в цеху страшного Ухтинского спецзавода.

Эту печальную эпопею из лагерной серии «как я дошел до смерти такой» Вебер поведал своему новому молодому напарнику во время чистки радиоактивного фильтра. В меру занимательная и в меру дикая, она была ничем не лучше и не хуже многих подобных историй, с которыми успел познакомиться Эмиль Коган за прошедшие три года лагерей. На этом бы знакомство и закончилось, если бы Веберу не пришлось в голову узнать фамилию новичка. В этот момент они сидели на земле, привалившись к бревенчатой стене цеха, и веселые ядра радия-226 бомбардировали гамма-частицами их беззащитные тела. Эмиль ответил.

Вебер заинтересованно поднял голову.

– Коган? А отчество? Комиссар Иосиф Коган не будет ли твой родственник?

– Отец, – подтвердил Эмиль. – Расстрелян как японо-финский шпион и...

Он не договорил, пораженный переменой, произошедшей в его полумертвом напарнике. Вебера как током ударило. Он отошел в сторонку и молчал до конца смены. Только под вечер следующего дня, когда по заводу уже прошел слух о том, что назавтра геологов возвращают в поле, Антон нарушил молчание.

– Моя обязанность рассказать тебе что-то, – сказал он. – О твоём отце. И обо всех твоих. Вы страшный народ.

– Я знаю, – ответил Коган.

Вебер покачал головой.

– Нет, парень. Сколько бы ты ни знал, это будет не всё. Слушай.

Получив дыбенковский мандат, Антон по весне девятнадцатого года двинулся в Германию. Путь его лежал через юг бывшей Российской империи, по которому кровавым катом-катком покатывалась тогда разрушительная гражданская смута. Белые, красные, махновцы, петлюровцы – война всех со всеми. Мандат гарантировал лишь защиту от большевиков; от прочих следовало оберегаться самому. Поэтому Вебер решил двигаться через многочисленные в тех краях немецкие поселки. В крайнем случае всегда можно будет сойти за немца-колониста. Да и помогут свои, если что – накормят, переночевать пустят. Так – неторопливо, от деревни к деревне – родной немецкий язык до Мюнхена доведет.

Он спланировал примерный маршрут – от Геленфельда к Вальдхайму, Гальбштадту, Тигервейде, Нейкирху, Люстдорфу, Либенталю... От Азовского моря до западной границы карта так и пестрела немецкими названиями. Лошадь просить не стал – пешком, с попутным обозом казалось спокойнее. Сапоги выдали – и на том спасибо. Вышел в путь с легким сердцем, будущее рисовалось революционному ясным и красивым.

В Вальдхайме Антон задержался – не хотелось уходить от гостеприимных хозяев. Немцы-меннониты обосновались на тучных, в ту пору пустынных землях российского юга еще в начале девятнадцатого века. Именно они превратили дикие степи в цветущий фермерский рай. Теперь, спустя столетие, колонистов насчитывалось несколько десятков тысяч. Почти никто из них никогда не бывал в Пруссии, откуда пришли их прадеды, но в этом и не было необходимости: Пруссия сама жила здесь – тщательно оберегаемой бытовой традицией, чистотой языка и родной культуры.

Здесь все говорили по-немецки, дети учились в немецких школах, в домах на полках стояли немецкие книги, на сколоченных немецкими мастерами столах лежали немецкие газеты, на плите булькала немецкая еда, а в подвалах висели копченые немецкие колбасы и отстаивалось хорошее немецкое пиво. Меннонитской отборной пшеницы хватало не только на всю Россию, но и на Европу; завезенные из Голландии породистые молочные коровы и тонкорунные овцы служили предметом законной гордости немецких хозяев.

Но и этого казалось мало для разогнавшихся трудолюбивых рук: меж тучных полей и пастбищ деликатно шумели новейшими станками суконные, кирпичные, винокурные, слесарные заводи и мастерские, работали мельницы, сушился табак, разводился тутовый шелкопряд, цвели роскошные яблоневые, грушевые, вишневые сады. Немецкие поселки выглядели островками вменяемости, родимыми пятнами рая на теле адской, перевернутой с ног на голову, потерявшей рассудок страны.

До мобилизации в армию кайзера Антон Вебер занимался живописью – без особого, надо сказать, успеха. Избалованная мюнхенская публика воротила нос от его баварских пейзажей. Зато простодушные жители Вальдхайма приходили в восторг от живописных талантов Антона. Он учил рисовать детей, а сам бодро малевал весенние луга с меланхоличными коровами, усатыми фермерами и

полногрудыми пейзажами. Этого с лихвой хватало, чтобы заплатить и за еду и ночлег.

Но главной причиной затянувшейся остановки в Вальдхайме была, пожалуй, семнадцатилетняя Эльза, хозяйская дочка. Дальше томных переглядываний не шло: меннонитские нравы отличались строгостью. В конце концов хозяин вызвал Вебера на разговор. Антону предлагалось определиться с намерениями.

– Дочке пора замуж, – сказал фермер. – Ты хороший парень, но так дальше не пойдет. Хочешь остаться – добро пожаловать. Станешь меннонитом, получишь Эльзу. Выстроим дом, хозяйство – как у людей. Не хочешь оставаться – уходи, не дури девке голову.

Посомневавшись денек-другой, Антон решил уходить: горожанину сельская жизнь не с руки. Как бы сильно ни привязывали его к Вальдхайму белокурые эльзины косы, перспектива провести здесь всю оставшуюся жизнь пугала еще сильнее. На прощание фермер дал гостю мешок провизии на дорогу, обнял и прослезился.

– Правильно делаешь, Антон. Уходи из этих мест, и поскорее... – он перекрестил Вебера и закончил шепотом. – Мы-то что – божьи дети, все примем, что Господь судил. Гроза на нас идет, кара страшная за грехи людские. Не увидимся уж.

Антон пожал плечами, стараясь не коситься на заплаканную Эльзу в окне добротного хозяйского дома. На фоне голубого вальдхаймского неба, среди цветущих садов и бьющего через край достатка мрачные пророчества меннонита звучали странно и неестественно. Вебер забыл о них еще раньше, чем вышел за околицу с попутным обозом. Дорога снова расстилалась перед ним – новая, весенняя, обещающая радость и успех. Впереди маячили родные баварские поля, башни любимого Мюнхена, его широкие улицы, изящные площади и уютные артистические подвальные. Образ деревенской девушки еще колотил ему сердце укоризненной и больной занозой, но в то же время таял и бледнел с каждым шагом.

Ночевать планировали в Гальбштадте, но припозднились: не ладился у обоза этот переход – то лошадь захромает, то ось колесная лопнет. Недалеко от поселка пахло дымом, а вместе со спустившейся на степь темнотой встало на горизонте зарево. Чем темней становилось вокруг, тем ярче разгоралось впереди, словно сама темнота подкидывала дров в дальний исполинский костер.

– Степной пожар, не иначе, – тревожно сказал один из обозников, розничный торговец из Токмака.

– Хорошо бы... – загадочно отозвался другой.

Антон не понял, что такого хорошего могло быть в степном пожаре, но расспрашивать не стал: выражение напряженного ожидания беды на лицах попутчиков не располагало к разговорам. Обоз продолжал движение в направлении зарева. Люди молчали, нахохлившись, скованные тяжелой неподвижностью, которая обычно овладевает человеком, неудержимо сползающим к близкому краю... что прячется там, за дымящимся обрезом?... – обрыв?... пропасть?... И надо бы остановиться, да никак, а если и как, то паника сковывает и руки, и голову, и душу.

Остановились только тогда, когда уже точно знали, что горит не степь, а Гальбштадт. Даже на значительном удалении чувствовался чудовищный жар, были слышны треск и щелчки разгулявшегося огня,

похожие на одиночные выстрелы, словно пожар не только жег, но еще и стрелял в кого-то. А затем выстрелы послышались совсем рядом с обозом, и тогда стало ясно, что стреляет не огонь, а люди.

Люди примчались на лошадях. Они гарцевали вокруг обоза и одинаково скалились – и люди, и лошади. Черные кожанки всадников отсвечивали красным в зареве горящего Гальбштадта. Всадники размахивали факелами и вели себя как пьяные. Потом оказалось, что они и были пьяны – но не от водки, а от крови. Трое из них спешили и стали поочередно хватать обозников за грудки – кто такие?!. откуда?!. куда?!.

Дошла очередь и до Антона. Он не успел вымолвить и двух слов, как получил кулаком по лицу. Державший его за лацканы маленький человек в кожанке радостно оскалился и крикнул, не оборачиваясь:

– Сергеич, тут немец! И как он сбежал, падла?

– В расход его! – послышалось из темноты. – А остальные пусть заворачивают назад. Запретный район! Слышали? Поворачивайте своих кляч, а то и вас порешим! Быстро!

Маленький потянул наган из кобуры, глаза его остекленели. Антон отчаянно дернулся и завопил что есть мочи:

– Стойте! У меня мандат! Мандат!

Потом Сергеич, щурясь при свете факелов, долго разглядывал мандат, удивленно качал головой, цыкал зубом, сплевывал. Антон ждал, затаив дыхание. Обоз, поспешно развернув телеги, уходил в темноту. Наконец Сергеич цыкнул особенно удивленно и сложил бумагу.

– И впрямь мандат. Надо же – немцу! – мандат! Тут людёв стреляют, а каком-то немцу – мандат! Зуров! Бери его к командиру, нехай он разбирается...

Дорога до командира показалась Антону намного длиннее, чем была на самом деле. Они миновали огромное стадо согнанных в степь коров и овец. Насмерть перепуганные дрожащие животные сбились в кучу и даже не мычали и блеяли, как это предписано природой, а словно бы выли от ужаса. Всхрапывая и калеча друг друга, метались кое-как привязанные лошади. Кучами громоздилось домашнее добро, на скорую руку стащенное сюда из пылающего поселка: перины, одежда, кухонная утварь, настенные часы, детские игрушки...

А сразу за ними – между скарбом и пожаром, по краям небольшого овражка и внутри него – лежало множество расстрелянных мужчин. Такое количество трупов Антон видел только на фронте – после единственной атаки, в которой он принял участие перед тем, как сдаться в плен. Тогда казалось, что люди притворяются мертвыми, что они вот-вот встанут, и улыбнутся, и смущенно разведут руками, извиняясь за глупую шутку. Вот и теперь ему померещилось, что кто-то еще шевелится. Но Зуров, за спиной которого он ехал, тоже заметил движение и поднял карабин.

– Глянь-ка, живой! Цепкие, гады... – он выстрелил и удовлетворенно кивнул. – Все. Капут немчуре.

Командир отряда сидел в глубоком кресле и задумчиво курил папиросу. Прочитав мандат, подписанный самим товарищем Дыбенко, он уважительно кивнул, встал и протянул руку, знакомясь:

– Очень приятно, товарищ Антон. Зовите меня просто Иосиф...

Потом, много позже того исторического рукопожатия, произошедшего перед жаркой стеной гальштадского пожара, а точнее – двадцать четыре года спустя, щурясь на другой – невидимый, радиоактивный пожар, пылающий в цеху Ухтинского спецзавода, зека Вебер наклонился к уху зека Когана и пояснил:

– Это был твой отец, Эмиль. Командир части особого назначения Иосиф Коган. Безжалостный убийца, которого даже зверем не называть. Потому что не существует таких кровожадных зверей в природе...

Старик Коган стоял перед нами, сжав кулаки. На глазах его блеснули слезы.

– Эмиль Иосифович, – осторожно сказала я. – Может, не стоит пока продолжать? Сделаем перерыв...

– Он заплакал! – воскликнул старик, не слушая меня. – Вебер плакал! Он жалел, что моего отца расстреляли, что они никогда больше не встретятся, что Вебер никогда уже не сможет загрызть его зубами, как волк... – перегрызть ему горло, перекусить ему вену, задавить, расцарапать...

– Что ж он этого тогда не сделал, ваш Вебер? – перебил его Борис. – Тогда, прямо перед Гальштадтом? Глядишь, и нам не пришлось бы теперь слушать эти небылицы.

Старик осекся.

– Небылицы? – повторил он, словно не веря собственным ушам. – Вы называете это небылицами? Да знаете ли вы, что Гальштадт был сожжен дотла, что Коган перебил все его население – мужчин расстрелял, а остальных загнал в молельный дом и сжег заживо? Женщин, детей, стариков – заживо?! Что таких отрядов было несколько, и все возглавлялись евреями...

Он стал загибать пальцы.

– Коган... Гольдштейн... Каценельбоген... Сироткин... Фельдман... Гуревич... Они уничтожили всех меннонитов, поголовно! За один только девятнадцатый год! Сожгли все колонии! Убили десятки тысяч людей, целый народ! Это был настоящий геноцид! – старик воздел к потолку дрожащие руки. – Мне нужно, чтобы вы поняли! Вы обязаны каяться! Каяться, каяться и каяться! А потом снова – каяться, кая...

– Да пошел ты!.. – закричал Борис, вскакивая с дивана. – Старый мерзавец! Тьфу! Гадость какая...

Он повернулся ко мне.

– Лена, идем!

Я медлила.

– Идем! – Борис чуть ли не бегом бросился к двери. Видно было, что он физически не в состоянии дышать одним воздухом со стариком Коганом. – Не хочешь? Тогда я ухожу один!

Оглушительно хлопнула дверь; что-то где-то посыпалось, что-то где-то упало – и все смолкло. Я перевела взгляд на старика: он стоял там же со смутной улыбкой на лице.

– Не обижайтесь на него, Эмиль Иосифович. Пожалуйста, подождите. Я обязательно вернусь, и мы договорим.

Борис ждал меня на крыльце. Он тяжело дышал и отдувался, как человек, только что чудом избежавший смертельной опасности. Я взяла его за плечи и повернула к себе.

– Ну зачем ты так, Боря? Нашел на кого сердиться. Он старый, больной человек...

– Он патологический антисемит! – выпалил Боря. – Мерзкий выдумщик. Что ни слово, то кровавый навет. Ты знакома с ним меньше недели... ты и понятия не имеешь, сколько гадостей мне пришлось выслушать за этот месяц! Нет уж, хватит... Тем более с Карпом ты уже закончила, так ведь? Тогда какого черта мы сюда ходим? За деньги? Да пусть подавятся своими шекелями...

– Боря, послушай... – я все еще не теряла надежды. – Говорю тебе, он больной. Этот случай описан в психиатрии. Так называемый стокгольмский синдром. Ты ведь слышал о таком, правда?

Борис посмотрел на меня как на сумасшедшую.

– При чем тут стокгольмский синдром, Лена? Он что – сбрендивший заложник? Он вполне нормальный еврей-антисемит. Очень даже распространенная порода. Обитает и в Стокгольме, и где угодно. Почему Эйяль должен быть исключением?

– Выслушай меня до конца, – терпеливо сказала я. – Это не моя идея. Карп услышал ее от Арье Йосефа и пересказал мне. По-моему, вполне рабочая теория. Еврейский антисемитизм – это типичный стокгольмский синдром. Те же признаки, те же защитные механизмы. Люди ассоциируют себя со своими гонителями, перенимают их методы, их аргументацию, объявляют преступников жертвами, и наоборот. Даже становятся в ряды гонителей сами – идут на все, лишь бы уцелеть, лишь бы сохранить рассудок. Не от разумного выбора идут, а бессознательно, из чувства самосохранения, психика толкает. Вот и Эмиль Иосифович... взгляни на него под этим углом зрения. Вспомни, что ему пришлось пережить. Ну как тут было умом не тронуться? Он не мерзавец, Боря, он заложник. Жертва.

– Удобная теория, – саркастически хмыкнул Борис. – Жертва! Да он собственного отца с дерьмом мешает, ты же слышала.

– Конечно! – подхватила я. – Подумай, как тяжело человеку отказываться от родителей. Как это противоестественно! Чтобы уговорить себя на такое, нужно представить папеньку по меньшей мере искаженным ада. Приписать ему черт знает что. Вот и приходится изобретать...

Мою адвокатскую речь прервал приближающийся собачий лай. Борис схватил меня за руку и потянул к калитке.

– Шломин едет! Ленка, ты должна это видеть! Скорее!

Зрелище оказалось и в самом деле занимательным. По улице со скоростью пешехода двигался небольшой пикап, а вокруг него чинно, весело, беспорядочно – каждая в соответствии со своим личным темпераментом – трусили, скакали, суетились собаки. Было их десятка полтора, может, больше – самых разнообразных мастей и размеров – от гигантского черного ризеншнауцера до лохматой болонки на тоненьких пинчерьих ножках. Последняя, кстати, производила больше всего шума, безостановочно нарезая стремительные круги по всей ширине дороги и яростно отбrehиваясь при этом от местных дворовых собак, которые встречали вторжение на свою суверенную территорию возмущенным лаем из-за заборов. Остальные члены пикапной свиты не отставали от крошечной заводилы. Гам в итоге получался невообразимый; ограды стонали от яростного натиска собачьих тел, но пока держались, предотвращая неминуемое братоубийство.

Ризеншнауцер вел себя солиднее прочих и принимал участие в перебранке скорее вынужденно, чем добровольно. На моих глазах болонка-забияка, описав крутую дугу от одного забора к другому и по дороге исчерпав весь запас матерных собачьих ругательств, подскочила к великану и самым беспардонным образом цапнула его за ногу. Укушенный вздрогнул, затравленно оглянулся и утробно бухнул несколько басовых нот. Видно было, что он до смерти боится крошечной скандалистки.

– Так она их выгуливает! – чтобы я услышала, Борису пришлось кричать мне чуть ли не в ухо. – Представляешь?! И никакой на нее управы!

– Кто, болонка?

– Какая болонка?! Шломин! О, гляди, гляди! Пересменка!

Пикап остановился прямо напротив нашей калитки. По описанию из бориного текста я ожидала увидеть совсем иную собачницу Шломин. Представляла себе нечто среднего рода – бесформенное, отдутловатое, в засаленном тренировочном костюме, с седыми космами и грязными ногтями. К моему удивлению, из машины вышла высокая статная женщина, одетая не без щегольства и во всеоружии безошибочного макияжа. Она приветливо помахала нам и направилась к задней дверце пикапа. Собаки как по команде смолкли и, толкаясь, побежали к хозяйке; при этом лохматая болонка, гнусно подтягивая и покусывая остальных, сбивала всю свору в кучу. Борис с некоторой задержкой помахал в ответ.

– Разоделась-то как! – проворчал он. – Хотя куда ей еще? Она ведь только по собачьим делам и выходит.

Тем временем из пикапа с радостным визгом уже вываливалась вторая смена. Отгулявшие свое, напротив, запрыгивали внутрь. На их мордах читалось явное облегчение, поскольку болонка-пастух осталась на тротуаре. Подсадив артритного ризеншнауцера, Шломин захлопнула дверцу и посмотрела на лохматую скандалистку. Похоже, болонка пасла не только собак, но и хозяйку.

– Ну что, Жаклин, поехали?

Жаклин ответила не сразу, а немного поразмышляла и лишь потом милостиво оттягнула высочайшее разрешение. Пикап двинулся дальше, сопровождаемый прежней оглушительной какофонией.

– Ну, как тебе?

Борис уже улыбался, от недавнего раздражения не осталось и следа, и я подумала, что настала пора вернуться к прерванному разговору и к старику Когану.

– Действительно, смешно... – я осторожно потянула его за локоть. – Пошли назад?

– Куда назад?

– Как это – куда? К Эмилю Иосифовичу, куда же еще...

Боря посмотрел на меня так, словно видел впервые.

– Вот что, госпожа Малевич, – сказал он сердито. – Хочешь с ним и дальше сидеть – сиди. Но меня уволь, понятно? Я в этом доме свою тонну пакостей съел. Будь здорова. И приятного аппетита.

Звякнула щеколда. Борис ушел, не оглядываясь. Если бы я находилась здесь из-за него, то сейчас самым правильным было бы догнать, обнять и пробормотать что-нибудь вроде «по каким пустякам мы ссоримся...» или «не сердись, дурачок...» или просто чмокнуть в

щеку, взять под руку и повести домой, к постели, которая бывает особенно хороша после таких недоразумений. Но в том-то и дело, что находилась я здесь не из-за него, а из-за текста. Мы знали это оба... вернее, все трое: текст, я и Борис. Речь здесь шла о классическом любовном треугольнике, и борино раздражение адресовалось вовсе не моему упрямому желанию продолжить разговор со стариком Коганом, а тому факту, что я в очередной раз выбрала не его тепло, его постель, его любовь, а текст – равнодушный, ускользающий, не идущий на контакт текст.

Старик Коган стоял на том же месте, где я оставила его десятью минутами раньше. Увидев меня, он кивнул.

– Извините, Эмиль Иосифович, – сказала я. – У Бориса внезапно открылось срочное дело. Вы не возражаете, если мы продолжим вдвоем?

Он снова кивнул.

– Срочное дело... – в голосе старика звучало раздражение. – Еще бы. Трудно воспринимать правду как она есть. Впрочем, не думаю, что ваш нежный друг смог бы усидеть здесь, слушая продолжение. Это ведь была только присказка, сказка – впереди.

В отличие от Бори, я не могла позволить себе роскоши рассердиться, а потому пропустила «нежного друга» мимо ушей. Ничего страшного, пусть покуражится. Интересы текста стоят выше личного самолюбия корректора. Пока не отброшена возможность того, что старик Коган окажется следующим автором, я обязана внимательно вслушиваться в любой его выхлоп, даже самый неприятный.

– Антон Вебер остался в отряде моего отца, – медленно проговорил Коган.

Итак, Вебер остался с чоновцами. Причиной тому было желание спасти Эльзу: из разговора с комиссаром Коганом Антон понял, что к ликвидации намечены все поселки колонистов, и Вальдхайм как раз на очереди. Так Антон Вебер оказался невольным свидетелем чудовищных зверств. Отряд Иосифа Когана продолжал свое ужасное шествие по южным степям, сжигая колонии одна за другой и под корень вырезая немцев – антоновых соплеменников, истребляя самую память об их присутствии на этой земле. Награбленное имущество, скот, станки, сельскохозяйственный инвентарь специальными обозами отправлялись к железнодорожным станциям, и оттуда – на север, в Москву. После себя Коган оставлял выжженную землю.

Антон запретил себе чувствовать: главным для себя он положил необходимость вовремя оказаться в Вальдхайме, спасти Эльзу, которая вдруг стала казаться ему любовью всей его жизни, смыслом существования. Возможно, от увиденного у него наступило временное помутнение рассудка; он жил как в бреду, двигался как лунатик. Только этим он мог потом объяснить свою роковую ошибку. Когда Вебер наконец осознал, что отряд направляется в сторону, противоположную Вальдхайму, было уже поздно.

Он бросился к Когану за объяснениями. Тот рассмеялся в ответ:

– Неужели ты думал, что мой отряд – единственный? Немцев еще много, а лето кончается. Вальдхаймом займутся другие. Отряд Финкельштейна, если не ошибаюсь...

Тем же вечером Вебер бежал из части. Он скакал без остановки, а когда лошадь пала, пошел пешком. Ночь была светлой, и не из-за

луны – вокруг на всю ширину степи полыхали пожары. Сладко пахло горелой человечинной. К Вальдхайму Антон вышел на рассвете. Глазам его предстало огромное пепелище – пустынное, как жерло вулкана; казалось, даже вороны избегают приближаться к ужасному месту. Вебер с трудом нашел обугленный остов дома, где провел счастливейший месяц своей жизни. Смагивая слезы, покопался в теплой еще золе. От Эльзы ему осталась лишь оплавленная медная заколка в форме бабочки.

До Мюнхена Антон добрался лишь в начале зимы. В двадцать семь лет он ощущал себя глубоким стариком. Город шумел митингами – набирала силу новообретенная веймарская демократия. На площадях, перекрикивая соперников, напрягали глотки многочисленные ораторы. В одном из них Вебер узнал своего довоенного приятеля, художника. Тот тоже обрадовался встрече, с четверть часа они простояли на улице, хлопая друг друга по плечам, и наконец решили зайти в пивной подвальчик – погреться и вспомнить былые деньки.

Антон выпил порцию шнапса и вдруг, неожиданно для себя самого, стал рассказывать о резне меннонитов. Когда Вебер закончил, лицо приятеля было мокро от слез. Друг вскочил с табурета. Он сказал, что эту ужасную историю должны услышать все. Перемежая всхлипами клятвы и проклятия, он потащил Антона в другую пивную. Веберу пришлось повторять свой рассказ раз за разом всю ночь напролет...

Старик Коган вдруг наклонился к моему уху – видимо, так же, как когда-то наклонялся к его уху зека Антон Вебер.

– Вы знаете, как его звали, Лена?

– Кого? – тихо спросила я, уже предчувствуя ответ.

– Того мюнхенского приятеля... – старик сощурил глаза и произнес, отчетливо выговаривая каждое слово. – Его звали Адольф. Адольф Гитлер.

– Вы хотите сказать...

– Да! – воскликнул он. – Именно это я и хочу сказать! Мне нужно, чтобы вы поняли. Именно там, в том пивном подвале, и родилась ненависть Гитлера к евреям. Именно там он поклялся остановить этот геноцид! Потому что геноцид немцев-меннонитов грозил перерасти в геноцид всех остальных немцев. То, что вы столь громко именуете Катастрофой, было даже не мстью, хотя видит Бог, вы заслуживали мести! Нет, это было законным защитным действием, необходимой обороной!

Так вот к чему он, оказывается, вел! Я во все глаза смотрела на старика Когана. Дело вовсе не ограничивалось демонизацией одного лишь когановского папаши, как я предположила в разговоре с Борисом – старик забирал намного, намного шире! Борю мутило от любви старика к насильнику и садисту Карпу Патрикеевичу... – мне же теперь предлагалось понять и полюбить Гитлера! Впрочем, с точки зрения стокгольмского синдрома камский сукинсон не слишком отличался от мюнхенского. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, и не смогла вымолвить ни слова. Хуже того – я не могла пошевелить и пальцем. Похоже, что в очень больших дозах маразм – даже чужой – оказывает парализующее действие...

– Покайтесь! – проникновенно произнес старик Коган. – Вы должны исчезнуть – все до единого. Исчезнуть. Но сначала – покаяться. Покайтесь, я вас очень прошу...

Он оперся на подлокотник кресла и согнул ноги, словно готовился встать передо мной на колени. Я перепугалась не на шутку, и страх вернул мне дар речи и способность двигаться.

– Подождите, Эмиль Иосифович! – возопила я, вскакивая с дивана. – Подождите!

Старик Коган тяжело дышал, уставившись на меня слезящимися глазами потомственного заложника. Я взяла себя в руки и откашлялась. Это всегда помогает, даже при инфаркте.

– Подождите, – повторила я уже существенно тише, пятясь в сторону входной двери. – Это так неожиданно... так ново... Я должна подумать... Вы не возражаете? Ну, скажем, до завтра?

Он приоткрыл было рот, но в этот момент я нащупала спиной дверь и вывалилась на улицу. В легкие хлынул восхитительно чистый воздух – прозрачный, прохладный и вкусный. Но даже его божественный вкус не мог избавить меня от мерзкого ощущения старика Когана, висящего на моей душе, как чужая сопля на лице. Я бежала всю дорогу до бориного дома. Я ворвалась в гостиную, зовя его от самой двери: «Борис! Борис!» Дальше я намеревалась крикнуть: «Ты был прав!» Но он опередил меня, выскочив на лестницу из своего кабинета.

– Я был прав! – прокричал он. – Ты должна это видеть! Простой поиск в интернете... он все наврал, старый подлец! За всю гражданскую войну, за четыре года, погибло чуть больше тысячи двухсот меннонитов, большинство – от рук махновцев. А Гальбштадт вообще не был сожжен! В двадцатом году там еще издавалась своя газета! Короче говоря, всё враки! Всё! Вот же сволочь! Иди сюда, ты должна это видеть!

Я взбежала по лестнице и сходу обняла его.

– Конечно, ты был прав. По каким пустякам мы ссоримся... Пойдем скорее...

Чтобы вытравить из себя старика Когана, мне срочно требовалось нечто большее, чем просто свежий воздух.

16.

Вечером я уговорила Бориса съездить в Гинот Керен к Ольге – дочери Арье Йосефа. Он не хотел, придумывал отговорку за отговоркой, но я настояла. Иногда на меня нападает странное беспокойство: я чувствую, что время мое на исходе, что следует кровь из носу потопиться, иначе не успею... причем я даже не вполне понимаю, куда именно нужно успеть. Наверное, закончить текст? Да-да, закончить текст. Или нет? Так или иначе, обычно это чувство – чувство неудержимо ветшающей жизни – меня не обманывает.

Словно желая подхлестнуть мое беспокойство, Боря снова стал приставать с расспросами, и снова пришлось сначала отшучиваться, затем отнекиваться, а затем тормозить, пытаюсь вернуть улыбку на его обиженное насупившееся лицо. На этот раз не помогло ни то, ни другое, ни третье, и это лишний раз свидетельствовало о том, что паникую я не напрасно, что времени и в самом деле остается все меньше и меньше. Когда-нибудь – может быть, завтра или даже сегодня – Борису надоест, он начнет наводить справки и узнает. Не сразу, но узнает. И все кончится, и текст осиротеет, лишившись своего корректора. Утонет, опустится на дно, потеряется среди тысяч таких же

обломков – бесформенных, обросших ракушками, опутанных водорослями, похороненных навсегда и без следа.

– Ума не приложу, зачем мы туда премся... – сердито сказал Борис, когда машина въехала в ворота Гинот Керен. – Она ведь все уже рассказала, причем не один раз. Сначала нам с Вагнером, затем полиции, затем службе безопасности, затем журналистам. И снова тем, и снова этим, и снова тем. Охота тебе зря тормозить человека...

Мне еще никогда не приходилось слышать такого раздражения в его голосе. Начало конца. Ну и ладно. Ну и черт с ним. Интересно, сколько у меня осталось – полдня? День? Так или иначе, ни к чему тратить драгоценное время на излишнюю дипломатию. За окном поплыли аккуратные белые домики, пышная зелень деревьев, припаркованные автомашины. Сюда Арье Йосеф переехал из нищей съемной квартирки где-то на побережье. Другая жизнь, другой уровень.

– Ну что ты молчишь? Лена!

Я повернулась к Борису, не утруждая себя гримасами дружелюбия и благорасположения. Голос мой звучал отчужденно и ровно. Так разговаривают с таксистом.

– Будь добр, сначала к месту, где начинается тропа через вад. А потом уже к Ольге. И вот что: можешь меня не ждать. Я выйду, а ты уезжай. Назад найду дорогу сама.

Судя по изменившемуся выражению лица, Борис испугался. Вот и хорошо. Если быть достаточно жесткой, можно сбить его с толку и выиграть еще полдня, может – день.

– Что ты... – пробормотал он, тут же забывая свое съездившее раздражение, как ребенок – минутную обиду. – С ума сошла. Никуда я не уеду. И зачем тебе сейчас тропа?.. Ты что, собираешься...

Я молчала, замолк и он. Подпрыгивая на «лежачих полицейских», борин лансер подъехал к детской площадке и остановился. Площадка была пуста – то ли по причине позднего времени, то ли вследствие крайней своей убогости. Выйдя из машины, мы обогнули хилую горку, миновали турник, песочницу и подошли к поваленному проволочному забору. Здесь начиналась тропа. Поначалу хорошо видная в свете фонарей, она уходила по плоскогорью и терялась в темном массиве оливковых деревьев, начинавшихся примерно в сотне метров от границы поселения. Далее, за рощами, угадывалось вад – по той особенной значительности, которую приобретает воздух, зависший над пропастью или очень большим оврагом. Еще дальше мерцали окна Эйяля, цепочки фонарных огней, маячок водонапорной башни.

– Лена, сейчас не надо... – жалобно сказал сзади Борис. – Я никакого оружия не захватил. И змей по ночам полно. И скорпионы. И обувь у нас не та...

Я едва сдержала улыбку. Все-таки он зацепил меня, этот парень. Может – даже очень зацепил. Так и хочется обнять, пожалеть, пожаловаться. Вот только не к месту это. Не к месту и не ко времени. Настоящее здесь принадлежит тексту. Будущее – тоже, но лишь в том случае, если удастся закончить начатое, точно откорректировать, правильно дописать. А прошлое не имеет значения вовсе.

– Лена...

Глупое сердце мое сжалось, и я не выдержала намеченной разумной линии поведения. Он обхватил меня, прижал к себе, задышал

в макушку. Теперь все – плакали мои лишние, вернее – совсем не лишние полдня...

– Что ты со мной делаешь, Лена? Зачем? Почему нужно что-то скрывать, прятать? Неужели ты мне настолько не веришь?..

Я отстранилась, погладила его по щеке.

– Конечно, верю, Боря. Я ведь здесь, с тобой, разве не так? Ну чего тебе не хватает? Зачем ты задаешь эти вопросы? Чтобы все разрушить, да?

Он не ответил. Мы постояли еще немного, тесно прижавшись друг к другу между детской горкой и поваленным забором. Борис снова уткнулся носом в мою макушку и думал о чем-то своем – не знаю, о чем. Мужская логика редко поддается по-настоящему разумному анализу. Зато мои мысли полностью определялись текущей ситуацией и потому были абсолютно логичны. Размазав свою щеку по боринной груди, я смотрела туда, где начиналась тропинка, еще помнившая шаги пропавшего Арье Йосефа, смотрела и думала, как много мне еще нужно сделать и как мало времени на это осталось.

Потом, уже в машине, Борис долго сидел, не заводя двигатель, – просто сидел и молча смотрел на пустынную окраинную улицу крошечного поселения Гинот Керен, словно перед ним расстилались по меньшей мере Елисейские поля, или Пятая авеню, или Невский... – пока я не тронула его за локоть, чтобы напомнить: нас ждут. Тогда он повернулся ко мне и сказал – уже без прежнего напора и упрека, а почти безразлично, как говорят о погоде в другом полушарии:

– Я, может, и не знаю, кто ты и откуда... – он грустно усмехнулся. – Но зато знаю, что ты задумала. Всё это кончится, когда ты закончишь свою чертову корректуру. Всё – и я, и ты, и Эйяль, и Гинот Керен, и это вади, и эта ночь, и завтрашний день, и сам Арье Йосеф, которого ты якобы ищешь. Для тебя ведь имеет значение лишь текст, не так ли? А текст рано или поздно завершится. Вернее, корректор решит, что текст завершен. И в тот же момент ты оборвешь всё – даже не на точке, даже не слове – на полуслове...

– Поехали, Боря, – попросила я.

– Подожди минутку. Не лишай меня как назначенного к ликвидации элементарного права любопытствовать: что ты обычно делаешь потом? Хоть это можешь сказать? Сразу переходишь к новому тексту? К новому арье йосефу, к другому борису шохату? Как это у тебя происходит?

– Не знаю, – честно ответила я. – У меня еще ни разу не получалось действительно закончить текст. Надеюсь, что этот будет первым. Поехали, ну пожалуйста.

Он вздохнул и повернул ключ в замке зажигания.

Дом Арье Йосефа ничем не отличался от соседских: та же типовая калитка, те же непременные лимон и пальма в палисаднике. Нам открыл ольгин муж – дородный лысеющий мужчина в шортах и майке.

– Здравствуйте. Мы договаривались по телефо... – начал было Борис, но хозяин перебил его с той сердечной готовностью, которая обычно свойственна тем, кто рад любым гостям, всегда и без каких-либо предварительных договоренностей:

– Заходите, ребята, заходите!

В следующее мгновение он уже затаскивал нас в дом, фамильярно прихватывая под локти, обнимая за плечи и только что не

похлопывая пониже спины. Я пожалела, что мы пришли без торта и без бутылки вина. В гостиной было тепло, шумел баскетболом телевизор, на низком столике перед диваном стояли бутылки с пивом и вазочки с солеными орешками, аккуратной горкой высилась шелуха семечек.

– Садитесь, гости дорогие! Какая игра, какая игра! – мужчина подтолкнул нас к дивану и вдруг спохватился. – Хех, святой Элиягу, мы ж еще не познакомились... Меир! Меир!

Он сначала протянул руку Боре и только потом снизошел до меня.

– Очень приятно, – сказал Борис. – А Ольга...

– Укладывает, спать укладывает... Бросай! Бросай!.. – Меир огорченно хлопнул себя по коленям. – Ах ты! А ведь раньше как бросал! Как бросал! Угощайтесь, угощайтесь...

Похоже, он принадлежал к тому типу людей, которые каждую фразу произносят как минимум дважды. Вежливый Борис послушно взял предложенный орешек.

– Так мы подождем здесь?

– Рибанд, рибанд! – завопил хозяин. – Наш! Наш! Не было! Не было!... Ну что за судьи? Свистки тупые, тупые свистки... Что ты спросил? Конечно, ждите, конечно! Ты, Алекс, садись, вот пиво, вот семечки, вот пиво... А госпожа может прямо пройтись вон туда, по лестнице, в коридорчик, там увидите, увидите там, Ольга будет рада, Ольга... Ну, ну, ну... Есть! Есть! Ан-дер-сон! Ан-дер-сон!

Меир вскочил и, потрясая вздымаемыми кулаками, сделал победный круг по комнате.

– Бери пиво, Алекс! Пиво! Нет-нет, ты обязан, обязан! Только вы пришли, он попал сразу, сразу попал. Алекс, душа моя, сядь, душа моя, и возьми пиво, пиво возьми! Алекс!

Боря вздохнул, сел и взял бутылку, а я двинулась по указанному маршруту «вон туда, по лестнице, в коридорчик». Честно говоря, зять Арье Йосефа рисовался мне несколько иначе. Дверь в детскую была приоткрыта. Я прислушалась: Ольга читала малышке сказку. Мешать не хотелось, возвращаться к баскетболу и стрельбе словесными дуллетами – тем более. Присев прямо на пол, я прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Тепло у них тут, не характерно для здешних домов. Ребенок маленький, вот и приходится топить...

Ольга читала нараспев, время от времени замолкая, и тогда звонкий детский голос восполнял недостающее слово. Кто действительно понимает текст, так это дети. Когда-то мама читала мне так же. Правда, на другом языке, но интонации, интонации... Господи, как я, оказывается, устала... От маминого... от какого такого «маминого», ты что?.. – от ольгиного чтения клонило в сон. Маленький зайчик раз за разом забывал поплотнее прикрыть дверь, и оттого постоянно простужался. Моего зайку бросали под дождем на скамейке. На скамейке, с которой он не мог слезть. Есть разница...

В усталой моей голове вдруг сверкнула догадка – острая, как ящерица, и такая же шустрая, так что я не успела рассмотреть даже кончик ее хвоста. Что-то очень-очень важное... жалко-то как... – может, вернется? Я напряглась, процеживая обрывки мыслей и куски образов, торопясь вернуть, воссоздать... – тщетно! Попробуй-ка догнать ускользнувшую ящерицу.

– Что ж вы тут так сидите?! Как можно?

Ольга уже стояла в дверях, смотрела испуганно и изумленно. Смутившись, я поднялась на ноги.

– Извините. Вы укладывали ребенка. Дело слишком важное, чтобы вмешиваться. А тут тепло, хорошо, сказки читают. Видите – задремала.

Она улыбнулась.

– У нас всегда тепло. Это все папа. Он сам отопление сделал. Паровое, представляете? Трубы под полом и в стенах. Руки золотые... Но пойдёмте, что же мы тут стоим. Да вот хоть в его комнату, там удобно.

Комната Арье Йосефа выглядела именно так, как должна была выглядеть. Дешевая, с бору по сосенке подобранная мебель не создавала, тем не менее, впечатления безликой разнокалиберности. Узкая кровать, платяной шкаф, частью своей превращенный в книжный, стул-вертушка, небольшой, но аккуратно устроенный письменный стол. Компьютер, телефон. На стенах – полки, старые черно-белые снимки и цветные репродукции.

– Ну вот... – усадив меня на стул, Ольга примостилась на кровати. – А то что ж на полу-то. Вас Борис привез?

– Он внизу. А я баскетбол не люблю. Как и футбол. Зато ваш муж, похоже, болельщик?

Она усмехнулась. Умная дочь у Арье Йосефа.

– Меир – очень хороший человек. Лучшего мужа трудно пожелать, поверьте. Хотя он, видимо, не вписывается в некоторые стереотипы. Папе это в нем особенно нравится. Что он не такой.

– Не такой, как кто?

Она снова усмехнулась.

– Не такой, как мы. Не такой, как сам папа.

– Ну это просто смертельный удар по ученым психологам-социологам, – шутливо сказала я. – Принято считать, что девочки, напротив, ищут в муже схожесть с отцом.

– Схожесть? – Ольга пожала плечами. – Не уверена, что папа одобрил бы кого-либо похожего на него. Он себя не больно-то любит.

– Зато для вас, я вижу, очень важно его одобрение.

– Это так, – кивнула она. – Видите ли, мы с ним очень близки. Очень. Так уж сложилось. Он растил меня один. Если не считать домработниц.

– А ваша мама...

– Почему вы об этом спрашиваете? – перебила Ольга.

– Ольга, – мягко сказала я. – Вы вправе не отвечать на те вопросы, которые кажутся вам излишними. Но учтите, что чем полнее будет воссоздана картина, связанная с вашим отцом, тем легче будет понять, что произошло. Никогда не знаешь, какая деталь окажется существенной. Бывает, что и самые глупые мелочи помогают. Вам решать.

Она вздохнула и быстрым заячьим движением смахнула слезу.

– Да-да, вы правы, извините. Я готова. Все, что может помочь. Конечно. Видите ли, там вышла такая история... Папа с юности крутился в очень высоколобых компаниях. Необычно высоколобых для курсанта политического училища. По-моему, это связано с родственниками. Дед его был в свое время очень крупной шишкой в

Генштабе, в Москве. В Питере тоже родственники не простые – профессура и так далее. Там он с моей будущей мамой и познакомился. Она училась на филфаке университета. Специалистка по языку урду. Слыхали о таком?

– Честно говоря, нет.

– Вот видите, – Ольга грустно покачала головой. – А ведь сейчас на нем говорит едва ли не больше народу, чем на русском... – Пакистан, Индия. Но в общем, вы правы – для советского лингвиста в начале восьмидесятых годов урду – специализация не слишком широкая... Насколько я себе представляю, сначала думали, что папу распределят в Москву. Дедовы связи и так далее. Наверное, они действительно поженились по любви. Но мама, скорее всего, не вышла бы за него замуж, если бы заранее знала, что получится.

– Да, я в курсе. Дед умер, и Москва отменилась.

– Вот-вот. Отца заслали в Среднюю Азию, в стройбат. Сначала мама поехала с ним. Как декабристка, – Ольга усмехнулась. – Думаю, так она себя и ощущала. Но кому нужен язык урду в узбекском стройбате?

– Она уехала?

– Не сразу. Они долго пытались... – Ольга развела руками. – Самую серьезную из этих попыток вы видите перед собой. Но, видимо, мама совсем не могла. Она стала все чаще уезжать под разными предлогами – например, чтобы сохранить питерскую прописку. Или чтобы найти переводческую работу, которую можно было бы делать по переписке. Или – на редкую и потому чрезвычайно важную конференцию по урду в Москве. Или еще что-нибудь такое. Уезжала и возвращалась. Она была как... как...

– Заложница? – подсказала я.

Ольга изумленно взглянула на меня.

– Да! Как вы догадались? Папа употреблял именно это слово. Он говорил, что был очень рад за нее, когда ее мучения наконец кончились. Когда она вырвалась на свободу. Он говорил, что не хотел держать ее в заложнице, что это было ему тяжелее всего, тяжелей расставания. Что пусть хоть она спасется – так он говорил.

– Как же она спаслась?

– Открылась такая возможность. Полугодовая стажировка в Англии. Думаю, родственники помогли и так далее. Мне тогда два года исполнилось. Отец настоял, чтобы она ехала, причем одна, чтобы ребенок не мешал. И она уехала... – получилось, что навсегда.

– И что же, с тех пор никакой связи?

– Ну что вы... – удивилась она. – Мать все-таки. Сначала она писала чуть ли не ежедневно. Присылала мне всякие картинки, игрушки, стишки. Потом все реже и реже. Потом вышла замуж, осталась в Англии. Преподает до сих пор. В Бирмингеме. Видите ли, там урду очень даже востребован. Мы с ней видимся время от времени. Я туда ездила после армии. Она сюда приезжает. Мать есть мать.

– А вы с отцом остались в заложниках...

– А мы остались. Мы были вместе, вот так, – она подняла вверх кулачок, сжатый до белых костяшек. – У меня был только он, у него – только я.

– А родственники? Неужели никто из них не предлагал, чтобы ребенок пожил в нормальных условиях?

– Ребенок и так жил в нормальных условиях, – почти сердито ответила Ольга. – Родственники предлагали, конечно. Видите ли, я жила у родственников довольно долго. Папа болел после Чернобыля, лежал в клиниках.

– Чернобыль? – переспросила я. – Как он попал в Чернобыль из Средней Азии?

– При чем тут это... – сказала она устало. – Туда почти сразу прислали стройбаты со всех округов. Эти умники поделили окрестность на сектора и приказали снимать почву в радиусе пятнадцати километров, потом тридцати. Как будто это могло помочь. Да и чушь полнейшая – не от радиуса заражение зависело, а от направления ветра. Многие облучились, причем зря, впустую. Папу комиссовали, он болел. Я вернулась к нему – помогать, и вообще. Мы не могли врозь. Мы были вместе, вот так.

Ольга спрятала лицо в ладонях. «Есть! Есть!» – донеслось снизу; одновременно взорвался победным скандированием телевизор. Я осторожно нарушила молчание.

– А сюда вы переехали...

– В девяносто первом. Как только смогли. Видите ли, папа ненавидел ту страну. Называл ее пыточным подвалом. Когда появилась возможность уехать, он просто летал как на крыльях. Мне тогда было восемь. Папа говорил: «Мы выходим на свободу, Оленька! На свободу!», – она печально покачала головой. – Но получилось иначе. Папин подвал никуда не делся, он приехал вместе с нами.

– Что вы имеете в виду?

– Видите ли, папа оказался поразительно неспособен к языкам. Он шутил, что во всем виновата его женитьба на филологе. Мол, Бог дает фиксированное количество языковых способностей на каждую отдельно взятую семью. И после мамы на его долю не осталось ничего, ни капелюшечки. Мама-то говорит почти на всех европейских языках и еще на десятке азиатских... – Ольга развела руками, словно извиняясь за божественную неосмотрительность. – А без языка – сами понимаете. Он работал как мог, делал ремонты. Пенсия шла небольшая – как чернобыльцу. Как-то жили. Но потом халтур совсем не стало, и он пошел сдаваться к Эфи Липштейну. Так и говорил: «пошел сдаваться».

– Но почему? Почему именно «сдаваться»? Хорошая работа, приличные деньги...

Она покачала головой.

– Дело не в деньгах. Дело в том, что он вернулся туда. Понимаете? Вернулся в подвал. Оказалось, что он не может без подвала, и это было очень унижительно.

– Да, понимаю, – сказала я. – Унижительно.

– Папа вообще не желал говорить по-русски. Ни слова. Знаете, многие русские семьи здесь рассуждают ровно наоборот: мол, полезно сохранить язык, научить детей... Мол, язык – это целый мир, зачем же обделять себя и так далее. Папа об этом и слышать не хочет. Он предпочитает молчать. С Меиром объясняется знаками. Меир ведь тоже к языкам неспособен. Так что в чем-то они с папой все-таки похожи.

– Ваша девочка...

– Тали? По-русски? – Ни слова не знает. Я и сама-то... Мы вот с вами на иврите говорим. Не уверена, что смогла бы вести подобную беседу на другом языке. Может, еще на английском, но много хуже. Отца это очень радует. Очень.

Мы еще немного помолчали, я поднялась и стала благодарить.

– Что вы, что вы, не за что, – отвечала Ольга. – Только найдите его поскорее.

Уже в дверях я спросила, когда он сменил имя и фамилию и почему. Ольга недоуменно наморщила лоб.

– Когда? – Сразу же по приезде, в аэропорту... Почему? – Неужели вы не поняли? Он не хочет быть Леонидом Йозефовичем. И никогда не хотел.

Когда мы с Борисом садились в машину, он мрачно сказал:

– Спасибо, что не так долго. Еще четверть часа, и я разбил бы этому Меиру башку. Столько баскетбола, семечек, пива и дурости в одном бокале...

Я рассмеялась.

– Да, мне тоже показалось, что зять Арье Йосефа должен выглядеть иначе. Вторая ошибка такого рода за день.

– А первая?

– Первая – твоя собачница Шломин. Честно говоря, я ожидала увидеть бомжиху, а не светскую даму.

– Это точно, – кивнул Боря, вырываясь со стоянки. – Не зря Арье к ней клеился.

– Арье? – переспросила я. – Какой Арье? Наш Арье Йосеф?

Он бросил на меня удивленный взгляд.

– Разве ты не знаешь? Ах да, это ведь не попало в текст. В тот день, когда мы с тобой познакомились, по дороге в Иерусалим я взял на тремп сына Шломин Ави. И он рассказал, что Арье Йосеф ходил к ней в последнее время. Помогал с собаками и вроде бы... ну, понимаешь.

– Понимаю... Жаль, что ты не упоминал об этом раньше. А Шломин говорит по-русски?

Борис пожал плечами.

– Не знаю. Скорее всего, нет. Думаю, она только гавкает.

Мы вместе посмеялись его нехитрой шутке.

– Она, наверное, и пишет уже по-собачьи... – добавил Боря, развивая тему. – Находит кустик и...

– Подожди, – сказала я.

– Что?

– Подожди!

Недавно ускользнувшая ящерка-догадка вдруг вынырнула из придорожной темноты и во всей красе застыла передо мной. Теперь она никуда не спешила, и я могла с удобствами рассмотреть ее целиком, до мельчайших деталей. Для продолжения текста не требовалось другого автора. Требовался другой язык. Всего лишь другой язык.

Утром Борис уехал в университет, а я пошла к старику Когану – понятия не имею, зачем. Может, потому, что обещала накануне. А может, ноги сами понесли. Но скорее всего, я просто не знала, что

мне делать со своим вчерашним открытием. Ну ладно, другой язык. Так что теперь? Искать переводчика? Переводить самой? Или неприятие русского относится лишь к продолжению текста, а предыдущие части можно оставить как есть? Мучимая этими вопросами, я бесцельно слонялась из кухни в гостиную, пока не решила, что пора взять себя в руки. Лучшим лекарством от болтанки неопределенности является возвращение к якорю обыденности. Моей обыденностью в Эйяле был старик Коган.

Он явно не ожидал моего прихода и потому нескрываемо обрадовался, захлопотал, усадил, заметался, потирая руки:

– Так, Леночка... так... на чем мы, значит, вчера остановились?..

Но старые игры кончились. Я решительно не желала снова входить в то мерзкое болото, где старик Коган изволил остановиться вчера. Уж если я заявила к нему сегодня, то вовсе не для того, чтобы и дальше плясать под его дудку. Если Коган гарантированно не имел отношения к продолжению текста, то не было и причины дорожить его благорасположением. Я могла встать и уйти в любое время, навсегда и без сожаления. Отчего бы не дать ему почувствовать это с первых же минут?

– Вот что, Эмиль Иосифович, – сказала я с максимальной категоричностью, на какую была способна. – Сегодня вы расскажете мне про Густава.

Он вытаращил глаза.

– Про... кого?..

– Про Густава, – повторила я. – Это единственный момент, который пока остается не проясненным. Понимаю ваше авторское стремление приберечь эффектную разгадку под конец. Но, знаете ли, терпение читателей тоже не беспредельно.

Старик Коган потряс головой, словно избавляясь от наваждения. Видно было, что я застала его врасплох.

– Что ж, Эмиль Иосифович, – я поднялась со своего места. – Если вы не готовы говорить об этом, я, пожалуй, пойду...

– Сядьте, – глухо проговорил он. – Вы правы, я не собирался говорить о Густаве... По крайней мере – на этом этапе. Но раз уж так сложилось... Мне нужно, чтобы вы поняли. Должно быть, вам уже известно, что Анна Петровна Гусарова, к которой я попал в шестилетнем возрасте после ареста родителей, категорически отрицала существование Густава...

Да, я помнила это из бориного текста. Более того, Гусарова заставила тогда и маленького Эмиля поверить в то, что у него никогда не было брата-близнеца. Но в разговоре с Борисом старик определенно намекал на что-то другое. Теперь он подтвердил это. По словам Когана, он не смел возражать тете Ане, но продолжал ощущать далекое присутствие брата – так, как могут чувствовать друг друга лишь близнецы, бывшие когда-то частью одного материнского тела.

Потом, в аду прикамского детприемника, когда не стало и тети Ани, мальчик только и спасался беззвучными беседами, которые он, скрючившись под тощим байковым одеялом, вел со своей потерянной половинкой. Они общались напрямую через тысячи километров непроходимого снега, непролазной грязи, непреодолимых препятствий, непримиримой вражды. Слабый, едва слышный шепот пронзал все эти «непро-», «непре-» и «непри-» с такой легкостью, словно

пребывал в ином измерении. Эмиль спрашивал, Густав отвечал. Густав шутил, Эмиль улыбался.

Вернувшись с Камы в Москву, Коган приступил было к Анне Петровне с расспросами, но та замахала руками в сильнейшем и непритворном испуге:

– Что ты, что ты! Забудь об этом немедленно и никогда не вспоминай! Дай мне слово, сейчас же!

Пораженный неожиданной силой ее реакции, Эмиль поклялся – как отрекся. Но воображаемый брат не обиделся и по-прежнему навещал его в те теплые минуты засыпания, когда сознание уже свободно от дневных цепей и цепочек, но еще и не полностью провалилось в непроницаемую прорву сна. Они говорили обо всем, о чем только могут говорить шестилетние дети – ведь расставание произошло именно в этом возрасте. Эмиль рос здесь, Густав – неизвестно где, и лишь их ночные беседы отказывались взрослеть.

Они оставались такими же и в Ухтижемлаге. Днем Эмиль Коган мог рубить штольню, копать траншею, валить лес, чистить радиоактивные фильтры, но ночью – на нарах или в палатке – он засыпал под выяснение вопроса о том, кто первым возьмет резиновый мячик и кому – Эмилю или Густаву – достанутся в этом случае совок и ведро. Возможно, именно благодаря этому он и уцелел. Хотя скорее всего, помогли удача, молодое здоровье и опыт выживания в невозможных условиях, приобретенный еще в детприемнике. А вместе с Эмилем выжил и Густав.

Природу этой поразительной живучести образа брата-близнеца трудно было объяснить одними лишь детскими фантазиями. Оттоптав свое по комяцким зонам, Эмиль Коган вернулся в Москву с твердым намерением вытрясти из Гусаровой всю правду. К несчастью, старушка уже дышала на ладан, и Эмиль, помня ее давешний испуг, все оттягивал и оттягивал решительный разговор. Но видимо, проклятый вопрос и без того читался в его глазах с такой недвусмысленной ясностью, что Гусарова не выдерживала взгляда своего названного сына, отворачивалась. Казалось, что упрямая старуха так и унесет тайну Густава с собой в могилу, но незадолго до смерти, когда Коган уже смирился с поражением, Анна Петровна дала слабину.

Она попросила принести коробку со старыми фотографиями, разглядывала их, гладила, односложно поясняла, кто да что. Родителей Когана там, понятное дело, быть не могло: Гусарова сожгла их карточки сразу же после ареста вместе с прочими компрометирующими бумагами. Дитя своего века, Коган даже не думал предъявлять каких-либо претензий по этому поводу. Тем не менее, Анна Петровна отчего-то чувствовала за собой вину и желание оправдаться или хотя бы выразить сожаление.

– Нету их тут... – едва слышно пробормотала она, балансируя на грани забытья. – Ни мамы твоей... ни его...

– Папы? – спросил Коган, склоняясь над умирающей.

– Па... пы... – прошелестела она. – Ман... нер... Маннер... гей-ма...

Это слово, вернее, фамилия – Маннергейм – оказалось последним проявлением осмысленной речи Анны Петровны Гусаровой, если не считать почти нечленораздельного предсмертного лепета. Поначалу Коган не придал этому особого значения. Ну какое он мог иметь

отношение к финскому маршалу, который с крошечной геройской армией еще до большой войны ухитрился дать достойный отпор чудовищному советскому монстру? Только вот почему Гусарова упомянула его третьим, в одном ряду с мамой и папой?

Разгадка пришла ему в голову ночью, в разгар традиционного шутивого спора с Густавом по поводу деревянного скакуна. Она казалась настолько очевидной и в то же время невероятной, что сон начисто слетел с Когана. Маннергейм не был третьим в ряду – он был вторым и последним! Не «папа и Маннергейм», а «папа-Маннергейм»! Коган встал с постели и снял с полки том энциклопедического словаря. Маннергейма звали Карл Густав Эмиль. До того, как стать финским маршалом, он прославился в качестве российского свитского генерала, неисправимого сердцееда, любителя и любимца ветреных балерин императорского театра.

– Подождите, Эмиль Иосифович, – сказала я. – Вы хотите сказать, что вашим биологическим отцом был маршал Маннергейм? Вы это серьезно?

– «Биологическим»... – передразнил старик. – Дались вам эти новомодные определения... Отец, Леночка, есть отец. Отец бывает только один. И моим отцом был шведский барон немецкого происхождения, русский генерал-лейтенант, финский маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Точка. Отцом. Без всяких биологических, физических и прочих маразматических добавок.

– А вовсе не Иосиф Коган? – уточнила я.

Старик сморщился. Похоже, его мутило от подобного предположения. Вышедший в комиссары отпрыск житомирского бакалейщика несомненно проигрывал всему этому шведско-немецко-руско-финскому великолепию, украшенному к тому же баронским гербом, маршальским жезлом и вездесущим половым инструментом петербургского свитского генерала.

– Нет никаких сомнений! – торжественно провозгласил он. – Я все проверил, все сопоставил, проштудировал целую библиотеку исторических документов, писем и воспоминаний. Восстановил в памяти обрывочные замечания, которые тут и там роняла покойная Анна Петровна. Из всего этого вырисовывается совершенно однозначная картина. Моя мама и Маннергейм любили друг друга. Их связывал бурный роман, череда разрывов и воссоединений, которая началась задолго до Первой мировой войны и продолжалась без малого двадцать лет! Мне нужно, чтобы вы поняли. Мама происходила отнюдь не из простой семьи. Учтите – к моменту ее рождения банкирский дом Розенштоков уже целый век ссужал деньгами европейских королей и императоров! Так что она отличалась очень гордым характером. Маннергейм же увяз в многочисленных любовных скандалах. Поэтому связь их всегда оставалась тайной. Знали только ближайшие друзья.

– Например, Гусарова?

– Например, Гусарова, – раздраженно подтвердил старик Коган. – Вы, я вижу, не верите? Какой тогда смысл называть близнецов Густавом и Эмилем?

Я пожала плечами.

– Действительно. Ума не приложу, как ваша мама могла объяснить столь странный выбор имен вашему отцу. Простите, Иосифу Когану. Он ведь, наверное, полагал, что дети – от него?

– Конечно! – вскричал старик. – Я тоже немало думал над этой загадкой. И пришел к следующему выводу. Мама обманула Когана. Она договорилась с ним, что одному из близнецов дадут какое-нибудь революционное имечко. А за это выторговала себе право назвать второго мальчика так, как ей заблагорассудится. Так Густав стал Густавом. Понимаете?

Старик Коган заговорщицки подмигнул.

– А Эмиль? – все еще не понимала я. – Что такого революционного есть в этом обычном имени?

– Ну как же! – с досадой проговорил он. – Эмиль – это начальные буквы слов Энгельс, Маркс и Ленин. Мама виртуозно перехитрила своего житомирского идиота. Согласны?

– Ну ладно... – промямлила я. – Нет, погодите. Вы родились в двадцать втором году, когда все бароны-генералы в России уже кончились. Как же Маннергейм дотянулся до вашей матушки? Или она ездила к нему в Финляндию?

– Не-ет... – протянул старик Коган, округляя глаза. – Это он приезжал к ней. Маннергейм славился своей из ряда вон выходящей храбростью. Ему ничего не стоило нелегально перейти границу и пробраться в Питер на свидание с любовью всей своей жизни. Но она... она... Как она могла предпочесть этого низкопробного жидка, патологического убийцу, отвратительного мерзавца? Маннергейм наверняка предлагал ей бежать. Конечно, в те годы он бедствовал... Но все равно... променять столь благородного человека на подобную мразь! В голове не укладывается!

Старик несколько раз стукнул себя кулаком в лоб и повернулся ко мне. Лицо его кривилось гримасой боли и недоумения.

– Вот вы, Лена. Вы – женщина, должны понимать. Как можно объяснить выбор моей матери?

Я с трудом подавила желание сказать, что выбор этот существует только в его воображении, что сама ситуация представляет собой плод продвинутого безумия, продукт стокгольмского синдрома, не более того. Но это было бы чересчур жестоко. Я чувствовала к старику Когану некую гадливую жалость, которая пока не переросла в открытое отвращение, хотя уже и балансировала где-то на грани.

– Не знаю, – произнесла я вслух. – Возможно, она устала от измен вашего любвеобильного э-э... предполагаемого папы. Возможно, боялась. Нелегальный переход границы, знаете ли, не слишком безопасное дело. Возможно, она по-своему любила своего молодого мужа Иосифа.

– Вот! – с жаром воскликнул Коган. – Именно! *По-своему любила!* Мне нужно, чтобы вы поняли. *По-своему* – то есть по-еврейски. А *любила* – значит ей нравилось то, что накрепко, неотъемлемо связано с евреями: грязь, мерзость, убийства, власть, жадность до крови и денег! Теперь вы понимаете, почему я ненавижу не только своего фиктивного папашу комиссара Когана, но и ее тоже?! У нее были все возможности стать человеком, но она предпочла остаться жидовкой!

Я мысленно скомандовала себе дышать поглубже. Запасы жалости в моей душе неотвратимо таяли, зато отвращение подступало к самому горлу.

– Не хочу читать нотации пожилому человеку, – сказала я, уставившись в пол, чтобы не видеть этого уroda. – Но вы говорите о

своей матери, господин Коган. Какой бы она ни была, подобные выражения в устах сына выглядят некрасиво. Уж извините, но эти обвинения кажутся мне неправдоподобными. Напоминает ту чудовищную финско-японскую ерунду, которую инкриминировали вашей матушке питерские чекисты.

Старик хихикнул.

– Ерунду? Вы удивитесь, Леночка, но обвинения чекистов базировались на твердой фактической основе. Разве Маннергейм не был финским контрреволюционером, непримиримым борцом с большевиками? Любое общение с врагом приравнялось тогда к шпионажу. Видимо, в ГПУ каким-то образом узнали об их свиданиях. Вот вам и финская шпионка.

– А японская? Ну при чем тут Япония?

– Очень просто! – старик Коган явно наслаждался моментом. – Маннергейм провел несколько лет на Дальнем Востоке. Воевал в русско-японской войне, возглавлял экспедиции в Маньчжурии и Северном Китае, неоднократно посещал Японию, основал так называемое Маньчжурское братство. Его глубокие дальневосточные связи общеизвестны. Не исключаю, что он использовал их в своей борьбе против Советов. Мой отец умел широко мыслить!

Он победно взирал на меня. В вывернутой наизнанку вселенной этого человека, в искаженном, изуродованном мире заложника и жертвы полагалось радоваться доказательствам виновности собственных родителей. Виновны – значит, пострадали за дело. Значит, есть и в твоих страданиях хоть какой-то смысл. А коли так, то появляется и шанс договориться с палачами: это абсурд не поддается убеждению, а там, где наличествует логика, там можно и поладить...

– Хорошо, – сказала я. – Допустим. Но вернемся к вашему брату. Как я понимаю, он таинственным образом исчез сразу после ареста ваших родителей...

Старик отрицательно покачал головой.

– Не думаю, что все происходило именно в такой последовательности...

Он принялся рассказывать мне о своих изысканиях. Честно говоря, это звучало довольно увлекательно. Каюсь, я испытываю слабость к мыльным операм – особенно таким, где к сто пятидесятой серии неожиданно выясняется близкое родство действующих лиц, безнадежно далеких друг от друга в первых частях теленовеллы. Главное тут – следовать законам жанра, то есть не задавать себе лишних вопросов. Например, может ли прелестная донна Лаура быть матерью неверного жениха своей покойной прабабки и не догадываться об этом? Может, конечно может. Примерно с таким настроением я слушала повествование старика Когана.

Многочисленные источники упоминали о том, что в конце двадцатых годов у Маннергейма появился воспитанник, которого он любил как сына. Мальчика звали Густав! Узнав об этом на тридцать лет позже, Эмиль Коган сразу понял, куда исчез его брат. Тем не менее он не успокоился, пока не раздобыл фотографию воспитанника. Она стала последним решающим доказательством: юноша на снимке казался двойником Эмиля! Не оставалось никаких сомнений: это и был его пропавший брат-близнец.

Но как он попал к Маннергейму? Неужели тот, узнав об аресте и гибели матери своих детей, вновь нелегально пересек границу и увел Густава с собой? Сначала Коган так и предположил, но по здравом размышлении отверг этот вариант как маловероятный. Во-первых, отец не мог забрать лишь одного сына, бросив второго на произвол судьбы. Во-вторых, в двадцать восьмом году нелегальный переход советско-финской границы уже представлял собой трудную и крайне опасную операцию. Навряд ли маршал стал бы рисковать жизнью своих шестилетних детей.

И тут Коган припомнил давний, еще довоенный рассказ Анны Петровны об однодневном путешествии в Хельсинки делегации советских артистов.

— Пускали только самых надежных, таких как я или твоя мама, — сказала тогда Гусарова и добавила со странной интонацией: — Ты, кстати, ездил вместе с нею. Ты и...

Она осеклась и спустя мгновение закончила, весьма неуклюже выходя из неловкой ситуации:

— ...и с этого начались все неприятности.

Позднее, пытаясь восстановить события, Коган пришел к следующему выводу. Возможно, мать уже предчувствовала беду и решила переправить детей к Маннергейму. Скорее всего, она выехала в Финляндию с обоими близнецами, но на границе предъявила лишь одного. Жену видного чекиста не слишком трясли, и можно было использовать полное сходство мальчиков, поочередно пряча или выставляя их на проверку. В Питер она вернулась тоже с одним сыном — на сей раз без всякого обмана. Коган затруднялся ответить на вопрос, почему мать не осталась в Финляндии. Возможно, она действительно не могла бросить своего Иосифа Когана... Кстати говоря, последний, скорее всего, и настучал на собственную жену. Мерзавец!

Здесь старик Коган в очередной раз отвлекся на серию гневных тирад и ругательств. Это выбило меня из режима мыльной оперы, и я спросила, нельзя ли посмотреть на фотографию Густава.

— Конечно!

Старик открыл ящик стола и вынул картинку в рамке. Со снимка на меня смотрел молодой коренастый блондин в эсэсовской форме. Но мое главное внимание привлекла не эта форма и не нарукавная повязка со свастикой. Фашист на фотографии даже отдаленно не походил на старика Когана — ни ростом, ни лицом, ни фигурой. Требовалось поистине большое воображение, чтобы признать его братом-близнецом моего собеседника.

— Ну как? — благоговейно спросил Коган, заглядывая мне через плечо. — Похож, не правда ли?

— Как две капли... — я с трудом поймала себя за язык, успев заменить кашлем не подходящее для продолжения разговора слово. — Кхе-кхе... Простите... Как две капли воды. И одет по тогдашней моде. Разве в Финляндии размещались части СС?

Старик многозначительно покачал головой.

— Вы правы, частей СС в Финляндии не было. К сожалению, отец недооценивал Гитлера. Они так и не стали друзьями. Слишком разные люди. Не забывайте: речь идет о потомственном аристократе, бароне, свитском генерале. Даже мужество и личное

обаяние германского лидера не смогло растопить лед великосветских предрассудков. Увы... – Коган тяжело вздохнул, но уже в следующее мгновение лицо его просветлело. – Зато Густаву ничто не мешало боготворить Гитлера. Они познакомились во время финского визита фюрера. Густав отпросился у отца и уехал в Германию. Гитлер любил его как сына.

– Количество и качество ваших отцов, Эмиль Иосифович, умножается от часа к часу, – не удержалась я. – Этак мы скоро дойдем до Богдана Хмельницкого, Торквемады и Амана. Вы не пытались проанализировать их фотографии на предмет фамильного сходства с вами и с Густавом?

Старик Коган горделиво выпрямился.

– Изволите смеяться? – с достоинством произнес он. – Смейтесь сколько вашей душе угодно. Мне нужно, чтобы вы поняли. Я говорю о фактах. Что касается моего брата, то да – он был убежденным нацистом. Сражался в доблестных рядах ваффен СС, в дивизии «Шарлемань», бок о бок с французскими братьями. В той самой дивизии «Шарлемань», которая почти полностью погибла, защищая Берлин. Честь для этих людей была дороже жизни!

– Так он погиб?

– Не знаю, – пожал плечами старик. – Следы его потерялись именно тогда, в апреле сорок пятого. Может, и погиб. Но сердце мое подсказывает иное. Понимаете, Густав продолжает разговаривать со мной по ночам. Возможно, он еще живет где-нибудь в Аргентине. Я все время навожу справки, но пока безуспешно...

Он снова стал стучать себя в лоб кулаком, и я поняла, что сейчас последует новая порция ругани. Так оно и случилось.

– Дура! Дура! Жидовская подстилка! – кричал старик Коган. – Ну зачем, зачем она вернулась к этому мерзавцу? Я мог бы быть рядом с Густавом...

– Подождите! – перебила его я. – Вы жалеете о том, что не надели форму СС? Сейчас, зная о Катастрофе, об уничтожении шести миллионов ваших...

Я вынуждена была остановиться, потому что Коган прервал меня густым нечленораздельным ревом. Тело его напряглось, кулаки сжались, глаза налились кровью; он выл, как противовоздушная сирена.

Вообще-то я отнюдь не трусиха, но в тот момент перепугалась до смерти. Колени мои дрожали, я просто сидела и широко раскрытыми глазами смотрела на верещащего Когана, с трепетом подготавливая себя к любому возможному продолжению – к смерти, к параличу, к обмороку, – причем все это в равной степени могло произойти и с ним, и со мной. Наконец сирена оборвалась, и старик стал понемногу выплевывать слова попеременно со слюной.

Он вопил, что никакой Катастрофы не было, а если и была, то евреи сполна заслужили эту кару в наказание за геноцид немцев-меннонитов и за «прочие жидовские пакости». Он кричал, что истинной катастрофой стали не Аушвиц и Трешлинка, а то, что Гитлеру не позволили завершить начатое – стереть с лица земли «этот подлый народец». Он ловил ртом воздух и хватался рукою за грудь. Он пенял мне за то, что я осмелилась поставить его на одну доску со своими грязными соплеменниками.

– Я не ваш! – шипел он, упирая на последнюю букву. – Я не еврей! Я не Коган! Мой отец – шведский аристократ. Моя мать... мать...

Старик Коган осел на кровать и спрятал лицо в ладонях. До меня доносилась лишь его безумная скороговорка.

– Надо получше проверить... – бормотал он. – Но ты ведь проверял... Плохо проверял, плохо! Густава не взяли бы в СС, будь его мать еврейка... А антропометрия? Они ведь наверняка проверяли циркулем, циркуль не соврет. Значит, она не еврейка, это точно! Ее просто обманули, записали в жиды... Мерзавцы! Подонки! Мне нужно, чтобы вы поняли: я не еврей! Не еврей! Я – не Коган!!

Он не хочет быть Коганом, думала я, спускаясь по лестнице. Сама мысль об этом кажется ему невыносимой. Сначала, еще мальчиком, он хотел стать Дёжиным, но Карп Патрикеевич не согласился. И тогда он придумал своего Густава, записался в Маннергеймы, даже в Гитлеры – лишь бы подальше от себя, подальше от Когана, от маленького беспомощного заложника, чьи кости хрустят под сапогами насильников и убийц. Он не хочет быть Коганом, и его можно понять.

Где-то я уже слышала что-то похожее, причем совсем недавно... Ну да – вчера вечером, от Ольги – когда спросила, почему ее папа решил сменить имя и фамилию. В памяти моей всплыл наморщенный ольгин лоб и то специфическое выражение лица, какое появляется у людей, если их заставляют объяснять очевидные, и без того понятные вещи.

– Неужели вы не поняли? – сказала она. – Отец не хочет быть Леонидом Йозефовичем. И никогда не хотел.

18.

Лансер стоял возле дома, и я удивилась этому, потому что Борис планировал вернуться только к вечеру. Что-то случилось. И фары... – он так торопился, что забыл выключить фары. Охваченная дурными предчувствиями, я топталась перед дверью, всерьез прикидывая, стоит ли входить. Пальто... – да черт с ним, с пальто, но в доме остались мои блокноты... – не бросать же текст... Ладно, как-нибудь справлюсь. Я собралась с силами, глубоко вдохнула и вошла.

Боря сидел на диване в позе прилежного школьника, положив руки на колени. Увидев меня, он вскочил, переступил с ноги на ногу и снова сел. По всей видимости, первые фразы судьбоносного разговора, которые Борис репетировал всю дорогу домой, разом вылетели у него из головы.

– Ты... уходила... – насилиу выдавил он.

– Да, навещала Когана, – прощепетала я с максимальной беспечностью, на какую была способна. – Последние главы эпопеи. Кстати, в машине аккумулятор разряжается. Ты забыл выключить свет, мой рассеянный господин профессор.

– Что? – он смотрел на меня как из другой галактики. – Какой свет?

Плохо дело. Я нашла в себе силы рассмеяться.

– Тот свет. Нет, шучу – пока еще этот. Я бы даже определила его как ближний. Ну что ты так на меня уставился, Боря? Фары. Передаю по буквам: эф, а...

– Фары... – растерянно повторил он и встал. – Ах да, в машине...

– Ну слава Богу! Что ты стоишь? Иди выключай...

Он кивнул и направился к двери. Так. Теперь быстро. Я метнулась на кухню. Сумка. Блокноты. Что еще? Пальто на вешалке, но это потом. Свитер? – Свитер в спальне. Сбегать, не сбегать?.. Хлопнула входная дверь – Борис вернулся. Звякнули брошенные на журнальный столик ключи.

– Сварить макароны? – крикнула я.

– Я все знаю, – глухо ответил он.

– Глупости, милый. Нет таких людей, которые знали бы все. Так варить или нет?

– Я все о тебе знаю.

Я задвинула сумку под стул и вышла в гостиную. Борис снова прилежным школьником сидел на диване... хотя нет – каким школьником? Он скорее походил на обманутого мужа, только что узнавшего об измене любимой жены. Мне стало смешно.

– Ну что ты такого знаешь, глупый? Слушай, не пугай меня, ладно? Сидишь тут, молчишь, черный и грозный, прямо как Отелло из одноименной трагедии. Надеюсь, ты не собираешься меня душить? Я, кстати, на ночь не молилась. И на день тоже...

– Перестань, прошу тебя... – тихо сказал он. – Господи, я даже не знаю, как теперь... Зачем ты мне лгала?

– Я не лгала. Все было по правде.

– А имя? Тебя зовут не Лена Малевич. Ты...

– Стоп, – остановила его я. – Не произноси этого. Я не хочу быть тем именем. Я – Лена Малевич, корректор. Что тебя не устраивает в этом варианте? Зачем тебе нужно было наводить эти дурацкие справки, выведывать, шпионить...

– Я не шпионил! – закричал он. – Но что я могу поделать, если твои портреты расклеены по всему университету? Тебя ищут, понимаешь?! А там, под портретом, написано, кто ты, откуда сбежала и куда следует сообщить в случае... в случае... – вот, полюбуйся...

Он бросил на столик сложенный вчетверо бумажный листок. Я не стала его разворачивать. Зачем? Мне и так было известно все, что там написано.

– Хорошо, – сказала я. – Теперь ты знаешь. И что дальше? Ты уже сообщил или пока только собираешься?

Боря вскочил и потряс кулаком. Я причиняла ему боль.

– Не смей! Не смей!.. – он задохнулся, сделал несколько быстрых шагов и остановился передо мной. – Леночка... или не Леночка... или Леночка... неважно, кто! Мне наплевать, как тебя зовут, выбери любое имя. Ты мне подходишь любая, слышишь? Любая! Но ты больна, тебе нужно лечиться, они ведь не зря о тебе беспокоятся. Я обещаю: мы пройдем через это вместе. Я люблю тебя. Я все сделаю... я...

Он схватил мои руки в свои и стал целовать их. Как в старых смешных текстах.

– Боря, не надо... – я высвободила одну руку и погладила его по волосам. – Не надо, милый. Ты не понимаешь. Я честно пыталась тебе объяснить, но ты отказываешься понимать. Мы существуем только в тексте – и ты, и я, и наши отношения. Нас нету вне текста. Ты же сам недавно говорил: мы исчезнем, как только будет поставлена последняя точка. Или буква. Или просто – в середине какого-нибудь слова. Это жизнь. Так уж оно заведено...

– Нет, нет, – он отчаянно замотал головой. – Ты больна. Это не ты говоришь, а твоя болезнь. На деле все обстоит совершенно иначе, поверь мне. Жизнь существует вне твоих текстов. Вне! Она никак не зависит от них! Никак! Разве садовник Питуси – текст? Или Беспалый Бенда? Да они отродясь не читали ничего кроме рекламных объявлений. А ведь живут, живут...

Я вздохнула и украдкой посмотрела на часы. Следовало торопиться.

– Это иллюзия, Боря. Глупая иллюзия. Питуси и Бенда живы лишь в тексте. Сам посуди: без твоей повести никто и понятия не имел бы об их существовании. Есть только то, о чем знаешь. Знаешь же только то, что запечатлено в тексте. Очень просто.

Борис начал было возражать, но я закрыла ему рот ладонью.

– Подожди, милый. Мне что-то холодно. Принеси из спальни мой свитер. Пожалуйста.

Он послушно кивнул и стал подниматься по лестнице. Я схватила со столика ключи от машины. Теперь быстро. Кухня. Сумка. Пальто. Если аккумулятор сел, то получится неудобно. Нет, лансер завелся сразу же. Я вырулила со стоянки. Машина рванула по сонной полуденной улице. В кабине можно было поджариться. С ночи обещали хамсин, но по-настоящему он разворачивался только сейчас. Получается, что зря я вызволяла свое драгоценное пальто. Вообще, если разобраться, многое в этом тексте сделано зря. А может, и нет: часто какая-нибудь деталь кажется лишней, хотя по сути это не так. У ассоциаций замысловатые траектории.

Дети еще не вернулись из школы, так что тротуары пустовали. Как, впрочем, и дворы. Поселение словно вымерло. Нету населения в данном поселении. Ха-ха... Даже сплетник-перехватчик Беспалый Бенда не стоял на своем обычном посту. У продуктовой лавки я при- торმოшила.

– Снова пекло, а? – сказала девушка-продавщица, протягивая мне пачку сигарет «Ноблесс» и зажигалку. – Ну и зима, правда? А вы с Борисом давно знакомы?

Я и не подумала реагировать ни на один из ее дурацких вопросов. Нельзя позволять постороннему мусору отвлекать тебя на финишной прямой. Теперь я знала об Арье Йосефе почти все, что требовалось для того, чтобы закончить текст. Теперь мне ничего не стоило запросто смоделировать Арье Йосефа – во всех его мыслях, сомнениях и поисках. Ладно, ладно – не во всех. Но в самых главных – точно. Я могла буквально *стать* Арье Йосефом и его шагами пройти по тому же маршруту. Хотя пистолет, в отличие от «Ноблесс», в лавке не продавался. Ничего, попробуем обойтись и так.

Гинот Керен выглядел еще безлюднее Эйяля – маленький поселок пока не дорос ни до школы, ни до магазина. Дома стояли набычавшись, замкнувшись, из последних сил удерживая зимнюю прохладу, утекающую меж камней, как вода меж пальцев. Зато беззащитные улицы всю коробились от зноя. У этой земли человеческий характер, климат ее настроения столь же изменчив и непредсказуем: от сонного анабиоза промозглых холодов – до сумасшедшего пульса удушающих хамсинов. Две крайности, два отчаяния; и наша жизнь с нашими чаяниями, вечным маятником болтающаяся посередине.

Вот и детская площадка. Горка, турник, песочница без песка. Может, и не было его здесь никогда, а может, растащили по ремонтному делу. И правильно сделали – все равно он тут никому не потребен кроме разве что кошек... Стоп. Хватит. Нашла, о чем думать. Глуши мотор. Вот так. Теперь выходи. А пальто? Оставь пальто, дура, – зачем тебе пальто в такую жару? А на потом? Какое «потом»? Не будет никакого «потом». Вспомни, что ты говорила Боре – сама говорила, никто за язык не тянул: кончится текст, кончимся и мы. А уж пальто и подавно. А машина? Что делать с машиной?.. Слушай, кончай, а? Нельзя позволять постороннему мусору... – и далее по тексту. Выходи.

Я обошла горку и перешагнула через проволоку поваленного забора. Отсюда начиналась тропа. Сколько раз Арье Йосеф проходил по этому маршруту? Десятки? Сотни? В то утро он так же перешагнул через колючку, направляясь к старику Когану за бумажками Эфи Липштейна. В чем, кстати, смысл этого поваленного забора? И отчего бы не починить его, если он действительно нужен? А если не нужен – так и вовсе убрать, чтоб не мешался, не царапал, не рвал штаны и ботинки? Глупости. Поваленный забор – важный символ. Он обозначает ровно половину свободы: своим можно, чужим нельзя. Почини его – и запрет будет для всех. Убери совсем – не будет ни для кого. Лучше уж каждый раз перешагивать, рискуя штанами...

Не отвлекайся. Какая же это тропа? Правильнее было бы назвать ее грунтовой – тут вполне можно проехать на джипе. Ровная, почти без камней... Не отвлекайся! Арье Йосеф не хотел быть Леонидом Йозефовичем. Почему? Ну, это ясно: он чувствовал себя заложником. Вернее, нет, не так: он *осознал* себя заложником. Чувствовать и осознать – разные вещи.

Взять хоть старика Когана. Чувствовал ли он себя заложником, пленником, абсолютно бесправным и беспомощным существом, с которым в любой момент могут сотворить буквально все, даже самое страшное? О, да. Чувствовал настолько, что осознание этой реальности привело бы его к немедленному помешательству, к утрате рассудка, к смерти. Отсюда – его стокгольмский синдром, сильный до безумия, до отказа от собственной личности и от родителей, до отождествления себя с самыми мерзкими из мучителей. Что тоже понятно и извинительно: сила действия защитных механизмов всегда пропорциональна тем угрозам, которым подвергается человек. Ситуации, в которые попадал старик Коган, были чрезвычайны – стоит ли удивляться чрезвычайной степени синдрома?

Но старик – крайний случай. Вот его сын, Карп. Его судьба тоже исковеркана, но далеко не столь ужасно. Конечно, заложничество отца ударило и по нему. Вернее, передалось ему. По сути, их держали в соседних помещениях одного и того же подвала. Да, Карп Коган так и не перешагнул порога пыточного застенка, но близость отцовских мучений не могла не повлиять и на него. То же следует сказать и о матери Карпа... и еще об очень и очень многих людях... да что там – практически обо всех. Ведь мы были привязаны там же, поблизости.

Наш стокгольмский синдром проявлялся куда слабее, чем у старика. Но и мы со всем пылом заложнической души отождествляли себя со своими подвалами и со своими карпами патрикеевичами дёжкиными. Многие из нас до сих пор еще плачут по русским березкам, на сучьях которых болтаются старые и новые петли. До сих пор

еще роняют ностальгические слюни в польские поля, тучные от пепла наших дедов. До сих пор тоскуют по площадям французских, немецких, испанских городов, где местные сукинсоны веками втоптывали нас в булыжную грязь, где взвизгивались кострами наши робкие синагоги.

Ощущал ли это Карп Коган? Думаю, да. Но осознавал ли? Скорее всего, нет – иначе не поразили бы его столь пронзительным откровением слова Арье Йосефа, брошенные мимоходом в случайном разговоре на ночном среднеазиатском аэродроме. Что не выражено в тексте, не описано, не переведено в слова, того не существует. Зато дай такой истине оформиться речью – и она уже не отпустит тебя. Вот уже почти год прошел, а Карп только и говорит что о заложниках. Любую тему туда сводит. Нелегко эти вещи даются... – но выздоравливать-то надо, никуда не денешься... Не все ж по подвалам мыкаться.

Трудно идти по жаре. Тропа сузилась; по обе ее стороны, вразнобой и в то же время вместе, как оперная массовка, встали оливковые деревья, по сезону пушистые и молодые. Вот уж кого не испугаешь зимним хамсином... Сейчас для них лучшее время: рыхлая почва еще держит влагу, люди не досаждают, а на песках, как всегда, запланирован внеплановый дождик. Еще два-три месяца блаженства – и накатит обжигающее лето, борьба за каждую каплю и безжалостные палки-стремянки сборщиков в перспективе.

Оливы вдруг расступились, и я вышла на широкую каменистую площадку. Судя по всему, именно здесь бесстрашные борцы «За урожай» вступили в мужественную схватку с оккупантами, фашистами и их злобным клеветом – боксером Рокси. Все вокруг было загажено пустыми пластиковыми бутылками, обрывками газет, листовками и окурками. Деревья по краям поляны смотрели отчужденно и испуганно; на их вывернутых ветвях тут и там пестрели красно-белозелено-черные тряпки.

В довершение ко всему кто-то из демонстрантов выразил свое отношение к оккупации, вывалив накопившуюся ненависть на обгоревшие остатки израильского флага. Накопилось, надо сказать, много, и теперь окаменевшая куча высилась прямо посреди площадки, как памятный обелиск борьбе «За урожай». Если не ошибаюсь, фамилия главного заурожайника – Шапиро. Можно побиться об заклад, что, приезжая в Европу с отчетами, он стыдится своей фамилии не меньше, чем старик Коган. То ли дело – Хусейни или, на худой конец, Сукинсон...

Арье Йосеф проходил здесь за день до демонстрации. Тогда здесь было еще чисто – ни тряпок, ни обелиска... Может быть, он присел покурить вон там, на камне, в тени? Удобная каменная глыба под старой оливой так и приглашает на перекур. Не в этом ли месте нашли потом его окурки? Камень напоминал по форме табурет. Я села, достала сигарету и отломилла фильтр. «Ноблесс» – тот еще горлодер... Интересно, что он курил в бытность Леонидом Йозефовичем? «Приму», не иначе. Я почему знаю: мой семидесятилетний сосед по заведению признает только «Приму» – родственники присылают откуда-то из Прибалтики.

Арье Йосеф не мог позволить себе такого. Сменить тамошнее имя и остаться на тамошнем куреве? Ну нет, он хотел отрезать и забыть все – весь подвал, до мельчайших его деталей. Отрезать и забыть.

Вот тебе и «Ноблесс» без фильтра – ближайший местный аналог «Примы». Я осторожно затянулась... да, похоже...

Вот я и смоделировала тот его перекур. Но как смоделировать отчаяние? Арье Йосеф – не Карп Коган. Умница, он осознал свое заложничество очень давно – это видно уже по разговору на училищной гауптвахте. «Экзистенциальная причина»... – в отличие от многих, он умел выразить себя в тексте – оттого и осознал. Но это осознание имело оборотную сторону: оно не позволяло его психике воспользоваться спасительным стокгольмским синдромом, как это делали отец и сын Коганы. Арье Йосеф не мог возлюбить Карпа Патрикеевича, даже если бы очень захотел: как возлюбить *осознанную* мерзость?

В то же время он не мог и выбраться из подвала. Он мог лишь терпеть. Терпеть и умереть, не потеряв лица, как это делали подобные ему на протяжении веков. Думаю, что его мучило только одно: он неосмотрительно оставил подвалу своего ребенка. Инстинкты чаще всего подводят именно умных и сильных людей. Характерно, что недалекий Карп Коган такого промаха не совершил... да и Когану-отцу собственный сын представлялся скорее ошибкой, нежеланной и чуждой случайностью.

А потом...

Сигарета обожгла мне пальцы. Я встала и двинулась по тропе – дальше, в сторону вади.

А потом подвал вдруг распахнулся. Настежь! Выходи, кто хочет! Известно, какой невероятной неожиданностью это стало для всех – даже для дёжиных и сукинсонов, а уж для заложников – и подавно. Как встретил это событие Арье Йосеф? Наверняка он был счастлив. Просто счастлив. Подумать только – выйти из гроба!.. Ольга сказала – «как на крыльях летал». Еще бы. Он ведь уже похоронил себя, жизнь кончилась, не начавшись... а тут – вот она, свобода! Главное – поскорее начать, поскорее вытравить из себя гадкий подвал – вытравить всё, без остатка – даже имя, даже «Приму», даже воспоминания!

Оливковая роща кончилась, и идти стало тяжелее. Тропа ныряла в овражки, карабкалась на холмики, перепрыгивала с камня на камень. Я быстро устала – с непривычки и от хамсина. На самом краю вади чьи-то заботливые руки устроили место для привала, и мы снова остановились передохнуть – мой воображаемый попутчик Арье Йосеф и я.

Дышалось трудно. Передо мной, как одурманенный морфием горячечный больной, едва шевелился растянувшийся во всю длину вади сухой умирающий воздух. В затылке нарастала тупая боль – верный признак обезвоживания. Надо же, какая дура... – размышляла, брать ли с собой пальто. Нет чтоб питья прихватить! Ястреб, паривший на уровне моих глаз, вдруг сложился и восклицательным знаком канул вниз, в зеленые кудри кустов. Жизнь продолжается – и смерть тоже. Одной мышкой меньше – одним птенцом больше.

Была ли в тот день вода у Арье Йосефа? Конечно – в отличие от меня, он точно знал, что такое прогулка в хамсин, и не вышел бы из дому без фляги. Но кроме фляги он взял с собой еще кое-что – пистолет. Зачем пистолет человеку, который идет сдаваться? Сдаваясь, люди бросают оружие на землю, а не засовывают за пояс. И

все-таки Арье Йосеф шел именно сдаваться – ведь для него вторичный возврат в Россию означал не что иное, как последнее и окончательное поражение.

Как это сказала Ольга? – «он привез свой подвал с собой». Это так, причем дьявольская ирония ситуации заключалась в том, что Арье Йосефа подвела как раз самая сильная его сторона – язык. Язык – умение провести точный анализ, выразить себя в речи, составить текст – устный ли, письменный – все равно. Как человек, как осознавший себя заложник, Леонид Йозефович был в конечном счете текстом. Но увы – *русским* текстом. Чтобы начать заново, он должен был не только стать Арье Йосефом, не только создать новый текст, но еще и сделать это на другом, новом для него языке.

Нельзя сказать, что Арье Йосеф не пытался. Судя по количеству словарей и учебников в его комнате, он из кожи лез вон, чтобы научиться. Месяц за месяцем, год за годом. Отчего же так вышло, что дьявол посмеялся именно над ним? Нет-нет, это неверный вопрос – в конце концов, я ищу тут вовсе не дьявола – какое мне дело до его лукавых мотивов? Правильнее спросить: зачем вообще Арье Йосеф пришел к Эфи Липштейну – тогда, в первый раз? Ведь по сути это уже представляло собой капитуляцию, признание неспособности сотворить новый текст. Признание того печального факта, что по-настоящему он пригоден к чему-либо только там – в подвале, из которого вырвался совсем недавно – с сердцем, полным радости и надежд.

Ольга? Да, наверное. Причиной того первого возвращения была дочь. После десятилетия безуспешных попыток Арье Йосеф был вынужден поставить крест на себе, зато дочкин текст имел все шансы зазвучать так, как надо. Она уверенно и увлеченно щебетала на иврите уже через полгода после приезда. Но девочка нуждалась в помощи – в доме, в образовании, в надежной поддержке – во всем том, чего нельзя было добиться, конкурируя с китайцами на ремонте чужих квартир. И тогда Арье Йосеф подписал капитуляцию и вернулся в подвал.

Представляю себе, как его тошнило все те годы, которые он проработал у Липштейна. Но эта последняя жертва была оправданной – он увез дочь туда, где звучал лишь чистый иврит. В ее новом классе по-русски не говорил никто. Она закончила эйяльскую школу, отслужила в армии, вышла замуж. А еще она родила ребенка – чудесную девочку Тали, рожденную на свободе и для свободы.

Она вырастет и станет... кем? Честно говоря, неизвестно. Она может быть умницей или душой, красавицей или уродиной, хамкой или праведницей. Но она точно никогда уже не будет урожденной заложницей, появившейся на свет в грязи и вони чужого подвала. В ней никогда уже не заговорит подлый страх, всосанный с молоком матери-пленницы. Хорошая или плохая – она вырастет свободной.

Свободной! Еще немного – и она услышит признания в любви на ее собственном свободном языке. Она проживет жизнь на своей собственной свободной земле, будет воевать за нее и рожать ее свободных детей, будет честить ее на чем свет стоит, уезжать из нее и снова возвращаться, потому что нет в мире ничего дороже свободы. Она ляжет в эту землю, когда придет срок – в свою землю. А если придется умереть за нее раньше времени – что ж, если не за что умирать, то незачем и жить.

Таков был новорожденный внучкин текст – ивритский текст, понятный Арье Йосефу лишь общим своим смыслом, но никак не отдельными словами. Чему он мог научить маленькую Тали – он, дед-урод, дед-заложник? Языку плена и рабства? Дать ей вдохнуть запах подвала, почувствовать вонь страха и унижения?

Ну уж нет. Кто-нибудь другой мог бы заморочить самому себе голову отговорками и объяснениями – но только не Арье Йосеф, с его склонностью к бескомпромиссной точности анализа. Он, еще в юности поставивший нелицеприятный диагноз себе и всему своему роду, не стал бы кривить душой и тридцать лет спустя. Тот, кто принес с собой подвал, должен был и унести его прочь – хотя бы для того, чтобы не мешать маленькой девочке Тали – новой жизни, новому тексту.

Вообще говоря, он мог сделать это существенно раньше. Ведь если единственным оправданием его последних лет была ответственность за дочь, то оправдание это потеряло смысл сразу после ольгиного замужества. Почему же он продержался еще почти три года? Простительная слабость? Видимо, да. Слишком уж хотелось увидеть первую улыбку внучки, ее первые шаги... а главное – услышать ее первые слова на так и не давшемся Арье Йосефу свободном языке свободной земли. Нет, он не намеревался капитулировать вторично. Предложение Эфи Липштейна вернуться стало для Арье Йосефа своего рода повесткой, напоминанием из подвала...

Боль в затылке усилилась, во рту совсем пересохло. Сквозь марево хамсина едва можно было разглядеть дома Эйяля на противоположном краю вадии. Отсюда они казались монолитным массивом, напоминая стену средневекового города; посередине, как донжон сюзерена, возвышалась водонапорная башня. Справа, в сторонке, белело одинокое пятно – дом собачницы Шломин, местной юрوديной. Туда-то мне и надо. Дойти бы только... Цепляясь за ветки кустов, я начала спускаться.

Если наверху еще можно было уловить разгоряченной щекой некое подобие ветерка, то в глубине вадии воздух не двигался вовсе. Пыльная взвесь забивала легкие, вокруг вздымались неровные стены исполинского русла с проплешинами ветхих скал и колючим кустарником. Все здесь казалось каким-то затаившимся, испуганным – и камни, и растения, и даже узкие ящерицы, заворуженно провожавшие меня продолговатыми блестящими глазами. Неудивительно – это место казалось чреватое самыми неожиданными и страшными переменами – потопом, обвалом, землетрясением. Оно дышало катастрофой и не скрывало этого. Над головой на грязно-серой войлочной попоне неба висел давешний ястреб, словно видео-око бдительного хозяина.

Я запрокинула гудящую голову, чтобы показать ему свое лицо. На, смотри! Ты можешь в два счета утопить меня, задушить, отравить, высушить насмерть – вместе со всеми, гуртом или точечно – быстрым нацеленным клевком, как ту малую мышь, за которой ты посылал свой хищный клюв четверть часа тому назад. Но я не мышь, слышишь?! Я корректор. У меня свой мир, он называется текст, и я творю его так же, как ты творишь свой. Я не мышь!

Ястреб качнул крыльями и скользнул дальше, на юг. Тропа уже карабкалась вверх. Пот заливал глаза; каким-то чудом я успела

заметить ответвление вправо и свернула туда, к дому Шломин, в направлении собачьего лая, который становился слышнее и слышнее с каждым десятком пройденных метров.

До задней калитки собачьего рая я добралась, уже мало что соображая, на автопилоте. Главный вход – тот, что со стороны улицы, наверняка выглядел куда монументальней и был снабжен столь необходимыми деталями, как замок и звонок. Здесь же не наблюдалось ни того, ни другого – ничего, кроме хлипкой щеколды. За забором загодя расслышали мое приближение и подготовили встречу по всем правилам собачьего протокола. Никогда не видела столько собак вместе – десятков пять или шесть. Все они одновременно лаяли, тявкали, гавкали и рычали, создавая оглушительную звуковую завесу, по мощи не уступающую хамсину, а из глубины двора продолжало поступать все новое и новое подкрепление.

Заткнув уши, я ждала появления Шломин – должна же она отреагировать на эту ненормальную какофонию! Но, видимо, здесь существовали иные понятия о норме. Время шло, но никто не выходил. Неужели хозяйки нет дома? Я беспомощно взидала из-за калитки на беснующуюся свору. Может, с ними нужно поговорить? Поискав, к кому бы тут обратиться, я выбрала голубоглазого пса-инвалида с ампутированной передней лапой. По идее, подобные увечья должны способствовать сердобольному отношению к страждущим и гонимым. Хотя в литературе описан и прямо противоположный пример в лице капитана Сильвера.

– Привет, земляк! – изо всех сил крикнула я. – Привет! Земляк!

Собаки постепенно перестали лаять: их явно интересовало, что я могу сказать в свое оправдание. Польщенный особым вниманием правонарушительницы, капитан Сильвер наострил уши.

– Не знаю, почему, – льстиво проговорила я, – но мне кажется, что ты сможешь понять. Оттого, что ты с севера, что ли?

Пес склонил голову набок и зарычал, подрагивая верхней губой. С севера, не с севера – моих аргументов явно не хватало. Я в отчаянии ухватилась за прутья калитки.

– Мне нужна Шломин! Шломин! Позовите Шломин!

Капитан Сильвер с неожиданной для инвалида ловкостью подскочил и щелкнул зубами у самого моего носа. Свора вновь сорвалась в яростный лай. Имя хозяйки определенно не являлось здесь решающим козырем. Тогда чье? Подчиняясь внезапному наитию, я потрясла калитку и завопила:

– Жаклин! Жаклин! Где Жаклин?! Хочу Жаклин!!!

Собаки вдруг разом смолкли и отступили. Вот он, волшебный пароль!

– Жаклин! – продолжала кричать я. – Жаклин!

Но меня уже услышали. Из-за угла дома, заливаясь тоненьким лаем, пулей вынеслась скандальная болонка. А за нею, как океанский лайнер за портовым катерком, чинно следовала собачница Шломин собственной персоной.

– Боже, деточка, – басом изрекла она, подойдя к калитке. – Да на вас лица нет. Вы что – заблудились? Из Гинот – через вади? Да еще и без воды! В такую погоду?! Боже... Пойдемте, я вас напою.

Звякнула щеколда, и я ступила внутрь, стараясь дышать ртом из-за острого запаха псины. Собачья армия, тут же потеряв ко мне

всякий интерес, разбежалась по двору. Лишь голубые глаза коварного капитана Сильвера продолжали отслеживать каждое мое движение.

– Смотрите под ноги, деточка, – не оглядываясь, предупредила Шломин. – Вообще-то они делают свои дела у забора, но есть несколько новичков... Самоутверждаются, так сказать.

Мне стало смешно – вспомнился обелиск заурожайников. Дом собачницы стоял на невысоком фундаменте. По периметру цоколя шли редкие подвальные отдушины, наглухо закупоренные мутными стеклоблоками. Дверь в прихожую и гостиную была распахнута настежь; четвероногие друзья свободно разгуливали повсюду. Человеческое жилье в этом смысле представляло собой прямое продолжение собачьего двора.

– Садитесь, деточка, – хозяйка кивнула на диван. – Я сейчас налью вам воды.

Я села, гадая, можно ли вообще привыкнуть к столь сильной собачьей вони, – она подавляла здесь все прочие запахи, как асфальтовый каток – зазевавшихся букашек. Неудивительно, что все отсюда сбежали... Вернулась Шломин с двумя запотевшими стаканами; один сунула мне, второй поставила на столик.

– Выпейте оба, дорогая моя. Не торопясь, маленькими глоточками, – сказала она, усаживаясь в кресло.

Жаклин немедленно улеглась на коленях у хозяйки – видно было, что болонка рассматривает это место одновременно как будуар, пьедестал и командный пункт. Лишь с первыми глотками я поняла, насколько хотела пить. Даже дышать стало легче – благотворная вода примиряла со всем, даже с вонью. Шломин, милостиво кивая, наблюдала за моим возрождением.

– А я знаю, кто вы, – вдруг объявила она. – Видела вас с Борисом Шохатом. Вы его подруга. Так?

– Так, – согласилась я. – Меня зовут...

– Лина! – торжествующе воскликнула Шломин и заговорщицки прищурилась. – Как видите, мне и это известно... Не удивляйтесь, деточка: этот Бенда... он все про всех знает. Такой сплетник – Боже упаси! И давно вы с Борисом знакомы?

Глаза хозяйки искрились от любопытства. Видимо, отшельническая жизнь приучила ее дорого ценить каждую возможность сунуть нос в чужие дела. Прежде чем ответить, я с наслаждением прикончила второй стакан.

– Недавно. Мы познакомились на почве поисков Арье Йосефа. Вы ведь знали такого?

– А как же, – закивала она. – Но почему вы говорите об Арье в прошедшем времени? Что, уже нашли тело?

– Пока нет, – я вздохнула и поставила стакан на столик. – Вы не могли бы рассказать о нем хоть немного? Вдруг это поможет в наших поисках...

Шломин задумчиво почесала за ухом свою фаворитку. Болонка заурчала и закатила глаза.

– Рассказать?.. – собачница пожала плечами. – Честно говоря, и рассказывать-то особо нечего. Он ведь двух слов не мог связать на иврите. Как, собственно, и на английском. А по-русски говорить вообще не желал.

– А вы понимаете по-русски? – удивилась я.

– Что вы, деточка, откуда? – Шломин округлила глаза. – Но я была бы не прочь научиться...

– Как же вы общались?

Хозяйка рассмеялась.

– А никак! Непроницаемый языковой барьер. Потому-то я и говорю, что рассказывать нечего... – она наклонилась вперед и прошептала, словно по секрету от болонки. – Мой сын Ави вбил себе в голову, что между мной и Арье Йосефом было что-то... ну, вы понимаете... Полнейшая чушь! Полнейшая! Хотя мужчина он очень видный, вполне пригодный к... – ну, вы понимаете... Только как это возможно при такой пропасти в общении? Любой флирт, деточка, начинается с разговора, пусть даже совсем пустякового... – ну, вы понимаете. А тут – ноль, ничего, полная немота!

Шломин с сожалением цокнула языком.

– Зачем же он тогда приходил? – спросила я.

Она снова пожала плечами.

– По-моему, пообщаться с собаками. Собаки его понимали без слов. Очень любили... – Шломин вздохнула. – Ну, а еще он помогал. По хозяйству – это починить, тут прибить, там подкрасить. Мастер на все руки. И всё бесплатно. Я как-то пробовала сунуть деньги – не взял, обиделся. Больше не пыталась. Все мне тут наладил – кормушки, сарайчики, электричество... протечки все устранил. И ведь главное – просить ни о чем не надо – всё сам видит. Я ему и ключ от подвала дала – там мужнины инструменты остались. Сам придет, сам достанет, сам сделает... и уйдет, даже не покажет. Такой удивительный человек... так жалко его...

Лицо у собачницы вдруг сморщилось, и она заплакала. Пора было приступить к главному.

– Извините, Шломин, – я старалась говорить как можно мягче, чтобы не напугать ее раньше времени. – Возможно, это просьба покажется вам странной, и тем не менее... Нельзя ли заглянуть в ваш подвал?

Она подняла на меня недоумевающие заплаканные глаза.

– В подвал? Зачем вам?

– Понимаете, – терпеливо сказала я. – На этом этапе поисков важна каждая деталь, даже самая незначительная. А вдруг он оставил какой-нибудь намек именно в вашем подвале?

«Намек... ну да, – пронеслось в моей голове. – Ничего себе намек...»

– Ну, не знаю... – Шломин механическими движениями гладила свою болонку. – Вообще-то подвал заперт, а ключ у Арье. Так-то туда уже годами никто заходит...

– А другой ключ, Шломин? – ласково подсказала я. – У вас ведь есть дубликат, правда? Где-нибудь на кухне, в выдвижном ящичке... или наверху в комодке.

Хозяйка наклонила голову, словно вслушиваясь в едва различимый голос своей памяти.

– На кухне. Должен быть на кухне.

Она поднялась, не забыв при этом принести потревоженной Жаклин свои глубочайшие извинения, которые, впрочем, были возмущенно отвергнуты болонкой. Втроем мы прошли на кухню, где на

прохладном мраморе дремали несколько мелких шавок, а уже знакомый мне ризеншнауцер гипнотизировал холодильник.

– Наверное, здесь...

Шломин выдвинула ящик и, немного в нем покопавшись, достала связку ключей.

– Вот... – она протянула мне связку. – Один из этих. Только не спрашивайте, какой – не знаю. Деточка, вы уверены, что вам это надо?

Я молча взяла связку. Уверена ли я... – хороший вопрос! Уверена ли я, что хочу закончить текст – сейчас, когда впервые в жизни вплотную подошла к его *полному* завершению? Мое спокойствие внезапно исчезло – испарилось, улетело, как сорванная ветром занавеска. На трясущихся ногах я вышла во двор. Не знаю, чего я боялась больше в тот момент – своей правоты или своей ошибки? Откуда, в конце концов, такая уверенность, что Арье Йосеф окажется в подвале? – Из того лишь, что это место подходит лучше остальных?

Да, из-за этого. Как сказала Шломин, в подвал уже годами никто заходит. О странной дружбе Арье Йосефа с собачницей не известно никому – факт, что ни полиция, ни Вагнер не приходили сюда с вопросами. Дверь заперта, отдушины наглухо заделаны. Снаружи невозможно услышать одинокий выстрел, а из дома... – всегда можно дожидаться, пока хозяйка уедет на прогулку. А потом... потом запах псины надежно прикроет любую вонь – даже если она просочится наружу. Если Арье Йосеф хотел спрятать свой труп – а он непременно хотел этого, чтобы не причинять дочери лишней боли – то трудно было найти лучшее место.

Но это еще не все. Помимо этих чисто практических причин, существовала и другая, символическая. Сам Арье, наверное, назвал бы ее экзистенциальной. Он, привезший сюда свой подвал, должен был и закончить в подвале. Просто чтобы не загрязнять воздух свободы миазмами мертвого заложника. В подвале родившийся – в подвал и вернется...

Когда, преодолев четыре ступеньки вниз, я царапнула первым попавшимся ключом по замку обитой железом двери, во дворе воцарилась такая тишина, что я не выдержала и оглянулась.

– Что, не подходит? – спросила сверху Шломин.

– Нет... не это... – я показала дрожащей рукой. – Они... смотрят...

И в самом деле, собаки, наострив уши, внимательно взирали на меня с разных концов двора.

– Они всегда смотрят, – ворчливо сказала Шломин. – Попробуй другой. Вон тот, желтый.

Желтый подошел. Я щелкнула замком. Кто-то из собак заскулил, остальные подхватили тоскливой пронизывающей нотой. Я сделала последний оборот, потянула дверь на себя – и тут же в лицо мне шибанула сильная, не оставляющая никаких сомнений в своем происхождении вонь – вонь смерти и разложения. Сзади заголосила, захохала Шломин. Вот и все. Нет, надо сделать еще два шага. Надо увидеть. Зажав нос ладонью, я шагнула внутрь. Сначала мне бросился в глаза лежавший на полу пистолет, а уже пото

УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ

Ури Цви Тринберг

ЭХО ДОЛИН

ПОТЕРЯННАЯ ДУДОЧКА

1

В том краю, где я рос, белоцветно-лилова сирень.
Там блестит ручеёк, – мы с ним дружим, и мы там – одни.
Сколько хочешь, сидишь, окуная ступни
до песочка на дне, – хоть весь день!

Он журчит, будто плачет, струясь в направленьи реки.
В ту же сторону – мелкие рыбки, одна за другой.
Я поймал бы любую! Но юркие эти мальки
так проворны в воде, что их даже не тронуть рукой.

Как мне нравилось там! Я любил тот насиженный пост
под сиренью – двухцветной во весь её рост!
В щуплом теле мальчика колотилось вечером сердце,
точно птичье сердечко в одном из невидимых гнёзд
под небом великого Бога, под искрами звёзд!

2

Открыл свою кузню кузнечик... И вот слышу я
стрекочущий цокот в траве – тайнике бытия.
А в листве двух деревьев, чьи дупла медовы на вид,
птичье сборище, вслушавшись, не гомонит, –
тканью сумерек мир этот Божий укрывает.

В аромате цветов – запах грусти сквозной,
вкус печали – в кузнечиковой стрекотне,
ибо страх пробирался к душе от сетчатки глазной
лишь при мысли одной о хозяине поля:
ох, не поздоровится мне!
С окровавленным лбом поплетусь признаваться родне,
что кузнечик – чужой, да и поле, но тянет меня к стрекотне!

Вся роса поутру вроде слёз на траве полевой:
у отца моего ни полей, ни кузнечика! Мокрая соль
ручейками из глаз, а сердце – под горло, и крик – до небес!
И купили мне дудку, – совсем не для до-си-ля-соль,
а чтоб высвистел, выдул, избыл страх и боль.

К этой дудочке я прикипел всей душой!
Засыпал-просыпался, держа её рядом с собой.
Разлучаясь лишь в пятницу,
от зажиганья свечей
ждал исхода субботы, чтоб кинуться к ней.

Цвёл вдоль жести её ненаглядный узор —
бирюзов, золотист и оранжево-ал.
Я вдыхал её запах, с ней вёл разговор,
как жар-птицу, в ладонях держал.

Отпустил меня страх. А свобода, побыв не у дел,
за калитку влекла. Мне кузнечик вновь застрекотал!
Но теперь я на дудочке, как бы в ответ, свиристал –
так, что каждый жучок-паучок замирал.

И приблизился сзади ко мне *тот, кто полем владел*, –
тумаком по макушке огрел,
мазанул по лицу пятернёй, –
и лишился я дудочки той.

Жизнь моя идёт по восходящей,
ибо слышит шофары Машиаха...
Всё выше и дальше от прежней себя,
жизнь моя – не сама по себе...
Поле вёл её Бог и меж яблонь в цвету,
не позволив и там отдохнуть...
Но обрёл ударяться о глыбы камней, –
проверял, не опустит ли рук...

А она, ушибившись не раз,
стала, вроде фруктовых садов,
разрастаться и плодоносить...
И дивился ей сам сатана:
– Не устала ли ты выживать?

Жизнь моя – на подъёме (мой дом – на горе,
где еда и питьё, сень олив на жаре),
и золотом с кровью глаголет перо о зле, но и о добре.

Полыхает заря впереди.
А потёмки мои – позади.
Пересохший Кидрон на пути,
месяц да пара свеч.

*Подымаюсь... И по пятам
сразу с двух сторон – тут и там –
родниковых колодцев речь.*

Так и есть: там – я умер, а тут – живу, –
песнь – на воле, высь – наяву.

МОНОЛОГИ КУЗНЕЦА И ЕГО СЫНОВЕЙ

1 ✓

«Отец и дед завещали мне, – говорит кузнец, –
ежедневных обеих зорь золото и багрец.
Но не мои – ни облако, ни лучистой звезды венец.
В ударах молота – жар и боль, ритм сердца, гул под конец.

В детстве я редко сидел у порога возле родных.
Не перебирал я фантики, – не собирал я их.
Не мастерил себе дудочек из тростников речных.
Веток прямых не искал для стрел, луков не гнул тугих.

Любил я железо – ковку его, россыпь внезапных искр,
заодно и закат, – Бог-кузнец, тяжело дыша,
расплавлял, как металл, своё солнце, клонил к земле,
разливал небесный огонь из огненного ковша.

Я любил приручённое мамой пламя в печи,
огонёк трубочного табака, когда закуривал дед,
озарявший снизу лицо отца раскалённый свет,
раздувание мехов, подкову цвета зари.

А наковальня бездушна, как плаха, как вражья рать:
ей безразличны огонь и молот... Но это в силах понять
взрослый, а не ребёнок», – успел подумать кузнец – быстрой,
чем отсекли ему голову. Напоследок видней.

2

«Что привело на покатую крышу столько ворон
ковылять, хлопать крыльями и выкрикивать кар-р,
как будто вороний праздник собрал их со всех сторон,
раскаляемый, словно мехами: его разгар –
на крыше жилья кузнеца, и она для вороных пар –
их остров среди снежных морей, что снегом не занесён.

Здесь место, где вправе плясать вороньё, выпуская пар, –
так я понял тогда ту данность, которой не скажешь: вон!..
Но то, что туда же, на крышу, слетелись и белые голуби
взмывать-ворковать, предвкушая то ли весну,
то ли – под кровлей – амбар и' подступ к зерну,
но поглотил их дым, как облака – луну, –
вот чего до сих пор не удаётся уразуметь мне», –
думал сын кузнеца-еврея
в горящей с ним купине.

3

Меч, сработанный кузнецом, был в руках убийцы его.
Горн остыл... Но сын – унаследовал огонёк.
Дует что есть силы – торопится пламя разжечь,
чтоб добела раскалить тёмный металл,
а когда он блеснёт, как рассветный луч,
произнести, сжав рукоять:

«Вот мой меч, и латы на мне. Клянусь отмщенье воздать
за отца моего, за деда и прадеда,
как воздавали праотцы полчищам филистимлян.
Затем помолюсь о жене моей, – пусть будет Всевышним дан
мальчик, – чтоб с Божьей помощью он до меча дорос», –
сказал сын кузнеца, чья клятва
взросла из крови и слёз.

4 ✓

Пусть и сын мой научится делать подковы для башмаков,
чтобы стёрлись под ними камни твердынь врагов.

Пусть железный, обоюдоострый меч сотворит и он,
чтобы тень меча пролегла сквозь пустыни – на Вавилон,
рассекая, как масло, дым и густой туман,
возвращая страну, завещанную испокон.

Благословенны стопы твои на дальнем пути,
мой сын,
вдоль равнин, тем более, близ вершин,
где тропинки вьются, как ремешки тфилин!..

Вот – дословно – мечта твоего отца,
звуки молота, эхо долин.

Перевела с иврита Ася Векслер

Наталья Неймарк

ДВОРЯНСКОЕ ТНЕЗДО

По четвергам к Дому приезжает машина из мошава. Йоси лихо тормозит у самого тротуара, где уже волнуется очередь. Привычные пререкания немедленно замолкают, и вся очередь окончательно теряет и без того нестройный свой ряд: народ высыпает на дорогу, теснится к заветной двери грузовичка. И всего-то их здесь человек десять, не больше. Пара стариков, остальные – старушки. И спешить им совершенно некуда – все, отспешили уже свое! Казалось бы, могут и постоять солидно и спокойно, вежливо пропуская друг друга вперед, но нет, эти будут переругиваться и толкаться еще минут пять, пока Йоси не наведет порядок. Пока не крикнет так, что старушки показательно испугаются и дружно вернутся на тротуар. Тут обязательно из виллы напротив прискачет смуглая расхлюстанная девчонка и поверх старушечьих голов крикнет Йоси что-то свое тарабарское. Не обращая внимания на протесты старичков, передаст Йоси деньги и получит из его рук – так же поверх голов – пакет с пластиковыми баночками: творог, сметана, масло. Девчонка убежит вприпрыжку домой, а старики начинают покупать долгожданный творожок, сметану да яйца. Обязательно каждый должен спросить: «Кама?»¹. Как будто не помнят, что баночка творога – десять шекелей, сметана и ряженка – еще пятнадцать шекелей, десяток яиц – двенадцать. Йоси терпеливо ответит: «диесать, диесать вз од пиять – двадсат пиять». Он уже почти понимает стариков. А что делать? Без русского сейчас – какой же бизнес?!

Через пять минут старики закончат покупки, могут, кажется, и по квартиркам своим одинаковым разойтись. Чего, спрашивается, было так спешить и волноваться? Но нет, старики не спешат, расселись по скамейкам, как куры на насесте. Ждут. И вот оно, дождались! Из Дома, солидно опираясь на трость, выходит профессор. Седой, благородного вида старик, всегда аккуратно застегнутый на все пуговицы голубой рубашки с накрахмаленным воротничком, с неизменной стрелкой на бежевых элегантных брюках, на ногах не сандалии-шлепки, не разбитые тапки, а почти щегольские кожаные мокасины, точно под цвет ремня на брюках, на голове неизменная кепочка. Щеголь этот, мило улыбаясь, не спеша подходит к Йоси, не торгуясь, не спрашивая цену, не выбирая-проверяя, получает от продавца свои два пакета. Один побольше, другой поменьше. Отдает деньги, всегда без сдачи, с легким поклоном говорит продавцу свое пижонское «сенькью» и опять, не спеша, слегка опираясь на трость, дефилирует мимо зрителей назад. Еще один элегантный поклон в сторону сидящих старух, старикам отдельная учтивая улыбка, и все – был таков! Представление окончено. Можно и по домам. Но еще минут пять будет обязательное обсуждение:

– Видела? Видела? И себе и ей взял!

¹ Кама? (иврит) – сколько?

– А как же! Он же их обоих должен ублажить!
– И у кого он, интересно, сегодня будет завтракать?
– А он сначала у себя дома, а потом у нее ест.
– Да нет, они же вместе едят всегда.
– Ну да, Ольга-то вечно с тарелочками к ним бегают!
– Ага! Его-то мадам вообще не готовит!
– Ну, не скажи, иной раз от них такие запахи на весь этаж, что хоть дверь вообще не открывай!

– Ох-хо-хо! Чего не бывает! Тут один маешься, как перст, а его сразу две ублажают! – это подал голос один из стариков.

– А тебе и завидно! – отзывается второй старик.

– А чего завидовать? Они ж обе с него шкуру, небось, снимают! Обе, небось, с утра до ночи пилят!

– Ты это не скажи, он их обоих железно держит! Они при нем и пикнуть боятся!

– Ну, ты скажешь! Тут на днях такой крик у него стоял, думал, сейчас кто-то точно из окна выбросится. Я случайно как раз под их окнами сидел. А потом ничего, вечером, как ни в чем не бывало, обоих выгуливал.

– Да ладно-то сейчас, а как он с ними в молодости управлялся?

Старухи хихикают и постепенно расходятся по своим убогим кухонькам. Заливать творог свежей сметаной да запивать ряженкой. Еще вчера прикупленные питы – вот и весь их завтрак по четвергам. Может, сырники потом кто нажарит, да вечером угощать всех будет. Обязательно одна из старушек выпендрится и булочек напечет. Вечером, когда жара спадет, и они опять выползут из своих нор, разговор будет снова вокруг да около чудных соседей кружиться.

Да сколько ни судачь, все равно до правды не докопаться! Ничего толком про них неизвестно. Сколько ни пытаются жильцы Дома разузнать да понять, все непонятно и очень уж странно. Как-то прямо не по-людски!

Ну, посудите сами:

Живут себе старик со старухой, только что не у синего моря, а у желтой пустыни. Старик – Михаил Маркович, старуха – Вероника Андреевна, Ника. Приехали из Ташкента, как и все, в начале девяностых. Дети в Америке, а эти живут-поживают в Доме. Получили социальное жилье среди первых. Квартирка хоть и маленькая, но все же двухкомнатная. Таких в Доме почти нет. Да и зачем? Постояльцы-то, в основном, одинокие старики. За жилье копейки платят. Есть дежурный администратор, который их с внешним миром связывает, да сестра дежурная, да технички-уборщицы. Живут себе, не тужат! Даром что всю жизнь на другую страну отпахали, здесь получают пособие просто так, за старость, и крышу над головой, и медицину бесплатную. Грех, грех жаловаться! Особенно пока они еще на своих ногах. А потом, потом тоже не на улицу – для тех, кто уже не может сам справляться, для тех есть другой Дом, дом престарелых. Дом отцов называется. Хотя вернее-то было бы домом матерей называть...

Итак, жили-были старик со старухой у самой желтой пустыни. Нормально! – скажете вы. Ан нет!! Вы погодите-то говорить, вы дальше послушайте! Вот, пусть даже и не я вам расскажу, пусть вам хоть самая что ни на есть среднестатистическая старушка из Дома расскажет, Мирка. Она всегда к вашим услугам здесь же на

насесте своем, как солнце чуть поутихнет, сидит. Только и ждет случайных слушателей.

— Я-то чуть раньше них заселилась. Мне, дай ей Бог здоровья, Шурка, племянница моя, помогла сразу, как я приехала, в этот Дом устроиться. Тогда уже в центры абсорбции не селили, а деньги на съем давали. Это другой вопрос, что Шурка-то о себе, а не о тетке своей родной пеклась. А то пока мне у нее жить пришлось бы. А у Шурки хоромы, дом целый! Она еще с сестрой моей покойной в семидесятые приехала, а мой не хотел никак, даже переписываться с ними не давал. Ну, а как он умер, я сестре-то и написала. Тут и перестройка как раз, все поехали, да и я собралась. Юдочка, сестра моя, умерла уже, а Шурка, ничего не скажу, Шурка мне сразу ответила, звать стала. Как уж я приехала, как дети мои меня выпроваживали, это отдельная песня...

Тут надо обязательно Мирку прервать, напомнить ей о профессоре, а то она еще битый час про себя рассказывать будет, а до того, что нам интересно, так и не доберется! Так что надо ее в этом месте остановить и спросить аккуратненько:

— Так что, ты первая в Дом въехала? Небось, лучшую квартиру себе выбрала? Дом-то пустой, наверное, стоял?

— Да нет, в Доме тогда студенты жили. А как алия пошла, студентов-то под белы ручки и куда-то там переселили, а Дом ремонтировать начали. Мы когда с Шуркой пришли, еще вовсю здесь рабочие бегали. Краской пахло — хоть противогаз надевай. Но Шурка моя так спешила, так спешила от тетки родной избавиться, что ни запаха, ни ремонта замечать не хотела. Сразу к Фаньке побежала. Они же подруги! А Фанька как раз принимать хозяйство приехала. Ее как раз начальницей тогда назначили. Она и говорит Шурке: «Конечно, конечно, перевозки свою тетю. У меня уже есть одна пара, которая должна в конце недели приехать. Их квартиру как раз заканчивают. А ты до конца недели все документы и оформишь.» Шурка и побежала все оформлять...

Нет, нет, опять Мирку понесло. Неужели придется ее прервать и самостоятельно ввести вас в суть дела? Мирка, конечно, обидится, она считает себя первоисточником и никому не согласится уступить право «первой ночи». Она же, в самом деле, первая познакомилась с ними, с чудиками этими. Так что давайте наберемся терпения и все-таки дослушаем миркину историю до конца.

Миркина племянница бегала и оформляла документы, а Мирка ходила в Дом квартирку себе присматривать. Очень ей понравилась та двухкомнатная, которую уже заканчивали ремонтировать. Все вокруг Фаньки крутилась, хотела у нее именно эти хоромы выпросить. Фанька мило улыбалась, но ничего не обещала. Потом предложила выбрать Мирке этаж, место в середине или конце коридора, но все об однокомнатной квартирке говорила. Мирка ей уж и про мебель, и про вероятный приезд детей намекала, но Фаина, пересыпая речь какими-то непонятными «барур» да «беседер», делала вид, что не понимает намеков. А про будущих жильцов этой двухкомнатки говорила, что это, мол, *микре мяхад*, в смысле — особый случай. Так и получилось, дали Мире угловую, светлую однокомнатку, в которой она и сейчас проживает. Вроде как ничего себе квартира, даже чуть больше, чем остальные, но Мирке уж очень обидно

было, что вот она и первая на очереди, и вроде как уже и не совсем с улицы, а все равно кто-то обошел на повороте. Очень она хотела на этот «особый случай» посмотреть.

Где-то через пару месяцев после торжественного миркиного переселения, когда она себя уже ощущала если не хозяйкой Дома, то уж старожилом точно, они появились. Сначала несколько раз прибежала маленькая юркая женщина. Она сразу бежала к Фаньке, сыпала на нее быстрые свои вопросы, что-то записывала, что-то горячо объясняла. Затем вместе они поднимались на второй этаж проверять квартиру. Женщина все норовила проверить и лифт, и лестницу, и как окна открываются, все про какой-то *мазган*² спрашивала. Мирка уже решила, что все эти разговоры про семейную пару – для отвода глаз, а на самом деле эта шустрая тетка для себя все готовит. Она несколько раз пыталась приветливо заговорить с женщиной. Та даже остановилась разок, но не дала Мирке задать ни одного даже самого безобидного вопросика, а сама начала выяснять: жарко ли в комнатах, шумно ли, своя ли мебель или здесь выдали. Когда узнала, что у Мирки все свое, ну, не совсем, конечно, свое, а от племянницы перепало, тут она совсем потеряла к Мирке интерес и опять за Фаиной побежала. Потом в квартиру стали свозить вещи. Все эта женщина суежилась, но и Фаина тоже участвовала, не то чтобы очень активно, но уж побольше, чем с Миркой. Уже Мирка знала, что зовут женщину Ольгой, что сама она живет в центре абсорбции, недалеко отсюда, на Абарбанель, что она в стране уже давно, почти полгода. А иврит она еще дома в Ташкенте знала, так что не было у нее никаких проблем даже с рабочими говорить. То приведет кого-то стену подмазать, то сама лезет пробки на щитке проверять. Удалось Мирке узнать все-таки, для кого это тут такие цирлих-манирлих разводятся. Оказывается, ждали со дня на день приезда какого-то важного профессора с женой. Вроде как они были все из себя герои-отказники, им потому и положено было особое отношение. Самого профессора уже и место в университете ждало, но он еще не решил, принимать предложение сразу, или оглядеться сначала. Может еще и в Хайфу решит переехать. Там самый главный университет в стране. Но пока Ольга своему профессору должна все подготовить, потому что он не простой *олим-хадашим*³, а сионист, ученый с мировым именем и *а-гройсер*⁴ герой. На прямой вопрос Мирки, кем сама Ольга этому профессору приходится, Ольга ответила с плохо скрываемой гордостью: другом и соратником.

– Ага, ага, я так и поняла, что не родственница, а секретарша.

Ольга посмотрела на Мирку внимательно первый раз за все недолгое их общение, но ничего не ответила. Тут как раз привезли в профессорскую квартиру ящики и коробки, и Ольга побежала на встречу улыбающимся неспешным грузчикам.

Постепенно Дом заполняли новые жильцы. В основном это были такие же одинокие пожилые женщины, как и Мирка. Мирка встречала каждую как полноправная хозяйка. Некоторые даже принимали ее за непосредственную заместительницу Фаины. Новые Миркины

² Мазган (*иврит*) – кондиционер.

³ Олим-хадашим – искаженное от оле хадаш (*иврит*) – новый репатриант.

⁴ А-гройсер (*идиш*) – большой, великий.

подруги жались к ней, ловили каждое ее слово, и Мирка была почти счастлива. С Шуркой она к тому времени почти полностью разругалась. Сидя вечерами на скамеечке перед Домом или в маленьком тенистом садике за ним, Мирка, поддерживаемая сочувственными репликами товарок, не уставала пересказывать перипетии своих баталей с бессовестной племянницей.

– Ты представляешь, она меня совсем за дуру считает! Обворовать меня хочет и думает, что я не пойму! Скинула мне старый телевизор, холодильник, а я ей свои льготы за это отдай! Что я, дурнее паровоза? Я так и сказала: – государство мне льготы дало, а не тебе. Ты свое еще двадцать лет назад получила! Может, я тоже хочу новый «грюндик» да холодильник новый, а не твою рухлядь! Ты мне в карман не заглядывай, не надо мои деньги экономить! Захочу, куплю «тадиран», не захочу – не куплю! Не твое это дело!

– Да, да, Мирочка, ты совершенно права! – вторили новенькие. – Нет сейчас денег, потом накопишь, и купишь, что захочешь! Почему это ты должна старье всякое за ней донашивать?

– Я ей говорю: «а сломается твоя рухлядь, я что, должна буду за полную стоимость покупать?»». Так она вся покраснела, за сердце начала хвататься. Да меня этими *фойлэ штыками*⁵ не проймешь. Хоть бы памяти своей матери, моей покойной сестры, постеснялась!

Но тут прибежала Соня:

– Приехали! Профессор твой с профессоршей! И эта, секретутка его с ними. Уже разгружаются.

Все дружно ахнули и побежали к воротам.

В том, что именно этот статный седовласый мужчина был тем самым профессором, сомневаться не приходилось. По тому, как лихорадочно горели глаза сразу помолодевшей Ольги, нельзя было ошибиться. А тут и Фанька выскочила из Дома и только что ножкой не шаркала, пританцовывая перед ним.

– *Брухим а-баум!* Добро пожаловать! Как вы долетели? Мы вас так ждали, так ждали! Для нас это такой *кавод*⁶, такой *кавод*! – тараторила она.

Профессор устало, но с большим достоинством улыбался в ответ. Ольга подхватила сразу два чемодана, да еще попыталась подцепить баульчик, но профессор благосклонно остановил ее и баульчик поднял сам. Но Фанька почти вырвала из профессорских рук эту непосильную ношу. Все направились к Дому, но стоявшая чуть в стороне статная женщина произнесла неожиданно высоким голосом:

– Михаил! – прозвучало это как команда «к ноге». Профессор, смущенно охнув, немедленно оставил Ольгу с Фаиной и поспешил на полусогнутых ногах к даме.

– Никуля! Радость моя! Прости, дорогая!

Дама, не скрывая раздражения, позволила взять себя под локоток, и так вся эта странная группка: профессор при Никуле, Фаина при бауле, Ольга при чемоданах – прошествовала в Дом.

Профессорша, возвышаясь над сопровождающими ее лицами, проследовала мимо Мирки, Сони и прочих незначительных деталей декорации. Декорация, правда, немного подкачала: народ

⁵ Фойлэ штык (*идиш*) – фальшивый (буквально – гнилой) поступок.

⁶ Кавод (*иврит*) – уважение, честь.

безмолвствовал. Ни приветственного колыхания рук с флажками, ни радостных криков, ни цветов к ногам царственной особы.

Вероломная племянница Шурка была немедленно оставлена в покое, почти прощена и практически забыта. Мирка с подругами помчались в ее квартиру, которая – вот уж удача, так удача! – находилась как раз напротив профессорских хором.

Не повезло. Они уже зашли и даже закрыли за собой дверь. Слышны были лишь неясные голоса. Мирка не стала, конечно, подслушивать, но кое-что удалось разобрать. Ольга радостно верещала – ожидала, видимо, горячих слов благодарности за обустроенное гнездышко: она и холодильник какой-то раздобыла, и плитку притащила (может, и на помойке где-то нашла, но уж что отмыла ее до блеска, это точно), и обед какой-никакой успела накануне притащить. Посредине письменного стола, оставленного прежними жильцами – студентами, поставлена была ваза с миленьким букетиком желтых ромашек, которые буйно и радостно цвели в то время по всему городу, скромно умалчивая о неотвратимости скорого лета со своим безнадежным, бескрайним, безотрадным буро-желтым, серо-коричневым, хамсинно-шарафным цветом и светом. Для тех, кто хотел обмануться, эта пора была самой подходящей. Зеленела, колосилась трава на обычно чахлых газонах, ласкали глаз молодые листочки, ярко цвели бугенвиллии, алели цветами живые изгороди, акации извещали о близости Восьмого марта. В общем, профессору повезло. Первое впечатление не должно было его испугать. Но эти наивные ухищрения молодой весны и Ольги, дамы хоть и вполне осеннего возраста, но тоже по-весеннему наивной, не смогли обмануть профессоршу. Радостное верещание Ольги и благожелательный фортепианный тенорок профессора были резко прерваны визгливым контральто профессорши. Оркестр замолчал, Фанька, пятась и кланяясь, выкатилась из квартиры. Мирка немедленно перегруппировала силы. Соня осталась на посту у открытой двери, а сама Мирка поспешила вниз за Фанькой, чтоб, не дав ей оправиться, получить информацию из первых рук.

Долго ждать не пришлось. Ольга пробежала мимо Мирки, оставив после себя запах обид и обманутых надежд. Подтянулась Соня с подругами. Фаина не оправдала надежд и, сославшись на неотложные дела, быстренько сбежала из-под допроса. Только и успела вытянуть из нее Мирка, что «Вот бывают же такие люди! И что она себе навоображала? Что вся страна сейчас по стойке смирно будет перед ними стоять?» Далее вместо ожидаемых подробностей Мирка должна была выслушать уже навязший на зубах сравнительный анализ алии 70-х и алии 90-х. На припеве «*Кше ану бану*⁷» у Фаньки зазвонил телефон, и она сделала Мирке знак покинуть служебное помещение.

Вечером в садике за Домом подвели итог: долго здесь профессор с женой не задержатся. Переедут или в Центр, или вообще в Америку к детям. Останется Ольга одна с носом. На этой оптимистической ноте разбредлись по своим ночным норам.

Профессорша долго не распаковывала чемоданы, почти не выходила из Дома, а когда появлялась, вела себя крайне отстраненно.

⁷ Кше ану бану (*уврит*) – Когда мы приехали [в Израиль].

Из обрывков разговоров можно было понять, что она уже написала детям, что не намерена оставаться в этом пыльном провинциальном царстве-государстве, и чтобы они немедленно позаботились об их с профессором переезде. Как-то раз совершенно случайно расположившиеся именно под их окном соседи слышали вполне отчетливые визги Мадам:

– Так и скажи, что ты променял детей на эту стерву! И сионизм здесь ни при чем! Меня-то уж ты точно больше не обманешь.

Профессор отвечал тихим, интеллигентным, не поддающимся расшифровке голосом. Зато уж Никуля орала во весь голос:

– И ты это называешь работой? Ты еще скажи «кафедра», «аспиранты»! Ты, профессор Горлиц-Головин, на этой жалкой шапировской стипендии сидишь, да еще не устаешь благодарить за нее! Да ты же там, как последний лаборант! Подай, принеси, пошел вон! Ты мог хотя бы в «Технион» пробоваться! В «Бар-Илан», в конце концов! Нет, из-за этой лахудры убогой надо было именно здесь договор подписать! Ну и сиди, жди, пока стипендия не кончится, пока тебя не вышвырнут. Только уж, пожалуйста, без меня.

Опять «бу-бу-бу» профессора и новый ответный взрыв:

– И не мечтай! Я отдала тебе лучшие годы, перенесла все твое идиотское диссидентство, а сейчас должна уехать, чтобы ты тут остался со своей боевой подругой? А как ты все эти годы жил-выживал? Если б не моя зарплата, где бы ты был сейчас? А кто эти блядские сохнутувские посылки толкал? Она-то уехала, а ты просто, как последний поц, вылетел отовсюду! И куда ты вылетел? Прямо под теплое крылышко дуры-жены! Мало мне было всех этих лет? За все в награду эта дыра, эта жара, да эта блядь в придачу, – дальше шли уже явные слезы, потом окно закрылось, и через некоторое время можно было наблюдать трогательную парочку, неспешно прогуливающуюся по аллейке за Домом. Профессор нежно держал под локоток свою Веронику Андреевну. Никуля иногда подносила руку к глазам, но в целом выглядела вполне умиротворенной. Даже пару раз как бы невзначай склонила свою крупную породистую голову на фактурное плечо мужа. Идиллия!

Профессор, между тем, казался очень довольным собой, страной, Домом и даже городом! Он развил бурную деятельность и выглядел всегда одинаково приветливо и деловито. Утром выбегал, как мальчишка, в спортивных шортах и майке. Трусил энергично в сторону Мецады, поворачивал направо, и только его и видели. Ну, видели, конечно, чего уж там... Замечено было, что где-то посередине Мецады в районе Абарбанель у здания Безека ждала его Ольга – тоже в коротких штанишках и футболке. Фигурка у нее еще ничего себе сохранилась. Вместе они добежали до Неот Мидбар и, проплавав там минут сорок, выбегали обратно. В районе Абарбанель Ольга поворачивала налево в свой *мерказ-клита*⁸, а профессор трусил дальше в направлении Дома. Часов в одиннадцать профессор в чисто выглаженной рубашке с баульчиком через плечо уезжал в университет, где какой-то Шапиро платил ему то ли зарплату, то ли стипендию. Ольга в Доме почти не появлялась. Народ начал привыкать к ним. Да и профессорша Вероника-Ника-Никуля

⁸ Мерказ-клита (*иврит*) – центр абсорбции.

как-то пообтерлась, стала меньше выделяться среди других жителей Дома. Постепенно они, видимо, все-таки распаковали свои чемоданы. Как и все прочие, закупили малый олимовский набор: холодильник «Тадиран», стиральную машину «Зануси», телевизор «Грюндиг». Стало ясно, что всё, Горлиц-Головины обосновались в Стране и ни в какую Америку пока не собираются переезжать.

Следующий взрыв всеобщего внимания к профессорской семье пришелся на войну. Фаина собрала жильцов и произнесла разъяснительную речь, дабы успокоить стариков, объяснить им текущий момент и раздать противогазы. В результате, как и следовало ожидать, началась настоящая паника. Старики во главе с Миркой побежали в ближайший супермаркет закупать клейкую ленту для заклеивания окон, хотя Фаня несколько раз объяснила, что делать этого не следует, так как в Доме есть прекрасное бомбоубежище, и после сирены есть как минимум минута, чтобы спуститься в подвал. Заодно старики раскупили соль, сахар, муку и спички. Профессор выглядел на собрании очень спокойно, супруга его тоже, но вечером того же дня из-за их закрытой двери снова слышались визги профессорши. Опять поминались дети, Ольга, отцы-основатели этого маленького восточного рая и даже ближайшие родственники профессора. Вскоре прибежала Ольга и принялась энергично заклеивать окна в квартире Горлиц-Головиных. После первой же сирены и паники у входа в бомбоубежище Ольга вообще переселилась к ним.

От Дома поначалу старались не отходить далеко, благо запасов все сделали на долгую, не меньше ленинградской, блокаду. Но постепенно народ привык, и с противогАЗами через плечо они, как и прежде, каждый вечер восседали на своих насестах. Ольга с профессоршей тоже выходили на улицу. Иногда и сам Михаил Маркович присоединялся к ним. Он выгуливал своих дам, а те почти мирно беседовали. Просто идеальная семья!

После войны Ольга начала хлопотать о жилье в Доме. Не прошло и двух месяцев, как она переселилась сюда. Квартирка ее, такая же крохотная, как у всех, располагалась прямо над профессорской. Михаил Маркович к тому времени уже перестал ездить в университет, но формы пока не терял. Сразу после войны и переезда «друга и соратника» он возобновил пробежки и походы в бассейн и, пожалуй, только этим и отличался теперь от остальных жителей Дома. Ну, конечно, еще и своим всегда подтянутым видом. Ни тебе трусов-шорт, ни тебе шлепок-сандалий на ногах, ни тебе мятых маек-футболок. Да и дамы его не опускались. Вероника всегда была причесана и наманикюрена, ее пышные волосы – аккуратно подкрашены. Ольга – та попроще, но тоже ничего, держалась. Если б не постоянные Вероникины скандалы, положение можно было бы считать стабильным, а отношения устоявшимися. Соседи даже начали гордиться этой неординарной семейкой. Вновь прибывшим рассказывали о профессоре и его женщинах с нескрываемой гордостью. С чьей-то легкой руки Дом переименовали в Дворянское гнездо, несомненно, намекая на голубую кровь некоторых его обитателей.

Время – удивительная субстанция: минуты тянутся, как резиновые, послеполуденная жара растягивает их бесконечно, а дни, месяцы и годы летят, как угорелые. Или вы, в отличие от обитателей Дворянского гнезда, еще не замечали этого феномена? Если нет,

то, значит, вы еще слишком молоды. Поверьте, все впереди! Но, тем не менее, жители нашего Дома не жалуются ни на жизнь, ни на время. Привычный распорядок дня, праздники, мелкие происшествия поддерживают их, плавно перетаскивая через годы. А годы идут себе и идут.

В конце девяностых контингент Дома сильно изменился. Кто-то переехал туда, откуда не возвращаются, кто-то – в Дом Отцов, или, если повезет, еще дальше, за город. На их место, в маленькие, уже оснащенные кондиционерами и тарелками телеантенн, квартиры переезжали уже в основном эфиопские старики. Иногда, для разнообразия, попадались румынские или даже аргентинские старушки. Общим языком становился постепенно уже не русский, а иврит. Даже неразлучные Мирка и Соня вставляли в свои вечерние беседы «ани амарти ло» (я ему сказала), и «ихие тов» (будет хорошо). А уж на рынке, да в магазине, так вообще обходились спокойно, не ища русских продавцов и кассирш. В поликлинике, тут нечего скрывать, все-таки шли к русским врачам.

По субботам к эфиопским старикам приезжали их бесчисленные родственники. Рассаживались всем своим белолаточным кагалом прямо на траве за железной оградой и вели птичьи беседы, поглядывая на окружающих ласково и спокойно. Мирка с родными помирилась давно, иногда они забирали ее на субботу, но чаще просто сидела с Соней на своем посту у ворот Дома и наблюдала за происходящим. Наблюдали внимательно, почти без реплик, чтобы потом, на неделе, неспешно обсудить субботу. К профессору и его дамам никто не приезжал, но они и не бывали обычно в Доме по субботам. Вообще, вели они вполне светский образ жизни. Конечно, и остальные жители Дома не пропускали всякие мероприятия, которые заботливая Фаина устраивала регулярно. То привезет детей из соседнего клуба, и те споют старикам свои сильно смахивающие на пионерские песни. То придет баянист и сыграет про синий платочек или старый клен. Профессор и его женщины такие концерты не посещали. Они все больше в консерваторию ходили, благо недалеко. Иной раз в субботу утром за ними приходил экскурсионный автобус, и они уезжали на целый день куда-нибудь на Мертвое море или даже в Эйлат. А профессор с супругой и в Америку даже однажды летали. Думали, все, уж теперь точно с концами! Уж и на квартиру их начали аргентинцы заглядываться. Да нет, вернулись. Профессор совсем и не изменился после поездки. Только что свою кепочку сменил на американскую веселую шапочку с козырьком. А вот Вероника Андреевна, та сильно переменялась. Ходить стала еще прямее, голову держать еще выше, разговаривать с соседями еще реже. Прогуливаясь по тенистой аллейке за Домом, она вещала что-то Ольге и мужу, вещала настойчиво и горячо. Ольга с профессором послушно кивали в ответ.

Вообще-то, она начала сдавать. Располнела, ходила хуже, с одышкой. Ольга как-то усохла, стала совсем девочкой, если со спины, а лицо, наоборот, как-то спеклось, сморщилось. И только профессор казался все таким же фактурным красивым господином, сошедшим с рекламного плаката о счастливой солидной старости тех, кто заранее позаботился о пенсионных отчислениях.

Вторая война, хоть войной и не называлась, но прошла тяжелее, чем первая. Вроде тогда и не понимали ничего толком, паниковали

почем зря, да, видимо, все-таки моложе были. Да и слышно было эту войну не только по сиренам, а по самым настоящим взрывам и немедленным сиренам скорой помощи после них. Но пережили и это. Пережили и практически сразу забыли о ней. Не до воспоминаний стало! Во-первых, Соню увезли. Мирка стала замечать, что подруга как-то ушла в себя, отвечает невпопад. Она сама пошла к Фаине и, не стесняясь старческих своих слез, попросила *зевверет* начальницу посмотреть подругу. А потом, и это было совсем неожиданно, прямо как гром среди ясного неба, ушел из дома профессор, ушел и забыл вернуться. Тревогу, естественно, подняла Ольга, а не Вероника-Никуля. Фаина сначала и не отреагировала почти, но Ольга вцепилась в нее бульдожьей хваткой и не отпускала, пока Фаина не позвонила в полицию, а потом и поехала туда с обеими дамами заявлять. Профессора нашли в тот же день. Но в Дом он уже не вернулся. Ольга с Вероникой Андреевной пропадали подолгу где-то, возвращались поздно вечером молча, под ручку. От Фаины узнали, что профессор в больнице, но долго его там держать не будут. Вот так, на ровном месте, середь бела дня! И ведь такой энергичный, подтянутый всегда, спортивный, можно сказать! Оказалось, что ему всего-то восемьдесят два! Что теперь будет? Понятно, Вероника здесь не останется, наверняка дети заберут. А что с Ольгой? Да понятно что! Будет за своим «другом-соратником» ходить, пока будет за кем ходить, а потом... потом... Что ж тут говорить, все когда-нибудь там будем...

Вскоре приехал Горлиц-Головин младший. Как раз вовремя. Хоронили уже с ним. Весь Дом поехал на кладбище. Все-таки он столько лет собой Дом украшал. Эх, видный был старик, выдающийся, можно сказать.

Поминок не было, но никто, собственно, и не ждал. Но как она улетела с сыночком своим, это всех поразило! Ни тебе попрощаться, ни тебе даже недели положенной отсидеть! Узнали-то, когда пришли, как положено, выразить вдове свое соболезнование. А там одна Ольга сидит – вся такая маленькая, потерянная, с красными сухими глазами.

– Да, – говорит. – Уехали, у сына билеты уже были, он не мог ждать.

– Вот, просила Вероника Андреевна вам, Мира, на память что-то оставить. Вы посмотрите, Мира, может, вазу какую или ковер этот. Я себе только книги все возьму. Вот фотографии потом отправлю, а остальное помогите мне, пожалуйста, людям отдать. Вы же лучше знаете, кому что может понадобиться. А остальное, я уже с Фаиной договорилась, мы в подвал потом снесем. Квартира пока за Вероникой, потом я все оформлю.

Ну, Мирка себе ничего практически не взяла. Так, по мелочам – кастрюля очень хорошая на столе стояла, да часы-радио со светящимися цифрами. Она как раз такие хотела. Но все остальное, почти все, она быстро по людям растолкала. Хотя в глубине души Мирка полагала, что профессор с женой побогаче живут. Но все равно, нормальный дом, приличное хозяйство. Подушки хорошие, настоящий пух. Эфиопке с этажа отдали. Та была очень довольна.

Какое-то время Ольга провела в опустевшей квартире. Разорить оказалось гораздо тяжелее и дольше, чем тогда, почти двадцать лет

назад, когда она же и собирала. Но через месяц квартира уже была побелена и ждала новых жильцов. Собственно, жильцы должны были быть «из стареньких». Сейчас решался вопрос, кому квартиру передадут: аргентинцам, которые всего-то ничего в Доме и вообще в Стране, или Мирке. Да, да, представьте себе, Мирка собралась замуж! Да, новость так новость! Вот оно как в жизни – пока жив, живи!

Собственно, Мирка своего жениха давно заприметила, но ничего такого себе совершенно и не думала. Ну, переехал новый старик, и переехал. Правда, его и стариком-то не назовешь, живой такой, яркий, можно сказать даже красивый, крепкий, шумный мужичок. Да еще и грузин. Ну, в смысле, грузинский еврей. Этих тут совсем не бывало. Это же такая редкость, чтоб большая грузинская семья оставила своего старика одного. Но Давид сам не захотел ни с кем из сыновей оставаться, ни, тем более, к зятьям переезжать! А сыновья не хотели об Израиле и слышать! Жена-то покойная была грузинкой. Сам виноват, что не воспитал детей евреями. Но Давид уперся, списался с родными и был таков! Переехал сюда, как стоял – с одним чемоданом. Встретили его хорошо, но жить у племянников, когда с сыновьями не захотел, этого он не мог себе и представить. Вот и для него Дом оказался единственным решением. Давид сразу Мирку заметил. И какая она шустрая, какая бойкая, да как у нее в доме все ладно да аккуратно устроено. А уж когда она специально для него харчо сварила, тут сомнений больше не осталось. Вот оно как! Сколько им осталось, никто не знает, но что осталось – все их!

Мирка очень квартиру профессорскую хотела получить. Давид все посмеивался, что, может, оставим лучше две отдельных, чтоб в гости друг к другу ходить. Но Мирка не хотела и слушать.

В очередной раз она послала Давида поговорить с Фаиной, разузнать. Осталась на скамеечке ждать, да не утерпела, тоже пошла в кабинет к начальнице. И очень хорошо, что пошла. Там целая компания сидела – Фаина, ее Давид да Ольга. За последнее время Ольга еще больше усохла, тихая совсем стала. Почти из комнатки своей не выходила. Вся в черном, как мышка, проскользнет по стеночке к лифту, и нет ее. А тут, надо же, сидит вся разгоряченная, глаза горят, лицо красное. Мирка не сразу и поняла, а как поняла, только ахнула – профессорша возвращается! Вот так-то! Вот тебе и Америка, вот тебе и дети!

– Представляете, – с удовольствием повторяла Ольга. – Она мне сама позвонила. Так и сказала, я хочу к тебе. Плохо мне тут. Ну, понимаете, дети же целый день на работе, внуки ни слова по-русски. Она там совершенно одна. Они уже даже про дом престарелых начали с ней говорить. Она как посмотрела, что это за дом, так сразу мне позвонила. Говорит, никого у меня кроме тебя нет. И все про памятник спрашивала. Я ей фотографию послала, так она всю ночь проплакала. Нет, нет, деньги мне их сын оставил, вы не думайте. А жить она со мной будет. Нам не надо много места. А потом опять все оформим. Это же не проблема, да, Фанечка?

– А как же вещи? Вещи-то ты все раздала, – только и спросила Мирка.

Ольга отмахнулась:

– Да не надо ничего, у меня же все есть. А книги я даже распаковать еще толком не успела.

– Фаина! – откашлялся Давид и посмотрел на Мирку. – Давай вместе думать, что все-таки с квартирой будет.

Но Мирка не дала ему договорить:

– Что тут думать? Надо ей квартиру эту вернуть! Слышь, Фань, вещи-то я мигом у всех заберу. Как она вернется, надо чтобы все на местах стояло. Сколько же ей пришлось перенести, ты только подумай. А ты Ольгу в эту квартиру перепиши. Вот тебе и пара будет.

Давид с восхищением посмотрел на жену.

– А! Какая у меня женщина! Золото, а не сердце.

Встречали профессоршу всем Домом. Ольга помогла ей выйти из машины. Похудевшая Вероника постояла растерянно, огляделась по сторонам. Слабо и жалко улыбнулась Фаине. А когда увидела Мирку, почти бросилась к ней. Обняла, поцеловала. В глазах ее стояли слезы:

– Здравствуйте, Мира! Я так о вас всех скучала, так скучала.

– *Брухим а-баим*⁹, – гордо сказала Мирка и покосилась на своего Давида. – Давайте к нам. Мой Давид такое сациви для тебя сделал – ты в своей Америке ничего подобного и не видела небось.

Все таксисты в городе эту парочку уже знают. На новое кладбище они всегда добираются на автобусе. Сначала до центральной станции, потом на междугородном автобусе до Хацирима. Водитель автобуса уже не ждет, когда одна из старушек, та, что помоложе, нажмет кнопку остановки – сам останавливается. Даже не на остановке, а прямо у поворота на кладбище. А назад они обязательно вызывают такси. На станции по четвергам уже ждут их звонка, и если старушки запаздывают, начинают волноваться.

– Что-то сегодня Жёны не звонят, – скажет диспетчер. – Может тремп нашли?

Примерно в десять обычно раздаётся звонок, и старушечий надтреснутый голосок просит:

– *Монит, бэвакаша, ле-бэйт-кварот хадаша*¹⁰. Диспетчер отвечает, расплываясь в улыбке:

– *Аль тидаги, геверет, монит квар ба-дэрех*.¹¹

Они ждут у ворот. Одна – повыше, покрупнее, вторая – маленькая, сухая. Смешная парочка. Всегда аккуратно одеты в черное. Стоят себе, тесно прижавшись друг к другу, стараются не высовываться из-под тени допотопного зонтика. Толстая старуха втиснется на переднее сидение, а маленькая юркнет назад.

– *Ма нишма?*¹² – спросит водитель, как у старых знакомых.

И хотя уже сто раз слышал ответ, не откажет себе в удовольствии спросить еще раз, у кого они были, кто у них здесь. И понимающе закивает головой, когда одна старуха скажет со вздохом:

– Наш муж, чтоб ему там пусто было.

А вторая поспешно переведет:

– *Баалейну, зихроно ли-враха*.¹³

Безр-Шева – Тель-Авив, 2010

⁹ Добро пожаловать (*иврит*); дословно: благословенны прибывшие.

¹⁰ Такси, пожалуйста, на новое кладбище (*иврит*).

¹¹ Не волнуйтесь, госпожа, такси уже в дороге (*иврит*).

¹² Что слышно? (*иврит*).

¹³ Наш муж, да будет благословенна память о нем (*иврит*).

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

Наум Басовский *ПО КРАЮ УЩЕЛЬЯ*

Я ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ

Я закончил работу – вот и вся недолга;
я о друге не думал, не смотрел на врага –
лишь просил молчаливо, чтоб Всевышний помог.
Я бы просто исполнить и без помощи мог,
но хотелось, конечно, завершить её так,
чтобы друг восторгался, чтоб завидовал враг.

И, должно быть, Всевышний услыхал и помог,
и себя ощущал я всемогущим, как Бог.
Всё так ладно сложилось, всё так складно сошлось –
до сих пор непонятно, что откуда взялось.
В необычном везенье я причину найду:
раз в году так бывает, и не в каждом году.

Я закончил работу – сделал дело своё;
безразличные люди похвалили её:
мол, серьёзно, добротню, как и следует быть, –
и ушли восвояси, чтобы тут же забыть.
Чрезвычайных событий не случилось вокруг.
Враг прислал поздравленье. Позавидовал друг.

* * *

В.

Хотите увидеть, откуда родится река?
На мшистой тропинке оставьте однажды следы,
и, если удастся, услышите плеск родника
и пение зяблика утром у зябкой воды.

Хотите узнать, как свой ход начинает река?
Уйти не спешите, оставайтесь в лесу на ночлег –
на каменном ложе увидите бег ручейка,
в ладонь шириною прозрачный смеющийся бег.

Не речка и даже ещё не речушка пока,
но с нею услышим беседу неведомо чью
и вдруг удивимся, что словно бы чья-то рука
по ходу беседы ручей добавляет к ручью.

И вот, наконец, обозначились и берега;
ещё с одного до другого рукою подать,
и всё же уже несомненно, что это река,
которая дарит окрестной земле благодать.

Она по равнине течёт, глубока, широка,
просторна, в бегу молчалива, на вид не быстра.
В тяжёлой работе всё время проводит река,
большие суда пронося от утра до утра.

В погожие дни отражаются в ней облака,
мосты проплывают, домов многоярусный строй...
От места рожденья всё дальше уходит река,
и только дожди от неё долетают порой.

В своём продвиженье легко проницая века,
пространства земли, пограничные линии стран,
в огромное устье себя превращает река,
в огромное море, и дальше в судьбе – океан.

* * *

Я всё старался быть попроще,
обыденным и не кричащим;
я заходить боялся в рощу,
не то чтоб углубиться в чащу.
Казалось мне, людей обижу
их собственным непониманьем,
и я старался быть поближе
и обходиться со вниманьем.

Не думал я о том, что люди
охотно покупают мифы,
к ним привыкают, и для сути
у них критерии размыты.
Так и случилось, и поныне,
как на известной схеме атом,
я на мифической картине
гляжусь доступно-простоватым.

И мне пришлось искать любое
душе приемлемое дело,
Чтоб говорить с самим собою
о самом том, что наболело.
И вот, огарочек затеплив,
следам загадочным внимаю
и захожу в такие дебри,
что сам себя не понимаю.

* * *

Словно в памяти некий шаблон,
ставший символом тёмного рока,
ждёт отправки ночной эшелон –
он уходит куда-то далёко.

Горький дым паровозной трубы,
вперемешку теплушки, вагоны...
При любых переменах судьбы
в сон приходят ночные перроны.

В рюкзаке небогатый припас,
и прощание, полное боли.
Я в ночном эшелоне сейчас
нахожусь не по собственной воле.

Прокатился протяжный свисток,
красный зрак светофора потушен,
лязг металла, и мне невдомёк,
почему я так странно послушен.

Почему неизвестно куда,
и зачем, и на время какое
еду я, будто чья-то беда
позвала и лишила покоя?

Почему и в ненастье, и в зной
оставляю свой дом за спиною,
будто нет мне дороги иной,
кроме той, что стучит подо мною?.

* * *

Плеск воды в реке недалней,
стон осины на юру,
на ветру скрипенье ставней,
не закрытых ввечеру,
птичье пенье на рассвете,
козье бляенье в хлеву –
если слышу звуки эти,
значит, всё ещё живу.
Не пытаюсь косо-криво
день прожить да ночь проспять,
а хочу на дне архива
Божьи знаки отыскать,
по которым от начала
точно шла судьба моя,

а меня не посвящала
в эти тайны бытия.
Но случается поэтам
глубже в память заглянуть
и по косвенным приметам
осознать и цель, и путь.
Вот и я пытаюсь тоже
вспомнить звуки и цвета –
возвращаюсь, день итожа,
в те далёкие места,
где звучит, а что – не знаю,
где неяркий льётся свет
и бежит стезя сквозная,
и другой на свете нет...

* * *

В квартире мазган ощутить не даёт
дыханье хамсина – под сорок и с пылью,
и я не в ладах с экзотической былью,
как будто случился жары недолёт,
и вместо хамсина царит за окном
метель, завалившая крыши посёлка;
а в доме неброско наряжена ёлка,
поленья витийствуют в жаре печном,
товарный прошёл, простучав по мосту,
и снова теперь тишина до рассвета;
когда засыпается, мысли про лето,
родившись во сне, переходят в мечту,
в которой у моря возникнет земля,
зелёная с виду, на воду скупая,
где лёгкими смерчами ветер ступает,
лицо опаляя и в окна пыля...

* * *

Здесь, в маленькой стране, нет высоченных гор,
больших пустынь и чащ, но есть большое море.
Из подходящих слов ему идёт «простор»:
и рыбы, и суда здесь ходят на просторе.

Конечно, что сказать – оно не океан,
однако протяжён его обход овальный,
и множество людей из двух десятков стран
живут на берегах квартирой коммунальной.

А при таком житье, как водится, всегда
есть распри и любовь, есть счёты и просчёты,
и лишь одна на всех солёная вода,
и общие на всех небесные щедроты.

Различны языки – в том, право, нет беды;
различен взгляд на мир – как должное отметим;
и кажется, что всем есть место у воды,
да только из жильцов не все согласны с этим.

* * *

В покинутом городе есть дребезжащий трамвай,
который идёт по забытому ныне маршруту.
Вагоновожатый бормочет в усы: - Не зевай! –
и на остановках всегда прибавляет минуты.

Он знает, мудрец, что его пассажиры стары,
и эта поездка для многих скорее печальна:
сойдут со ступенек, уйдут в проходные дворы
и если появятся вновь, то сугубо случайно.

Они молчаливо подолгу стоят у дверей,
пытаясь припомнить, куда и зачем уезжали,
и если появятся вновь – не по воле моей:
по воле забвенья, которое горше печали.

А я не всесилен, Господь помощи и прости, –
я слушаю эхо, звучащее как из колодца,
и просто стараюсь хотя бы осколки спасти
той жизни, что канула и никогда не вернётся...

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»

Рэдрик Шухарт взошёл на бугор,
обойдя пограничников с тыла.
Перед ним простирался простор –
Зона снова его отпустила.

Взгляд прошёл по тропе, по кустам,
по шоссе до его поворота...
«Слава Богу, я здесь, а не там», –
и в душе его дрогнуло что-то.

Рэдрик Шухарт спустился с бугра;
хоть устал, но доволен без меры:
Зона нынче не та, что вчера, –
убрала силовые барьеры.

Ни ловушек в траве не найдёшь,
ни взрывчатки из «ведьмина студня» –
нынче в Зону идёт молодёжь
и свободнее, и безрассудней.

Только в мире, что с виду неплох,
в изменениях, с виду удачных,
сталкер с опытом чует подвох:
ведь судьба – без ответов задачник.

Шаг размерен, походка легка,
дал Господь и кураж, и погоду –
но из топи возникнет рука
и утянет под чёрную воду!..

* * *

Проснулся среди ночи от испуга,
не мог сердцебиение унять
и мягкую опасность – как из пуха –
не понимал и не хотел понять.

Там не было смертельного металла,
ничто мою не сдавливало грудь,
но так немилосердно угнетало –
как говорят, ни охнуть, ни вздохнуть.

Я руки распластал на одеяле
и отхватил дыханье наконец.
«Сон – та же смерть,
но только в идеале», –
когда-то написал поэт-мудрец.

Не знаю, жил ли я по полной смете,
но благ и боли получил сполна,
и, словно бы опять ушёл от смерти,
я вырвался из мертвенного сна.

* * *

Иду по краю ущелья, заглядываю туда,
где в черноте базальта тускло змеится вода,
до которой отсюда метров сто пятьдесят;
на стенах, почти отвесных, большие камни висят,
и мне предстоит спуститься туда, на самое дно,
и взойти на другую сторону, ежели суждено.

Там, за этим ущельем, лежит иная земля –
там города уютны, там изобильны поля,

там люди живут свободно и ценят вдумчивый труд,
и пишут умные книги, и хорошо поют.
Может быть, в генной памяти это хранилось всегда,
может, я всё придумал – но так захотел туда!

Значит, пора спускаться. Круто в месте любом.
Добро, если скатишься боком, а если грянешься лбом?
А если сорвётся камень прямо из-под ноги?
Только успеешь крикнуть: – Господи, помоги!
И ты, себя в гордыне считавший творенья венцом,
ляжешь на дно ущелья в тусклую воду лицом.

Однако к дьяволу страхи, если осознан путь!
На своих двоих на дрожащих опущусь как-нибудь.
Меня напугают змеи в пещере на полпути,
тусклый поток придонный с трудом, но удастся пройти,
и, в кровь обдирая пальцы, почти не дыша уже,
вверх доберусь и лягу на финишном рубеже.

...Иду по краю ущелья, ночью иду и днём;
прошрое и будущее живут в представленье моём:
то вижу преодоление, решителен и упрям,
то покрывает холодом страх подъёмов и ям.
В мечте я чего-то стою, в мечте я небом храним;
реальность – это ущелье и та земля, что за ним.

* * *

По берегу моря вдоль пены прибоя следы
оставили чьи-то не очень подвижные ноги.
В таком сочетании солнца, песка и воды
они говорят, что прошёл человек одинокий.

Цепочка следов, и других не высматривай – нет;
вдоль пены прибоя струятся ни валко ни шатко –
и круто направо: в воде обрывается след,
и как ни ищи, но обратного нет отпечатка.

А чёрные тучи уже собрались вдалеке,
и к берегу ветер погонит волну штормовую,
и скоро исчезнет цепочка следов на песке,
и только стихи сохраняют эту память живую.

Живую, пока не наступит стихий торжество:
водой заливают, песком очертанья заносит...
А был человек или не было вовсе его –
никто не узнает, да в общем никто и не спросит.

январь - май 2010.

Давид Маркиш

ЛУКОВЫЙ МЁД

Дом престарелых «До 120!» стоял на опушке цветущего лукового поля, на окраине белого города Кирьят-Парпар, в зелёной ложбинке – как раз на том месте, где Каин убил Авеля. В ясную погоду из Кирьят-Парпара можно было разглядеть невооружённым глазом небоскрёбы Тель-Авива, а ясная погода держится в наших краях почти круглый год. Лишь изредка, куда реже, чем хотелось бы, набегают невесты откуда зимние тучки и поливают иссушенную солнцем землю экономно, как из лейки. На смену зиме, не спрашивая разрешения у горожан, приходит лето, а там и осенние праздники на пороге. И прокручивается год, год за годом, – то ли потому что Земля крутится вокруг Солнца, то ли по какой другой веской причине. Жители города Кирьят-Парпар, ни при какой погоде не дотягивающие покамест до 120 лет, охотно посещают русскую столовку «Жар-птица», марокканский буфет «Марракеш» и опасливо обходят стороной эфиопский киоск «Царица Савская», где тебе вместо борща и хумуса предложат запечённого в баобабах листьях летающего грызуна и нацедят в пластмассовый стаканчик безалкогольной бурды, способствующей якобы соблюдению заповеди «плодитесь и размножайтесь». На белых городских улицах обыватели лузгают подсолнухи и покуривают наргиле, из окон квартир и автомобилей доносятся песни Высоцкого и Офры Хазы; город лениво существует – ни Европа, ни Азия, а так, сам по себе.

В конце прошлого века высокая волна эмиграции русских евреев в Израиль – этих, по утверждению одного учёного профессора из Тель-авивского университета, то ли хазар, то ли вообще татаро-монголов – задела золотым гребешком и Кирьят-Парпар. Приезжих было много – миллион, а работы мало. Рома Розенсон, бывший ленинградец и мастер велоспорта, не стал вешать нос на плечо, а поступил, долго не думая, на работу в богадельню «До 120!» на второй этаж, ночным медбратом. Почему медбратом, если Рома совсем ещё недавно гонял на велосипеде по треку и при всём желании не мог мазь от замазки отличить? А потому что Роме просто повезло, удача ему привалила: в богадельне освободилась ставка, а в ночные медбратья не каждый-то и побежит. Можно было бы, конечно, нанять араба, но помощь новым репатриантам – почётный долг каждого израильтянина; вот Рому Розенсона и взяли.

И то – на велосипеде ему, что ли, оставалось ездить? На Святой земле езда на велосипеде дело сугубо личное: купи велосипед и едь, пока его не украли. А мастерский диплом можешь хоть к стене прибить, хоть на лоб приклеить: до трековых гонок мы пока ещё не дотягиваем, у нас других забот полон рот.

С велосипедом, значит, тут всё ясно, за велосипедную езду хоть по треку, хоть как никто гроша ломаного не даст. А вот со вторым этажом богадельни как раз наоборот. Там тоже на двух больших колёсах ездят, но на особый лад. На первом этаже ходят на своих ногах, с перебоями, но ходят, опираясь двумя руками на рогатый ходунок. У ходунка, как у зебры, четыре надёжных ноги – на две передние

надеты, вместо копыт, колёсики размером с чайное блюдце, зато задние обуты, как в чуни, в надрезанные теннисные мячики для беспрепятственного скольжения по вымощенному полированной плиткой полу. Обитатели первого этажа, цепко взявшись за рога ходунка, толкают его вперёд и, семена нестойкими ногами, преодолевают пространство. Одна убогая старушка сразу после завтрака впрягается в свой ходунок и пускается в путь – от столовой по коридору к чёрному ходу, ведущему в богаделенский садик. Добравшись до дверного проёма, старушка поднимает к потолку крупное одухотворённое лицо и возносит молитву: «Благословен ты, Боже, за то, что привёл меня сюда сегодня и сейчас». Вознеся молитву, старушка поворачивается вместе со своим ходунком на 180 градусов и пускается в обратный путь по коридору. Осилив путь до столовой, она делает остановку, вздымает лицо и произносит молитву: «Благословен ты, Боже, за то, что привёл меня сюда сегодня и сейчас...» Помолившись, она разворачивается и пускается в обратный путь к чёрному ходу. Так она путешествует до самого обеда, без перерыва на отдых, творя благодарственную молитву в точке разворота... Не знаю, как вы, а я испытываю к ней уважение за её жизненную твёрдость.

Но оставим в покое богомолку. Ей не отведена существенная роль в этой истории, пусть себе ходит по коридору из конца в конец. Да она мало чем и отличается от других обитательниц первого, «ходячего» этажа, почти целиком заселённого женщинами; старички здесь – большая редкость, их можно перечесать по пальцам одной руки. Почему так сложилось – вопрос, занимавший многих адумчивых наблюдателей; ни один из них не получил на него исчерпывающего ответа ни от бывалых служащих богадельни «До 120!», ни от самих её обитательниц, включая колясочников со второго этажа, где, в отличие от первого, абсолютное большинство составляли представители некогда сильного пола, а женщины встречались редко, как бабочки на снегу.

Так или иначе, после недолгого делового разговора с директором заведения в его кабинете на первом этаже Рома Розенсон был радушно принят и на втором: в служебном помещении, своего рода каптёрке, его угостили растворимым кофе и сухим сахарным печеньем.

Угощали Романа две то ли сестры-сиделки, то ли няни-поломойки – Лара и Зина; ему было всё равно, на какой они тут числились должности. Обе приехали из России три года назад, обе были рады новому человеку – «своему». Зина выглядела лет на тридцать, не больше – голубоглазая стройная брюнетка на высоких ногах, знающая себе цену. Лара – та была постарше, за пятьдесят, много пережившая, ещё больше видевшая. Говоря без умолку о выставленном ею за порог пьянице-муже, о новом сердечном друге и о своей кручёной жизни, она перемежала бегущую речь легко ложившимся в строку матерком и подливала кофе, подкладывая печенье. А Зина сидела молча, только отрывисто поглядывала на Рому – давно и высоко оценив себя, привычно оценивала теперь симпатичного плечистого новичка.

В нешироком проёме приоткрытой двери каптёрки Рома видел, как по коридору, точно такому же, как и внизу, на первом этаже, ездили инвалиды в своих колясках. Они ездили уверенно и искусно, делая неожиданные повороты и обгоняя друг друга. Они двигались тесно, словно бы роясь. На людей в белых медицинских халатах, изредка возникающих то здесь, то там в их движущейся массе и возвышаю-

щихся над нею, они поглядывали со скрытым интересом, как на рыбаков рыбы из воды. Колясочники за стеной каптёрки являлись как бы существами иной формации, попавшие сюда, на второй этаж богдельни «До 120!», с другой планеты и почему-то здесь поселившиеся.

— А эти... — Рома Розенсон кивнул на дверь, — они, вообще-то, как? Смирные?

— Ну, как... — Лара пожала крепкими плечами. — Днём они ездят, в домино играют. А ночью спят. Можно сказать, что смирные.

— Куда они ездят-то? — спросил Рома.

— Да никуда! — сказала Лара. — Куда им ездить? Тут вот, по коридору.

— А на улицу? — спросил Рома.

— Да как они поедут! — удивилась такому вопросу Лара. — По лестнице они не могут, там же ступеньки, а ключа от лифта, — она вынула из кармана халата ключик на шнурке и показала Роме Розенсону, — у них, конечно, нет.

— А они хотят? — Рома взглянул на Зину, сидевшую молча. — Вниз?

— Мы не спрашиваем, — сказала Зина.

— А нижние, с первого, — продолжал расспрашивать Рома, — здесь, что ли, не показываются?

— Они же ходячие, — объяснила Зина. — Им сюда зачем?

— Но если, например, ноги у кого отнимутся, — добавила Лара, — тех могут сюда перевести, к нам. Были такие случаи.

— У наших тут всё есть, на втором, — сказала Зина скучным голосом. Ей надоел этот разговор, за чашкой кофе ей хотелось поговорить на другую тему: кем работал Роман в России и из какого города он приехал в Израиль — может, выяснится, что они земляки.

— Всё есть абсолютно! — подтвердила Лара. — И питание хорошее, и уход суточный. Мы им пелёнки поменяем и уложим на ночь, а ты уже потом смотри, если кто вызовет звонком.

— А сколько их всего? — спросил Рома, соображая, что может послужить причиной ночного вызова.

— Всего тридцать девять, — дала справку Зина, как будто подвела черту и с размаху поставила печать.

— Тридцать восемь! — уточнила Лара. — Ночью же умер один, из восьмой палаты.

И вот тут-то через открытое окно в комнату влетела пчела.

Не возьмусь утверждать, что за все тридцать два года жизни Романа Розенсона пчёлы оказали на него какое-либо влияние. Он, разумеется, сталкивался время от времени, как каждый из нас, с этими насекомыми — где-нибудь в парке или в лесу. Но осмысленно, со знанием дела отличить пчелу от осы он бы не сумел. Да ведь, правду говоря, редко кто это и умеет в нашем урбанистическом мире, кроме пчеловодов, обладающих таким умением в силу своей профессии, да упрямых дикарей, кормящихся собирательством где-нибудь в непролазных джунглях Папуа и Новой Гвинеи.

В отличие от назойливой, но безвредной мухи пчела обладает боевыми качествами: может ни с того ни с сего напасть на прохожего человека и ужалить. Набрасывались пчёлы и на Рому, он отмахивался и отбивался, но безуспешно: раз пять, а то и десять был атакован. Он не смог бы припомнить, где и при каких обстоятельствах случились эти нападения, да такая памятьливость ничего бы и не прибави-

ла: цапнула сволочь, и всё тут. Опасливо глядя на пчелу с её жалом и ядом, летящую своей дорогой, Рома Розенсон даже на окраине сознания не выстраивал связь между нею и мёдом, которого был большой любитель. Мёдом, медленно текущим в Святой земле, янтарно светящимся в стеклянных банках, на магазинных полках.

— Пчела, — насторожённо следя за полётом насекомого, сказал Роман. — Дай-ка я её газеткой пришлёпну!

— Не надо! — предостерегла красивая Зина. — Другие сразу налетят, всех искусают.

— Случались уже такие случаи? — озабоченно подивился Роман Розенсон. — Чтоб всех подряд перекусали? Это сколько же их должно сюда поналететь...

— Тут пасека рядом, — дала объяснение Зина. — Их там тучи, просто тучи. В суд уже подавали — не помогает.

— Потому что судья — аферист, — рассудила Лара. — Тут всё же не лес, а дом престарелых. А пчёлы эти летают и летают. Это же опасно, особенно для пожилых людей! Не успеешь оглянуться, а они до смерти загрызут.

— Арабы тоже опасно, — сказал Роман. — И для пожилых, и для любых. И живут они рядом, им даже пасека не нужна. Во-он минарет торчит!

— Правда, — согласилась с такой оценкой действительности красивая Зина, а Лара привела возражение:

— Арабы хоть люди, от них любой вред можно ждать. А эти, — она укоризненно взглянула на гудящую над столом пчелу, — тьфу!

— Ты поосторожней, — предостерегла товарку Зина, — а то Петрик на тебя снова телегу накатает.

Зазвенел звонок к ужину, и колясочники, шелестя резиновыми шинами, ринулись по коридору к столовой. Роман не успел спросить, кто таков этот Петрик и, подымаясь из-за стола вслед за женщинами, подумал: «Наверно, левак какой-нибудь. За арабов заступается».

После ужина наступил черёд ночи и сна. Сёстры уложили колясочников в койки и разошлись по домам. Старшая сестра сидела в дежурке, там пел и шутил телевизор. Она сидела на высокой табуретке, как капитан на своём мостике, посреди ночного моря, пустынного на первый взгляд и обманчиво спокойного. На вопрос Романа Розенсона, чем ему следует заняться в первую очередь, она лишь пожала плечами: инвалидная команда спит, что тут поделать. Эта сестра не склонна была к душевным разговорам, и Роман, собравшийся было поделиться с нею своими знаниями о трековых гонках на велосипеде, молча выскользнул из дежурки в коридор. Там было пусто, хоть шаром покати, из открытых дверей палат доносились стоны и храп.

Южная ночь, эта чёрная красавица, прилегла на Святую землю, опустила тьма с небес на богадельню «До 120!» и скрыла её от чужих глаз. Да и что на неё глядеть! Ночью добрые люди спят — и ходячие, и колясочники, и медперсонал, и звери в поле спят на свой лад: шакалы, и суслы, да и неустанные пчёлы на своей луковой пасеке. Только тать в ночи не спит, шастает тут кругом в поисках наживы.

Темень наступила. Где-то что-то такое читал Рома Розенсон про темень, подступающую к нашим отечественным краям — здорово было написано, очень живо, и вот запало в голову: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря...» Это про нас, про нас: ведь отсюда можно до Средиземного моря на гоночном велике доехать за пятнадцать

минут. Там было ещё интересно про какого-то чудака и как Иисуса Христа казнили.

Присев к регистрационному столику около лифта и уложив голову на согнутую в локте руку, Рома задремал. Ему снились бегущие по коридору богадельни криворогие антилопы-гну, он таких видел по телевизору, по каналу «National Geographic».

Посреди ночи затрещал звонок, заморгала красная лампочка на стеклянной, в золотой рамке панели вызовов: кто-то дёргал за шнурок в палате номер семь. Роман поднял голову от столешницы, выпрямился на стуле и, с удивлением сообразив, где он, быстренько зашагал на вызов по коридору, очистившемуся от антилоп-гну без следа.

Вызывал старик, мутно различимый в темноте четырёхместной палаты. Койка старика стояла у окна, жёлтый месяц и молоки звёздных путей были словно размазаны по чёрному стеклу. Приподнявшись на руках над подушкой, старик что-то говорил, твердил на непонятном наречье, из которого Роман Розенсон не различил ни слова. Видя искреннее непонимание Романа, старик вздохнул и по-русски произнёс отчётливо:

– Никак не засну. Таблетку дай.

Рома сбежал к дежурной сестре за снотворным, отнёс таблетку старику под окном и дал ему запить. Бессонный старик что-то невнятно пробормотал, подобрал сильные руки и бревном рухнул на подушку, так что кровать заходила ходуном на своих четырёх железных ногах. А Рома вернулся к хлипкому столику под доской вызовов, возле лифта, поёрзал головой по столешнице и, подложив под щёку регистрационный журнал, заснул сном праведника, кои ещё встречаются иногда на Святой земле, робко пасутся на её пажитях наряду с нечестивцами.

– Петрик из второй палаты, конечно, на весь этаж самый боевой, – сказала Лара, напяливая прорезиненный оранжевый фартук на медицинский халат. – Пчёлы – это у него задвиг такой, а так он знаешь какой учёный? И по истории всё знает, и по географии, и по чему только хочешь... Ахмед, поросёнок, опаздывает!

Дневная смена в богадельне «До120!» заступила в шесть утра, а медбрат Ахмед опаздывал. Подъём и мытьё колясочников под душем, таким образом, задерживались до прихода араба. Роман мог идти, но спешить ему в такую рань было некуда. Он, честно говоря, ждал появления красивой Зины – поделиться с ней впечатлениями о первой рабочей ночи. Но Зина взяла на сегодня отгул – поехала в Крайот, на родину Иуды, чтобы пообщаться там с дальними родственниками, недавно прибывшими на ПМЖ из Кривого Рога.

На допотопном Фиате приехал Ахмед, и вместе с Ларой, в четыре руки, они споро перемыли своих стариков. Минут пятнадцать Рома Розенсон наблюдал, для общего развития, за их работой, а потом сел в автобус и поехал домой отсыпаться.

Дни, в очередь с ночами, то ли катились, то ли перекатывались с боку на бок, а время оставалось неподвижным для обитателей богадельни «До 120!». Петрик потянул шнурок экстренного вызова перед рассветом, в пятом часу утра. На улице было темным-темно, и не только наступление светлого дня, но и само его существование казалось сомнительным для всякого разумного человека.

– Ахмед? – спросил Петрик, когда Роман Розенсон проявился в чуть подсвеченном из коридора проёме двери.

– Роман, – сказал Рома, входя. – Ахмед – дневной, а я ночной. Новенький, первую неделю только работаю... На что жалуетесь?

– Ни на что, – сказал Петрик. – На что можно жаловаться?

– Вызывали? – терпеливо уточнил Роман Розенсон.

– Вызывал. – Он выговаривал «л» мягко и округло, с польским акцентом. – Садитесь вот сюда... Угостите болеутоляющим?

– Голова болит? – сказал Роман, присаживаясь на краешек койки. – Может, от погоды?

– А что там может болеть, в голове? – требовательно спросил Петрик. – Мозг выше боли, это факт. Тогда что – кость?

– Ну, не знаю... – сказал Роман Розенсон. – А таблеточку – пожалуйста: у меня болеутоляющее и снотворное всегда в кармане.

– У меня кости ноют, – сказал Петрик, проглотив таблетку. – А голова, молодой человек, болит оттого, что думает. Кто не думает, у того не болит... Вот, например, Нострадамус.

– А? – спросил Роман. Делать ему было нечего, а Петрик интересно говорил. Даже непохоже, что левак.

– Ты не слыхал про Нострадамус а? – приподнявшись на подушке, жёстко спросил Петрик.

– Как не слыхал! – с жаром отвёл подозрение Рома. – Я слыхал! – Он, действительно, кое-что знал о провидце – смотрел о нём фильм по ТВ и даже нашел статейку в «Google». Рома Розенсон, хотя и привык смотреть на мир с высоты велосипедного седла, любил интересные вещи и помимо велосипеда.

– Ну, хорошо, – отступил Петрик. – Допустим... Так вот, Нострадамус подсчитал, что конец света наступит 21 декабря 2012 года. Астрономически подсчитал! Р-раз – и всё!

– Как – всё? – с недоверием переспросил Рома. – Совсем, что ли?

– Индейцы майя, про которых ты, наверно, тоже слыхал, – продолжал Петрик, – а Нострадамус про них не то что не слыхал, но даже не подозревал об их существовании – эти индейцы пришли к тому же выводу: конец света произойдёт через два года, 21 декабря. Всё...

– Ну, это мы ещё посмотрим, – не стал унывать Роман Розенсон.

– Первые признаки уже видны, – сказал Петрик и покачал головой.

– Льды, что ли, тают? – проявил знание Рома.

– Мимо... – сказал Петрик. – Пчёлы улетают.

– Куда они улетают? – удивился Рома Розенсон. – Вон, недавно совсем, на прошлой неделе, в дежурку одна залетела.

– Заблудилась, – озабоченно предположил Петрик. – Перепутала что-нибудь.

– Да чего она перепутала! – усомнился Роман. – Летела-летела, потом глядит – окно...

– А в окне, – иронически усмехнулся Петрик, – ты, дундук, сидишь. Она и обрадовалась... Так, что ли?

– Ну, не знаю, – сказал Роман без обиды. – Может, и так.

– Тут нечего и знать, – жёстко сказал Петрик. – Пчела поумней нас с тобой будет, ей здесь делать нечего... «Залетела»!

– А правда, что вы жалобу написали на сестру, когда она пчелу пришибла?

– Написал, – признал Петрик. – Пчёл нельзя убивать.

– Так они ж кусаются! – возмутился Роман.

– А ты, что ли, не кусаешься? – возразил Петрик. – Тогда тебя тоже надо пришибить.

– Ну, я, предположим, не кусаюсь, – сказал Роман в темноте комнаты. – Я ж не собака.

– Ты кусаешь хлеб, мясо, – гнул своё Петрик. – У тебя кусательный аппарат развит на все сто. И при этом совсем не обязательно кусать меня или вон его, – Петрик кивком головы указал на соседа, храпевшего на своей койке у противоположной стены. – Но, если припечёт, ты и человека цапнешь за милую душу.

– Цапну, – согласился Роман. – Но только за руку и, во-вторых, не до смерти. А пчёлы до смерти могут загрызть, я точно знаю.

– За руку, говоришь, – проворчал Петрик. – Это потому что за горло не получится ухватить.

Сосед напротив застонал во сне и зачмокал губами, как будто погонял лошадь. За распахнутой дверью палаты коридор, тускло освещённый ночными светильниками, был пуст, как шахтный штрек.

– Ну, что, меньше болит? – спросил Роман. – Кости?

– Нет пока, – сказал Петрик. – Эти таблетки одна химия, их надо запретить давно.

– Массаж лучше всего помогает, – сказал Роман. – Я сколько раз травмировался, связки рвал, боли страшные – и вот именно массаж просто спасал.

Петрик не проявил интереса к тому, по какой причине Роман Розенсон связки рвал; прошлое медбрата, как видно, ничуть его не занимало.

– На массаж у нас тут очередь какая, – угрюмо заметил Петрик, – сам знаешь.

– Я могу отмассировать, – предложил Рома. – У меня опыт.

– Давай попробуем, – ворчливо согласился Петрик. – А то сил уже нет терпеть.

– Начнём с плечевого пояса и пойдём ниже, – засучивая рукава, объявил Роман. – Ложитесь на живот.

Движениями пальцев, мягкими и в то же время сильными, бороздящими Роман обтекал тело старика, его давно утратившие упругость мышцы. Вниз, ещё раз от головы вниз, как будто отслаивая от костей боль и стряхивая её, отбрасывая прочь в темноту ночи. Старик лежал смирно, трудно дыша.

– Ты говоришь, пчёлы жалят, – внятно произнёс Петрик. – Ну да. Эти ужаленные избраны. Отмечены печатью.

– Я, значит, тоже отмечен? – удивился Роман Розенсон. – Меня же ведь кусали.

– Жалили, не кусали, – терпеливо поправил Петрик. – Я тебе объясню. Люди просто не понимают. Пчёлы из другого мира, из сопредельного.

– А как же мёд? – нажимая сильнее, спросил Роман.

– А что мёд? – сказал Петрик. – Мёд – нектар божий. Если б не мёд, первые люди с голоду бы погибли, и земля осталась пустой. Бортники – знаешь?

Про бортников Рома Розенсон ничего не знал.

– Ну, бортники, – объяснил Петрик. – Они дикий мёд собирали по колодам, по дуплам... Вот здесь, вот здесь посильней!

Роман поднажал, ему стало жарко. Продолжая массировать, он плечом утёр пот со лба.

Жарко было и Петрику – то ли жарко, то ли холодно.

– Ужаленные и избранные, – сказал Петрик, – переживут День Конца и перейдут в сопредельный мир. Два года ещё осталось...

Напрягая сильные гибкие пальцы, привычные намертво сжимать велосипедный руль, Роман продолжал водить руками вдоль тела пчелиного старика. «Так вроде нормальный, – нависая над Петриком, размышлял и раздумывал Роман Розенсон, – а крыша у него всё же набекрень. Пчёлы...»

«Пчёлы... – глядя как бы со стороны на богадельню «До 120!», на свою койку на втором этаже у окна и на себя в этой койке, раздумывал и размышлял Петрик. Он не ощущал уже ни своего увечного тела, ни проникающих, отслаивающих жизнь от смерти пальцев Романа Розенсона, ни присутствия самого Ромы, продолжавшего, кажется, что-то говорить и спрашивать. – Пчёлы... – Оглядываясь назад, Петрик видел на зелёном горизонте островерхий шатёр, сложенный из жердей и покрытый ветвями с овальными, размером с ладонь глянцевыми листьями. Шатёр становился всё ближе, выглядел всё отчетливей. Петрик, волнуясь, приготовился увидеть в нём или около него своих давно умерших родных – отца с матерью, сестру. Он увидел гребца с мускулистым, открытым солнечному ветру торсом, в долблённом челне, скользящем по реке к берегу и шатру, и со счастливым смирением признал в нём самого себя. Лодка скользила по тёмной воде, как по маслу, тишина мира казалась, а может, и в действительности была музыкой.

Подойдя к берегу впритык, гребец выпрыгнул из лодки и легко зашагал к шатру, и Петрик вдруг вспомнил дивную летучесть стремительной походки. Высокие кусты куртинами обступали тропу, по которой он шёл. Тёплая земля пружинила под его ногами. У входа в шатёр хлопотала у костерка, разведённого в булыжном ложе, молодая женщина – готовила еду. К спине женщины был привязан, наподобие рюкзачка, младенец. У самого костра сильный гребец бросил на камни связку серебристых рыб, нанизанных на пропущенную через жаберные щели лубяную верёвку и ещё трепыхающихся. Затем он опустился на землю и свободно растянулся, удовлетворённо оглядывая свой дом, мать с младенцем и розовый костерок, лапшащийся к ногам, как собака. И Петрик вглядывался в картину глазами вольного гребца, и ему было отрадно, что эта молодуха родила ему сына, что дом его – полная чаша: река кормит рыбой, пчёлы – мёдом. Что ноги легко носят, и нет нужды в кресле на колёсах. Что жизнь проста, как таблица умножения, и никто не пристаёт с дурацкими пожеланиями дотянуть до 120. Петрику хотелось завести разговор о пчёлах и разведать, где они тут поселились – в дупле или же в колоде, – да он не успел: из-за реки, а, может, из лесных зарослей донеслось упреждающее «Давай сирену, а то не довезём!», и ревун «скорой помощи» пинком вытеснил все другие звуки мира и залил отрадную картину густою тьмой.

– Живой, живой! – опустив телефонную трубку на рычаг, сообщила красивая Зина. – Откачали его.

– Ну, это просто зашибись! – заметила прямодушная Лара и обернулась к Роману Розенсону, угрюмо сутулившемуся на стуле. – И кто тебя только просил ему массаж делать, когда он еле живой и на тело, и на голову.

– Он сам просил, – сказал Рома. – А то бы я не стал.

Давно рассвело, время шло к завтраку, а ночная смена всё не расходилась: судьба Петрика была почему-то небезразлична медперсоналу второго этажа богадельни «До 120!»

– Ты его затёр почти до смерти, – сказала Лара. – И это ему повезло, что «скорую» сразу вызвали. А есть ещё такие, которые жалуются, что медицина у нас плохая.

– Сколько его там продержат? – спросил Рома. – В больнице?

– Долго держать не станут, – сказала красивая Зина со знанием дела. – Каждый день влетает в тысячу баксов или даже больше, если анализы. А ты как думал!

– Да никак я не думал, – оправдался Роман Розенсон. – Не он же сам платит, а казна.

– Раз очухался, – заключила красивая Зина, – так его, скорей всего, после обеда уже выпишут. Обход пройдёт, документы оформят...

– Тогда я домой не поеду, – сказал Рома. – Подожду, пока его привезут. А то всё же неудобно...

Но везти Петрика обратно на «скорой» оказалось накладно, богаделенский врач не хотел вводить администрацию в расходы. Вот тут-то Роман и предложил свои услуги: доставить больного из госпиталя до самого места в инвалидном кресле, пешочком. Здесь недалеко, вполне можно управиться. И полезно: Петрик по дороге свежим воздухом подышит, продует лёгкие после гериатрической больницы.

Путь туда, с порожним креслом на велосипедных колёсах, Рома засёк по часам; получилось двадцать пять минут. Значит, обратный ход займёт полчаса, от силы минут сорок. Пока выпишут документы, то да сё – ну, час. Обернёмся до темноты.

Ждать не пришлось: документы были уже готовы. В больнице никто не удивился, что выписанного Петрика Выгодского, с постоянным местом жительства в доме престарелых «До 120!» пришёл забирать медбрат с креслом. Пришёл – значит, так и надо: скатертью дорога, полотенцем путь. Петрик был задумчив, тих. «Какой-то он вялый, – подумал Роман. – Как видно, рано его выписали, надо было хоть до завтра ещё подержать». И спросил, чтобы начать разговор:

– Вам анализы все сделали?

– Сделали, наверно, – сказал Петрик. – Я не спрашивал.

– Вы ночью взяли и сразу отключились, – с упреком сказал Роман Розенсон. – Я слышу – дыхание идёт, но слабое.

– А я такое видел, Рома, – не поворачивая головы, сказал Петрик. – Такое раз в жизни видят... – И замолчал.

– Ну, что? – поторопил Роман и, поскольку Петрик продолжал молчать, уточнил вопрос: – Видели – что?

– Реку, – неохотно сказал Петрик. – И двор.

– Река – большая? – продолжал спрашивать Роман Розенсон.

– Довольно большая, – прикинул Петрик.

– Как, например, Нева? – спросил Рома.

– Примерно, – сказал Петрик. – Не гони так, куда спешишь!..

– Значит, это не у нас, – проявил Роман знание географии. – У нас самая большая – Иордан, её курица перескочит.

На улицах было многолюдно, народ возвращался с работы по домам. Лавируя между прохожими, Роман толкал кресло, стараясь не накренять его на поворотах и не вывернуть седока под ноги пешеходам. До богадельни оставалось пройти три жилых квартала,

потом – пересечь шоссе и обогнуть широкое луковое поле, окружённое зарослями красных, белых и жёлтых бугенвиллий.

– Нет, не Нева, – сказал Петрик. – Нева холодная, а та, моя – тёплая.

Через шоссе переправились без помех, по «зебре». Водители предупредительно тормозили, увидев инвалида в кресле-каталке, с сопровождающим.

– Где ж она, всё-таки, могла течь? – призадумался Роман Розенсон. – Вот что интересно...

– Всё там было, – с тоскою в голосе сказал Петрик. – Рыбы, пчёлы. Так хорошо... А я не успел досмотреть.

На поле со стороны шоссе вела тропинка, проложенная сквозь высокие заросли кустов, густо украшенных цветами – красными, белыми и жёлтыми. Красных бугенвиллий, более сильных, было больше, чем жёлтых и белых. Перед кустами и тропинкой, ведущей в заросли, вплотную к ним – так, чтоб его можно было увидеть с дороги – был прикреплён к двум шестам рекламный щит. Этот щит опирался тыльной стороной, спиной о цветущие кусты, как бы открывая перед проезжими и прохожими вид через окно, ведущее в иные края. Мускулистый дикарь со своей дикаркой был изображён там рукой наивного умельца, крытый листьями островерхий шатёр и синяя река с причаленной к берегу лодкой. В ясном небе застыла в полёте занимавшая добрую треть картины пчела с золотыми усиками, туго опоясанная чёрным лакированным пояском. Красочное изображение венчала удостоверяющая надпись, выполненная чёткими библейскими буквами: «Пасека „Луковый мёд“. Подарочная упаковка, низкие цены».

Петрик вцепился в колёса своего кресла, и Роман послушно остановился.

– Мне сюда, – сказал Петрик. – Это здесь.

– Так магазин же вон по той дороге, – указал пальцем Роман Розенсон. – Ещё с полкилометра до него, вот тут и планчик нарисовали.

– Нет-нет! – твёрдо возразил Петрик. – Ты не знаешь. Я ночью не успел досмотреть!

– Там пчёлы летают, – озабоченно заметил Рома. – А если нападут?

– А ты не ходи, – сказал Петрик. – Я сам поеду и сразу вернусь. – И направил кресло на велосипедных колёсах к щиту, к тропинке, ведущей в кусты и на луковое поле за теми кустами.

Роман Розенсон остался и праздно стоял. Минут через десять он озаботился: подступали сумерки, надо было ехать дальше, а на тропе никто не появлялся, и с поля не долетало ни единого звука. Рома решительно вздохнул и ступил на тропу.

Кресло-каталку на краю поля, на фоне закатных кустов, не просто было увидеть. Роман разглядел Петрика, сидевшего в кресле совершенно неподвижно; пчелиный рой стоял над ним, как чёрный дым над трубой.

Об этой истории много писали в газетах. Рому Розенсона никто ни в чём не винил – несчастный случай, что ж тут поделать! Возвращаясь с похорон в богадельню «До 120!», Роман ломал голову над тем, что же такое успел досмотреть покойный Петрик на луковом поле. И назавтра – ломал.

И через неделю.

И через год.

Юлия Драбкина

ВРЕМЯМОВ

* * *

Расскажи мне, отец, про далёкого времени хрип,
о военных мальчишках, ушедших навек в катакомбы,
расскажи мне в стотысячный раз, как тогда не погиб,
убежав за мгновенье до взрыва осколочной бомбы.

Расскажи о «потом», о цене на набор хрусталя,
о Дюма по талонам, о водке почти за бесценок,
как большую страну, на своих и чужих не деля,
на глазах превращали в ухоженный общий застенек.

Расскажи о словах, выстилающих скользкое дно –
как молчали о видимом, нервно грызя заусенцы,
расскажи мне без правил – из них я теперь всё равно
доверяю бесспорно лишь правилу Джоуля-Ленца.

Расскажи про эпоху болоньевых синих плащей,
про задушенный «Голос Америки» в радиосети,
о «хрущёвках», в которых в отсутствие прочих вещей
неизменно рождались лишь горькие мысли и дети.

Как играл гармонист по субботам в саду городском,
как в июле стоял над землей аромат черныбыла,
расскажи мне о маленькой девочке с красным флажком
и ладошкой в ладони твоей – чтобы я не забыла.

Расскажи, не скупясь на детали, про хрупкую связь
между прошлым и может-быть-будущим, не украшая,
назови все как было и есть, испугать не боясь –
я давно подросла, я уже безвозвратно большая.

Расскажи мне о том, что моя и вина и беда
в неумении жить вне пределов своей «одиночки»,
расскажи мне о том, что ни в коем, ни-ни, никогда
не положено честным отцам пересказывать дочке.

Расскажи мне, пусть долго еще остаются свежи
в моей памяти эти внешкольные сердцу уроки,
расскажи мне свою непростую и долгую жизнь –
я вошью ее тихим анапестом в крепкие строки.

Промолчи мне, отец, про грядущего времени хрип,
о мальчишках моих, уходящих опять в катакомбы...
Хорошо, что ты жив. Что ты есть. Что тогда не погиб,
убежав за мгновенье до взрыва осколочной бомбы.

* * *

Порезанный на грубые куски,
туман, как черепица, лег на крышу.
В далекую швамбранию тоски
уже который год никто не пишет.
Смеркалось, облачившись в кровь и плоть,
под звонкое стаккато дождевое,
не в силах эту жизнь перебороть,
туда пришли несправедные двое.
Поспешно, не включая в доме свет,
не замечая бедного убранства,
исчезли в средоточии тенет
ничейно-паутинного пространства.

Не говорить. Не думать. Ни о чём.
Срывая на ходу пальто и иже,
она склонялась над его плечом,
губами, волосами, ниже, ниже...
Пытаясь удержаться как-нибудь,
не умереть в безвременье простынном,
он целовал ей маленькую грудь,
и где-то там, в подрёберной пустыне,
забытый неухоженный божок
взобрался на большую табуретку,
вольфрамовую ниточку зажёл,
ударил в заколоченную клетку.
Потери, сожаленья, миражи
тихонько примостились где-то с краю,
все то, что называлось раньше «жизнь»,
с небытием смешалось, умирая.

Откинулась, зажмурившись, судьба –
фонарный свет картину мира застит,
и крапинками пот по кромке лба,
больного, не остывшего от страсти.
А мир лежит, распластанный на ней,
с глазами слабослышащего барда
и кажется печальней и родней
сквозь дырочку в районе миокарда.

* * *

Не поверишь, но прошлое вовсе не стоит печали –
наша память не сжалась, а просто согнулась в дугу.
К забродившему морю взъерошенный берег причалил,
я по кромке воды от себя безвозвратно бегу,

разломав наконец частокол позолоченной клетки,
но, взлетев, на свободе всегда остаешься один,
средоточье моё – средиземье моё, средилетье,
уведи меня в сказочный край золотых середин,

где прозрачные смыслы слагаются в ясные фразы,
где умеренный климат навеки смиренных широт,
но упущен момент и расплылись метафорастазы
на такой глубине, что и скальпель уже не берет.

А в небесном кармане – большая дыра, и похоже,
что оттуда на каждом из нас проставляют печать.
Ты прости мне хотя бы немного, всеведущий Боже,
потому что я больше не в силах себя не прощать...

Так становятся горше, становятся тише и старше;
и как будто бы лампочка в тысячу прожитых ватт
освещает внезапно меня на углу Патриарших,
где нелепую жизнь я когда-то взяла напрокат,

но, увы, тем, что взято взаймы, не натешиться вдоволь –
все попытки напрасны, не стоит ни жалоб, ни слёз.
На дороге мужской силуэт промелькнул: то ли Доуэль,
то ль – в попытке успеть на последний трамвай – Берлиоз.

Только не было здесь никогда никакого трамвая,
но поди разбери эту явь на реальность и сны...
И мерещится пьяненький Гофман и мне наливает
полусладкий венозный настой – эликсир сатаны.

* * *

Солнце улеглось обыкновенно

на согретый за день волнорез,
облаков темнеющие вены вздулись на поверхности небес,
ветра венчик бьет по синей глади –

в пену превратил белок волны,
рыбьими глазами страшно глядя, катятся на берег валуны;
разрывает плеском полногласий

мертвой тишины незримый шёлк,
даже сам Никитин, Афанасий, за такое море б не пошёл...
Вот и я бреду по кромке ночи босиком, в медузистой воде,
расставляю знаки одиночий, чередуя «Никогда» с «Нигде»,
обходя натянутые сети стороной. Поодаль, сильно пьян,
на песке лежит какой-то йети и сосёт дурмящий кальян,

видимо, в стремлении к нирване...

Призывает тех, кому невмочь,
череда гостиниц без названий:

секс по тридцать долларов за ночь,
впопыхах расхватывают роли жертвы негасимой нелюбви.
Наплевать. На всё. Остаться, что ли?

Господи, меня не протрезви...
Это просто город, дикий город, спятивший от старости давно,
холодок спускается за ворот, пробивая сердца волокно.
Заполняет воздух чем-то едким полусонный нищий на углу.
Дедушка в оранжевой жилетке, дворник, одолжи-ка мне метлу...
Но луны не видно, и лечу я в чёрное вместилище небес.
Солнце спит без задних ног,
не чуя под собой остывший волнорез.

* * *

...и снова будет сегодня сниться: кошмарный ливень, собачий вой, допрос с пристрастием на границе; упрямый въедливый поставой посмотрит в паспорт и ставит просто отказы-штампики на судьбе; и, замыкаясь, ряды форпоста не пропускают меня к себе. Так и останусь на распродаже по низким ценам скупать грехи... А кто-то мудрый прочтёт и скажет, мол, не стихи это, не стихи. И кто-то умный начнет глумиться, знакомый вновь заведя куплет, что сердце рвать неприлично в тридцать, что опоздала на десять лет. Мол, напиши, как луны камейя собою красит небес парчу, а я о звёздочках не умею, а я о бабочках не хочу.

Я напишу о глазах ребёнка, распознающих любую ложь, о том, что рвётся не там, где тонко, а там, где этого меньше ждёшь; о том, как в доме напротив прячут мужской, срывающий крышу плач; о том, как времени ушлый мячик безостановочно мчится вскачь, живых людей превращая в маски на зависть куклам мадам Тюссо; что мёртвым грузом в его запаске – фортуны пятое колесо; что, несмотря на чины и масти, одна на всех у него печать. Я напишу (как усталый мастер о самом грустном всегда молчать) о том отчаянном женском пьянстве, что незаметно в тени кулис, о законном ночном пространстве, к утру сильнее зовущем вниз; я напишу себе послесловье на грязном зеркале, словно тать, такой горячечной бурой кровью, что ты не сможешь меня читать...

Прохладно. Слышится звук негромкий (полощет ноги в воде луна). Стою у суток на самой кромке, всепримиряющей с гладью дна, там, где кончается божья помощь и начинается путь домой. И чей-то смех разрезает полночь, знакомый, нервный. Похоже, мой.

* * *

Напоследок, как будто случайно, заглянешь ко мне,
посидим на дорожку. В моей застарелой вине
многолетняя выдержка только ослабила градус.
Помолчим невпопад, поднесу сигарету к свече.
На часах подходящее время – без четверти Ч,
это значит, закончился бал и конец маскараду.

Напоследок (ну, если не жалко) грехи мне спиши:
у тебя же – душа, у меня за душой – ни души.
Как в плохом голливудском кино, с ироничной гримасой
неизвестно зачем говорю, понимая – поддых,
что тебя заменю непременно десятком других;
частный случай, но тоже закон сохранения массы.

Напоследок проронишь «увы», и дохнет холодком,
как знаком этот холод в прищуре, до боли знаком –
это все оставляю себе, по бесплатному фрахту.
Но неспешно идешь в коридор – не демарш, не бросок,
синеватая жилка отчаянно бьется в висок,
и ключи отдаешь, словно школьной техничке на вахту.

Напоследок, как раньше, нажми у двери на звонок
и сбеги по ступенькам, на ватных... как будто без ног,
со своим – с пионерского детства – большим чемоданом.
Оказаться бы там, где июль от любви недвижим,
где ни бога, ни черта, а только постельный режим.
Вот бы снова оттуда, с начала начать,
да куда нам...

ЧЕТВЁРТАЯ РАСА

Срывается день, как с балкона журавль «оригами»,
и жмётся израненным клювом к случайным ногам.
Неслышны мои обертоны в предпрятничной гамме,
которая – гомон и смех, перебранки и гам,
веселый и гулкий шумок населенных кофеен.
Надеясь на чудо из барских его обшлагов,
я, глупо доверив себя проходимцу Морфею,
ушла по дешевке с его виртуальных торгов
туда, где каленое солнце окраса густого
под вечер стекает – в секунду; где, счастлив и пьян,
еврейский сапожник, рябой старичок из Ростова,
к ночи расчехляет с войны уцелевший баян;
где мёдом – давно не течёт, а засохшие соты
сдувает хамсин в паутинный колючий осот;
туда, где на залитых кровью Голанских высотах
осталось не так уж и много невзятых высот;

где южные зимы промозглы, грязны и дождливы;
где в темном бездонном овраге меж двух берегов
вздываются вместе морские седые разливы
с разливом вины из моих потайных погребов;
где нет и потуг на рождение истины в спорах;
где спаяны время с пространством в закатном бордо
дорожными пробками, где-то в одной из которых
на сотовом в «Тетрис» играет скептический Годо.
Я русская до подреберья. Какая вакцина
способна ослабить печаль по тому, что родней?
Моя Дизенгоф, тель-авивский бульвар капуцинов –
мой цинковый гроб до утра. В ореоле огней –
четвертая раса: мы все на лицо – иностранцы.
Но, Господи Боже, упрочь наш бумажный редут...
Куда гильденстерны твои и твои розенкранцы
в горячечный доменный зной по пустыне бредут?
И я среди них, словно перст-одиночка в тумане,
ищу хоть какое-то алиби, чтобы не зря
укрыться, сбежать, раствориться в садах Гефсимани
с начала июня до поздней тоски октября.
Я русская в этой земле, но в прокуренном небе
над ней, не спросив, для меня разложили постель.
И слышно: в пустой синагоге молоденький ребе
бормочет своё безнадёжное «Шма Исразль»...

ПОСЛУШАЙ

Послушай, как слушают шёпот придворных старух,
как доктор – болящее сердце чувствительным ухом,
а там, за грудиной, душа превращается в дух,
покружится днём и к полуночи падает духом.

Смотри, что написано вязью за красной чертой
тебе на полях пожелтевшей с годами тетради,
вдохни этот воздух и молча минуту постой,
с улыбкой, как будто моряк при последнем параде.

Попробуй на вкус: эта жизнь – удивительный яд,
должна быть мучительно сладкой и крепкой отравой.
Но там, вдалеке, маяки для чего-то горят,
и занят Харон не тобой, и пуста переправа,

пока ты на ощупь, в не книжный попав переплёт,
найдешь то, единственно верное, нужное слово,
что вслух не сказать. И – не высказан – мир оживёт,
как азбука Брайля под видящим пальцем слепого.

* * *

Это старая сказка о главном, о том,
как вползает на крышу светило,
как над густо исписанным за ночь листом
мне под утро грехи отпустило,
как, сменив на реальность свои миражи,
отойдёт ото сна мостовая,
и на шпильках по ней, словно тень, пробежит,
как морзянкою, «SOS» выбивая,
призрак маленькой женщины в чёрном пальто –
одинокое странное некто;
как оранжевый свет сквозь небес решето
изольётся на тело проспекта,
как привычным путем новый день поплывёт,
не сбиваясь на бег иноходца,
как ребёнок с утра в материнский живот
неумытой мордашкой уткнётся,
как очнется подрёберный космополит,
отдавая в районе ключицы,
но пока оно там хоть немного болит,
всё нормально, и смерть – не случится.

Это новая правда о главном, без слов
подводящая лишь к многоточью,
это правда о том, как силки времялов
расставляет по-снайперски ночью,
как однажды, не в силах себя превозмочь,
подчиняясь зовущим валторнам,
исчезает с радаров ушедшая в ночь
безвозвратная женщина в чёрном,
чтобы где-то себя раздавать за гроши,
не смотря в незнакомые лица;
как ясней не бывает: пиши – не пиши,
все равно ничего не простится,
как, свернувшись калачиком в звездном ковше,
в молчаливой глядит укоризне
неподвижная ночь. И легко на душе,
как навряд ли бывает при жизни.

Аркадий Красильщиков

*ЗА ОБРЫВОМ МНОГОТРОЧИЙ**

Первый документ – лоскут с чернильными буквами – выдали мне в «Снегиревке» – знаменитом роддоме, неподалеку от Невского проспекта. Женщины рожали тогда наперегонки, изголодавшись за долгие годы войны и смерти по любви и жизни.

В конце 1945 года моей маме было за сорок – далеко не лучший возраст для продолжения рода, но детей у моих родителей не было, а в стране началась иная, как всем казалось, новая, радостная, мирная жизнь. Этот праздник следовало отметить. Вот мои папа и мама отметили его, родив сына.

Мама рассказывала, что такого количества беременных баб в одном родильном зале она, старшина медицинской службы, не видела никогда в жизни. Все роженицы или просто орали благим матом, или уже рожали с дикими воплями. В этом нечеловеческом оре маме забыла, что ей самой пришла пора рожать, и стала помогать мечущимся, мокрым, в крови, оглохшим от непрерывного шума акушеркам. Ее затянуло в радостный водоворот праздника жизни, да так затянуло, что еле успела моя мама взобраться на стол. Родился младенец без проблем, проблемы начались потом.

Центр Петербурга – моя родина. Не малая, не большая, не средняя. Просто *моя*. Мне лет пять, не больше. Баня на углу улицы Чайковского и набережной Фонтанки. Я с мамой. Толпа голых женщин: огромные груди, животы, зады. Голоса звучат резко, стены влажные и скользкие. Тазы с парящей водой, очередь у крана. Ищу обмылок под лавкой, не нахожу и начинаю плакать...

Потом, в тот же день, может быть, впервые, увидел боковой придел – волшебное кружево решетки Фельтена, Летний сад на том берегу реки. Сразу после безумия бани – тишина, покой, красота.

Август 1952 года. Мне шесть лет. Впереди семь суток дороги до бараков в Забайкальской степи, где живет и служит отец: офицер, майор медицинской службы.

Вагон плацкартный, набитый пассажирами. Мама позволяет забраться на третью, багажную полку. Нахожу там свободное пространство, укладываюсь, потеснив узлы и чемоданы. Я в восторге. Я – один, я выше всех, я хозяин пространства! Отсюда, сверху, и пейзаж за окном кажется совсем другим: моим личным пейзажем.

Пустырь за поселком, поросший татарником. Боец вооружен хворостиной. Он рубит головки беззащитного растения. Вокруг поле брани. Татарник – мой враг. Я испытываю радость силы и власти... Устав, сажусь на землю. Мне почему-то неловко, как будто я сделал что-то постыдное. Я больше никогда не стану размахивать хворостиной. Победы над беззащитным и слабым быть не может. Тогда я не мог знать, что с этого момента стану испытывать отвращение к людям власти, вооруженным «хворостиной».

* Фрагменты будущей книги.

Весна 1953-го. Забайкалье. Шерлова гора. Я на вершине. Впервые над миром. И потрясен тем, что легкий самолет летит где-то внизу. Я – Бог. Я хозяин пространства, как тогда на третьей полке плацкартного вагона. Радость этой власти останется навсегда. Власти не над людьми – над своим мозгом, своей фантазией, своим воображением. Все, что было потом, – от того мига превосходства над миром, детского поединка с Богом. Зависть, тщеславие, гордыня... Форма власти. Может ли человек существовать в ином измерении? Не знаю.

А что сие значит – «достойный уровень жизни»? Я вырос в бедности – чудовищной по нынешним меркам. Комната в коммуналке, телевизор у соседей, штаны, из которых давно вырос, но при этом пропуск в Эрмитаж, контрамарки в театр Брянцева, билеты по десять копеек в филармонию (стоять за колоннами). Когда я вел «достойный образ жизни» – теперь или тогда?

В детстве я сердился на отца. Он не умел собирать грибы и ягоды, а по лесу мог бродить часами. Вот отец и прожил долгие годы без корысти, в главной радости (музыка и природа), я же вырос мастером сбора «грибов и ягод».

В знаменитом сборнике «Физиология Петербурга» есть такая фраза: «О Петербурге привыкли думать, как о городе, построенном даже не на болоте, а чуть ли не в воздухе». Громады дворцов, гранит набережной, медь памятников – и все это парит над землей, а парящее в любой момент способно испариться, исчезнуть.

Питер – город-мученик, страдалец, а герой, потому что каждый раз упрямо восставал из праха, преодолевал коллапс, чудом начинал дышать вопреки всему, вопреки самой смерти и ужасу невесомости.

Однажды спасла Питер моя мама. Не позволила ему подняться в воздух и раствориться без остатка в черном космосе.

Говорят, говорят, что-то кому-то доказывают. Где были евреи на войне? Я знаю, где была моя мама, мой отец, мои дядья. Этих знаний достаточно. Мне достаточно. Всегда было достаточно. Мне не нужны доказательства еврейского героизма и разговоры на эту тему.

Моя мама была в тылу, если можно назвать тылом блокаду, а не сидела в окопе, потому и осталась жива. Мама не вытаскивала раненых с поля боя, не ходила в разведку. Все 900 дней блокады Ленинграда она проработала в Куйбышевской больнице на Литейном проспекте, а жила всего лишь в полутора километрах от этого, военного в ту пору госпиталя, на углу Кировной и того же Литейного.

– На самую работу силы еще были, – говорила мама. – Вот добраться до госпиталя... Однажды я упала и долго не могла встать, а потому и опоздала ровно на пятнадцать минут. И за это время в левый флигель больницы попал снаряд, прямо в операционную попал, где я должна была дежурить. Все там погибли, а я осталась жива, потому что поскользнулась, упала и долго не могла подняться, пока мне не подал руку случайный прохожий.

– Кто это был? – спрашивал я у мамы.

– Какая разница? – говорила она. – Я и не помню, как он выглядел. Шинель только помню: очень длинную шинель. Вытащил он меня из сугроба и пошел дальше. Вот и все.

Мама рассказывала о блокаде «без выражения». Точно так же говорила она о необходимости купить в магазине хлеб, сметану и

двести граммов сыра или просила отнести в прачечную на углу Моховой и улицы Пестеля грязное белье. Именно поэтому я верил каждому ее слову, и рассказы о блокаде слушал с жадным вниманием, усматривая в них некую мистическую особенность, и думал примерно так: «Удивительное дело! Я родился сразу после войны только потому, что мама поскользнулась, упала, не смогла сразу идти дальше, опоздала на работу, а потому и осталась в живых. Я родился, потому что какой-то неизвестный человек в длиннополой шинели подал маме руку и ушел дальше, может быть, навстречу своей смерти, но сохранив жизнь случайно встреченной женщине».

И вообще, сколько раз Гитлер пытался убить мою маму, а значит, и меня, тогда даже не зачатого, не родившегося? Сколько было потрачено металла, взрывчатки, керосина для бомбардировщиков, человеческих жизней и даже ткани на форму для солдат, чтобы убить мою маму и не дать ей возможность родить сына.

И еще я думал, что огромный город, вопреки всему, выстоял только затем, чтобы хоть кто-то из женщин Ленинграда остался жить и родил сына. Медный всадник сохранил сам себя с этой целью; и Зимний дворец, и липы Летнего сада – все это осталось, чтобы родился я – накануне нового, 1946 года.

Лестно было думать о городе, как о хранителе твоей жизни. Так я, захваченный манией величия, относился к Питеру всегда, и отношусь до сих пор с нежной любовью и благодарностью. Город выстоял, не исчез в ту страшную войну благодаря своей удивительной, неземной красоте и мужеству тех людей, что не только сражались в кольце блокады, но и просто остались в погибающем городе, и выжили чудом, заслонив своими телами гранит набережной, павильоны Росси и Михайловский замок...

«Петербургу быть пусту», – пророчествовал Дмитрий Мережковский. Станный этот город-фантом – умирал много раз, но каким-то чудом остался на земле. Город, стоящий на костях своих строителей, пропитанный кровью погибших от голода, пуль, бомб и снарядов, остался цел *вопреки* всем обстоятельствам, а не *благодаря* им.

А как красиво хоронил Питер Федор Михайлович Достоевский: «Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное. Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что как разлетится этот туман и уйдет вверх, – не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметесь с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты бронзовый Всадник на жарко дышащем, загнанном коне».

«Склизлый»! Мой компьютер не знает этого слова, подчеркивает его красной чертой. Глупый, глупый компьютер. Двор-колодец, в котором прошло мое детство, был мощен булыжником. Осенью камни эти темнели до черноты. Притронешься – склизкие. Само слово, рожденное Петербургом. Питер – «склизлый» на ощупь, но еще и скользкий, готовый соскользнуть, рухнуть в пропасть безвременья или «подняться с туманом в воздух». Как тут не вспомнить ту фразу В. Белинского о городе, растворенном в облаках...

Не поднялся Питер тогда, не исчез в низком свинцовом небе, глубоко врос в землю и слишком тяжел был. И не только за счет дворцов, статуй и булыжников мостовой, а потому еще, что осталась в

нем моя мама. Сорок килограммов весу в ней было, даже через год после прорыва блокады, но и этот вес мамино тело спас город на Неве.

Не знаю, какие силы помогли ей подняться, не умереть в снегу по дороге на работу, зато знаю, кто спас маму от верной смерти в январе 1942 года, когда лежала она под ворохом одеял в черной промерзлой комнате. Даже голод не чувствовала мама, а просто жила одним слабым дыханием – в ожидании смерти.

Тогда вошла в комнату соседка – Тамара – и взяла со стола хлебные карточки мамы. Она сказала: «Извини, Лия, ты все равно умрешь, а я, может, и протяну еще...». Сказала так и ушла очень медленно. Большая часть людей в блокаде передвигалась очень медленно. Она ушла так, как никогда не уходят воры. «Будто во сне», – говорила моя мама. В тот день она вообще не могла двигаться, даже медленно.

И медленно шел через город ее брат – Моисей. Он работал на Ижорском заводе. Завод этот не только ремонтировал танки, но и печи-буржуйки мастерил для замерзающего Питера.

Вот такую печь тащил мой дядя на саночках через весь город. Он очень любил свою сестру. Он поднял чугунок печи на третий этаж и внес печь в комнату моей мамы, может быть, за минуты до ее тихой смерти.

– Погоди, – сказал он, отдышавшись. – Не умирай.

И поставил печь на лист железа, и вывел трубу в форточку, и превратил последний стул в дрова, и поставил на печь котелок с водой, а когда вода закипела, бросил в котелок брикет пшенной каши с салом...

Моисей осторожно кормил мою маму с ложечки этой совсем не кошерной пищей.

Потом он сломал в соседней комнате большой платяной шкаф. А мама уже понимала жизнь, и слышала удары топора, и теперь уже не хотела умирать, и подумала о тех украденных карточках, и о том, что нет ничего плохого в факте их кражи на глазах у погибающей от голода хозяйки.

Теперь, когда Моисей оставил на полу у печи весь свой офицерский паек: две банки тушенки и кирпич черного хлеба, и этой еды ей должно было хватить до следующей выдачи новых карточек, мама решила так: кража прежних была не злом, а благом. Мама тогда подумала, что совершила соседка вовсе не воровство, а правильный поступок. У моей мамы был счастливый характер.

Выходит, я родился благодаря не только случайному опозданию моей мамы на работу, но и дяде Моисею, притащившему к постели умирающей сестры печку-буржуйку и накормившему мою будущую маму пшенной кашей с салом. Получается, и мой дядя, и это изделие из чугуна дали городу в блокаде необходимую тяжесть, чтобы Питер не поднялся вместе с туманом в воздух, и не исчез, не растворился в небе на радость Гитлеру.

Было еще много случаев, странных стечений обстоятельств, не позволивших маме моей погибнуть. Всевышний простил ей, еврейке, кашу с салом, как и другие мелкие прегрешения.

Мама рассказывала, например, что однажды резала шоколадку для раненых на двенадцать частей тупым ножом, и на подносе ос-

тались шоколадные крошки, и она эти крошки, не выдержав, ссыпала в ладонь, отправила в рот и проглотила с жадностью.

– Так было всего один раз, – сказала мама, – но потом меня начала мучить совесть, и я достала острый нож.

Теперь, когда у меня родились и выросли свои дети, я думаю, что волшебное спасение города и моей мамы в ту чудовищную войну случилось не только ради моей не такой уж значительной персоны. Может быть кто-то в этой случайной цепочке живых людей окажется нужным миру. Жизненно нужным. Может быть, ради этого «кого-то» и тащил мой дядя Моисей, коммунист и атеист, по замерзающему городу саночки с печкой-буржуйкой?

Спасся великий город, спаслась моя мама, родился я, родились мои дети, родились внуки, и правнуки родятся, и праправнуки. Кто знает, возможно, эти праправнуки и знать не будут, где расположен город Петра, и говорить не смогут на русском языке, и слово «блокада» будет им неведомо, как и то, что появились они на свет Божий только потому, что выстоял Питер, и чудом осталась жива моя мама, их бабушка и прабабушка, и прапрабабушка и так далее...

Мама моя не считалась героем войны. У нее была всего одна медаль «За оборону Ленинграда». Вот она передо мной, потемневшая от времени. На фоне шпиля Петропавловской крепости солдат, матрос, рабочий с ружьями наперевес, а последняя в шеренге женщина, закутанная в платок сестры милосердия. Лицо этой женщины различить трудно. Да что там трудно – невозможно различить. В детстве я думал, что на медали изображена моя мама. Я даже спросил ее как-то об этом.

– Что ты, глупенький, – улыбнулась она. – Это женщина вообще, просто женщина.

Март 1953 года. Помню только очень пьяного отца. Его привели к нам в барак чужие люди. Мама отца не удержала, он сполз на пол и, лежа на полу, бормотал, улыбаясь: «Умер вождь и мучитель». «Тихо, Левушка, – упрашивала его мама. – Не так. Вождь и учитель»

А прежде нас всех собрали в клуб на траурный митинг. Помню человека, который, рыдая, пафосно кричал на сцене, но не помню (это мне мама рассказала), что стал почему-то смеяться. Пришлось маме срочно уносить меня, чуть ли не насильно.

Сентябрь 1953 года. Второй класс «Петершуле». Ничего не помню, кроме холодного зала. Я стою на каменной плитке босыми ногами. Идет какой-то медосмотр. Очень холодно. Рожденный в Питере, я получаю все простудные заболевания «гнилого» города. Мерзну и думаю, что завтра начнет болеть горло, поднимется температура, и в эту новую школу я не пойду.

Странные медосмотры всегда существовали в России.

Это был последний год раздельного обучения. В 1954-м меня переводят по другую сторону кинотеатра «Спартак» – в «Аннешуле». Из 203-й школы в 189-ю. Есть цифры, ты помнишь их до самой дохлой смерти. Вот номер моего первого телефона: Ж-2-79-71. Иной раз мне кажется – наберу этот номер, а трубку поднимет мама, которой давно уже нет на свете. Она почти сразу поднимала трубку, после второго гудка, как положено, потому что любила сидеть в коридоре на диване, рядом с аппаратом.

В 1954 году отца послали в Москву на какие-то курсы усовершенствования. Пустила нас к себе тетка Фрида. Жила она с мужем в клетушке, на улице Бакунинской, прямо на территории пуговичной фабрики, где ее муж Хаим работал мастером. За тонкой стеной клетушки ночью и днем гудели моторы, вдоль стены были проложены горячие от пара трубы. Ночью, во сне, обжег руку об эту трубу. Шрам до сих пор заметен.

Помню, какой мукой была та больница 1954 года. Ночь. Заснуть не могу от боли. В коридоре вспыхивает свет. Скрипят колеса коляски – нового больного везут. И голос дежурного доктора: «Этого в палату, жидка в коридор». «Жидок» – это я. Меня без лишних слов выносят в сквозняк коридора прямо на кровати. Помню, что от душевной боли даже физическая стала глуше. Все мое детство, от семи до двенадцати, прошло под знаком боли, больниц и травм.

Затем были барачные трущобы у Рижского вокзала. Там, в шестиметровой комнате, жила мамина племянница с мужем и дочерью. Спали мы с мамой, помню, на матрасе под столом, а еще помню огромных крыс у мусорных баков.

Пройдут годы. На месте тех бараков построят современные офисы. Пришел в один из них, в редакцию «Еврейского слова». Говорил там разные, как мне казалось, нужные слова, но сидел в полной «отключке», вспоминая сон под столом и крыс у помойки.

Позорные страницы детства незабываемы. Моя настоящая школа – «Спартак». Кирочная, 8. Бегу туда при первой возможности. Рядом две школы, а потому в кинотеатре всегда полно «зайцев». Зрителей выпускали через боковые двери. Можно было, прикрываясь взрослыми, прокрасться с улицы в зал и залечь между кресел. Я законопослушный еврейский мальчик, билет покупаю всегда. Сажу в партере с этим самым билетом, больной, с температурой, насморком и кашлем. Никогда не умел сморкаться в пальцы, а платок забыл. Делать нечего – я использую билет. Я держу мерзкий, мокрый, скользкий бледно-розовый квиток на ладони. И тут вдруг билетерша гнусно шепчет: «Мальчик, где твой билет?». Мне до слез стыдно. Бормочу что-то, мнусь, но протягиваю этой ведьме свои сопли. Ведьма невозмутима. Билет берет, раскладывает в свете фонарика на подоконнике и, убедившись в моей честности, молча отдает мне мой «носовой платок». Было это будто вчера, а не больше полувека назад... Моя настоящая школа – этот кинотеатр. Именно там получил полезные, необходимые уроки для будущей, киношной жизни. Именно там и душа ожила. Там впервые взял за руку любимую девушку. Там же ее и поцеловал впервые... В общем, и детство мое, и юность – «Спартак»: широкая лестница, ведущая к фреске, исполненной студентами «Мухи», на которой отважный гладиатор, поднимая меч, звал рабов к свободе, а в нише всегда продавалось на развес, в стаканчиках, самое вкусное в мире мороженое.

Судьба наша кодируется в детстве. Мне лет десять. Вырезаю дно у фанерного ящика, кнопками приспособливаю к дыре обрывок старой простыни, за обрывком ставлю настольную лампу, мастерю из картона пальмы, парусник и контур острова, затем Робинзона Крузо, Пятницу, дикарей и пиратов. Вот и готов театр теней. С тех пор, вот уже полвека, занят одним и тем же делом.

Прожил в Москве большую часть жизни, но так и не выучил географию города. Значит, там нет и не было моего дома и моей Родины. Дом, где жил в Питере, улица – мой дом, моя Родина, и с этим вряд ли можно что-либо поделаться. Да и нужно ли?

Израиль – это на уровне эмоций, чувств. Люблю Израиль. С первого взгляда полюбил, но родиной предков и потомков он стать может и должен. Моей родиной, увы, – никогда. Мои внуки и внучки отмолят этот «грех» деда.

С «железом» я поладить не сумел. Торчал у станка токарного с пятнадцати лет. Три года «круглил», а все без толку, если не считать наработанного стажа для поступления в институт. Больше нравилось кропать стишки. Вот был восторг, когда впервые в заводской многотиражке увидел свои стишата, но тут же «продался», забыл о святом искусстве, согласился писать вирши на потребу. Иду к своему цеху, а из радиоточек гремит мое «творчество»: *«По всем этажам огромного здания бродят полчища тараканы»*. Так надо мной и повис фантом мерзкого заказа, висит и по сей день.

*Переулок Манежный,
Переулок собачий.
Сколько было нежности
На камнях растрчено.*

Камни булыжной мостовой – это моя жизнь, старые вещи моей жизни. Словно они и сегодня под ногами, как шершавая, холодная даже летом поверхность гранита набережной Невы под ладонью.

Гранит набережной стоит непоколебимо, камни мостовой давно укатали в асфальт, да и сам асфальт пошел трещинами. Наверно, и автомобилей стало гораздо больше, и не мостят дерьмом собаки переулок моей юности.

*Мерзок дух капусты квашеной.
Пахнет щами и селедкой.
У дверей, давно не крашенных,
Ждет поэт свою находку.*

Поэту пятнадцать лет, он болен любовью, как и множеством иных болезней, не столь серьезных и роковых. Любить – счастье великое, болеть любовью – несчастье. В чем разница? Любовь?.. Не знаю, что это такое. Я болел любовью. Я видел себя со стороны страдающим и несчастным и постоянно наблюдал за собой через открытую дверь или сквозь замочную скважину. Я, Я, Я... Я жил внутри, поглощенный без остатка этой самой гнусной буквой в алфавите. Это ей я обязан тем, что не был влюблен, а болел любовью.

Настоящий поэт – человек любви, обычный стихоплет – болен любовью. Я был обычным стихоплетом, жертвой последней буквы в алфавите, проклятой буквы, основы греха первородного.

Давно не был в родном городе, хранилище самых старых вещей в мире. Старых, ветхих, давно потерянных вещей в сравнительно молодом городе Петербурге. По дороге к дому моего детства вспомнил о гранитных столбах по краям арки двора. На одном из столбов часто сиживал дворник Ахмет. Тяжело опершись на черенок метлы, он сидел, нахмурившись от трудных мыслей. Ахмет был одинок и жил в каморке без окон, под лестницей.

Однажды я осмелился спросить у сурового дворника, кто и зачем поставил гранитные столбы на въезде в арку двора?

– Уйды отсюда, – сказал Ахмет и пошевелил черенком лопаты, словно намериваясь при повторном вопросе вымести любопытного мальчишку, как мусор, с глаз долой.

Тогда я решил, что столбы и были поставлены, чтобы на них отдыхали от трудов праведных сердитые дворники, но при этом бдительно и с удобной позиции следили за порядком. В детстве юноши, большого любовью, понятия дворник и порядок были неразрывны.

Потом узнал, что эти столбы в Петербурге ставили ограничителями. Слишком часто извозчики калечили ступицами колес въезды в арку, а гранит столбов мог выдержать и не такую атаку.

И вот я стою перед закрытой железными воротами аркой двора (ул. Кирочная, дом 3) и столбов этих не вижу. Исчезли столбы. Сначала, само собой, пропали телеги, а потом и гранитные столбы – хранители арки. Старые вещи находятся в неразрывной связи друг с другом. Впрочем, как и все в нашем мире. Старые вещи падают костяшками домино, построенных в «хвост» друг другу. Стоит толкнуть одну – и все повалится.

Стоял я тогда у запертой наглухо арки ворот и оплакивал те столбы из гранита, а потом вспомнил о лично моей лошади и моей телеге, на которой пришлось возить ящики с картошкой. Утром я сам запрягал тихую клячу под странным именем Бруня и под дождем и по черной грязи двигался к полю, где наш студенческий отряд эту картошку и выкапывал из тяжелой земли.

Почти полвека прошло с тех пор, а я все еще люблю и помню ту клячу и даже те черные от грязи ящики из гнилых досок, наполненные такой же черной, склизкой грязью осенних клубней.

Весь Божий мир я любил той холодной осенью, потому именно тогда получил телеграмму с коротким текстом: «Люблю. Я вся твоя. Приезжай срочно».

Я показал телеграмму бригадиру. Он спросил:

- Долго уговаривал?
- Года два, – признался я.
- Может, тогда потерпит еще неделю, – сказал бригадир.
- Она, может, и потерпит, – сказал я. – Я помру.
- Ладно, – разрешил он. – Езжай тогда.

И я помчался в Питер, чтобы лишить невинности девушку, которую, как мне казалось, любил больше жизни. Дорогу совсем не помню. Помню, что дверь мне открыла соседка, покривила рот и молча ушла в необъятную даль коммунальной квартиры.

Девушку свою я нашел на кухне. Моя любимая мыла бутылки из под молока...

Устройство для мытья называли ёршиком – им оттирали стеклянную тару из-под молока, кефира, простокваши, ряженки. Если по каким-либо причинам приходилось откладывать мытье посуды, опустевшие емкости следовало сразу залить водой и тем самым избежать зловредного высыхания остатков. После очистки бутылку можно было сдать, кажется, по цене десять копеек за штуку. Впрочем, емкости были разными: литровые и на пол-литра. Разнилась ли цена – не помню. Нет, конечно же, разнилась, но как, как? Забыл.

Вот память проклятая. Помнишь всякую ерунду, а... Я не шучу. Цена пустой литровой ёмкости примерно в 1962 году вовсе не такой пустяк, как кому-то кажется.

А врать не хочу. Именно в этой истории не хочу врать. В любой другой – пожалуйста, но не в этой. Когда-то, много лет назад, в мире старых вещей, я врал постоянно и этим злил любимую девушку Наташу. Лживость она считала самым страшным пороком, но я был бессилен. Я врал, не закрывая рта.

– Врешь, – говорила Наташа, но не прогоняла меня до времени, а позволяла делать с собой почти все, что только может позволить себе существо женского пола.

Потом я опять врал, теперь уже о двоюродном брате-десантнике. Я врал, что его отобрали в отряд космонавтов для полета на Луну. Тогда любимая девочка начинала бить меня кулачками по плечам, лбу и животу, приговаривая при этом:

– Не ври, не ври, не ври.

Мне тогда легче было просто молчать, чем не врать. Я молча целовал девочку Наташу, и в этих поцелуях была чистая правда, потому что я и в самом деле любил ее больше жизни.

Откуда было знать в те годы Наташе, что мне удастся способность врать в любом состоянии и по любому поводу превратить в профессию, причем достаточно престижную и хорошо оплачиваемую. Я просто садился к столу и начинал гнать туфту с помощью пишущей машинки «Москва». (Потом удалось достать немецкое чудо под названием «Оптимал».) Я снова врал о встрече с красавцем-догом, о брате-космонавте, вообще обо всем, что приходило в голову. Это устраивало заказчиков на разных киностудиях страны. Потом к этой брехне приклеивали режиссера, оператора, актеров – и получалась совместная, коллективная брехня, которой и потчевали зрителя наряду с другим враньем – о близкой победе коммунизма – и прочей ахинеи, которая, тем не менее, тоже принадлежит к старым вещам, милым сегодня сердцу автора.

Бутылки со следами грязи или поврежденные обратно не принимались. Поспорил как-то с пухлой дамой – приемщицей в гастрономе, доказывая, что ущерб на тарелке природный. Жалко было десяти копеек. Как раз гривенник стоило эскимо на палочке. А за три копейки можно было напиться газировки с сиропом. Мокрыми всегда были эти мелкие денежки в блюдце продавщицы воды. Честное слово, помнит моя задубевшая ныне ладонь приятную мокроту сдачи.

Ущербную тару на улице Пестеля (ныне Пантелеймоновская) у меня все-таки не приняли. Так обиделся, что в сердцах выбросил бутылку, но через десять шагов, обернувшись, пожалел о легкомысленном поступке. Бракованную ёмкость шустро выловила из урны старушка в старомодной шляпке и сунула в свою сумку.

– Она битая! – крикнул я старушке по доброте душевной. – Не возьмут.

– За пять копеечек примут, – беззубо улыбнулась бабуля. – Иди, милый, иди.

Кому-то может показаться, что я намерен говорить о сущих пустяках, о ерунде, о предметах никому не нужных, давно истлевших на

свалке. Нет, это не так. Я серьезен, как никогда. Наморщив лоб, я думаю о судьбе своих потомков, а помянутый ёршик для мытья бутылок всего лишь повод, стартовая колодка размышлений, как мне кажется, жизненно важных. Я уверен, что в пустяках, будто в атомах бытия, кроется разгадка подлинных тайн нашего мира. Их видимая пустячность – это хитрый маневр самой природы, попытка остаться в тени, чтобы заставить людей блуждать в мрачных тупиках сознания, в поисках выхода на простор, к свету.

Старые живописцы – мастера натюрморта – прекрасно знали это и лепили свои «долгоиграющие» картины из подноса, уставленного разной снедью, узорным стеклом бокалов, затейливыми на вкус ХХI века вилками-ножами и прочими восхитительными приметами своего времени, времени настоящих мастеров.

Да здравствуют простая стеклянная бутылка из-под молока, носовой платок, печь, в которой горят, потрескивая, березовые поленья, и многие другие старые вещи, вещи моего времени!

Отец похоронен на кладбище Ашкелона. Две ракеты из Газы взорвались неподалеку от его могилы... даже мертвого, отца попыталось достать безумие ХХI века. В истории рода человеческого не было страшнее двадцатого столетия, прожитого отцом почти полностью. И мне до сих пор не ясно, каким чудом, вопреки своему времени, он умудрился остаться самим собой.

Медали и ордена отца. Они и сейчас целы, лежат в большой коробке. Мой сын часто перебирал их и спрашивал: «А это за что?» Ему нужны были подробности.

– Там все написано, – отговаривался я. – Читай.

Его дед не любил рассказывать о войне.

Это было обидно. Отцы сверстников, все как один, оказывались героями: разведчиками, подводниками, танкистами. Только мой отец, прошедший и Финскую кампанию, и всю Отечественную войну от звонка до звонка, героем считаться не желал. Он хотел быть сугубо штатским человеком: врачом, музыкантом – и больше никем.

Жили мы бедно. Отец до середины шестидесятых годов хранил свою армейскую шинель и плащ-палатку. Шинелью он накрывался с головой по выходным дням после обеда, чтобы поспать в отрыве от шумной действительности. Плащ-палатку брал с собой во время частых походов в лес за грибами и ягодами.

Но эти следы армейского прошлого моего отца были обыденными приметами и не могли считаться чем-то особенным. Не мог же я хвастаться перед друзьями тем, что мой отец накрывается во время сна армейской шинелью. Я требовал рассказов о битвах с фашизмом, полных романтики сражений и победных реляций. А он говорил так: «Сынок, детям не нужно рассказывать о войне. Потом, когда вырастешь, может быть...»

– Все отцы рассказывают, – сердился я, – только ты какой-то особенный.

– Может быть, – говорил отец (он так любил эти два слова). – Может быть, я особенный... Понимаешь, не было в той войне ничего хорошего, кроме победы. Хочешь, расскажу тебе о победе? Хочешь, тогда слушай. Мы стояли в лесу на Перешейке. Весенний

был лес, радостный, живой. В укромных местах все еще прятался темный до черноты снег, пронизанный пожелтевшими иглами сосен, но рядом уже зеленела трава, и открывали свои лица навстречу солнцу цветы...

– Ты обещал про войну, – напомнил я, прервав отца еще и потому, что терпеть не мог, когда он начинал «говорить красиво». Пафос отцовский мне совсем не нравился.

– Да, да, конечно, – спохватывался он. – Я шел через барак к больным. Тут ворота открылись, и старшина Греков (огромный был человек) заорал во всю силу, что войне конец и подписана капитуляция. Тут и началось. Откуда только у больных красноармейцев силы появились. Сползали с коек даже те, кому и жить-то осталось недолго. Кричали, обнимались и меня обнимали, а я задыхался от вони и шума и не мог радоваться, так как не верил, что весь этот кошмар, наконец, кончился.

– Мы победили фашистов, – сказал я. – А ты не мог радоваться?

– Не мог, – сказал отец.

– И это все о войне?

– Все, – сказал он и, помолчав, добавил. – Ленинградский фронт... Один раз я умирал от голода, другой – от тифа, заразился.

Придумал тогда для друзей, что отец занимался на фронте какой-то тайной, до сих пор засекреченной работой и не имеет права рассказывать о ней ничего. Мне не верили. Я чувствовал, что мне не верят, сердился на отца, вновь и вновь возвращаясь все к той же теме.

Он начал рассказывать о войне спустя годы, когда в этом уже не было особой нужды. Рассказы получались скупыми и невнятными и вновь начисто лишенными какой-либо героики.

Отец не был даже хирургом, всего лишь терапевтом в инфекционных лазаретах.

– Это все глупости, что в войну люди не болели, – сердито говорил он. – Все было: и тиф, и желтуха, и дизентерия... Вот так все две войны: тиф, желтуха и дизентерия – больше ничего, и смерти...

– Никто, что ли, не выздоравливал? – сердито спрашивал я.

– Выздоровливали, – спохватывался отец. – И возвращались на фронт, чтобы их там убили. Но вылеченных я почему-то не помню. Помню тех, кто умирал. Часто на моих руках умирали.

– Папа, – говорил я. – Шла великая война с фашизмом. Такая война! Мы Гитлера победили, спасли всю планету, а ты помнишь только тех, кто погибал. А они, между прочим, пали смертью храбрых. Даже те, кто умер от тифа.

– Ты прав, прав, – говорил отец. – Такие были герои, такие герои... Может быть, я что-то не понимал тогда. Может быть, я и сейчас не все понимаю, – он спохватывался. – Слушай, сразу после войны с финнами к нам на полуостров Ханко приехал МХАТ в полном составе. Ты видел фотографию. Но фото – ерунда. Надо было видеть и слышать тех великих актеров. Охлопков, Царев, Марецкая, Астангов, Баталов, Яншин... Я уж не помню всех, наверно, что-то путаю. Столько лет прошло. Помню только, что был концерт. Они читали стихи и показывали отрывки из спектаклей. Совсем недавно, только что, весной сорокового года закончился весь этот ужас: смерти, гной, кровавые поносы, а тут – МХАТ. Чистое дыхание искусства... Знаешь, я тогда подумал, что подлинное

призвание актеров, поэтов, музыкантов – лечить души человеческие, спасти людей от безумия жизни.

– Пап, – сердился я. – Ну при чем тут МХАТ и война. Я тебя о чем просил рассказать? А ты опять о чем-то совсем непонятном.

– Да, да, – бормотал отец. – Может быть... Ты прав, конечно.

И он снова замыкался в себе, понимая, что нет в его памяти нужных для сына слов о войне. Да и не только для сына. Отца часто приглашали на разные собрания и встречи фронтовиков. Он отказывался, ссылаясь на болезнь или отсутствие свободного времени... Его перестали приглашать.

Однажды в День Победы я вытащил из ящика комода ордена и медали, положил на стол все это великолепие и предложил отцу украсить наградами пиджак. Он рассердился, он закричал: «Спрячь это! Не надо!»

Он любил выпить, мой отец. Он всегда пил на семейных праздниках. Из особого кувшинчика бережно наливал прозрачную жидкость в маленький серебряный стаканчик – и выпивал содержимое залпом. Кувшинчик он держал при себе и никому не позволял им пользоваться. Выглядело это некрасиво, но отцу, среди прочих недостатков характера, прощали и это чудачество.

Однажды он отвлекся каким-то спором. Даже покинул свое место и подсел к оппоненту. Воспользовавшись этим, я налил в рюмку питье из отцовской емкости, опрокинул в себя и чуть не задохнулся – отец пил чистый спирт.

После двух-трех доз спирта он становился разговорчивым, но никогда не умел говорить о том, что было интересно гостям. Он говорил о цветах и травах, о деревьях, о Финском заливе. Особенно интересовали отца птицы.

– Зимой, – начинал он нараспев, – нет ничего чудеснее и восхитительнее клеста. Так эту птичку называли, заменив одну букву: «р» на «л». Клюв у клеста крестовидный. Удивительный, скажу вам, инструмент. Клювом своим клест потрошит шишки, которые другим птицам не по силам, а потому, наверно, никогда не бывает голодным. Главное – делать то, что не умеют делать другие, а при этом никого не расталкивать локтями.

Гостям было плевать и на птичку-клеста, и на зимний лес. Слушали отца из вежливости, из уважения, как хозяина дома. Зевали и посматривали на часы, а он ничего не замечал после третьего серебряного стаканчика и говорил, говорил, говорил, иногда теряя нить повествования, «перескакивал» с живой природы на музыку, даже не говорил, а вещал, терзая родных и друзей непрошенной лекцией о красоте ноктюрнов Шопена.

Я понимал, что отца не хотят слушать. Мне было стыдно за него. Обычно я пробовал «перевернуть пластинку», затевал разговор о каких-то пустяках, близких всем за столом. Отец, очнувшись, смотрел на меня с благодарностью и любовью и снова замыкался в себе и на своем кувшинчике с чистым спиртом.

Как-то я снова спросил его о войне. Уже не помню почему, но отец был зол и раздражителен в тот вечер.

– Отстань! – сказал он. – Что за охота мучить себя и других. Нет ничего страшнее войны – вот и все. Война – это безумие, массовый психоз... На той войне, что тебе нужна, я не был. В атаку не

ходил, ни в кого не стрелял, и в меня не стреляли. Бомбы, снаряды – это было, а пуль не было.

– Ты сказал: «Нет ничего страшнее войны», – упрямылся я, – Финской или с немцами?

– Обе были хороши, – и вдруг он уставился в какую-то точку на стене, заговорил, но как-то странно, будто забыв обо мне. – Финская – пострашнее как будто... С немцем хоть было понятно, зачем люди гибнут. С финнами совсем не то. Потом зима... Одна зима и холод без конца и края. Лазарет был в большой палатке. Там тяжелых бойцов сто лежало, не меньше. Тут внезапное наступление финнов. Никого не успели эвакуировать. Вернулись дня через два к тому бараку. Все больные погибли от холода, замерзли. Все до одного... В Отечественную не помню таких обледенелых штабелей в два человеческих роста с погибшими, как в финскую... Я тогда и сам чуть с ума не сошел. Врачи-психиатры при стационаре редко бывают нормальными. Большая война – это огромный сумасшедший дом – и только, – повторил он свою излюбленную мысль. – Обыкновенному человеку в ней разум не сохранить. Я тогда был безумен – это точно. Делал все, что нужно было, как автомат делал, а душа была мертва.

– И ничего хорошего за всю войну? – спросил я. – Ничего радостного, чтобы улыбка или смех?

– Не помню, – отец повернулся ко мне. – Может быть, было... Было, точно. Деревень у финнов не встречал. Одни хутора. Мы стояли с лазаретом на окраине такого хутора: крепкие, красивые дома под черепицей. Финны все бросали, уходили с армией Маннергейма... Вот я зашел в дом, не помню уж зачем... Может быть, из одного любопытства, но чуть сразу обратно не выскочил. Все большое помещение за дверью было густо загажено. Солдатики там сортир устроили. Оно и понятно – все-таки в доме не так холодно загораться, как в лесу, на снегу. Всю мебель, утварь финны успели вывезти. Ничего, значит, в том доме не было, кроме дерьма на полу. И вдруг увидел на противоположной стене акварельку: лес темный, хвойный, а на переднем плане цветы светлые – колокольчики и больше ничего. И тут я пришел в себя, будто очнулся от бреда. Будто весь мир вокруг стал нормальным, и люди вдруг перестали убивать друг друга. Понимаешь, одна живая пустяковина на стене – и все внезапно ожило. Нужно было пройти через вонь, через мерзлое и свежее, все еще дымящееся, дерьмо к этой картинке, как по минному полю. Я прошел... Не знаю уж как, но прошел. Снял акварель со стены. Вот она над пианино, видишь. Мой единственный трофей за обе войны.

Он был очень брезглив, мой отец. Воинские части на Ленинградском фронте кормились не намного лучше, чем люди в погибающем от голода городе. Сам отец рассказывал, что зимой 1942 года он не мог есть пайковую гречневую кашу, потому что пахла крупа керосином. А тогда он все-таки решился и прошел по солдатскому дерьму к небольшой акварели на стене дома.

Отца давно нет в живых. Он, честный труженик, не оставил своему сыну и внукам денег, драгоценностей, недвижимости. Вот только потускневшие ордена и медали, да этот военный трофей: акварель, на которой изображен темный хвойный лес Карельского перешейка и светлые цветы колокольчиков на переднем плане.

Вспомнил о подвиге отца, когда мне было лет четырнадцать. Мы тогда проводили лето в Асари, в Латвии, на побережье. Я шел мимо старого кладбища. Почву там ровнял бульдозер. Красиво он работал – увлекся. И вдруг увидел, что нож машины приближается к торчащей из земли деревянной руке. Рванул через кусты и достал прямо из-под ковша бульдозера фигурку Христа. Она и сейчас цела. Могилы и креста, к которому и был прибит мой трофей, давно уже нет на свете, но Спаситель, спасенный еврейским подростком, цел и невредим. С собой, в Израиль, я его не взял. Вот трофей отца украшает одну из стен нашего дома.

Мое время. Оно исчезло, ушло безвозвратно. Время мое ушло, но я почему-то жив, заброшенный на другую планету, где стеклянная тара уступила свое место бутылкам из пластика. Многообразную посуду сменила одноразовая. Иногда мне кажется, что и весь мир, который меня окружает, носит одноразовый характер. Вот затрем мы его до положенного предела – и все – никакого вторичного использования тары, конец всему.

Еще в восьмом классе школы увлекся книгами М. Ильина – родного брата Самуила Маршака. Ильин умел разговаривать о сложном, о тайнах вещества с такой простотой и изяществом, что до сих пор храню трехтомник этого замечательного писателя в своей израильской библиотеке. Храню в надежде, что и мои внуки прочтут о тайнах стекла или бумаги. Я утешаю себя тем, что они, может быть, будут привязаны к моему времени, когда порой владение вещью было неразрывно со знанием ее природы. Не сомневаюсь, что есть в ушедшем времени особая прелесть и устойчивость, способная помочь моим потомкам выстоять в неизбежном поединке со злом.

Конечно же, всегда и во все времена старики считали свое время, когда они были молоды и полны сил, временем прекрасным, особым, достойным трогательной ностальгии. Но все дело в том, что своим временем я ощущаю и годы, далекие ото дня моего рождения: дни Моисея, бредущего по пустыне, века инквизиции и крестовых походов, взлет Ренессанса... В общем, все то, что было до изобретения одноразовой посуды и парового отопления.

Это я к тому, что обыкновенная дровяная печь неразрывно связана с моим веком, с прошлым тысячелетием. Собственно, все лучшие дни своей жизни я провел у раскрытой или прикрытой чугунной дверцы такой печи, глядя в огонь или слушая сладкое потрескивание горящих поленьев.

Ровно в шесть часов утра во дворе-колодце появлялся дворник Ахмет. Вооруженный метлой на длинной ручке, он начинал скрести замшелые булыжники. Этот чудовищный шум метлы будил в доме всех с уязвимой нервной системой. Мне кажется, что с детства не могу проснуться позже шести часов. И виной тому дворник Ахмет.

Часто ходил в детский театр Брянцева, на Моховой улице. Театр одно время был большим увлечением, чем кино. Вот и наш булыжный двор казался подмостками, арка двора – сценой, а случайные люди там, внизу – актерами.

Много было нищих в детстве. Помню оборванных стариков и детей. Старики пели, аккомпанируя себе на гармонии. Помню – это было великим удовольствием: получить у мамы медные деньги, завернуть их в бумажку и бросить вниз, к ногам нищих. Деньги были завернуты, а все равно помню стук упавших монет.

Спустя годы вдруг снова оказался в детстве. Слышу, кто-то поет и поет здорово. Выглянул из окна, а внизу, в арке двора, как на сцене, стоит девушка лет пятнадцати. Толстая, совсем не симпатичная девица, а голос ее мне показался удивительно красивым.

Вот грех – вытащил из кошелька деньги, завернул в обрывок газеты и швырнул вниз, прямо к ногам девицы. Мерзкий сверток она не стала подбирать, но петь бросила, что-то гневное прокричала в мою сторону и ушла.

Спросят меня на Страшном Суде, покаюсь в этом грехе обязательно.

Финский залив – тоже одна из «старых вещей» во мне. Обманная водная гладь – прообраз многого в судьбе. На вид – настоящее море без берегов, но в поисках глубины можно было брести по колено в воде почти километр. Вот и карьера в кино казалась мне «океаном», «бездной», а на поверку бредешь по мелководью – конца и края не видать.

В детстве тосковал по солнцу. Завидовал тем окнам, куда солнце пусть редко, но попадало. Особенно тем окнам, на пятом этаже, где жила красивая девочка Таня, а на подоконнике стояли горшки с настоящими, яркими цветами. Страшная, гнилая «вертикаль» дворколодец. Может быть, от этой тоски по солнцу и появился в моей жизни Израиль. Это только сейчас, на старости лет, прячусь от жарких лучей, ищу тень, проклиная всё испепеляющую летнюю жару.

Отцу сделали операцию аденомы в старой Мечниковской больнице. Ночью сижу у его койки. Зачем-то выхожу из палаты в коридор, где все внушительное пространство заполнено жутким стоном. Умирающую от рака женщину, видимо, и вынесли из палаты по этой причине. Она сидит, привалившись к стене, и даже не стонет, а хрипит от боли. Смотрю на нее и почему-то не могу идти дальше. Женщина видит меня и хрипит уже словами:

– Обнимите меня! Прошу, обнимите!

Было страшно, но я всегда страхом совести перед самим собой боялся быть трусом. Помедлив, подошел к женщине и обнял ее желтое, высохшее до костей тело... А запах! Мне кажется, что я до сих пор его слышу. Это был запах смерти. Не помню, сколько держал несчастную женщину в объятиях. Помню, что она перестала хрипеть, а потом произнесла нормальным, даже красивым голосом: «Спасибо... Хватит».

Сколько за мной грехов? Множество. Но, может быть, хоть что-то простится за ту ночь в Мечниковской больнице.

Зачем я пишу?

Может быть, затем, чтобы отогнать смерть. Вот Она в очередной раз приходит за мной, а я только отмахиваюсь с раздражением: «Погоди ты! Не все додумал, не все сказал, не все успел, не все увидел». И она уходит, вздохнув, оставляя меня на суд антибиотиков, наедине с беззащитными буквами на панели компьютера.

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Виктор Коркия

ГОЛОС МОЙ СТАНОВИТСЯ СЕДЫМ.

* * *

Среди весёлых дон-жуанов
я самый грустный дон-жуан.
Среди российских либерманов
я самый русский либерман.

Среди отъявленных злодеев
я самый маленький злодей.
Среди последних прохиндеев
я не последний прохиндей.

И мне звонят друзья-поэты —
Калашников и Бережков.
Но на пустынный берег Леты
я не зову своих дружков.

Я их люблю любовью брата,
а может быть, еще сильнее.
Моя любовь не виновата,
что мне со стороны видней,

как пожирает огонь геенны
последний райский уголок,
где мы нетленны, но мгновенны,
и под собой не чуем ног.

* * *

Он так хотел сойти с ума,
но как-то не сходилась.
Он вышел из дому. Зима
белела и светилась.

Он посмотрел по сторонам,
превозмогая жалость:
белело тут, светилось там,
а жизнь не получалась.

Он шёл в толпе, томясь одним —
умом, и тьма народа
взаимодействовала с ним
как мёртвая природа.

Круговорот каких-то морд
урчал и мыслил здраво,
и, как великий натюрморт,
лежала сверхдержава.

Над ней луна средь бела дня
плыла в небесной сини.
Он шёл, молчание храня
от имени России.

Он понимал её умом
и понимал поэта,
который смел сказать о том,
что невозможно это.

Но пусть и Запад, и Восток
исполнены коварства,
Россия все-таки не Бог,
а Бог – не государство.

1982 (?)

* * *

Те, для кого закрыты небеса,
напрасно в них глядят во все глаза.
И жалко их базарное веселье
перед железной дверью в подземелье
2007

НЕМОТА¹

Когда слезоточивый газ
течёт из юных женских глаз,
и звёзды, ставшие очами,
пронзают бездну пустоты, –
вселенский голос немоты
звучит безлунными ночами.

И крик души – безмолвный крик
над Гибралтарскими Столбами
летит, отпущенный губами
в Аид сошедших Эвридик.

И, отражаясь от небес,
окутывает Пиренеи,
и немота шумит, как лес,
и небо кажется темнее,

¹ Из пьесы «Дон Кихот и Санчо Панса на острове Таганрог».

чем тьма, чем истина, чем крик,
который всё летит, немея,
и нет ни одного Орфея
на миллионы Эвридик.

* * *

Владимиру Друку

Имеющий уши не слышит,
не видит владелец очей,
и в каждом законнике дышит
державный покой палачей.

Их дети познали науки,
их жёны спокойны во сне,
и даже предсмертные муки
у них благородны вполне.

Кровавые слёзы просохли,
и жизнь худо-бедно прошла,
и словно ослепли, оглохли
цветы легендарного зла.

И пусть миллионы не встанут
из вечной своей мерзлоты,
они повторять не устанут,
что помыслы были чисты.

Не знаю. Быть может. Не знаю.
Не знаю и знать не хочу.
Ступаю по кромке, по краю.
Безвестные кости топчу.

ОТРЫВОК ИЗ НЕЗАВЕРШЁННОЙ ПОЭМЫ

Чужих постелей властелины,
не закалённые войной,
Распутина и Катилины
не замечают за спиной.

Под гром победного салюта
им сладко естество пытаться
и грудью твёрдой, как валюта²,
невозмутимо трепетать.

Идут стальные легионы,
здоровый дух чеканит шаг.
Но экс- и вице-чемпионы
покинули тебя, Спартак!

² Эту метафору в разговоре со мной как-то обронил Алексей Дидуров, а я не постеснялся её подобрать и использовать. – В.К.

И гроб хрустальный на лафете,
в котором возлежит твой меч,
прицеплен тросом к Царь-Ракете:
игра с огнём не стоит свеч.

Их нет в продаже. И не будет.
В динамиках скрипит кирза.
Распутин немку приголубит –
и фюрер выпучит глаза.

И я с моей системой нервной
и комплексом чужих идей
тебя отправлю в 41-й –
как сверхраба на сверхлюдей!

И пусть скрестятся ваши гены
здесь, на коломенской версте,
и крест возникнет из геенны,
и жид, распятый на кресте...

середина 80-х (?)

* * *

Если разобраться, если вникнуть,
стоит ли внимание привлекать?
Можно к одиночеству привыкнуть –
мало ли к чему не привыкать!

Я могу довольствоваться малым.
Не пора ли выйти из игры?
С головой накроюсь одеялом –
и открою новые миры.

Как улитка или черепаха,
в спячке познающая себя,
за кордоном нищеты и страха,
за границей собственного я,
где уже ни боли, ни обмана,
где не страшно жить и умирать,
где, по крайней мере, как-то странно
злобствовать, витийствовать, играть, –

жизнь моя едва ли мне приснится.
В полночь в Елисейские поля
выпорхнет из рук моих синица
и авось сойдет за журавля.

В тёмном небе некого стесняться –
лишь бы не задеть за провода.
Перед смертью – что мне приbedняться,
после смерти – что мне правота?..

Вербное настанет воскресенье,
а когда – бессмысленно гадать.
Если вникнуть – адское везенье.
Если разобраться – благодать.

конец 80-х

МОНОЛОГ ОФЕЛИИ В ОБРАЗЕ ЛУНЫ³

Синьоры, я – Луна, планета Снов!
Я освещаю отражённым светом
сон разума, брожение умов,
священный ужас, свойственный поэтам,

безумный трепет непорочных дев
и непорочный трепет дев безумных,
кровосмешенье датских королев
и робкие шаги злодеев юных.

Мои лучи слепят глаза слепцов
и заполняют пустоту природы,
и праотцы взирают на отцов,
на вымершие города и роды,
как Бог живой на вымерших богов,
как дети на отцов своих ушедших,
но отражённым светом всех веков
я обливаю только сумасшедших!

Я развращаю просвещённый ум
и отвращаю от дневного света.
Бесплодные плоды великих дум
я заполняю пустотой Поэта.

И в пустоте я воздвигаю свой
златой чертог! И всё в моем чертоге –
ползучий гад, и человек, и боги –
всё что ни есть – и сам чертог златой!

Мой свет, синьоры, – это высший свет,
а высший свет, синьоры, – свет бессрочный –
свет истины, которой в мире нет,
и слёзы девы, может быть, порочной!..

ПОЭЗИЯ

Всегда отделена от государства,
во времени нигде ей места нет.
Но царство Божье – истинное царство.
А кто не верит в это – не поэт!..

³ Из пьесы «Гамлет.гу».

* * *

Памяти Алексея Парщикова

Статуя сойдёт с пьедестала без помощи ног.⁴
 Но тьма велика, и никто ничего не заметит.
 И облик Дявола примет разгневанный Бог,
 и двадцать веков светом истины разом осветит.

Но что нам до истины? – этот холодный огонь
 исходит с небес, до которых любви не добраться.
 Свеча догорает, и воск обжигает ладонь.
 Того и люблю, с кем придётся навеки расстаться.

Закаты Европы красивы в пространстве пустом.
 Статуя без ног переходит века и границы.
 Статуя без ног огибает пустующий дом.
 Свеча догорает, и ты опускаешь ресницы.

Природа боится, но не пустоты, а себя.
 Себя, то есть тех, кто собой заполняет природу.
 Статуя без ног заполняет природу, и я
 уже не могу различить пустоту и свободу.

* * *

Голос мой становится седым,
 чтобы легче превратиться в дым.

Этот дым восходит к небесам,
 чтобы свет пролился, как бальзам.

Чтобы кто-то через триста лет
 вдруг открыл, что был такой поэт...

2009

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА

*Древний Египет. Цезарь – возлежит в позе Сфинкса.
 Появляется Клеопатра – в прозрачной одежде, не
 оставляющей никаких сомнений.*

Клеопатра: Чем занят Цезарь?

Цезарь: Клео! Заходи.

Клеопатра: А ты не занят?

Цезарь: Для тебя? Ты шутишь?
 Иди ко мне.

⁴ Это стихотворение, посвященное Алексею Парщику, было опубликовано в моей книге «Свободное время» (1988) в иной редакции. – В. К.

Клеопатра: О чём ты думал?

Цезарь: Так...
Когда-нибудь меня убьют...

Клеопатра: Быть может...
А я сама убью себя. Змейей.

Достаёт маленькую змейку.

Смотри. Вот эта маленькая змейка
вопьётся мне сюда.

Цезарь: Сюда?..

Клеопатра: Сюда.

Цезарь: Ты носишь свою смерть с собой?

Клеопатра: Царица
всегда должна иметь всё при себе.
Дарю тебе на память.

Цезарь: Клеопатра!..

Обнимает её. Клеопатра выскальзывает из его рук.

Сама ты – змейка! Я хочу любви!
Иди ко мне.

Клеопатра: Не время, Цезарь.

Цезарь: Змейка!
Хочу любви!

Вновь притягивает её к себе.

Клеопатра: Не время.

Вновь выскальзывает. Хохочет и убегает.

Цезарь бежит за ней и, поскользнувшись, падает.

Что с тобой?

Цезарь: Я вдруг себя увидел... в луже крови...
на мраморном полу... А надо мной –
мои друзья... Мои друзья-убийцы!..
Стать Цезарем – и пасть от рук друзей!..

Встаёт.

Ты представляешь, Клео?

Клеопатра: Ненавижу,
когда мне сокращают имя.

Цезарь: Блеск!
Иди ко мне.

Клеопатра: Кто сокращает имя,
тот сокращает жизнь.

- Цезарь: Твою?
- Клеопатра: Свою.
- Цезарь: Я вижу, ты не в духе. Жаль!..
- Клеопатра: А в Риме
тебя зовут по имени?
- Цезарь: Меня?
Меня зовут везде и всюду – Цезарь.
Я – Цезарь, понимаешь?
- Клеопатра: И жена
зовёт тебя в постели – Цезарь?
- Цезарь: Клео,
иди ко мне.
- Клеопатра: Зачем? Чтобы тебя
звать Цезарем в твоей постели?
- Цезарь: Слушай,
чего ты хочешь?
- Клеопатра: Власти.
- Цезарь: Надо мной?
- Клеопатра: Да, если ты, и правда, Цезарь.
- Цезарь: Правда
есть то, что называют правдой. Рим
устроен так, что правда – это Цезарь,
а Цезарь – это правда.
- Клеопатра: Здесь не Рим.
А Рим – не здесь.
- Цезарь: Неправда. Рим – где Цезарь.
Я занят, Клеопатра.
- Клеопатра: Чем же?
- Цезарь: Тем,
чего ты хочешь. Властью.
- Клеопатра: Цезарь...
- Цезарь: Властью!
Иди, я занят.
- Клеопатра: Я хочу любви!..

Набрасывается на Цезаря, как змея, и жалит его поцелуями.

Юрий Беликов
СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

ГОРОДА ЖАВОРОНКОВ

Нужен синий горячий цемент,
и, пока он ещё не остынет,
надо жаворонков позвать –
мастеров по разнеженной сини,
пусть они свои арки чертят,
ставят клювиками разметки
и раскручиваются в небо,
как невидимые рулетки!
Сколько птахи хотят возвести
балюстрад, куполов и кровель!
Будто жаждут они возместить
каждый выщербленный Акрополь.
Ах, как жаворонки спешат,
неизвестно на чём повисши,
в небе выстроить города,
только чтоб от земли – повыше.
И колотят в лазури так
молоточками эти птицы,
словно в те города вот-вот
кто-то должен переселиться.

НА ИСЧЕЗАЮЩЕЙ ВЕТКЕ

Кроны в морозном растворе –
связка воздушных шаров,
что улетают и вскоре
все улетят со дворов.

Только невзрачная птичка
в шутку, а может, всерьёз
чиркает спичку за спичкой
клювом своим о мороз.

Так она тщится, пичуга,
перебороть в себе дрожь,
что не вспорхнёт от испуга,
если с ней рядом пройдёшь.

Ветка под птицей – исчезла.
Птица на ветке – видна.
Держится только на честном
гибельном слове она.

* * *

Только сяду за стол, только открою тетрадь,
только возьму перо, как за моей спиной
кто-то встаёт надо мной, будто над школьником мать,
кто-то мешает писать, тучею встав надо мной.

Оглянусь – никого. Снова бумаги коснусь.
Но меж листом и пером – словно из камня верста.
Кто там стоит надо мной?! – в ужасе я оглянусь.
Так же запущен мой дом. Так же тетрадка пуста.

Если ты вечность, уйди. Видишь, я робок и слаб.
Время – доход мой, а я – взяточник света и тени.
Если ты вечность, тогда топай, откуда пришла!
О, как воркуют в окно голуби сизой сирени!

Дай же, как всё, собирать низшего сорта грибы,
если нет белых вокруг, о, прояви недоверье,
чтобы чехонь отрывать мне от магнита глубин,
а не тайменя!

Леска лопнет вот-вот. Ночь спиннигует луной.
Время, кричу, помоги! Скоро рука устанет.
Время вильнуло хвостом. Вечность стоит надо мной.
Кто одолеет кого? Вытянет или затянет.

* * *

От меня уходит мастерство,
но не окликаю я его,
пусть оно, постылое, уходит,
я с ним, други, больше не в родстве,
о, не упрекайте в мастерстве,
да ещё при всём честном народе!

Кто же мне отныне сват и кум?
Может, окаянный Аввакум,
гиблый ли Высоцкий – я не знаю,
знаю лишь: коль я не так живу,
тотчас прибегаю к мастерству,
но ведь есть же дни: не прибегаю!

Значит, в эти редкостные дни –
Боже их спаси и сохрани! –
ни единой мыслью, ни поступком
не смутил творения творец
и без страха выпил наконец
яд из приготовленного кубка.

Только в человеческих языках,
даже если взбить их звонкий прах,
не найти ни слова, ни намёка
на туманный помысел о том,
что же брезжит там, за мастерством,
не найти, но это лишь до срока.

ПОРТРЕТ В ГЛУБИНЕ ПЕЩЕРЫ

Зачем творец сменил наземный свет
на острый мрак пещеры безымянной,
где сам себя, негорбившийся,

сверг

на гулкие колени покаянно,
и на коленях в глубь её проник,
и там, в одном из дальних ответвлений,
нарисовал на камне женский лик,
не распрямив ободранных коленей?

Затем ли ты под своды тьмы и льда
уносишь, мастер, замысел портрета,
чтоб скрыть его от света навсегда
иль навсегда открыть его для света?

СТАРАЯ КАССЕТА

Меж прогалами текста,

просветами нотного стана

пробивается гул,

будто с луга альпийского,

как с пьедестала,

кто-то в бездну шагнул!

Что за голос, мощённый,

как Новгород мощью брусчаток,

голосами другими,

по ленте магнитной трубит

журавлиным пунктиром,

журчит из глубин глуховато

пересохшей речушкой,

чей норы забыты?

Размагничены годы.

Какие –

неведомо даже.

Лишь в прогалах меж туч

луч мелькнёт

и померкнет,

и музыка – та же,

только зябко чуть-чуть.

И уже не понять,

где помеха,

где вежа для слуха:

то ли главный мотив,

то ли этот медвежий привет,

что за тридевять тембров

доходит до каждого уха

и гудит, словно поезд,

идуший со станций кассет?

СЕРДЦЕ-САПОГИ

Ты не знаешь, кто сердце моё обул?

Не сезонные, чай, сапоги.

Отчего этот бульк, этот хлюп, этот гул,

как в залитом тоннеле шаги?..

Уж не ты ли сердце обула моё,

чтоб не хлопотно было в аду

грешных душ на ходу собирать мумиё,

где я в сердце твоём не пройду?..

Или всё же сам я себе нагадал

сердцебой колокольных частот?

Только книгу «Пuls птицы» мой врач не читал

и навряд ли уже прочтёт...

Будет мышцу рукавчиком чёрным душить,

как повязками всех панихид,

чью длину и давление если сложить, –

зачастит, зачастую, зачастую...

Может, так вот и Бог, сколотивший миры,

ударяется в некий торец,

чтоб затем убедиться: до этой поры

не был равен творенью Творец?..

СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ

С какого берега ещё помашешь мне ладонью?
Во скольких реках я крещён – припомнить не могу.
Я не единожды стоял над тою же водою.
Переплывал, а ты была на новом берегу.

В руке моей бренчит брелок больших и малых речек.
Живу – как будто поднесли ключи чужих пространств.
Такою связкой – размахнись! – полмира искалечишь
и Чингиз-ханом нарекут с такою связкой враз.

Ах, Кама, Свислочь и Двина, Катунь и Чусовая,
На вашем дне лежат мои шальные двойники.
Я вас огромным кадыком, как петли, разрываю.
Неужто Бог мне не пошлёт единственной реки?

Я в собирании ключей дошёл до Иссык-Куля.
Но где тут берег? Где ладонь? Всё так удалено.
И я плыву на всплески рыб, лишь об одном тоскую:
о неужели Иссык-Куль мне переплыть дано?

ЗАГОВОР ЗЕМЛИ

...И дом, где ты живёшь, и дом, где я живу,
и тайный домик наш с трёхдневными ключами,
и пригородный лес, что красную листву
в осины разливал на посошок в печали,
и странный тот загар, что траурной каймой
старательно обвёл изгиб другого тела, –
всё рухнуло, сошло, растаяло, истлело,
но пригородный лес, но домик потайной,
но дом, где я хриплю, но дом, где ты лепечешь,
вдруг хлынули на нас, отмщение суля.
Чем крохотней земля, тем чаще наши встречи,
Чем больше наших встреч, тем крохотней земля.
На острове стоим. Обвалы и проклятья
со всех его сторон. Сближаемся. И вот
становится земля размерами с объятие.
Мгновение. И нас ничто не разомкнёт.

* * *

Душа исчезла. В ком она?
Ведь если солнце исчезает,
то свет его ещё играет
на стёклах дальнего окна.

А в стёклах дальнего окна,
коль к ним придвинуться поближе,
ты видишь женщину?

– Не вижу!

А что ты видишь?

– Горбуна!

Как на манок сверхзвуковой,
летят все беды неминуе
каскадами мышей летучих
ко мне и кружат надо мной.

О, я бы счастлив был вполне,
когда бы тьма земных пороков
во мне сгустилась одиноко
и завершилась бы во мне!

* * *

Я весь, природа, пред тобой –
не утаившийся и кроткий,
плывущий по реке ночной,
как жаль, что я проснулся в лодке,
и кость височная моя
железа крепче оказалась,
и шарф, в который прыгнул я,
не от души был связан малость,
но освещён дремучий путь
одной отрадою всего лишь:
на то с усмешкою взглянуть,
к чему ты так меня готовишь.

ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ

Относит лодку память бытия.
Шумят всё глуше перекаты быта.
И то, что прежде помнилось, забыто.
И звёздный плёс восстал из забытья.
И мчатся, не затрагивая слух,
куда-то вдаль наказы домочадцев,
и слышно, как в окно моё стучатся
копытца почек – тополь их пастух.
И видно, как вприсядку пляшет дом
соседский в быстрых линзочках капли,
и в то, что я воскрес как две недели,
мне отчего-то верится с трудом.

Мир полон двоеверия пока.
А я, как тот язычник, право слово,
огню предавший идолов былого,
теперь пасу одни лишь облака.
И, подводя бесшумную черту
своим веслом, ускорившим течение,
войду я в золотое заточенье,
где, может быть, постигну темноту.

ПАЛЬЦЫ

*Старуха нищая клюкою
Мой труп спокойный шевельнёт?*

Александр Блок

Старуха нищая с клюкой
среди таких же постояльцев
стоит с протянутой рукой,
где есть ладонь, да нету пальцев.

Россия, где твои персты?
За тем холмом или за этим?
Не подадим. И не ответим.
И пальцы в крест не сложишь ты.

В какой, Россия, стороне
следы семян твоих сохранны?
Твой указательный – в Чечне?
А в «Белом доме» – безымянный?..

А средний твой – на дне морском?
В подлодке «Курск», лишённой слова?
Молчу, Россия, о большом,
поскольку нет его, большого.

Ладонь, которую в кулак
не сжать, сама себе гостинец.
Ещё забыть не может, как
болит Владикавказ-мизинец.

И сам Господь, не пряча слёз,
сквозь пальцы те глядит и стонет:
– Творец, не ты ли произнёс,
что мир лежит, как на ладони?..

Талина Климова

ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ

* * *

Давай до холодов махнём в Иерусалим
и через Львиные и Яффские ворота
возьмём его, и сделаем своим
до первого – от сердца – поворота,
до взгляда врозь,
до слова поперёк,
но вряд ли с нами приключится это.
Библейское не за горами лето,
и в наших паспортах ему отмерен срок.

Махнём, хотя б рукой... Какие пилигримы –
с буханкой чёрного и водкой ледяной –
нагрянем будто снег по адресу:

домой,
где наша жизнь без нас бежала мимо,
где по-людски меня ты отогрел,
безжалостно и не по-философски.

Махнём скорей!
Нас ждёт Наум Басовский
со стопкою стихов, с пучком поющих стрел.

* * *

*Мене, текел, фарес –
исчислено, взвешено, разделено...*

Книга Пророка Даниила, гл. 5, 25-28

Быть полукровкой, не различая в себе горизонта,
черты оседлости, линии перемены дат,
за своих умирать на оба воюющих фронта,
откинув к западу ноги, к востоку – взгляд,
еще влажный живой зелёный, с зимой вразрез,
так просто расположивший к себе земную ось.
На каком языке зубрила: *мене, текел, фарес*, –
чтобы чисто по-русски буркнуть: *авось...*

Там ржаная горбушка – пустыни за жаристой корка,
тут похрустывал снег, будто праздничная маца.

Не счесть всех исходов и войн,
и тьмы, и казней, и торго,
не взвесить всей крови, рвущей сердца.

И я – подозрения, злобу и смех навлекая –
побочная дочь Сиона в семействе осин и берёз,
шевелю губами, как бабки мои – Феня и Хая.

Кровинкой меня называя, кто давился от слёз?

ТАШКЕНТ. ПАМЯТИ СКВЕРА

Уроженец Ташкента, малютка «матис»,
в шестьдесят лошадиных сил ломовой ишак,
тронулся в сторону сердца – налево и вниз –
пронюхав, что город стоял на ушах:
бездомные майны клевали бездомных грачей,
дозорные гнёзда разбиты до слепоты,
на пнях и на свежих спилах – цветы
для всех невинно убитых чинар и карагачей,
всех – царской выправки,
редких пород,
лет сто дышавших музыкой высших сфер.

Эхом разбился колониальный сквер.

На Алайском базаре задохнулись тмин и зира.
Не стало воздуха.

Но сколько сирот
с растительной памятью, притягивающей кислород!
В развороченном небе не всё заживёт до утра.

Убийственная в Ташкенте жара.

АЛЕКСАНДРУ РЕВИЧУ

1.

Сошью тебе небо из птичьих клиньев
на скорую руку,
на живую нитку собранных ливней
на всю округу...
Такое небо – как лоскутное одеяло,
чтобы пело, и летало, и сияло

под духовую музыку, под ветерок
от дудочки губ моих, под рэп и рок
до семи небес и с начала...
Даже месяц взыграл! Полон рог
молодого вина... Не пора ли виниться?
И ты – как юнец, и я – как юница.
И нимбом пернатым над нами венки –
зяблики, пеночки и вьюрок,
чтобы друг в друге нам пробудиться,
пока мир так нежен и так одинок.

2.

...и дожили до зимнего времени,
всякий снег узнавая в лицо,
будь он вождь африканского племени,
с голубиное – вдрызг – яйцо.
Он то падал, то шёл чуть живой
сечкой, хлопьями, пылью, пельменями,
сам в себя уходя с головой
по крутому пробору на темени,
по касательной всех, по косой,
чтоб за стрелкой успеть часовой,
разлетевшись до летнего времени...

3.

*Ну, при чем здесь война?
Просто пёстрое лето,
Страна Девятнадцати Лет.
Было – и нет.*

Александр Ревич

...не шёлковый – за версту видать,
в рубашке родившийся воевать,
с породистым бантом на шее,
с прискоком крапиву потешной саблей срубая
дёру давал от злого бабая,
а ночью с портрета напуган Блоком
в космах как у бабы-яги...

Руки в ноги, беги,
поднимай рукопашный свой космос,
боец, огурец, шальной оголец,
под огнём и в плену 41-го летом,
а потом ползком по Азову зимой,

чтоб, варясь до костей в сталинградском котле,
вынырнуть – как из утробы – поэтом
и раненой волей дышать на земле
с осколком в боку, со стихами солдата
в составе штрафбата, в самом соку,
в Стране Девятнадцати Лет.

Было – и нет.

ИМЯ

В переводе с болгарского *галя* – не имя,
но глагол, и пишется со строчной,
а Вера, Надежда, Любовь – с прописной
разгуливали нагими.

Имя *Галя* гвоздем изгваждало моё детство,
грезилась Злата, Земфира, Кармен, Евридика.

Парнишку, на даче скучавшего по соседству,
ввела в обман изощренно и дико,
представившись: Иоланта, короче – Ио,
иностранный, мифический, золотой...
– «Иоланта» ведь опера?!

И ты не слепая...

Родители чуть не назвали Руфина,
за то что – девочка (ждали сына),
за то что денежная в стране объявилась реформа,
в созвучии с ней и росла бы Руфина,
если б не телеграмма от тёти на двух бланках:
«...за синие очи и чёрные волосы назовите Галка».

Теперь на 8-е марта все, кому не жалко,
жалуют кубики от «*Gallina blanca*»,
хотя во мне ничего однокоренного с курицей,
галатами, галлами и гало,
но кое-что от тишины (повезло),
от милости её и смелости –
ядро молочно-восковой спелости
на вкус и на слух, и во взгляде.

Галя – болгарский глагол
ласкать, нежить, по головке гладить.

Борис Крутиер

КОГДА ИДЕИ ОВЛАДЕВАЮТ МАССАМИ

В России две беды, не считая нас.

Чтобы умный пошел в гору? Да кто же его туда пустит!..

Надежды живут, пока есть кому их хоронить.

Незнание закона не освобождает от знакомства с его слугами.

Умному чаще приходится доказывать, что он не дурак.

В жизни причин для смеха всегда больше, чем поводов.

Мало иметь чувство юмора, надо ещё иметь с кем его разделить.

Деньги и я всю жизнь работали в разные смены.

Ничто так не мешает жить не по средствам, как их отсутствие.

Соль жизни оказалась слабительной.

Чтобы показать себя с лучшей стороны, женщине всё время приходится вертеться.

Когда же, наконец, мы научимся думать, а не соображать?

В начале было слово, потом – сплошная импровизация.

Одиночество переносится намного легче, когда никто не лезет в душу.

Смерть – это те же грабли, на которые наступает жизнь.

Кто пьёт не с нами, тот не сопьётся!

Оптическое прицел – это такое устройство, которое отсекает от человека всё живое.

Одноклеточные первыми поняли: чтобы выжить, надо делиться.

Здоровый образ жизни – это образ, а не жизнь.

Ах, если бы защитникам Родины платили бы, как футбольным!

Отсутствие здравого смысла мешает мыслить, присутствие – жить.

Если бы не секс, многие мужья валялись бы целыми днями на диванах без дела.

Когда идеи овладевают массами, массам ничего не остается, как расслабиться.

Хорошая жена возвращается чаще, чем уходит.

Спать надо только с теми женщинами, которые снятся.

Чтобы делать всё по-своему, жене всё время приходится соглашаться с мужем.

Старость – это когда чужому здоровью начинаешь завидовать больше, чем чужим успехам.

На нехватку ума жалуются только умные.

Ничто так не подтверждает возможность непорочного зачатия, как рождение глупости.

Провалы в памяти заполняются небылицами.

Штаны из высоких материй шьют себе только идеалисты.

Ничто так не остается в памяти, как склероз.

Только в старости начинаешь понимать, что в молодости делал не те ошибки.

Как много надо для счастья человеку, когда у него все есть.

И один в поле воин, если он борется с самим собой.

Жене надо говорить всё. Но не больше...

Считай, что ты уже на полпути любви ко всему человечеству, если любишь его слабую половину.

Нет ничего более индивидуального, чем общечеловеческие ценности.

Если бы евреев не убивали две тысячи лет, они бы не выжили.

Леонид Кацис

1904: О ГЕРЦЛЕ И О СЕБЕ

Представляемые в этом номере «ИЖ» статьи и стихи Жаботинского удостоились в свое время большого количества переводов на разные языки. И, конечно же, не только из-за их актуальности.

Работы, собранные год спустя после их публикации в одесском журнале «Еврейская жизнь» в книжечку «Доктор Герцль» (заметим, что это лишь небольшая часть текстов Жаботинского о Герцле), – помимо всего, замечательный образец публицистики, чтение которой требует, однако, некоторых представлений не только о *русской* или *еврейской*, но даже об *одесской* журналистике начала XX века.

«Читающие по-русски, – замечает Жаботинский, – совсем как-то не знают – разве только понаслышке, – что Герцль был большой стилист и серьезный художник слова. До сих пор его переводили на русский язык так скверно, что не только до стиля, но и до смысла было трудно добраться». О Жаботинском можно сказать, что его читали по-русски не лучше, чем Герцля на этот язык переводили.

В траурной статье «Сидя на полу...», обсуждая «дивное искусство» Герцля «находить вовремя нужное слово», которое может вернуть евреев к историческому творчеству, т. е. к переходу от места объекта истории к ее субъекту, Жаботинский пишет: «Мы тогда сидели за канавой, у края большой дороги жизни, и по дороге совершалось величавое шествие народов к историческим их судьбам», а «в глубине души назревало отвращение к месту нищих за канавой». И чуть далее заявляет, что «убил бы себя», если бы ему пришлось «примирено вернуться назад и сесть у канавы...».

Для такого мастера публицистики как Жаботинский навязчивое использование одного и того же образа не может быть не мотивировано; оно мотивировано и знаково, и принципиально. Подобную терминологию употреблял соратник Герцля Макс Нордау, называвший положение современного ему еврейства «грязной вонючей клоакой», а перлом создания – того, кто выведет еврейство из этого позорного состояния. Именно в таких терминах говорили об этом и русско-еврейский писатель Бен-Ами, и Макс Мандельштам (русский соорганизатор Первого Сионистского конгресса), и его родственник О. Э. Мандельштам, вспомнивший в «Шуме времени» о грязной еврейской клоаке.

А продолжает свои рассуждения Жаботинский, переходя к ключевому слову не только этой конкретной статьи, но и всей своей деятельности в журнале «Еврейская жизнь»: это слово «работа», которая естественно, должна быть работой в Палестине – сионистской работой. Однако здесь перед нами *ранний* Жаботинский. Он еще не следит строго за терминологией: здесь и нить Ариадны, и строитель Сольнес Генрика Ибсена, «Привидениями» которого молодой одесский театральный критик Altalena тогда увлекался. Обсуждая же «херем» «буржую», Жабо-

тинский пользуется термином «мещане» Горького, о роли которого для русской интеллигенции, он писал в 1902 году в одесских «Вопросах общественной жизни». Наконец, Жаботинский ссылается на «Южные записки» – «журнал безукоризненно передовой и вообще один из лучших в настоящее время русских журналов», а нам стоит помнить, что именно в этом журнале была напечатана знаменитая статья «Кадима», которую можно считать настоящим началом сионистского Жаботинского.

Даже рискованная идея – «выработать из жида еврея» для тогдашнего еврейского читателя, едва ли не современника Достоевского, прочитывалась на фоне главы «Третий сын Алеша» из «Братьев Карамазовых». Главы, которую одессит Altalena не мог не знать: «К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время пред тем прожил не в нашем городе. Года три-четыре по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, "со многими жидками, жидками, жидишками и жиденятами", а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но "и у евреев был принят"».

И если Достоевский не пояснил, что это значит, то Жаботинский сделал это в статье памяти Герцля, показав, что Ф. П. Карамазов, да и Ф. М. Достоевский, никаких настоящих евреев видеть до 1881 года в Одессе и не могли, а сегодняшние поколения и евреев, и не евреев смогут, если еврейский народ выберет путь Герцля.

Так выглядела эта шоко-стилевая терапия для русско-еврейского читателя 1904 года.

И еще одна деталь. Жаботинский прекрасно помнит, что он выступил против «угандийского проекта» Герцля, и более того, он, если верить его воспоминаниям, попытался обсуждать на Сионистском конгрессе переписку Герцля с турецким султаном или встречу Герцля с русским министром-антисемитом Плеве. Но эти действия Герцля, вызвавшие неприятие многих сионистов, Жаботинский уже спустя год оправдывает, считая осуждение подобных действий пустым эстетством. Сам Жаботинский, как известно, никогда ничем подобным не болел. Но заслужил те же самые претензии, что и основатель политического сионизма. Пройти мимо этой параллели в жизни и деятельности двух лидеров сионизма, читая публикуемые здесь статьи, невозможно.

Вторая статья «Герцль: идеалы, тактика, личность» тоже обращена еще к русской аудитории. Не будем кривить душой, самые активные русские сионисты были, впрочем, как и Герцль, и даже Жаботинский, людьми вполне ассимилированными. Поэтому так и волнует Жаботинского мнение русского читателя «Старо-новой страны». А текст этот для Жаботинского важен тем, что он стремится четко отделить утопию от реального политико-фантастического романа, преследующего вполне конкретные политические цели: пропаганды, убеждения и т. д.

В 1904-м могло показаться, что рассуждения о 1923 годе или о 1953-м выглядят как раз утопически. Однако до 1948-го (создание Государства Израиль) Жаботинский не дожил всего восемь лет... Вспомним, как Писание дает четкий способ отличить пророка от лжепророка: надо спросить его не о том, что будет через тысячу лет (непроверяемое «утопическое» лжепророчество!), а спросить: «Что будет завтра?».

Отметая обвинения Герцля в «буржуазности», Жаботинский пересказывает его картину осуществления гражданских идеалов: прямые и свободные выборы, кооперативное хозяйство, равенство женщин с мужчинами и т. д. Жаботинский говорит, что такой Палестине многие бы позавидовали. Но разве не завидовали израильским кибуцам строители светлого будущего, а левый израильский постмодернистский дискурс, чаще ведущий к идее национально-государственного самоубийства, и до сих радуется леваков всего мира...

И еще: Евросоюз, уже давно не симпатизирующий Израилю, решил, наконец, после взрывов коптских и иракских церквей, защитить христиан исламских стран. А это свидетельствует о том, что «завтра» начинает существенно отличаться от «сегодня». Более того, если начать отсчитывать «вчера» от года написания Жаботинским статей памяти Герцля и вспомнить, через что пришлось пройти евреям в XX веке, то сегодняшние постмодернистские угрозы старо-новой Стране можно и вовсе сбросить со счетов. И это тоже providенциальные знаки исторических и политических процессов, подобных тем, что прочувствовали Герцль и Жаботинский, знаки, которые сопровождают историю сионизма на всем ее протяжении.

Еще интереснее анализ Жаботинским действительно «футуристического» визита в будущую Палестину корабля «Futuro», на котором около пятисот лучших людей всего мира без различия вер и национальностей будут совершать поездки в сионистскую Палестину четыре раза в столетие. Мы не хотим сопоставлять этот эпизод с бандитскими кораблями, которые заполнены «лучшими людьми» с арматурой и заточками, которых приветствовали разного рода нобелиаты...

Так надо ли Израилю пытаться убедить миллиард заведомых врагов со всеми их CNN и т.п., или, действительно, стоит ограничиться пятьюстами (условно говоря) теми, с кем действительно стоит разговаривать?

Но решить этот вопрос могут лишь свободные люди, а не те носители «ливрей», которых высмеивали (без различия вер) и русско-еврейский писатель Пружанский, и один из основоположников жанра авторской песни Галич, ведь рифма «еврей-ливрей», которую обсуждает у Герцля Жаботинский, существует уже лет сто пятьдесят!

Жаботинский предложил своему читателю выбор: гетто или Библия. У Герцля он увидел, естественно, Библию и пророчество Исайи. И своим читателям предложил путь Бар-Кохбы. И потому Кумранские рукописи, которые связаны с этой эпохой, попали не в какой-то Британский музей, а в Музеон Исраэль.

Впрочем, чтобы кому-то не показалось, что слова Жаботинского в ту же самую минуту подняли и сорвали со своих насиженных мест еврейскую массу, необходимо пояснить: в «Еврейской жизни» статьи эти появились после того, как в разделе провинциальной жизни был опубликован псевдонимный текст о том, как раввины мешали читать кадиш по Герцлю, закрывали синагоги и т. д. В свое время мы попытаемся показать, что и этот текст написан Жаботинским, а пока будем читать то послание Жаботинского своим читателям – и 1904 года, и современным, которое он подписал своим полным именем.

Владимир Жаботинский
*ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО**

HESPÊD¹

Он не угас, как древле Моисей,
на берегу земли обетованной;
он не довел до родины желанной
её вдали тоскующих детей;
он сжег себя, и жизнь отдал святыне,
и «не забыл тебя, Ерусалим» –
но не дошёл, и пал еще в пустыне,
и в лучший день родимой Палестине
мы только прах трибуна предадим...

И понял я загадку странных слов,
поведанных в Аггаде Бен-Барханой, –
что погребен пустынею песчаной
не только род трусливых беглецов,
ничтожный род, рабы, в чей дух и спины
вожгла клеймо египетская плеть, –
но кроме них среди немой равнины
в сухом песке зарыты исполины,
их сердце сталь, и тело их как медь.

Да, понял я сказанье мудреца:
весь мир костями нашими усеян,
не сорок лет, а сорок юбилеев
блуждаем мы в пустыне без конца;
и не раба, вскормленного бичами,
зарыли мы в сухой чужой земле:
то был титан с гранитными плечами,
то был орёл с орлиными очами,
с орлиною печалью на челе.

И был он горд, и мощен, и высок,
и зов его гремел, как звон металла,

* Статьи 1904 года памяти Герцля планируются к публикации в четвертом томе «Полного собрания сочинений» Владимира Жаботинского, который готовится к выходу в свет летом 2011 года; стихотворение «Hespêd», написанное в том же году, войдет в отдельный том, посвященный его поэзии.

Редакция благодарит за предоставленные материалы инициатора, составителя и главного редактора издания Феликса Дектора.

¹ «Еврейская жизнь», № 6, 1904, июнь.

Эспэд (תַּסְפֵּד) – надгробное слово (*иврит*). Начертание букв латиницы, транскрибирующей иврит, приводится по публикациям 1904 года.

и прогремел: во что бы то ни стало! –
и нас повёл вперёд и на восток,
и дивно пел о жизни, полной света,
в ином краю, свободном и своём, –
и днём конца был день его расцвета,
и грянул гром, и песня не допета...
Но за него **мы** песню допоём!

Пусть мы сгниём под муками ярма,
и ляжет грязь на клочья нашей Торы;
пусть сыновья уйдут в ночные воров
и дочери – в позорные дома,
и в мерзости наставниками людям
да станем мы в тот черный день и час,
когда тебя и песнь твою забудем
и посраим погибшего за нас...

Твой голос был, как манна с облаков,
и без него томит нас скорбь и голод;
из рук твоих упал могучий молот –
но грянем **мы** в сто тысяч молотков,
и стихнет скорбь от их живого гула,
и голод наш умрёт среди разгула
и пиршества работы напролом:
мы прогрызём утесы на дороге,
мы проползём, где нам изменят ноги,
но – *chaj ha Shêm!*² – мы песню допоем.

Так в оны дни отец наш Израиль
свой стан привел к родимому порогу –
и преградил сам Бог ему дорогу
и бился с ним, но Яков победил.
Грозою нас, как листья, разметало,
но мы твои потомки, Богобор:
мы победим «во что бы то ни стало» –
пусть выйдет Бог на стражу перевала,
и мы пройдем Ему наперекор!

Спи, наш орёл, наш царственный трибун.
Настанет день – услышишь гул похода,
и скрип телег, и гром шагов народа,
и шум знамён, и звон веселых струн;
и в этот день от Дана до Бершевы
благословит спасителя народ,
и запоят свободные напевы
и поведут в Сионе наши девы
перед твоей гробницей хоровод...

² *Хай а-шем! (иврит)* – Здесь: клянусь Именем Божьим!

СИДЯ НА ПОЛУ...³

Помню еще из детских лет одно место в Pirké Aboth⁴: «Не утешай ближнего своего, – учил Симеон, сын Элеазара, – пока еще лежит перед ним усопший». Вряд ли скоро мы сможем обменяться друг с другом словами утешения, потому что долго еще будет усопший перед нами. Тому причиной самые особенности нашего горя, горя нынешнего человека. Мы ведь не так горюем, как наши деды в старину. Горе дедов напоминало грозу: у того поколения было цельное сердце, и когда налетала скорбь, они умели рыдать и рвать на себе волосы: гроза освежала душу, и потом было легче. Не таково наше горе. Мы разучились кричать от нравственной боли, да и боль эту чуем не так определенно и ярко. Сказывается то раздвоение души, которым заражен современный человек: сердце его как бы раскололось на две половины, и одна за другою следят и сторожат насмешливо друг друга, не позволяя целиком отдаться ни радости, ни горю, и все, что мы чувствуем, – чувствуем только в полдуши. Сказывается, что все острые недуги дедов, которые налетали, как буря, рвали и терзали крепкое тело и, попирав, отлетали, и бодрым подымался человек на работу, – эти недуги у нас, у внуков, стали затяжными болезнями, которые не рвут, не терзают, но всасываются понемногу, и капля за каплей отравляют нашу кровь, и уже до могилы не отпустят свою добычу, день за днем изводя не пыткой, не мукой, а именно своею тихой полуболью и недомоганием. Так и наше горе. Мы теперь не бьемся об стену головою и не захлебываемся в судороге рыданий. Горе наше тихое, горе наше бледное, как малая капелька яду или слабый укол заржавленной булавки; но уж оно понемногу впилося и въелось в нас, и каждый день обновится оно новым уколом и новою каплей отравы, и проникнет во все ткани души и извилины мозга, и не выжжем его и не вырвем из сердца. Так придет минута, когда мы поймем, что легче было бы нам в тот проклятый день кататься по полу от страшной боли и раздирать себе лицо ногтями, чтобы завтра подняться опять с облегченной и освеженной душою, чем изо дня в день, из года в год томиться об утрате, которая не может быть заменена, и тосковать тихим, но ядовитым и беспросветным унынием. Мы поймем это и горько пожалеем, что разучились рыдать, как рыдали деды, и нам до отчаяния захочется вырвать у себя бурные вопли, но их не будет. Так говорит Господь в одном из сказаний Бялика, молодого чудотворца нашей древней народной речи:

*...И обоймёт всего тебя желанье
вопить и выть, реветь, как вол, влекомый
на бойню, но замкну твои уста,
и не застонешь...*

³ «Еврейская жизнь», № 6, 1904, июнь.

⁴ *Пиркей Авот* (פרקי אבות) – последний трактат четвертого раздела Мишны. Название трактата интерпретируют как «поучения отцов», понимая под «отцами» законоучителей древности (в Танахе слово *av* встречается не только в смысле «отец», но также – «великий человек»), или как «отцы основ» – основы всей существующей мудрости.

Опустела наша сторожевая башня. Я недавно писал, не называя имени: «Иногда возникают из среды народа особенные люди, одаренные сверхобычной чуткостью, которой нет у других смертных; все заветное, что осколками разбросано в душе миллионов, в душе такого человека собрано воедино, спаяно в один слиток; и тогда бог народа говорит его устами и творит его рукой, и он будет избранным вождем массы, с правом осуществлять ее истинную стихийную волю... Счастливы те народы, которым судьба вовремя дарит такого предводителя». Я тогда не назвал его, но думал о нем, потому что воистину такого человека дала судьба нашему народу: все заветное, что слабыми точками искрилось в душе десяти миллионов, в его сердце было собрано, словно в могучем рефлекторе, в один ослепительный луч. Когда будет подведен итог его подвига, книжники наши должны будут устроить большой пересмотр учению о том, что не личности делают историю. Да, творит историю стоногая Причина и стихийное желание масс, но с мучительной медленностью ползет эта история, если не впряжется в ее колесницу гениальный человек, сердце которого чутко собрало и отразило неуловимые потребности толпы и нашло то слово, которое нужно для их выражения. Так маховое колесо в машине: правда, не оно дает машине движение – напротив, оно само приводится в движение машиной; но с ним машина работает легче и скорее, и есть мертвые точки, на которых непременно затормозилась бы она без помощи махового колеса. Маховое колесо истории – сердце гения-вождя.

Сердце! Если вдуматься глубоко, то именно в сердце и была тайна обаяния и силы этого человека, имя которого напоминало о сердце, и который умер от недуга сердца. Гений его не был в отдельности гением оратора или писателя, или государственного мужа; его гений был сосредоточен глубже, внутри – в великом сердце, сердце великой чуткости, которое умело понимать дух каждого мгновения и подсказывало нужное слово и оратору, и писателю, и вождю. Основной и неглавный талант его, быть может, и заключался в этом дивном искусстве находить вовремя нужное слово. Мы видели это умение в Базеле, где он до волшебной тонкости чуял настроение мятежной массы, знал, когда можно ее покорить и когда надо уступить, и владел ею, как владеет ветром мореход, опытный в обращении с парусами. Но не в Базеле дал он нам лучший образец этого искусства: тоньше и глубже всего почуял он нужду мгновения, самое нужное и верное слово подсказало ему великое сердце в тот день, когда впервые он выступил перед нами с призывом к историческому творчеству. *Это* слово было им угадано с изумительным ясновидением и ответило, как струна струн, в унисон нашим неясным порывам. Я думаю, что слово это не было, собственно, ни *Judenstaat*⁵, ни «домой», ни даже Сион, а нечто иное, более глубокое. Мы тогда сидели за канавой у края большой дороги жизни, и по дороге совершалось величавое шествие народов к историческим их судьбам; мы же, как нищие, сидели в стороне с протянутой рукою и молили о подачке, и

⁵ *Judenstaat* (нем.) – Еврейское государство.

божились на разных языках, что мы вполне заслужили подачку; иногда нам ее давали, и нам казалось, что мы очень довольны, так как нынче хозяин в духе и у него можно выпросить даже не совсем еще обглоданную кость. Но это нам казалось, а в глубине души назревало отвращение к месту нищих за канавой, к протянутой руке, и смутно тянуло на большую дорогу – идти по ней, как другие, и не просить, а самим ковать свое счастье. Тогда пришел он и отозвался на смутный порыв нашей души, и сказал нам: «Делайте сами свою историю. Выходите на арену, чтобы доля ваша отныне была делом ваших рук». Еще никогда эхо на земле так не было похоже на родивший его голос, как это слово отклика на то, чего мы ждали, и оттого никогда еще слово смертного человека так не перерождало поколения. Мы стали другими людьми, мы ожили от прикосновений к той почве, которую он вдвинул нам под ноги: я лишь недавно вполне ощутил эту почву под собою и только с той минуты понял, что значит жить и дышать, и если бы завтра я проснулся и вдруг увидел, что все это был сон, что я прежний и почвы этой под ногами наяву нет и не может быть, я убил бы себя, потому что нельзя тому, кто раз дышал воздухом горной вершины, примиренно вернуться назад и сесть у канавы... Но на зов человека с великим сердцем пошли не только мы, солдаты его полка: пошли за ним и те, которые до сих пор о нем говорят со скрежетом зубов и считают себя его злыми врагами, ибо и они ожили, и они поняли, что нужно самим ковать свою историю, хотя и не попали еще в настоящую кузницу. Не пошли за ним только те, которые не могли пойти, потому что для них уже было поздно, как было бы поздно для трупа; и в этом отношении опять оправдалась его громовая в своей простоте фраза, произнесенная в Базеле на предсмертном конгрессе: «Мы теряем тех, в лице которых мы ничего не теряем». Отсохшие ветви не должны висеть на живом дереве, обременяя и заражая ствол, и спасибо ножу, который отсек их и могучим ударом отделил живое от мертвого и указал живому его дорогу. Этот подвиг не сотрется, и никакая сила уже не отменит совершившегося в нас переворота. Ибсен говорит о строителе Сольнесе, который создал высокую башню, но когда сам поднялся на ее вершину, голова у него закружилась, и он упал и разбился о камни площади. У создателя *нашей* башни и на большей высоте не закружилась бы голова, и не сам он упал, а молния с неба ударила в великое сердце и низвергла его на мостовую чужой земли. Но башня устояла!

Только опустела наша сторожевая башня. Мне минутами кажется, что мы все-таки еще не вдумались в ужас и бездну этого несчастья. Мы как будто еще не поверили, не поняли. Ведь бывает иногда, что придет весть, и услышишь ее, и даже освоишься с нею, но только потом, почти случайно, вдруг озарится она изнутри особенным светом, и станет понятна не уму, а сердцу ее величина. И думается мне, что в ту минуту, когда мы вникнет и поймем, – все-таки, несмотря на жалкую раздвоенность нашей души, нестерпимая боль перережет наш мозг от виска до виска, и станет нам худо и страшно, как ребенку, покинутому среди злой толпы матерью, которая пошла утопиться. Как тот нечестивец из Мидраша, которому в ухо заползло жадное

насекомое и там внутри шевелилось и сверлило, так замечемся мы в то мгновение от нечеловеческой боли и готовы будем отдать жизнь в уплату, лишь бы заглушить муку и утопить жгучую скорбь. Но не в чем утопить, и время не поможет...

Есть одно только средство утопить наше горе. Есть одно такое слово, которое может исцелить всякую скорбь на земле. Сколько живу, я мучительно гадал это слово, и теперь знаю, что угадал. Это слово – старое слово *работа*.

В дни траура человеку нельзя не заглядывать к себе в душу и не говорить о ней окружающим людям, и не поставится мне в вину, если я заговорю о том, что переживает теперь моя душа и что скрыто для нее в этом слове *работа*. Верьте мне, еще ни в одной песне до сих пор не лежало для меня столько божественной глубины, сколько теперь в этом слове. С того дня, когда я только начал размышлять, под моим черепом угнездились вопросы, которым не было решения, и они томили меня, отравляя тоскою. Но теперь я чую решение и примирение всех этих вопросов в могучем слове *работа*. И в какой лабиринт ни бросает меня иногда своевольная мысль, и я блуждаю там без Ариадны и без света, но в слове *работа* открывается мне непорываемая, нескораемая, нерушимая путеводная нить. Как мы чувствуем и не можем не чувствовать, что наше *я* существует, и хотя бы все, кроме *я*, оказалось беспричинной иллюзией, но в существовании *я* мы не властны сомневаться, так я теперь стихийно чувствую, и не могу не чувствовать, и не властен сомневаться, что в слове *работа* – цель жизни, оправдание жизни, награда жизни. Мы хотим смысла в жизни? Мы хотим радости? Мы хотим спасения? – Работа! Нет другого ответа на земле, нет других лозунгов у нашей эпохи. Не должно быть теперь на свете другого кумира, кроме этой богини. Была сказка о живой воде, и я ей не верил, но теперь я верю, потому что живая вода – это работа. Как Ада Негри, сделайте исповеданием веры вашей вопрос: «Работал ли ты?» И пытайте им без жалости всех и каждого: тех, с кем вы дружитесь, и тех, кого любите: пусть ответят. И если скажут они «нет», опорочьте их вашим презрением и отгоните от себя.

Бешеную скачку работы начнем мы теперь, если в нас еще уцелела хоть искорка живой силы. Мы не можем остановиться даже в день такой утраты. Когда зимою, в степи, за санями гонятся стаей голодные волки, возница яростно бьет лошадей и кричит седокам: «Крепче держитесь, а кто выпадет, хоть будь он отец родной, мы не остановимся!» Мы бы так не сделали: если бы за нами гнались, и мы бежали от погони, и внезапно не стало бы с нами даже малейшего и последнего из нас, мы остановили бы коней, чтобы спасти мертвого от поругания хищников. Но мы не от погони бежим. Мы сами несемся вдогонку идеалу, который грозит ускользнуть, если мы потеряем мгновение. Нам нельзя останавливаться, даже когда величайший и первый из нас упал на дороге. Страшный удар разразился над нами, но ведь это не первый и не последний; мы уже много страдали, и много страданий ждет нас еще впереди – будьте готовы. Стисните зубы, сожмите кулаки, и пусть кони мчатся дальше.

ГЕРЦЛЬ: ИДЕАЛЫ, ТАКТИКА, ЛИЧНОСТЬ⁶

Не беру на себя задачи сказать на этих немногих страницах что-либо цельное о последнем из экзилархов над Израилем. Это просто беглые догадки о его внутреннем мире, догадки, основанные на слышанном, виденном, читанном. Вся его личность еще загадочна и долго такую останется, но я выделил из нее некоторые частные загадки, потому что они меня больше всего интересовали. И, полагаю, не меня одного. Мне кажется, что почти каждый из нас, кому случалось задумываться о Герцле еще при жизни его, не раз и без тревоги спрашивал себя: каковы же в полном объеме политические и общественные убеждения этого человека? до какой грани доходят его передовые взгляды, и где начинается его консерватизм? Конечно, он мог бы в ответ на это сказать: – Приди и прочти, – потому что, в самом деле, его убеждения достаточно ясно были высказаны в его речах и писаниях. Тем не менее, возникали неясности, потому что некоторые шаги Герцля многим из нас казались нелегко примиримыми с его собственным гражданским мировоззрением. Опять-таки, и тут большинство понимало, что все это вполне объясняется его в высшей степени щекотливым дипломатическим положением. Но все-таки получалась некоторая неуверенность, и для массы эта сторона личности Герцля – его гражданское *credo*, – если, конечно, не в целом, то во многих деталях остается вопросом, и этот вопрос не может не занимать многих в нашей среде, особенно молодежь. – После II конгресса возникла новая загадка: что за роль играла в сионизме Герцля Палестина? Был ли он способен отказаться от заветной земли ради скорейшего достижения *Judenstaat'a*? В старинном девизе: *le shanà habaà b'Irushalàim*⁷ – что было в его глазах важнее: имя ли Иерусалима или заманчиво близкий срок «через год»? Мнения разделились. Правда, теперь этот вопрос уже для всех решен и ясен, но были дни, когда он глубоко нас волновал и внес немало тревоги...

А для тех из нас – и таких тоже не мало, – внимание которых привлекала не одна только практическая сторона дела, но и личность Герцля сама по себе, как таковая, – для тех поверх этих частных постоянно всплывал один обобщающий вопрос: кто он и что он, в конце концов? в чем тайна его влияния, в чем его магнит? Чем покори он эту жестоковывунную, искони скептическую массу?

Повторяю: ни на первый вопрос, ни на второй и третий я не собираюсь дать здесь сколько-нибудь полный или уверенный ответ. Я просто много и усиленно думал обо всем этом и старался сообразить и угадать, и то, чем теперь могу поделиться, это, как упомянуто выше, только отрывочные соображения и догадки.

Недавно вышел новый русский перевод «Altneuland»⁸, изданный редакцией журнала «Образование» под заглавием «Обновленная земля». Событие приятное, хотя в то же время нельзя не предвидеть, что

⁶ «Еврейская жизнь», № 8, август 1904.

⁷ В следующем году – в Иерусалиме (*иврит*).

⁸ Altneuland (нем.) – Старо-новая страна.

оно способно вызвать в русской печати не совсем благоприятные для нас отзывы. В романе имеются некоторые щекотливые места, подмеченные и европейской критикой, – и места эти как раз такого свойства, что именно русская критика может особенно пылко за них ухватиться.

Не собираюсь здесь подробно спорить с уже выслушанными критиками «Старого новоселья» (это, по-моему, был бы самый правильный перевод непереводимого слова «Altneuland»). Но когда читаешь и слышишь эти столь частые возгласы о «буржуазности» герцлевских предсказаний, трудно не пожалеть плечами и не подивиться, как легко люди из-за мелочей забывают о главной сути. Надо иметь наглазники на висках, чтобы не заметить, что картина, рисуемая Герцлем, есть картина в высшей степени прогрессивного общественного строя. Оговоримся: прогрессивного, но, конечно, не для *утопии*. *Утопией* называется очерк идеального строя – того строя, в котором автор видит воплощение всех своих общественно-политических идеалов, поэтому авторы утопий смело переносят в очень отдаленные столетия или даже тысячелетия. Но Герцль никогда не собирался писать утопию, то есть рисовать картину полного существования своих гражданских идеалов. Цель «Altneuland» совершенно другая: Герцль хотел показать, какой Judenstaat *можно* создать, при благоприятных обстоятельствах, за самое короткое время, чуть ли не буквально le shanà habaà. Читавшие роман несомненно заметили, как настойчиво подчеркивает и напоминает Герцль на каждом шагу, что в его «Новой Общине» решительно нет ничего небывалого, что все элементы ее – как материально-технические, так и моральные – имелись налицо еще и в конце XIX века. Ясно поэтому, что при сравнении с настоящими утопиями, срок которых придет, по мнению самих авторов, не раньше как лет через полтора-два по крайней мере, – видение Герцля, относящееся к 1923 году, должно неминуемо носить менее прогрессивный характер. Было бы нелепо, если бы оно было иначе! Но если бы действительно через двадцать лет могла осуществиться герцлевская Новая Община, то тогда, в 1923 году, она оказалась бы, несомненно, во всех отношениях впереди всех остальных культурных держав. Помилуйте: кооперативное начало чуть ли не во всех отраслях промышленности; экспроприация земли (стр. 117 нового перевода); полное гражданское и политическое равноправие женщин (стр. 78-79); полная религиозная и национальная терпимость; свобода слова, собраний, союзов – для 1923 года это очень хорошо, даже слишком хорошо; и если бы это осуществилось не то что к 1923 году, но хотя бы к 1953-му, то и тогда, смею уверить, еще многие культурные страны позавидовали бы такой Палестине. Для утопии «Altneuland», бесспорно, отстала, но ведь «Altneuland» не утопия, а просто, так сказать, смета на 1923 год, и для такой сметы она в высшей степени прогрессивна, даже чересчур, даже невероятно прогрессивна. Повторяю, надо иметь наглазники, чтобы не видеть этого из-за пяти-шести коробящих фраз, там и сям разбросанных. А между тем, ведь именно эти пять-шесть и сосредоточивают на себе все внимание критиков, устных и печатных. Из-за того, что мусульманка Фатма будто бы рада сидеть взаперти и еврейка Сара будто бы тоже в принципе согласна затвориться, ежели супруг пожелает, – критики забыва-

ют, что женщины в «Altneuland» пользуются пассивным и активным избирательным правом... И так во всем: неприятная третьестепенная деталь заслоняет прекрасные основные элементы герцлевского плана. Мне обидчиво указывали даже на такой пустяк, как то, что на странице 66 у одного из альтнейландцев оказывается лакей, да еще ливрейный: как будто в 1923 году уже не будет ливрейных лакеев. Любопытно, между прочим, что в старом киевском переводе этот лакей назван «негром», а на странице 173 нового перевода читатель найдет любопытные и явно авторские мечтания о будущем национальном возрождении угнетенной и рассеянной черной расы на ее исторической родине – в Африке... Или еще мелочь: на странице 133 имеется комплимент по адресу баденского герцога Фридриха, «доброе и мудрое». Сказать, чтобы вставка эта звучала особенно кстати, было бы грешно. Она с художественной точки зрения совершенно излишняя. Но я слышал упреки по адресу Герцля не за художественность, а за расшаркивание перед сильными мира сего. В ответ на это необходимо напомнить, что в данном случае Герцль, очевидно, не покривил душою. Как раз недавно газеты писали о баденской реформе избирательного права, которою вводится в герцогстве система всеобщих, прямых, равных и тайных выборов. Сообщая об этом, «Южные Записки» – журнал безукоризненно передовой и вообще один из лучших в настоящее время русских журналов – считают нужным прибавить: «Замечательно, что в то время, как в других государствах Германии главными врагами всеобщего права являются правящие круги, в Бадене великий герцог приветствовал реформу таким рескриптом: “Считаю своим долгом поздравить вас и ваших товарищей с успехом избирательной реформы, одинаково делающей честь министерству и палате. Слава Богу, теперь создана почва, на которой возможно мирное развитие нашей дорогой родины и увеличения ее благосостояния. Ничто меня так не радует, как возможность работать для блага страны в союзе с ее собственными выборными представителями, одушевленными тем же желанием служить благу нации, каким одушевлен я сам”». Не имея охоты решительно ни перед кем расшаркиваться, я должен однако сказать, что хорошего человека – отчего не похвалить? Тем более, что баденский великий герцог, как известно, и сионизму оказал некоторые услуги, – причем оказал их (lehawdél!⁹) совершенно бескорыстно, потому что у него в Бадене еврейский вопрос далеко не так остро поставлен. Чтобы при всем том увидеть в этой мимолетной похвале – по адресу человека, вполне ее заслужившего, – доказательство какого-то реакционного настроения, нужны, опять-таки, наглазники...

Но является, конечно, вопрос: зачем, однако, понадобились Герцлю все эти спорные мелочи? Зачем он их вставил? Зачем эти осторожные, настойчивые и многократные заверения в том, что, несмотря на полную свою неравноправность, женщины все-таки не потеряют там своей женственности и не откажутся от материнства, – зачем эти вылазки против одного из очень популярных социальных прогнозов? Неужели Герцль не понимал, что все это многим не понравится и оттолкнет их

⁹ В отличие от (*иврит*).

от его планов, между тем как он написал свой роман не для отталкивания, а для привлечения сторонников? В чем другом, а в вопросах художественного впечатления Герцль обладал изумительным мастерством: это видно по его «философским рассказам» (о них подробно ниже), которые, не обинуясь, я позволю себе назвать шедевром в смысле стиля и чувства меры: ни одного слова лишнего. А «Altneuland» написано позже. Герцль не мог не понимать, что *все* решительно «преступные» места в его романе, все эти ливрейные лакеи и затворницы Фатмы, – все это мелкие неважные детали, – и ежели их вычеркнуть, то роман не пострадает, а ежели оставить, то непременно выйдут недоразумения с демократами. И если при всем том Герцль сохранил эти детали, то ясно, что роман его был рассчитан на ту именно публику, в глазах которой как раз эти мелочи являются плюсом и приманкой.

В том-то и дело. Когда я произношу слова «пропаганда сионизма», у меня сейчас же возникает представление о вполне определенных доводах: я должен доказывать, что сохранение национальных индивидуальностей нисколько не враждебно общему социальному прогрессу, что для этого сохранения нужна собственная территория, и так далее. Но если я предложу эти приемы спора какому-нибудь магиду¹⁰, пропагандирующему нашу идею среди ортодоксов, он ответит: «Какие глупости! Кого это может убедить? Тут нужно доказать, что сионизм не противоречит ни одному «пасуку»¹¹ Библии и Талмуда, и больше ничего!» Прав и он, прав и я. Каждый выбирает специфические средства и приемы под стать той публике, среди которой он главным образом агитирует, и со специфическими воображениями которой он больше всего знаком. Теодор Герцль в течение восьми лет неустанно вел нашу дипломатическую агитацию, то есть пропагандировал нашу идею среди власть имущих и боролся со специфическими возражениями этих сфер. И совершенно понятно, что мало-помалу эти специфические возражения стали в глазах Герцля главным препятствием для пропаганды и успеха сионизма, так же естественно, как мне, например, главными препонами на пути сионизма кажутся специфические возражения моей свободомыслящей среды, а магиду – специфические возражения ортодоксов. Я мечтаю: хорошо бы сочинить такую книгу, в которой дано было бы прочное обоснование сионизма с самоновейшей научной точки зрения. Магид мечтает: хорошо бы найти такой «пасук», из инициалов которого получалось бы слово «Базель», «Actions-Comité»¹² или что-нибудь в этом роде, тогда мое дело в шляпе! И он прав, и я прав. И прав был Герцль, когда решил, что нужна такая книга, в которой был бы успокоительный ответ на специфические возражения превосходительных особ. А среди этих возражений было, без всякого сомнения, немало доводов чисто консервативного свойства, и Герцлю нельзя было с ними не считаться. Поэтому он и сделал в этом направлении все, что можно было сделать, усыпав весь роман уверениями, что «Altneuland» не внесет в обиход мира сего никаких «этаких» крайностей. Эта самая Сара, которая, не-

¹⁰ Здесь: оратор (*иврит*).

¹¹ Здесь: стих (*иврит*).

¹² Actions-Comité (*франц.*) – Исполнительный комитет.

смотря на все женские права, ушла в материнство, или этот самый ливрейный лакей, – для нас с вами эти детали ничуть незаманчивы, но для персон и особ они очень нужны, не то чтобы в качестве приманки, а просто для успокоения. Необходимо было дать им впечатление полного *comme il faut*¹³ – и всякий справедливый человек признает, что в «Altneuland» Герцль не принес в жертву этой комильфотности ни одного из принципов самого корректного, самого классического либерализма, ничего не подарил ей, кроме нескольких ловко подобранных мелочей. Я меньше всего склонен строить *все* наши надежды на успехах дипломатии, но и я полагаю, что в высшей степени важно и нужно расположить в нашу пользу власть имущих. Одного романа для этой цели, конечно, мало. Герцль метил в нее разными средствами. Одно из этих средств – «Altneuland» и, в частности, некоторые комильфотные детали этого романа. А попал ли роман в *эту* свою цель? Закрыв глаза, я готов поручиться: да. О Герцле много спорили, но одного таланта никто у него не отрицал: он всегда понимал свою аудиторию, чуял ее настроение и знал, кого какими доводами взять. Подождите: мы еще в свое время учтем реальные выгоды, которые принесет нам и отчасти уже, быть может, неведомо принесла эта книга.

– Либерализм, и больше ничего? – спросят иные. – Самый корректный и классический либерализм все-таки буржуазен.

С этим я согласен. Несомненно, гражданское и общественно-политическое *sic* Герцля не есть наше с вами *sic*. Но так и следует. Было бы очень вредно для дела, было бы совершен ненормально, если бы это было иначе. Надо помнить, что сионизм – не партия. Сионизм – это национальная организация, суррогат государственной организации, пока нет государства. В силу этого принципа в грань сионизма должны войти и в конце концов войдут все, кто признает себя евреем: адвокаты в черных фраках, ортодоксы в «капотях», экстерны в косоворотках. Герцль был поэтому не вожаком партии, но экзилархом, потенциально и принципиально главою целого народа. А во главе народа могут стоять только предводители идеологии того класса, который в этом народе является господствующим. Это правило не имеет исключений. Всякий иной порядок был бы бессмыслен и практически совершенно непрочен. Когда во Франции Мильеран соблазнился на попытку внести в свое лице хоть маленькое изменение в этот порядок, из его попытки получился один конфуз, и собственные товарищи жестоко осудили его за эту авантюру. В 1903 году итальянский премьер, составляя кабинет министров, предложил один из портфелей Турати, но Турати, хотя и сторонник Мильерана, отказался от министерского поста по тем же соображениям. Если представители меньшинства так осторожно относятся даже к принятию одного из десятка министерских портфелей, то тем более единичный представитель целой нации, ее президент, не может не быть и должен быть представителем идеологии ее господствующего класса. Предъявлять к предводителю народа те требования, которые предъявляются обыкновенно к вожакам отдельных партий в народе, значит одно из двух: или считать сионизм партией, то есть со-

¹³ *Comme il faut* (франц.) – приличный, по правилам хорошего тона.

вершенно не понимать потенциальной сущности сионизма, – или полагать, что при нынешних производственных отношениях во главе какой бы то ни было нации возможно сколько-нибудь прочное существование не буржуазного или антибуржуазного представительства, то есть совершенно не понимать хода и смысла истории.

Не надо только спекулировать словом «буржуа», пользуясь его двояким значением, особенно по-русски. По-русски слово «буржуа» сейчас приводит на ум другое – «буржуй», и люди легкомысленные или недобросовестные часто пользуются этим созвучием для «херема» над инакомыслящими. Надо всегда помнить, что «буржуй» (у Горького «мещанин») есть понятие бытовое, а «буржуа» – политическое, и одно с другим ничем изнутри не связано. Буржуа может не быть буржуем, и буржуй может не принадлежать ни даже краем уха к буржуазии. Загляните в дом к иному немецкому рабочему, избирателю Бебеля, и филистерски размеренный строй его семейного быта подчас заставит вас подумать: о, какой это в конце концов буржуй! А между тем, он не только не буржуа, но даже совсем напротив. В то же время Линкольн, Парнелль, Гладстон, Маццини, Каваллотти – все это несомненные буржуа, носители классически-буржуазных идеологий, но их имена вечно будут окружены уважением потомков. Герцлю принадлежит одно из первых мест в этом блестящем ряду великих людей третьего сословия. Из того, что мы с вами предвидим наступление момента, когда это сословие уступит господство другому, более многочисленному общественному слою, далеко еще не следует, что мы вправе забыть о передовой роли, которую сыграла буржуазия в мировой истории и которую с таким беспристрастием подчеркивал сам основатель пролетарского мировоззрения. И было бы очень наивно думать, что эта роль уже сыграна до конца и что классическому «либерализму» нечего уже больше делать на земле. Я полагаю, напротив, что нет еще на свете страны, где лучшие заветы классического либерализма были бы осуществлены во всем полном объеме, и даже смею верить, что не только в 1923 году, но и в 1950-м добрых три четверти тогдашнего культурного мира будут все еще только вздыхать и мечтать о полном осуществлении настоящего буржуазного либерализма.

В начале этой статьи я мельком упомянул о том, как часто те или другие дипломатические шаги Теодора Герцля вызывали ожесточенную критику, особенно густо посыпанную ходкими терминами «буржуазно» и «реакционно» – два, кстати сказать, жупельных слова, которые вполне достаточно уже всем надоели и которые потому пора уже забросить. Это род критики, должен сознаться, производил на меня всегда особенно неприятное впечатление. Когда при мне громят наш фанатический шовинизм или что-нибудь в этом роде, я могу спорить или не спорить, считать своего противника человеком только увлекающимся или просто ограниченным, но я при этом не имею никакой причины не уважать его. Совершенно другое дело, когда начинается эта эстетически-брезгливая критика визитов и рукопожатий, эти принципиальные и всесторонние исследования вопроса о том, можно ли и должно ли посылать приветственные телеграммы турецкому падишаху и ездить в Петербург. Тут невольно становится не по себе, ибо с перво-

го слова этой критики вы начинаете понимать, что здесь перед вами одна из прискорбнейших разновидностей человеческой природы: праздный человек. Только праздный человек способен принять свою мнимую брезгливость за серьезный гражданский критерий. Скажу конкретно: для того, чтобы устроить концерт в пользу бедных, надо выхлопотать разрешение, т. е. обивать пороги, дожидаться в передних и просить; кто на это решится, тот и устроит концерт, соберет деньги и накормит несколько голодных семейств, а кому щепетильность не позволит, тот не будет обивать порогов, не устроит концерта, не соберет ни копейки и никого не накормит. Это дилемма жизни: работать – руки запачкаешь, а жаль руки пачкать – так сиди праздным. Народ это знает, и недаром у русских крестьян «белоручка» значит «бездельник».

Люди, промышляющие критикой телеграмм и визитов, любят называть свою критику этической. Смею настаивать, что этика здесь решительно не при чем, а все дело в одной эстетике, и в очень праздной эстетике. А эстетическая оценка очень пригодна по отношению к художественным произведениям, но совершенно неуместна по отношению к фактам действительной жизни, которые должны быть измеряемы только меркою реальной пользы для человечества. Что же касается до этики, то с этической точки всегда можно и должно критиковать цели и идеалы, но не всегда средства. У Лассала в драме «Зикниген» есть одна сильная тирада Ульриха фон Гуттена, в которой доказывается, что все хорошее на земле проведено и завоевано мечом, то есть насилием и кровью. Это – неопровержимая историческая истина: ни одна победа за правое дело не далась его поборникам без убийств, обманов и компромиссов, то есть и ради правого дела приходилось пятнать себе руки далеко не этическими средствами. У Герцля есть одна блестящая иллюстрация к этому правилу. Я говорю о пьесе «Солон в Лидии», которая, в скобках сказать, вообще уясняет многое в психике покойного – например, его привязанность к основам нынешнего экономического строя, в которых он видел необходимые для человека побуждения к совершенствованию. В этой драме рассказывается про то, как юноша Эвкосмос изобрел способ добывать муку чуть ли не прямо из воздуха, в неиссякаемом количестве и без всяких затрат. Мудрый Соломон предвидит, что это открытие освободит людей от необходимости работать и, значит, положит предел всякому прогрессу. Чтобы устранить эту опасность, у Солоня есть только одно средство: умертвить этого чудного юношу, который так страстно любит человечество и желает ему помочь. И Солон, не колеблясь, убивает Эвкосмоса. Руки мудреца запятнаны кровью, но он сделал свое дело: спас человечество. Белые руки только у праздных и бесполезных.

Нельзя принять известного иезуитского правила, что все средства хороши для достижения цели, но все-таки надо помнить, что крупные дела совершаются только при помощи сильно действующих средств, а такие средства неминуемо должны иметь и свою неприятную сторону, и с этим нельзя не считаться. И уж во всяком случае нравственная оценка средств и методов борца должна руководиться исключительно меркою реального блага и реального вреда, но никогда не может основываться на какой-то совершенно отвлеченной эстетической разборчи-

вости праздных людей. Серьезный борец имеет полное право презрительно игнорировать эту разборчивость. Перед тем, как наметить себе цель, он долго и много подумает, со всех сторон разберет и оценит ее, но раз она твердо выбрана, то у серьезного борца может быть одно только стремление: *удача*, – и один только метод: *во что бы то ни стало*. Так мне кажется. Чувствую, что многим я, вероятно, не угодил, но правда та, что никаким иным методом никогда не была и не будет достигнута ни одна победа прогресса на земле.

Вторая загадка теперь уже не загадка. Еще задолго до его кончины все поняли, что ни на один миг и ни одним помыслом не изменял он Палестине с того дня, когда полюбил ее впервые. Полюбил он ее не сразу: в этом отношении повторилась над ним легенда о Пигмалионе, который изваял прекрасную женскую статую и полюбил ее так страстно, что боги для него дали ей жизнь, и она сошла к нему с пьедестала и была с тех пор навеки его подругой. Для Герцля Галатеей была Палестина. Восемь лет тому назад она казалась ему просто мертвою глыбой; он почти нехотя прикоснулся к ней своими пальцами великого ваятеля перед Богом, и сначала даже сам подивился, когда из бесформенной глыбы стали вырисовываться, освобождаясь, какие-то прекрасные и дорогие очертания – пока память о нашей родине, затерянная где-то глубоко, не воскресла и не вспыхнула в нем, и она не стала для него живым и любимым, теплым и родным существом, так что в «Altneuland» уже каждая строчка напоена этой любовью к нашей земле, хорошею радостью за нее – за то, что вот она, хоть и только в видении, но все-таки возрождена, заселена, вспахана, засеяна, обласкана всеми ласками сыновнего труда. Женщину можно полюбить и разлюбить, но когда так полюбят землю, ей уже не изменяют никогда.

Теперь это все понимают. Но я знаю, что иные поняли это сразу, еще на VI конгрессе. Это у них было необъяснимое – потому что факты, казалось, противоречили, – но совершенно твердое и отчетливое впечатление. Об этом впечатлении я хочу рассказать. Было это в закрытом собрании Neinsager'ов¹⁴, вечером того дня, когда состоялось поименное голосование об Уганде. Neinsager'ы собрались около десяти часов. Я хорошо помню то настроение. Нам тогда казалось, что не над нами, а над всем народом разразился в этот день такой погром, какого еще не было за 18 веков. Мы в те часы яснее, чем когда-либо, чувствовали, что наше движение, от вершины до корня, есть настоящее дело всего народа, истинная эманация народного стремления и народной воли.

< ... >¹⁵

И вот мой ответ на ваш второй вопрос: я вынес глубокое убеждение, что Герцль еще ведет игру, еще не сложил оружия, далеко еще не отказался и до гроба не откажется от надежды воплотить мечту Израиля во всем ее величии, от которого голова кружится...

Писано уже не раз – и в этом, кажется, все писавшие о Герцле между собою сошлись, – что сила его заключалась не в одном каком-

¹⁴ Neinsager (нем.) – буквально: говорящий «нет», т. е. выступающий против.

¹⁵ Далее Жаботинский вставляет сокращенный вариант текста из своей статьи 1903 года «Герцль и Neinsager'ы», опубликованной в «ИЖ» № 34 (стр. 286-293).

либо специальном таланте, а в его целом, в ансамбле его натуры, которая вся была как-то удивительно прилажена, и не было в ней ничего лишнего или недостающего. Это уже стало общим местом, когда говорят о Герцле. Но это все-таки не объясняет, по-моему, самого главного. О таком человеке можно сказать, что он напоминает картину, строго выдержанную во своем стиле. Но одной выдержанности далеко не достаточно для того, чтобы зрителям картина понравилась: необходимо, чтобы стиль, в котором она выдержана, был им по сердцу. А для того, чтобы они горячо, как родную, полюбили эту картину, необходимо, чтобы стиль ее был для души их родным. Образ Теодора Герцля был, несомненно, безукоризненно выдержан, но для того, чтобы толпа окружала этот образ таким обожанием, так отдавалась его обаянию, было необходимо, чтобы стиль, в котором выдержан этот образ, оказался глубоко родным душе этой толпы.

Мы, собственно говоря, и не видели наяву настоящего еврея. Когда народность живет нормальной жизнью, на своей земле, живет активно, то есть сама строит, удачно или неудачно, свою историю, тогда настоящие вполне национальные типы в ней далеко не редкость. Тогда в ней сплошь и рядом встречаются люди, в которых нет ни одной черточки, не пропитанной национальным оттенком. О таких людях говорят: это с головы до ног русский, или немец, или англичанин. У евреев такого типа нет и почти не может быть. Со дней Бар-Кохбы мы больше не принимаем никакого активного участия в нашей собственной истории; события, совершающиеся над нашими головами за эти без малого два тысячелетия, происходят совершенно не по нашей воле и даже не нами вызываются. Поэтому тот тип, который мы видим теперь вокруг себя, является не плодом народной самостоятельности, а результатом разных прихотей чужой руки, которая и так и этак ковала и перековывала нас. Это не еврей, а, так сказать, «ожид». Все его самые типические черты – от душевной приниженности до жалобной интонации – не выросли свободно и естественно из его национальной психики, а были извне навязаны и выдавлены коверкающим гнетом враждебной среды. Грязь и пыль на теле путника, шрамы от удара на лбу избитого человека – разве это его кожа или его лицо? Это чужеродное наслоение, это «не я», и надо смыть его, чтобы добраться до «я». Но не все пятна легко смываются, не все шрамы скоро сглаживаются. Для того, чтобы смыть с нашего тела и духа пыль галута, осадки двухтысячелетней пассивности, понадобится много времени и много воды – и воды не от здешних рек. Только тогда выйдет наружу из-под этих наслоений наше настоящее еврейское зерно. Только тогда зачатят между нами люди того типа, о котором можно будет сказать: еврей с головы до пят! Но теперь этому типу неоткуда возникнуть, и только чудом, редкостным исключением, странным атавизмом может он появиться в нашей среде и в наши дни. И поэтому, когда мы мечтаем о настоящем еврее и мысленно пишем уже его портрет, нам не с кого писать. Нет образца! И нам приходится прибегнуть к способу «от противного», то есть за исходную точку взять нынешнего типического «ожид» и постараться вообразить себе его полную противоположность. Мы вычеркнем из этого образа все те черты, присутствие которых так типично для «ожид», и

внесем в этот образ все те свойства, отсутствие которых для «ожид» так типично. Так как «ожид» и некрасив, и хил, и невзрачен, то мы наделим наш идеальный образ еврея мужественною красотою, статностью, могучими плечами, энергичными движениями, яркими тонами колорита. «Жид» запуган и принижен, а тот должен быть горд и независим. Жид всем противен, а тот должен быть обаятелен. Жид привык подчиняться, а тот должен уметь повелевать. Жид любит, затаив дыхание, прятаться от чужого глаза, а тот должен смело и величаво идти навстречу всему миру, всем глядя прямо и глубоко в глаза и поднимать перед ними свое знамя: *ibri anochi!*¹⁶ И главное, кроме всего прочего, он должен иметь действительное право на эти два слова пророка Ионы и должен быть евреем от головы до пят. В нем должна чувиться великая своеобразная скорбь еврейских пророков, еврейский мечтательный лиризм, еврейская фантазия в предугадывании будущего, еврейская вера в своего живого Бога — с прописной или строчной буквы, еврейский практический гений, еврейская образность речи и исконно еврейская, ни в одном народе еще не превзойденная любовь к родному племени. Так рисовал себе народ идеал настоящего свободного еврея. И все это оказалось наяву спаяно и в полной мере воплощено в живом человеке, а человек этот был доктор Герцль.

Сила его лежала не в том, что весь образ его — и внешность, и душа — изумительно были выдержаны в одном стиле, сила его в том, что стиль этот был еврейский. Герцль был совершенным и полным образцом еврея от головы до ног, еврея до мозга костей. Ни одной черты не нашлось бы в нем, которая не была бы типически еврейскою, и это была совсем особенная, высшего порядка типичность, которая напоминала не гетто, а Библию. Такими, верно, снились народу его цари. Таким должно было сниться народу вообще все хорошее, что было в его прошлом, потому что и отвлеченные понятия — свобода, слава, сила — снятся нам чаще всего тоже воплощениями в прекрасные человеческие образы. Нужно только, чтобы народ хоть раз увидел этого человека: с этой минуты обаяние совершилось и не могло не совершиться, ибо мы увидели в нем наяву то, о чем мечтали сознательно и бессознательно, и даже самые недоверчивые и осторожные из нас, любуясь им, не могли победить какого-то особенного волнения. Тут, конечно, была и благодарность, и уважение, и справедливо высокая оценка его значения для нашего дела, но выше и прежде всего было тут обаяние, совершенно стихийное и непобедимое, потому что он говорил с нами не столько словами, сколько теми особенными невидимыми лучами и токами, которые всегда в природе связуют назлектризованные сродные элементы. Он был плоть от лучшей плоти и крови нашей, квинтэссенция из лучших наших соков. Он стал для нас типом национальной легенды, и это проявлялось даже в мелочах, даже в том, как мы его называли. Никто не говорил о нем просто «Герцль», как говорят обо всех других людях; ходячим его именем в народе стало «Доктор Герцль», и это звучало почти мистически, как «Доктор Фауст»... Оттого другой, потеряв доверие или уважение, потерял бы с ними обаяние, но Герцль

¹⁶ Я еврей! (*иврит*).

никогда и ни при каких условиях не мог бы утратить обаяние над еврейской массой. Он был действительно тот человек, который может повести за собою массу, куда ему угодно, даже по ложному пути, если захочет, и масса пошла бы, закрыла бы глаза на все ради него, чтобы только не оторваться, не лишиться этого живого образа, в котором была собрана вся красота ее прошлого и все светлые пророчества о предназначенном впереди.

Мне кажется, что если бы обладать полным знанием еврейства, изучить все действительно национальные проявления духовного его творчества и по этим источникам а priori построить со всевозможной точностью еврейский идеал личности, схема этой личности целиком совпала бы с личностью Герцля. И тогда многое такое, что для современников Герцля было бы в его личности непонятно, объяснялось бы просто тем, что непонятная нам черта была именно еврейской чертой, а непонятной казалась нам она только потому, что мы вообще отвыкли от всего по-настоящему еврейского. Я укажу мимоходом на одну такую черту. При чтении романа «Altneuland» многих, вероятно, удивил эпизод корабля «Futuro». Сам по себе этот эпизод написан кровью – это, может быть, самое красивое место во всем романе, но, прочитав эти страницы, невольножимаешь плечами и спрашиваешь себя: очень мило, но зачем? Тут как раз главное место романа, отчет о том, как совершилось заселение Палестины, и вдруг этот важный отчет раскалывается пополам какою-то сказкой, почти стихотворением в прозе, о судне, на котором едет около пятисот «лучших людей всего мира, конечно, без различия национальностей и религий», – «философы и поэты, изобретатели и ученые, артисты, социологи, экономисты, дипломаты, журналисты», – едут за счет и по приглашению сионистской организации посетить обновленную страну. На это ушло около шести страниц, а весь отчет о массовой колонизации занимает около тридцать двух страниц. Отчет довольно подробен и достоин самого серьезного изучения в практических целях, но при чем тут «Futuro»? Ведь эта интеллектуальная Lustreise¹⁷ органически нисколько не входит в колониационные системы Герцля. Отчет таинственного «Джо» с этой вставкой производит впечатление вроде учебника бухгалтерии, снабженного раскрашенными картинками с изображением пастушков, пастушек, травки, барашков и т. п. И невольно, удивляясь, вспоминаешь аналогичную страничку «Judenstaat»: как раз между двумя параграфами со столь серьезными заглавиями, как «Конституция» и «Взаимная солидарность и международные договоры», красуется нежданно-негаданно крошечный отрывок под заголовком «Знамя». «Я предложил бы белый флаг с семью золотыми звездами, где белое поле символизировало бы новую светлую жизнь, а звезды – наш семичасовой рабочий день, ибо во имя труда идут евреи в новую страну...» В свое время достаточно посмеялись над этим отрывком. Иные рассуждали даже так: какое серьезное значение может иметь книга, в которой попадаются такие ребячества? Оказалось, что эта книга, тем не менее, в течение семи лет направила историю десятиmillionного народа в новое русло...

¹⁷ Lustreise (нем.) – Увеселительная поездка.

Мы слишком привыкли к свойствам северного и западного мышления и забыли, что еврейство искони мыслило образами и даже в самых утонченных построениях головоломных умствований помогало своей логике образными примерами. В Талмуде сказания Агады тесно переплетены с нравоучениями Галахи; и там, где римское право выражалось безличными обобщенными формулами, там талмудисты писали: «Если есть у тебя бык, и этот бык, выйдя на пастбище, забодает жену соседа твоего...» Все это мы давно забыли, и наше воображение выцвело и посерело так же, как наши некогда смуглые и румяные щеки, наши некогда черные волосы и глаза. Герцль и в этом отношении был исключением из правила. У него была непреодолимая потребность создавать образы, унаследованные прямо из библейского символизма, и мысль, очевидно, не выливалась у него полно и цельно, пока он не воплощал ее в конкретной форме, в картине, как воплотил свою идею возрождения нации во имя всемирного братства, идею националиста-космополита Исаяи, в этой странной трогательной легенде о плавучей международной республике духа, которая четырежды в столетие должна появляться у берегов св. земли. Герцль как-то непостижимо сохранил восточную красоту и восточную фантазию – все яркие краски нашей палестинской внешности и нашей палестинской психики. «Был он еврей, и ничто еврейское не было ему чуждо»...

Перечитывая недавно все, что есть на русском языке из сочинений, я наткнулся на одну книгу, которая мне тоже уяснила некоторые другие стороны его личности – стороны, сильно помогавшие его влиянию. Это книга – «Философские рассказы»¹⁸. Слово «философские» не совсем тут подходит, хотя несомненно, что эта книга из тех, которые читаются далеко не для одного развлечения. Каждый из этих небольших набросков – если исключить один или два рассказа совершенно другого стиля и настроения, неизвестно зачем включенные в издание, – каждый тонко и изящно задевает какую-нибудь из странностей и загадок человеческой – чаще всего общественной – жизни. Жалею, что эта статья разрослась за пределы моего обыкновения, и нет уже времени подробно говорить об этом сборнике, иначе стоило бы передать содержание лучших новелл и проследить их действительно глубокую вдумчивость. Такие вещи, как «Афера г-на Буонапарте», «Гостиница Анилина», «Воздушный корабль», «Солон в Лидии» (впоследствии переделано в драму) и многое другое, – все это само по себе, независимо от личности автора, в высшей степени интересно и в художественном, и в «философском» отношении. Но так как писать об этом подробно не придется, я советую читателям, еще не знающим этой книги, прочесть ее. Это большое удовольствие. Читающие по-русски совсем как-то не знают – разве только понаслышке, – что Герцль был большой стилист и серьезный художник слова. До сих пор его переводили на русский язык так скверно, что не только до стиля, но и до смысла подчас трудно было добраться. «Философские рассказы», по исключению, переведены очень хорошо, и в

¹⁸ Теодор Герцль. «Философские рассказы». СПб., 1902.

них действительно виден крупный, прямо первоклассный литературный талант. Из этих семнадцати набросков больше половины – настоящие шедевры маленькой изящной и умной новеллы. Они выдержаны с изумительным чувством меры, часто глубоко трогательны («Сара Гольцман») и на каждом шагу положительно искрятся остроумием – благородным остроумием тонкого, изящного, чуть-чуть насмешливого наблюдателя. И в художественном отношении, и по углубленности мысли «Рассказы» несравненно выше ««Altneuland» (новое явное доказательство, что в этом романе далеко не все вылилось из души и многое привнесено из политического расчета) – и могут занять одно из передних мест даже в книжном шкафу не сиониста, а просто любителя умной и красивой литературы.

Но меня как сиониста больше всего поразила не художественное исполнение рассказов, а две внутренние особенности: углубленная вдумчивость и знание человеческой души. Видно по ним, что автор не умел проходить мимо явлений жизни, как проезжает пресыщенный турист на обратном пути через новую страну: не глядя в окна и думая только о делах. Он во все вглядывался и вникал. Многое, с чем мы свыклись и чего уже не замечали, – он, очевидно, пылливо анализировал, пока не добирался до скрытых в каждом явлении трудных и вечных загадок личной и общественной психологии. Ко всему вокруг себя он относился проникновенно и серьезно, как большой ум, понимающий, что в обиходе жизни для психолога нет мелочей, ибо каждая мелочь есть симптом тех или других крупных, основных моментов данной человеческой души. Таким образом, очевидно, ни одна встреча за всю жизнь не пропала даром для человека, написавшего эти рассказы, и к годам своей зрелости он научился с полуслова понимать до дна всякое настроение человека и толпы. Оттого ему в этих рассказах так легко дается обрисовка самых разнообразных типов. Два-три слова, и характер очерчен, и уже во всем дальнейшем изложении он не изменит себе и не нарушит своей типической физиономии. Только большой и проницательный сердцевед мог чертить такие портреты. И, перелистывая эти страницы Герцля-писателя, начинаешь уяснять себе тайну одной из самых поразительных способностей Герцля-вождя: его необычайное «чутье реального», доходившее почти до пределов ясновидения, до чтения мыслей, его изумительное, столько раз испытанное умение с одного взгляда безошибочно понять настроение отдельного человека и целой толпы...

В докторе Герцле были слиты самые заветные, идеальные черты еврейства, и это дало ему власть; он знал людей и жизнь, как никто, и это укрепило за ним власть. Он любил все то, что искони стихийно любил наш народ, и нашел для народа тот путь, которого народ искони ошупью искал. В Герцле сочеталось все, что было нужно идеальному вождю еврейского народа. Не надо обманываться: дважды в век не бывает таких сочетаний. В галуте больше у нас не будет такого человека. Но, быть может, и не понадобится. Гений нужен только для первого шага. Он указал дорогу и дошел до первого привала; стан народный склонит голову перед его памятью и довершит его дело.

Владимир Друк
ПЕСНИ ШЛОМО

Памяти

А.И. Журавлевой и Вс. Н. Некрасова

слёзы наши
слёзы наши
слёзы наши

слёзы наши
Он видит

песни наши
песни наши
песни наши
Он слышит

песни наши
Он слышит

слёзы наши
Он видит

видит или не видит?

слышит или не слышит?

слышит или не слышит
отсюда не слышно

видит или не видит
отсюда не видно

по дороге
по дороге
по просёлку
по перелеску

медленно
в горку
туда

куда все ушли

по дороге
по дороге

по улице
по хайвею
куда все ушли

песни наши похожи
слёзы наши похожи
песни похожи на слезы
слёзы похожи на песни

если
песни наши
Он слышит

значит наши слёзы похожи
значит наши песни похожи

эй лихо лихо
боишься смерти?
боишься
боишься?
лиха боишься?

смерти
смерти лихо боишься
смотри – боишься боишься
лихо смерти боишься
смотреть боишься

смотри
и смотришь

соти
стираешь

стираешь
пятна

носки
рубашки



стираешь дыры
пока не видит

а Он не ищет
пока не ищем

и мы не ищем
пока не ищем

а мы не ищем
пока не видим

а Он невидим
пока не видим

вот-вот увидят вот-вот заметят вот-вот прогонят
вот-вот прогонят

вот-вот поймают
вот-вот прогонят вот-вот прогонят

вот-вот увидят вот-вот заметят
вот-вот нагонят вот-вот поймают вот-вот поймают
вот-вот прогонят

только белые песни
только белые слёзы
чёрно-белые песни
чёрно-белые слёзы
видит Он белые слёзы

бедные бедные
бедные бедные
бедные бедные
бедные бедные

слёзы и слёзы

слёзы и слёзы
песни и песни
слёзы и слёзы
песни и песни
песни и слёзы
слёзы и слёзы

песни и песни и песни и песни
песни и песни!

а мы тут ищем
а мы тут ищем
ищем и ищем
ищем и ищем

в тёмном и нищем

темнее темнее
светлее светлее
теплее теплее

так и ищем —

тук тук

там и тут

тут и тут

...халадна!

...халадна!

...галадна!

...галадна!

рано-рано

светло и

пьяно

мы плачем

а Он играет

мы плачем

а Он играет

плачем мы плачем

а Он играет играет

плачем а Он играет

плачем а Он играет

плачем а Он играет

играет

а мы играем и плачем

играем и плачем

играем

и плачем

играем а Он плачет

играем и Он плачет

или не плачет?

или не видит?

или не видит как мы здесь плачем?

или не плачем

или играем

или не видит

или не плачем

или не видит

как мы

тут

одни
тут

тук

тук

дай нам терпенья
дай нам терпенья
дай нам терпенья
скорее

скорее
дай нам терпенья

мы одни тут
Он один
там

обычно одни
обычно один

дай нам второго!

обычно
обыкновенно

необыкновенно
утром и вечером
утром и вечером

внутримышечно
внутривенно

дай нам второго!

иного
другого!

Господи
Господи

это
Ты

или
я

В ЭТОМ

И В ЭТОМ

И В ЭТОМ

придёт и увидит
придёт и поправит
придёт и починит
придёт и отпустит

придёт и оставит
простит и оставит

или прогонит?

дай нам скорее
дай нам второго

слёзы не наши
слёзы не наши
слёзы чужие
беды не наши
беды чужие
жизни чужие

жизни не наши
слёзы на наши
беды не наши
птицы не наши

дышим и дышим
дышим и дышим и дышим и дышим

бывшие бывшие
бывшие бывшие
птицы

дышим и дышим
но не летаем

добрые птицы
хищные птицы
бывшие птицы
а не летаем

белые птицы
бывшие птицы

вот вам песенка раз
два три
раз два три

вот вам песенка раз
два три
раз два и три

вот вам песенка раз
два три
раз два и три
раз два и три

несмотря ни на что
несмотря ни на что

вместе together
вместе together
раз два и три

не смотря ни на что

чтобы нам не бояться
чтобы нам не бояться
чтобы нам не скрываться
чтобы не бояться
чтобы не скрываться
больше никогда

умру но узнаю правду
умру но узнаю правду
о том и об этом
умру но узнаю
умру и узнаю

что же Он скрывается
где же Он скрывается
когда у нас столько вопросов
столько вопросов

поделки и переходы
подделки и переводы

печали печали
печати печати

найдем и узнаем
найдем и узнаем
узнаем

как всё устроено

как всё устроено

как устроено всё!

нет, посмотри – как всё устроено!

kumbay-ya, my Lord,

kumbay-ya

kumbay-ya моя kumbay-ya

kumbay-ya, my Lord, kumbay-ya

кто-то плачет

смотри

kumbay-ya

кто-то плачет слезой

kumbay-ya

кто-то плачет

внутри

kumbay-ya

кто-то внутри Тебя

кто-то плачет внутри Тебя

в горку

в горку

маленькая тележка

в горку

туда куда все

туда куда всё

Спаси-

Господи –

Спаси!

Бо.

Господи –

Бо!

Спаси-

Господи –

Бо!

Рахель Лихт

*«...ЗАМЫСЕЛ УПРЯМЫЙ»**

«СВЯТАЯ РУСЬ» ГЕРМАНСКОГО ЛИРИКА

В апреле 1899 года в мастерской Леонида Осиповича Пастернака появился незнакомый молодой человек. Пока художник читал рекомендательные письма немецких друзей, вручивший их гость с нескрываемым любопытством осматривал помещение. Пастернак исподтишка поглядывал на него: удлинённый овал лица, небольшая светло-русая бородка, восторженный взгляд светлых глаз. Имя – Райнер Мария Рильке – ничего не сказало художнику. Стихи, благодаря которым Рильке приобретет всемирную славу, еще не написаны. В рекомендательных письмах содержалась просьба посодействовать знакомству молодого поэта со страной, ее народом и, если удастся, с Толстым.

В те дни Леонид Осипович спешно готовил к публикации иллюстрации к «Воскресению» и не мог уделить гостю достаточно внимания. Однако по рекомендации Пастернака вечером того же дня Толстой принял у себя в доме Рильке и его спутников: немецкого ориенталиста Карла Андреаса и его жену Лу Андреас-Саломе.

Именно Лу была духовным инициатором поездки. Урожденная петербуржанка, дочь генерала русской армии Густава фон Саломе, ведущего свою родословную от изгнанных из Авиньона гугенотов, была широко известна в немецкоязычных интеллектуальных кругах Европы. Писательница, эссеистка, литературный критик, она обладала живым умом, строптивым нравом и неукротимым свободолобием. Одни считали ее «совершенным другом» Ницше, другие – его «абсолютным злом». Впоследствии она стала одной из любимых учениц Фрейда.

Рильке познакомился с Лу Андреас-Саломе в 1897 году в Мюнхене. Отныне жизнь и творчество двадцатидвухлетнего Рильке посвящены женщине, которая старше его на четырнадцать лет. По совету Лу он меняет свое подлинное имя Рене на более мужественное – Райнер, он копирует ее почерк, проникается ее философскими, религиозными, эстетическими идеями, находит в ней союзницу в давнем увлечении российской культурой.

Оба идеализировали страну, чей народ, по их разумению, еще не утратил связь с Природой, а значит, находился ближе к Богу, образ которого был выхолощен в умах их «бездушных» соплеменников. Не менее наивным, чем представление о России, было их стремление «слиться» с природой. Для этого Рильке и чета супругов Андреас поселились в пригороде Берлина, у самого леса в Шмаргендорфе. Питались исключительно борщом и кашей, ходили босиком, сами кололи дрова. Наряду с этими милыми чудачествами они серьезно изучали язык, культуру и историю искусств заинтересовавшего их народа.

* Главы из книги «Черновик биографии Бориса Пастернака».

Желание поближе познакомиться с Россией и ее ярчайшим представителем, Толстым, и забросило берлинских отшельников в Москву в самый разгар Страстной недели 1899 года. Все было им в новинку: переполненные церкви, зажженные свечи в руках молящихся, толпы народа на улицах. Их впечатления не вызвали особого сочувствия у Толстого.

Его заинтересовал рассказ Карла Андреаса об исламской секте «бабистов», но лишь только Лу и Рильке выразили восторг по поводу патриархального уклада России, как писатель разразился гневной отповедью. Но и негодующий – он продолжал восхищать гостей «юношеским проявлением» своих чувств.

По возвращении в Берлин Рильке прочел в оригинале Толстого, Достоевского, перевел на немецкий произведения Лермонтова и Чехова. Совместно с Лу Саломе был написан очерк о Лескове. Они готовились к новому путешествию в надежде поближе познакомиться с жизнью других городов России.

Через год Рильке и Лу Андреас-Саломе вновь приехали в Москву. Посетив Киево-Печерскую Лавру, Полтаву и Харьков, они добрались до Саратова и оттуда пароходом отправились вверх по Волге. Некоторое время им даже удалось пожить в недавно срубленной крестьянской избе под Ярославлем, в селе Кресты-Богородское, хозяева которой подались на заработки.

Скамейки вдоль стен, самовар да тюфяк, набитый специально для них свежей соломой, – все приводило немецких путешественников в полудетский восторг. Того, что их временное жилище разительно отличается от стоявших по соседству задымленных покосившихся изб, они не заметили.

Райнер и его спутница свято верили в придуманную ими страну и видели только то, что укладывалось в их представления. Так, образ крестьянского поэта-землепашца прочно связался у Рильке с именем Спиридона Дрожжина, со стихами которого его познакомила гостившая в Берлине московская писательница С. Н. Шиль. Позже, выполняя просьбу Рильке, Софья Николаевна списалась с Дрожжиным и договорилась о посещении немецкими гостями его дома в деревне.

Сын крепостных, Спиридон Дрожжин в двенадцать лет отправился в город на заработки и вернулся в родные места только после того, как достиг известности на литературном поприще. Так что землепашцем Дрожжин никогда не был. Но жизнь в простоте и скромности в российской глубинке делала его в глазах наших иностранцев личностью, духовно слитой с природой. Им было невдомек, что человек «из народа» дивился чудачеству иностранцев, гулявших по деревенским окрестностям босиком. Сам Дрожжин на прогулку с ними надевал сапоги.

От более подробного описания путешествия Рильке меня удерживает желание как можно быстрее перейти к майскому дню 1900 года, когда случай вновь свел молодого поэта с художником Леонидом Пастернаком.

В тот день семья Леонида Осиповича, как всегда в преддверии жаркого лета, направлялась в Одессу. На одной из станций между Москвой и Тулой вышедший из вагона Леонид Осипович неожиданно

заметил на перроне Рильке и его спутницу. Радостные приветствия, обмен новостями и планами... Стоявший рядом с отцом десятилетний Борис стал свидетелем этой случайной встречи.

Мальчику запомнились необычная одежда отцовского собеседника, непривычный выговор знакомого немецкого языка и радостное оживление отца. Из разговора взрослых, продолжившегося в купе поезда, мальчик понял, что иностранец и его спутница едут к Толстому, который не только не предупрежден об их приезде, но и его местопребывание им неизвестно. Борис запомнил живое участие отца в создавшейся ситуации.

Дальнейшие детали ускользали из его поля зрения. Однако известно, что Леонид Осипович представил немецких путешественников близкому другу дома Толстых, Буланже, следовавшему в том же поезде. По совету Буланже путешественники решают остановиться в Туле, откуда легко добраться как до Пирогова, где в имении Оболенских, по предположению Буланже, мог находиться Толстой, так и до Ясной Поляны, если окажется, что граф уже покинул Пирогово. Буланже не ограничился советом. В телеграмме, посланной с дороги Софье Андреевне, он просил сообщить место нахождения Толстого в тульскую гостиницу.

Телеграмма осталась без ответа и, напрасно съездив в Пирогово, путешественники прибыли в Ясную Поляну, прямо скажем, неожиданными гостями. «Граф нездоров», — пыталась выставить их из дома Софья Андреевна, не зная, что за два часа до этого гости столкнулись на крыльце с Толстым, который выглядел вполне здоровым, хотя не приветливо попросил зайти попозже. Но ни сухость оказанного им приема (напротив, гостей обрадовало, что вместо «общей трапезы» Толстой предложил им пройтись по парку), ни очередная «нотация» ополчившегося на лирику писателя (едва он узнал, что гость пишет лирические стихи), не уменьшили ощущения значительности происходящего.

Во время их беседы воочию проявился внутренний конфликт между Толстым-художником и Толстым-«праведником». Но и в неистовом отрицании Толстым искусства, Рильке увидел доказательство того, что верх одерживает все-таки художник, а за «счастье быть одним из призванных» приходится дорого расплачиваться.

Из поездки по России вернулся человек, поверивший в свое высшее предназначение. Вскоре вышла новая книга Рильке «Часослов». Сборник стихов, написанных в форме дневника монаха, переполнен любовью к России и верой в ее необыкновенное будущее. Именно та Россия, которую увидел Райнер Мария Рильке, дала миру великого германского лирика XX века, оправдав тем самым все его «иллюзии».

Десятилетний Борис Пастернак о Толстом знал не только по создаваемым на его глазах иллюстрациям к «Воскресению». Были рассказы отца о поездках в Ясную поляну, была Екатерина Ивановна Боратынская, первая учительница Бориса, переводчица и близкая знакомая Толстых, были наверняка уже прочитанные мальчиком «Детство» и «Отрочество». Чем станет для него творчество сошедшего с поезда иностранца, он тогда не догадывался.

«МОГ СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ...»

Летом 1903 года семья Пастернаков впервые не поехала в Одессу, на море. По рекомендации друзей они сняли дачу в ста верстах от Москвы, под Малоярославцем, в бывшей усадьбе уже не существующего имения одного из князей Оболенских.

Крутой, поросший соснами холм клином врезался в пойму двух рек – Протвы и Лужи. Ветер пробегал по верхушкам сосен, словно руки музыканта по клавишам органа, и кроны деревьев отвечали многоголосым гулом, отчасти напоминавшим более привычный для сыновей Пастернака гул морского прибоя. По кромке холма располагались три больших дома – все, что осталось от прежней княжеской усадьбы. Рельеф холма скрывал и дома, и их обитателей друг от друга.

Дача Пастернаков стояла на южном склоне, напротив железнодорожного моста через извилистую Протву. По мосту проносились скорые поезда, не слышимые за дальностью расстояния, но долго напоминавшие о себе шлейфом паровозной гари. В просторном доме с мезонином и большой террасой разместилась многочисленная семья Пастернаков. Лето в Оболенском шло своим чередом. Леонид Осипович много работал. Сопровождая отца на этюды, сыновья с готовностью носили за ним мольберт и маленькую скамеечку. С не меньшей готовностью Леонид Осипович играл с сыновьями в городки, крокет и учил разбойничьему свисту. Но пальцы выросших в «приличной семье» детей не складывались нужным образом. Никто из них не мог повторить переливистые трели уличного мальчишки, которым рос когда-то их отец.

На дачу из Москвы приезжали друзья и знакомые. Частым гостем был Павел Давыдович Эттингер. Скромный служащий банка впервые появился в доме Пастернаков где-то в 1896-97 годах, перебравшись в Москву из Риги. Он был страстным коллекционером книг по искусству и всевозможных полиграфических мелочей – визиток, открыток, пригласительных билетов, плакатов и афиш. Кажется, он был дальним родственником Розалии Исидоровны по материнской линии, но вошел в семью и стал своим человеком как близкий друг Леонида Осиповича Пастернака. Леонид Осипович ценил в нем не столько коллекционера, сколько человека с самобытным взглядом на изобразительное искусство. Позже он ввел Эттингера в круг современных художников и убедил писать критические заметки. Во время второго путешествия Рильке по России художник способствовал знакомству коллекционера Эттингера с любителем русской старины Рильке.

Первые рецензии Эттингера появились в 1903 году в «Московских ведомостях» под скромным псевдонимом «Любитель». Уже через два года его критические статьи будут публиковаться в таких признанных художественных журналах, как петербургский «Мир искусства» и лондонский «Studio».

Дружба Эттингера с семьей Пастернаков продолжалась долгие годы, о чем свидетельствует его обширная переписка и с Пастернаком-художником, и Пастернаком-поэтом. Сохранились и несколько писем Рильке к нему.

Неподалеку от Оболенского, за Протвой и железной дорогой снимала дачу семья известного московского хирурга Гольдингера. Его жена Зинаида Николаевна Окунькова-Гольдингер была первым среди русских женщин врачом, удостоенным звания доктора медицинских наук. В пору ее студенчества Петербургская медико-хирургическая академия еще не допускала в свои стены женщин, поэтому восемнадцатилетняя девушка из Орловской губернии была вынуждена посещать занятия в академии, переодевшись в мужской костюм. Свое медицинское образование она продолжила в Цюрихском университете, затем в Париже, где в 1877 году блестяще защитила докторскую диссертацию. Вернувшись на родину, Окунькова практиковала в Москве. Известный профессор-гинеколог, она принимала больных (бедных бесплатно) в доме на углу Арбата и Спасопесковского переулка, где когда-то располагалась одна из крупнейших аптек Москвы.

Гольдингеры были частыми гостями на даче Пастернаков. Удочеренная ими в младенчестве Екатерина Васильевна Гольдингер обучалась живописи сначала у Константина Аполлоновича Савицкого, затем брала уроки рисования у Леонида Осиповича Пастернака.

Кроме Екатерины Васильевны в семье Гольдингеров жила их воспитанница. С нее, пожалуй, и начались все беды того лета.

Прозрачная неторопливая Протва, приняв в свое русло стремительные воды Лужи, убыстряла свой бег и местами закручивались в смертельные водовороты. В один из таких водоворотов попала воспитанница Гольдингеров. Ее спасение стоило жизни студенту. Трагическая смерть спасителя повергла девушку в крайнюю степень отчаяния. Неоднократные ее попытки покончить с жизнью в тех самых водах оказались безуспешными. После очередной неудачи несчастная девушка сошла с ума.

В июле на даче у Пастернаков поселилась с детьми Анна Осиповна Фрейденберг, сестра Леонида Осиповича.

И дом, и кухню Ольгу, и младших сестру и брата, и вид с холма на церковь, и мост через реку, и саму реку можно и сейчас увидеть на рисунках тринадцатилетнего Бориса Пастернака в одном из сохранившихся в бумагах отца малоформатных альбомчиков, на котором рукой старшего сына написано: «Мне 13 лет».

Первые рисунки выполнены Борисом 2 апреля 1903 года во время поездки с отцом в Петровское-Разумовское. После переезда в Оболенское в первых числах июня в альбомчике появляются рисунки с изображениями дачи и ее обитателей. Уверенная рука, внимательный взгляд и упорство, с которым мальчик, неоднократно повторяя рисунок, добивался все большего сходства с натурой, говорят о явных способностях рисовальщика.

«Мог стать художником, если бы работал», – таково было мнение отца-художника.

Как видно, к тому времени он уже подзабыл, что говорил о собственном отрочестве: «Если человеку дано быть художником, его хоть палкой бей, а он им станет». И он стал художником, несмотря на все старания родителей отбить у сына охоту к рисованию.

Увлечение же Бориса всячески поощрялось взрослыми. Может быть поэтому его тянуло как раз к тому, над чем взрослые подшучивали. А

веселило их увлечение мальчика книгами модных в то время англичан Спенсера и Смайlsa. Согласно суждениям философа и социолога Спенсера, «каждый человек волен делать то, что желает, если не нарушает при этом равную свободу любого другого человека». Борису вольно было изучать теорию самоусовершенствования моралиста Смайlsa, согласно которой человек в состоянии добиться многого путем тренировки «собственной свободной воли и самоограничения».

Размышления начитанного юноши о самовоспитании вызывали смех и веселые шутки его двоюродной сестры Ольги Фрейденберг. Но совсем не шутки сыпались на Бориса, едва он заводил разговор о законах метрики и стихосложения.

– Вот вздор! – возмущалась Ольга. – На свете есть тысячи размеров.

– Ну назови, – незлобиво предлагал он. – Дактили, хорей, ямбы, анапесты...

Дальнейший перечень, сопровождающийся предложениями по его расширению, еще сильнее раздражал девочку.

– Да миллион! – кричала она. – Есть миллионы стихов!..

Они ссорились.

Но Борис не умел долго обижаться. Отыскав насмешницу-кузину, он с надрывом объявлял:

– А все-таки я тебя люблю!

«Боря был добр и юродив, как все Пастернаки», – вспоминала Ольга Михайловна Фрейденберг спустя годы.

Изучение метрики стихосложения не имело никакого отношения к сложению самих стихов. Тайна слова была скрыта от Бориса так же, как и тайна его предназначения. В то время как волшебные звуки покорившей его вскоре музыки уже витали над зарослями ближайшего кустарника.

МУЗЫКА НА СОСЕДНЕЙ ДАЧЕ

Дачная жизнь манила свободой и новизной впечатлений. Стоило сделать шаг с крыльца, как оживал лесной мир, всякий раз по-новому освещенный солнцем, растревоженный звуками упавшей ветки и самозабвенным пением птиц. Можно было часами пропадать на ближней опушке леса, и не только потому, что сбор гербария – это летнее задание по ботанике. Сбор трав и цветов, поиск их в определителе Линнея приносили успокоение и уверенность, что в жизни все так же известно и определено.

Но эта уверенность исчезала в лесу, пронизанном косыми лучами вездесущего солнца, переставлявшего тени деревьев, словно фигуры на шахматной доске. В лесу, наполненном голосами птиц, зазывающих в самую глушь чащи. Увиденное и услышанное взывало о воплощении. Борису нечем было ответить на этот зов.

Прогулки в лес с младшим братом Шурой были, прежде всего, игрой в индейцев и спасением от палящих лучей летнего солнца. Однажды, крадучись по хвойному покрову, заглушающему шаги, братья услышали вдали музыку. В звуках рояля, на котором каждый день играла их мать,

не было ничего удивительного. Но музыка доносилась с той стороны леса, где мальчики еще никогда не бывали, и о существовании там жилья не догадывались. Поэтому они почувствовали себя отважными следопытами, Кожаными Чулками, отправляющимися на опасную разведку в лагерь бледнолицых. Но по мере приближения к источнику звуков краснокожие индейцы вновь стали мальчиками, выросшими в доме, где музыка была почти членом семьи, где не только знали ее покоряющую власть, но не раз слышали, как, спотыкаясь и вновь возвращаясь к трудному месту, мать разучивает новые произведения.

Совсем по-иному «спотыкались» услышанные в лесу звуки. Они неслись из открытых окон дома, который так же, как и их дача, стоял на открытой солнечным лучам полянке, окруженный густым кустарником. Нет, не звуки рояля привели их в незнакомую местность и заставили замереть в ближайших к дому кустах, но *музыка!*

Исполняющий ее невидимый музыкант иногда останавливался, словно задумываясь и решая, как поточнее высказаться. Временами он просто топтался на одном месте, словно настройщик, прислушивающийся к чистоте извлекаемого им звука. А может, сама доносившаяся из дома музыка, приостановившись на мгновение, еще и еще раз проверяла – так ли, верно ли? И словно найдя верный тон, вновь летела в даль, туда, где, затаив дыхание, ее слушали два мальчика, и дальше в лес, где все было ей так знакомо, потому что она сама была частью этого леса.

Именно эта причастность музыки к действительности и ее новизна ошеломили Бориса. Он вполне сносно мог воспроизвести по нотам заданный матерью урок. Увлечшись, иногда импровизировал, используя для передачи своих чувств звуковой ряд, навеянный чужими произведениями. А там, на даче, языком музыки, казалось, говорила сама природа.

На даче музыку *сочиняли!*

Сочинитель ничего не знал о слушателях, скрывавшихся в зарослях ближайшего кустарника. А слушатели никогда не видели сочинителя. И когда вернувшийся с ежедневной прогулки по Калужскому тракту отец, смеясь, рассказал о встрече с чудачком, который, спускаясь с холма, нелепо взмахивал руками, словно не перебирал ногами по склону, а летел, едва касаясь земли, мальчики не придали этому рассказу особого значения. Встречи отца с чудачковатым незнакомцем повторялись. Однажды они разговорились, и вернувшийся с прогулки отец сообщил, что летающий чудак тоже москвич и живет на соседней даче. При этом он указал в ту сторону, куда мальчики бегали слушать музыку.

Два человека – один, сочиняющий божественную музыку, и другой, взлетающий над землей, – превратились в одного. Этим человеком оказался композитор Александр Николаевич Скрябин. В то лето на даче в Оболенском он писал свою Третью симфонию. Фортепианный эскиз этого сочинения, именуемого также «Божественной поэмой», и слышали братья под окнами скрябинской дачи.

Борис тотчас присоединился к вечерним прогулкам отца. Ему было тринадцать лет – возраст, в котором сердце подростка, жаждущее поклоняться, неминуемо создает себе кумира.

Музыка Скрябина была ровесницей века, в котором предстояло жить Борису, и он ощущал, как совсем по-мальчишески шаловливо она

«показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому». Неповторимой была и манера исполнения Скрябина. Его пальцы порхали над клавиатурой, создавая удивительные, крылатые звуки. Такой же летящей была его походка. И такой же свободной была его манера говорить.

Все, что исходило от Скрябина, принималось Борисом безоговорочно. И когда в спорах с отцом Скрябин, восхищаясь идеями нищестанства, рассуждал о сверхчеловеческом, Борис мысленно принимал сторону своего кумира, хотя не понимал и половины им сказанного. Ему казалось, что человеку, сочиняющему *такую* музыку, дозволено *всё*!

В отличие от Скрябина, Леонид Осипович допускал вседозволенность только в искусстве. Только в искусстве мастер может сказать о себе гордое: «Я могу!» Только в искусстве у него развязаны руки, и он свободен от любых обязательств, кроме одного – быть искренним.

Размышления отца об искусстве стали созвучны Борису Пастернаку в более зрелые годы, но тогда, в свои тринадцать, так отраднo было ощущать себя всемогущим...

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В то лето в Оболенском Леониду Осиповичу Пастернаку хорошо работалось. Карманные альбомчики, с которыми он никогда не расставался, пополнялись ежедневными зарисовками. Сопровождавший отца на этюды Борис не раз становился свидетелем того, как под кистью художника преобразается местность. И какими беспомощными были его собственные попытки запечатлеть увиденное. Перенесенное на бумагу, оно меркло.

Дача Пастернаков стояла на вершине холма. С террасы открывался вид на заливные луга под холмом и густые заросли ивняка, убежавшего вместе с рекой дальше к горизонту. Вечером летнее солнце клонилось к кромке соседнего бора, окрашивая в немыслимые цвета край небосвода, словно быстрая кисть небесного художника прошла по холсту заката. Разнообразие его палитры восхищало.

Внезапно тишину предзакатного дня нарушало нетерпеливое ржание и нарастающий топот почуявших близость водопоя лошадей. Смех и звонкие голоса деревенских амазонок, гонящих табун в ночное, были прелюдией к той симфонии красок, которая в следующее мгновение разыгрывалась перед обитателями пастернаковской дачи.

В багровом свете уходящего дня пузырились подолы цветастых юбок, сверкали оголенные девичьи колени, лоснились бока скакунов. Полыхавшие на ветру красные, синие, желтые косынки соперничали пестротой и яркостью с переменчивыми красками заката. Ветер срывал косынки, отпуская на волю вихрь девичьих кос. Табун пронесся мимо и вскоре растворялся в сумерках, уже захвативших низину.

Леонид Осипович загорелся идеей попробовать свои силы в создании крупномасштабной жанровой картины. Вскоре от подготовительных карандашных набросков он перешел к цветовым этюдам. Уже по этим отдельным кускам можно было предположить, что близится день,

когда точно так же, как из отдельных пробных музыкальных звуков складывалась «Божественная поэма» Скрябина, из отдельных пробных мазков оживет феерия красок будущей картины «В ночное».

Между тем Борисом овладела мечта попробовать свои силы в роли наездника. И чем несговорчивее были родители, чем красноречивее описывал отец сложности верховой езды на неоседланных скакунах, тем упорнее Борис стремился испытать себя. Переупрямить его редко кому удавалось, и однажды на него просто махнули рукой.

Борису оставалось только уговорить бочаровских девушек взять его с собой в ночное. В тот вечер чести тащить на «натуру» мольберт и складной стульчик отца был удостоен младший из сыновей, Шура.

Художник, как обычно, занял свое место за мольбертом и ждал приближения кавалькады. Появившийся вдали табун шел неспешным ровным аллюром. Как видно, девушки пытались сдерживать коней, жалея затесавшегося в их ряды городского подростка. Борис держался гордо и уверенно. Все изменилось в тот миг, когда из-за реки раздалось призывное ржанье чужой лошади. Откликаясь на ее зов, табун резко изменил свой путь и припустился галопом к реке. Не ожидавший крутого поворота Борис покачнулся. Лошадь, давно учуявшая неумелого наездника, теперь начала взбрыкивать, желая избавиться от него. Некоторое время Борис пытался сохранить равновесие, но не удержался. Промчавшийся дальше табун на какое-то мгновение скрыл упавшего от отца и брата.

Только когда топот коней затих внизу у реки, отец и младший брат с ужасом поняли, что там, в траве, остался лежать Борис. Живой? Мертвый? Высокая трава и кочки мешали быстрому бегу. Первым к упавшему подбежал Шура. По счастью, Борис не потерял сознание. Шок заглушал боль, но пошевелить ногой он не мог. Как выяснилось позже, лошадь, сбросив седока, копытом раздробила ему бедро. Оставалось только благодарить Бога, что пронесшийся мимо табун не разможил юноше голову.

Шура поспешил в дом за помощью. Оказавшийся в гостях хирург Гольдингер помог уложить Бориса на заменивший носилки плетеный летний диванчик и зафиксировал сломанную ногу. Вызванный из Москвы специалист наложил гипс.

Шок прошел, уступив место нестерпимой боли. Больной метался в бреду. Отец помчался в Малоярославец за доктором и сиделкой. Возвращались уже под вечер. Вдруг тишину разорвал леденящий душу звук набата. И почти тотчас же над верхушками темнеющего вдали леса заплесало зарево пожара. Источник зарева был скрыт от глаз путников. Пролетка тяжело поднималась в гору, и никакие понукания не могли бы заставить лошадей быстрее достичь открытого места. У отца перехватывало дыхание от одной мысли, что это горит его дом и где-то там в дыму и огне мечется несчастная женщина, спасая малышей и безуспешно пытаясь вынести из горящего дома старшего сына.

Какие еще страшные мысли пронеслись в его голове? Не винил ли он сгоряча себя? Ведь не вздумай он писать картину, не сопровождай его сыновья на этюды, и у Бориса не зародилась бы бредовая идея скачки на неоседланной лошади.

Пролетка приближалась к повороту. Еще немножко, и он увидит...

Моля судьбу о милости, не дал ли он зарок не прикасаться к начатому полотну, если, Бог даст, пламя пожара пощадит близких?

Когда пролетка, наконец, достигла края леса, выяснилось, что горит далеко за рекой и железной дорогой. Беда пронеслась мимо, выбелив за одну ночь волосы отца.

Утром выяснилось, что сгорела дотла дача Гольдингеров. Погорельцы уехали в Москву. В Москву, в мастерскую Леонида Осиповича, перекочевали и все этюды незавершенной картины. Им была уготована незавидная участь пылиться в углу.

Как-то раз, разбирая завалы в мастерской давно живущего в Берлине отца, сыновья обнаружили большое байковое полотно, которым художник обычно завешивал южное окно мастерской, спасаясь от палящих лучей солнца. На темном фоне мятой байки проступали цветковые пятна незавершенной композиции: яркая красная кофта наездницы, ее загорелое колено, гнедая лошадь, едва намеченные фигуры остальных всадников на фоне заката.

На короткое мгновение подробности давно ушедшего лета пронеслись в памяти братьев. Александр живо вспомнил, как приходила позировать отцу одна из отчаянных наездниц, и как бранился отец после ее ухода: «Как манекен! Кукла! Уж лучше и впрямь куклу бы!»

Деревенская девушка, приглашенная в дом к «городским господам», теряла свою живость под пристальным взглядом художника. Сидеть на стуле, как на лошади, она не могла.

Пришлось художнику прибегнуть к помощи племянницы. Ольге Фрейденберг было не привыкать позировать дяде, но при всей своей раскованности она была мало похожа на задиристых деревенских девок, которые без седел и стремян как влитые сидели на необъезженных лошадях, ловко управляя ими с помощью коленок и пяток. Бешеная скачка не мешала им обмениваться шутками и громко хохотать.

Но Борис помнил и то, какими робкими и смущенными выглядели эти хохотуны, когда приходили проведать закованного в гипс мальчика. Стоило большого труда убедить их, что они не виноваты в его падении.

Краски найденного в мастерской полотна – свидетельства иного направления в творчестве художника, которому он не дал хода – вскоре осыпались с мягкой байки. Неумолимое время не пощадило того, что художник решил оставить без продолжения.

У творческих натур свои счета с превратностями судьбы. Волей случая падение с лошади пришлось на 6 августа – день, когда православная Россия отмечала праздник Преображения Господня – в каком-то смысле, праздник бессмертия.

Неведомая сила, сбросившая на землю тринадцатилетнего подростка и отметившая утолщенным каблуком покалеченную ногу, так и оставшуюся заметно короче другой, даровала ему жизнь, отведя смерч промчавшегося табуна и вычеркнув единым махом из всех будущих войн.

Он считал, что это *знак*, смысл которого еще предстоит разгадать. Ведь не просто так подарили ему жизнь, значит, и от него ожидали в ней чего-то *значительного*.

ТАЙНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Несчастный случай надолго приковал Бориса к постели. Вынужденная неподвижность усугублялась проносившимися в горячечном бреду воспоминаниями. Удары сердца совпадали с трехдольным синкопированным биением галопа и падения. Оказалось, что ритм может служить напоминанием о событии. Ритмы рождали мелодию. Ее волшебному и мучительному дару Борис отдаст шесть последующих лет своей жизни.

Шесть лет были посвящены изучению законов композиции, сочинительству и многочасовым упражнениям за фортепьяно. Все эти годы дома, в школе, в компаниях родителей о Борисе говорят исключительно как о будущем композиторе. Он явно одарен. Так считает придирчивый и обычно скупой на похвалы Ю. Д. Энгель. Но слова одобрения, высказанные композитором и теоретиком музыки, руководившим занятиями Бориса Пастернака, не могут побороть сомнения ученика. Бесспорно одно – окружающий мир нуждается в посреднике, способном передать красоту и одухотворенность жизни.

Дано ли ему выразить в музыке то, на что так живо отзывается его душа? В поддержку сомнениям он находил все новые и новые аргументы. Жаловался на отсутствие абсолютного слуха, прекрасно зная, что ни Вагнер, ни Чайковский не считали это своим недостатком. Убеждал себя, что потребность в многочасовом совершенствовании техники игры – лишнее доказательство того, как отвергает его искусство. И решился на высший суд – показать свои сочинения Скрябину.

Мучимый сомнениями юноша жадно ловил слова прославленного композитора, считавшего нелепостью рассуждения о музыкальных способностях, когда «налицо несравненно большее», когда ему «в музыке дано сказать свое слово». Борис заранее загадал: если кумир признается в отсутствии абсолютного музыкального слуха, он тоже посвятит свою жизнь музыке. Но если его собеседник примется приводить в пример имена других композиторов, не наделенных тем божественным даром, которым сполна обладают сотни настройщиков, тогда придется навсегда расстаться с музыкой.

Скрябин заговорил о настройщиках... Поэтому в марте 1909 года из особняка Кусевицкого с нотными записями своих сочинений вышел не окрыленный похвалой Скрябина молодой композитор, а будущий студент философского отделения историко-филологического факультета. Через год он напишет реферат на тему «Психологический скептицизм Юма». Никто не знает, что на оборотной стороне черновых страниц философского реферата пишутся стихи, а на страницах конспектов мелькают размышления о символической сущности искусства, занятого исповедью о мире. Еще через год он успешно выступит на философских семинарах у главы Марбургской школы неокантианства Когена. А что за три часа до того как предстать «перед корифеем чистого рационализма», он запоем писал стихи, станет известно только другу гимназических лет А. Штиху.

Решение расстаться с философией зрело давно, но окончательно сформировалось именно в Марбурге. И хотя отец иронизировал: «Кажется, Коген у тебя потерял в обаянии – раз он тебя признает и одоб-

ряет», и хотя сам несостоявшийся философ нападал на ученых мужей, этих «скотов интеллектуализма», за то, что они «не спрягаются в страдательном» и «не падают в творчестве», – отказ от карьеры философа имел иную подоплеку.

Ранняя впечатлительность и постоянный разворот в сторону жаждающей изображения действительности, которой для того, чтобы стать жизнью, не доставало лиризма, музыки, – делали его существование вне искусства невыносимым. Так возникла решимость еще раз круто изменить свою судьбу и обратиться к *слову* как средству выражения музыки жизни. Для принятия этого решения ему не понадобилось загадывать надвое.

В отличие от первых музыкальных сочинений и философских рефератов, заслуживших одобрение признанных авторитетов, первые опыты стихосложения Пастернака мэтры слова приняли, пожимая недоуменно плечами и «морщась». Он и сам понимал, насколько несовершенны его стихи. Как мало они выражали чувства, их к жизни вызвавшие. Но в этом захлебывающемся бормотании, в безудержном словоизвержении уже была слышна музыка. И *эту* музыку невозможно было спутать ни с чьей другой.

В наброске, написанном в день десятилетия памятного ему Преображения, Пастернак винится перед тем тринадцатилетним подростком, чьи «композиторские амбиции» он оправдать не смог. Но ведь был еще и десятилетний мальчик, который, прижавшись лбом к вагонному стеклу, провожал взглядом силуэт исчезающего за поворотом незнакомца. Через три года из груды приводимых в порядок отцовских книг ему в руки случайно выпадет одна, ничем внешне не примечательная. То, что книга не была водворена на место, а унесена к себе и внимательно прочитана, тоже было чистой случайностью.

Пройдут еще три года, и Борис увидит у отца новую книгу стихов того же автора с дарственной надписью, сделанной той же рукой. Стихи ошеломят «настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи». Их лирический накал заражал пространство чувством, на волнах которого возникла некогда сама книга.

Неожиданная догадка потрясет юношу, разрешение вопроса авторства покажется невероятно важным. Отец подтвердит, что автор стихотворных сборников и тот иностранец, который остался на майском полустанке Тульской губернии, – одно и то же лицо.

В том далеком 1900-м невозможно было предположить, что разговаривавшему с отцом незнакомцу Борис Пастернак будет обязан основными чертами своего характера и «всем складом духовной жизни». Из того далека трудно было предугадать цепочку последующих случайностей. Таких, которые Пастернак считал неслучайными и чье значение в жизни отдельного человека и в истории человечества считал определяющим.

И уже совершенно невозможно было представить, что спустя двадцать шесть лет известный европейский лирик Райнер Мария Рильке напишет о том, как коснулась его с разных сторон «ранняя слава» поэта Бориса Пастернака.

Алекс Тарн

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО...

В этом номере публикуется фрагмент первой части незаконченной эпопеи Цви Прейгерзона «Врачи». Автор задумывал поистине масштабную работу – на примере нескольких человеческих судеб рассказать о пути, проделанном российским еврейством в XX веке – из местечек, через тяготы Первой мировой войны, погромы Гражданской смуты, иллюзии Революции – к нацистским расстрельным рвам, чекистским подвалам и «делу врачей» – очередному этапу решения «еврейского вопроса», задуманного вождем народов.

Внезапная смерть от инфаркта не позволила Прейгерзону продвигаться дальше первого тома, заканчивающегося описанием событий начала 20-х годов. К сожалению, не увидел он и великого исхода 90-х годов, который покончил с российским галутом иначе, чем предполагалось Гитлером и Сталиным. Тем не менее, даже по короткому отрывку можно судить о размахе замысла: это именно эпическое повествование, где беллетристика то и дело уступает место историческому очерку и публицистике. Но уникальность Григория Израилевича Прейгерзона заключается совсем в другом. Уроженец Шепетовки, закончивший Московскую Горную академию и ставший крупнейшим специалистом в области обогащения угля, автор научных открытий и монографий, прошедший семь лет ГУЛАГа и всю свою взрослую жизнь проводивший за железным советским занавесом, под гзбэшным колпаком, в ежовых рукавицах невозможного тоталитарного бытия, Прейгерзон писал замечательную, отточенную и элегантную прозу, приводящую в восхищение самых тонких знатоков языка.

Ну и что? Разве один он был такой, творивший из-под глыб? Такой – один. Потому что свои романы, рассказы и стихотворения Прейгерзон писал только и исключительно на иврите – запретном языке, интерес к которому приравнялся к измене Родине. Но разве в одном лишь запрете дело? Представьте себе писателя, начисто оторванного от живых источников своего языка – от литературы, уличного жаргона, ежедневных газет, радиосводок, элементарного бытового общения... да что там общения – годами не встречающего даже мимолетного собеседника, способного худо-бедно связать или хотя бы понять простейшую ивритскую фразу!

Да полно – возможно ли творить в таких условиях – да еще и столь блестящую прозу? А Прейгерзон – творил, как в барокамере, не слыша никого, кроме себя, начисто лишенный отклика, реакции, обратной связи. Видимо, так же сочинял свою гениальную музыку оглохший Бетховен. Подвижник, творец и солдат возрожденного языка, Цви Прейгерзон стоит в одном ряду с такими великими фигурами, как Элиэзер Бен-Йегуда и Хаим-Нахман Бялик.

Хочется сказать и еще об одном моменте (этому, собственно, и посвящен публикуемый в журнале отрывок), который зачастую оставля-

ется без внимания теми, кто несправедливо ограничивает подвиг возрождения иврита рамками одной лишь Эрец-Исраэль. Правда же заключается в том, что Россия нулевых и десятых годов XX века буквально кипела живой, деятельной, мощной ивритской культурой, как минимум, не уступавшей уровню языковой метрополии, уже сформировавшейся тогда в молодом Тель-Авиве. Число учителей иврита исчислялось тысячами. Несколько издательств выпускали книги на возрожденном языке – как оригинальных авторов, так и переводы образцов классической литературы. Регулярно выходили журналы и альманахи, не знавшие недостатка в подписчиках. Невзирая на жесткие ограничения, тут и там создавались, запрещались правительством и снова открывались современные школы с преподаванием на иврите. Весь этот чудный, цветущий диковинными цветами сад, обещавший замечательный урожай плодов – книг, пьес, стихов, открытий, – был безжалостно вытоптан большевистскими сапогами, вырублен под корень, затоплен еврейской кровью. Да-да, можно смело добавить к списку преступлений коммунистической банды еще и эту строку: не будь этих подонков, наш иврит сейчас выглядел бы иначе – богаче, интереснее, глубже. Грубо говоря, он был бы сейчас больше ровно вдвое.

Ирония судьбы (а лучше сказать: *вечная ирония нашей судьбы*) проявилась в том, что роль палачей взяли на себя сами евреи – большевики и бундовцы, члены евкомов и евсекций. Ивритскую культуру, объявленную буржуазной, убивали под лозунгом становления «пролетарского» идиша. И в полном соответствии с понятиями большевистской малины, на палачах даже не успела высохнуть кровь жертв – их самих зарубили тем же топором несколькими годами позже. А в начале 50-х прикончили и «победивший» идиш.

Цви Прейгерзон успел отучиться всего один год в знаменитой тель-авивской гимназии «Герцлия». Затем началась Первая мировая, и он, уехавший домой на каникулы, оказался надолго отрезан от Эрец-Исраэль – вплоть до того времени, когда совершившие алию жена и дети перевезли сюда прах писателя. Но этого года оказалось вполне достаточно; Цви никогда уже не изменил своей любви к ивritу, к Земле Израиля. В начале двадцатых он еще мог выбраться, перейти границу, как делали тогда многие. Мог, но не стал, за что, видимо, корил себя потом всю жизнь.

Следы тогдашних сомнений и последующих сожалений заметны в романе. Видны они и в стихах, переводы которых публикуются здесь же. «Мое местечко» написано полным иллюзий молодым человеком, студентом Горной академии, который только-только вырвался из затхлого местечка к высотам новой многообещающей жизни. Чего на деле стоили эти обещания, видно из короткого верлибра, написанного одиннадцать лет спустя. Ошибка, ошибка...

Но можем ли мы судить его сейчас, с удобной высоты лет, непроницаемым слоем отделяющих нас от свинцовой жути издохшего века? Можем ли мы судить его – героя и подвижника, скромно и упрямо делавшего свое дело наперекор отчаянию и безнадежности? «Делай, что должно», как гласит мудрая рекомендация. «Делай, что должно, и будь, что будет». Амен.

Цви Трейгерзон

ЛИКВИДАЦИЯ*

В первом десятилетии Х века в местечках еще действовала инерция старых, привычных законов. Внутренняя жизнь общины полностью определялась системой религиозных учреждений и должностей: синагогами и ешивами, раввинами и даянами, канторами и габаями, меламедами и мозлями. В большом количестве издавались священные книги – Танах, талмудическая литература, сочинения раввинов, каббалистические тексты, сборники молитв и брошюры праздничной агады. Хватало и религиозных аксессуаров – от талитов, мезуз, мацы и традиционных суккотних наборов до пуримских трещоток и ханукальных волчков. С самого рождения жизнь еврея была тесно связана с религией. Не только молитвы, свадьбы и разводы, но все – вплоть до мытья рук до и после еды – совершалось по религиозным законам. И, конечно же, в самый последний путь еврея провожала древняя поминальная молитва – кадиш.

Но тогда же появились и новые веяния: в местечках стало происходить все больше непривычного, немыслимого ранее. Многие молодые люди отказывались жить по религиозным канонам, хотя и продолжали числить себя в евреях. Впрочем у них не получалось и выбраться из местечка: законодательные ограничения сильно затрудняли этот процесс. Мешали черта оседлости, процентная норма при поступлении в университеты, запреты на работу в сельском хозяйстве и в правительственных учреждениях и многое другое. Все это вызывало недовольство и раздражение.

Еще в конце предыдущего столетия среди евреев приобрели популярность две разнонаправленные идеологии – национальное движение и социализм. Молодых людей не устраивал традиционный религиозный подход, призывающий к смирению перед жизненными невзгодами, когда избавление от страданий становится возможным лишь после прихода Мессии. Верующий человек веками возлагал надежды на Господа – это давало надежду и помогало терпеть. Но молодые евреи желали освободиться от горестей еще в этом мире – а социализм и сионизм обещали им именно это.

Первый, социалистический, путь привлек немало молодежи, увлеченной левыми лозунгами равноправия, которое, как предполагалось, должно было наступить сразу после свержения царского режима. Но и программа сионистов выглядела заманчиво для многих евреев – молодых и пожилых, богатых и бедных. Люди надеялись укрыться от жизненных тягот в стране света и надежды; ради этого они готовы были на все – даже на потерю разговорного языка. Так началась непримиримая конкуренция красного цвета с бе-

* Из незавершенного романа «Врачи». Первая часть романа опубликована в 1991 году под названием «*A-sinur ше-ло нигмар*» («Неоконченная повесть»), В переводе на русский язык книга готовится к печати в «Библиотеке ИЖ».

ло-голубым. Власти со своей стороны не доверяли ни тем, ни другим: жестоко расправляясь с социалистами, они поглядывали на сионистов не менее косо.

Особенно тяжелыми для евреев были ограничения в получении образования. Родители тревожились за судьбы детей и не могли не задаваться вопросом: что ждет их в будущем? Врачи, адвокаты, инженеры и другие люди, имевшие высшее образование, казались простым евреям существами высшей касты. В местечках именно они являли собой пример для подражания. Поэтому очень и очень многие мечтали прежде всего отправить сына или дочь в гимназию, а затем, если повезет, то и в университет.

Случалось даже, что ради этого меняли религию. Хотя это происходило все же нечасто: община, родные и самые близкие люди откровенно презирали выкрестов, и последним приходилось рвать корни, связывавшие их с собственной семьей, со своим народом. Но может ли человек жить без корней? Выкресты тщились – зачастую неудачно – прижиться на чужой почве, стать своими в другом народе, который вовсе не торопился принимать в свое лоно чуждых и неприятных ему людей с их неистребимым акцентом, непонятными привычками и прочими характерными признаками инородства. Оставив один берег, они так и не пристали к другому, а потому трудно приходилось выкресту в России.

Что же тогда оставалось желающим учиться? Выход нашли в открытии частных гимназий и школ; впрочем, право на это тоже имели далеко не все. Большинство учеников в этих новооткрывшихся учебных заведениях составляли евреи. Кроме того, в каждом городе и местечке находились частные преподаватели – тоже преимущественно евреи, которые обучали молодежь в соответствии с программами реальных школ и гимназий.

...Когда главой Народного комиссариата по делам национальностей был назначен Сталин, на ивритскую культуру в России обрушилось несчастье. Комиссариат включал в себя ряд учреждений, призванных решать национальные проблемы новой России, и среди них – Еврейский комиссариат, сокращенно – Евком – во главе с Шимоном Диманштейном¹. В крупных городах страны были созданы местные евкомы со своими комиссарами. Наряду с ними – уже по партийной линии – возникли так называемые евсекции, состоявшие преимущественно из коммунистов – выходцев из левого крыла Бунда.

На первых порах отношение евкомов и евсекций к ивриту представлялось достаточно терпимым. Когда Советское правительство переехало из Петрограда в Москву, Евком обосновался на Пречистенке, в доме Гилеля Златопольского² и Шошаны Персиц³. Здесь же работали еврейские организации «Тарбут», «А-мишпат

¹ Диманштейн, Семен Маркович – большевик, член РСДРП с 1904 года, Председатель ЦБ Евсекции ВКП(б), один из организаторов Еврейской АО, родился в 1886 г., расстрелян в 1938 г.

² Гилель Златопольский (1868-1932) – сионист, общественный деятель, филантроп. Эмигрировал в 1919 г., умер в Париже.

³ Шошана Персиц (1893-1969) – активистка сионистского движения, педагог, издатель. Дочь Гилеля Златопольского. С 1925 г. жила в Израиле.

а-иври», издавался детский сборник *«Штилим»*. Комиссар говорил на иврите и питался в кошерной столовой, устроенной в том же доме. В стране еще активно действовали всевозможные еврейские сообщества.

Глава петроградского евкома Рапопорт тоже заявлял, что не собирается выступать против еврейских общин и учреждений – при условии, что они не будут мешать советской власти. В первой половине 1918 года еще выходили в свет *«А-ам»*, *«А-ткуфа»*, *«Унзер Тогбладт»* и другие издания. Проводились съезды еврейских организаций и выборы руководителей. Кстати, большинство голосов получали национальные и религиозные партии, хотя многие голосовали и за Бунд. Еще могли существовать соперничающие партии, и можно было вполне беспрепятственно высказывать самые разные мнения.

Однако через некоторое время в Москве, Петрограде, Могилеве, Гомеле и многих других городах возникли неразрешимые разногласия между сторонниками иврита и сторонниками идиша. В Екатеринославе дело дошло до серьезной драки, хотя, слава Богу, никто не пострадал. Тем не менее, общество *«Тарбут»* еще и после этого могло вести активную работу по пропаганде иврита; его отделения действовали на Украине, в Белоруссии, на Кавказе и в Сибири. В Одессе *«Тарбут»* даже смог провести съезд учителей иврита, на котором собралось несколько тысяч преподавателей. Шестьдесят общеобразовательных ивритских школ, курсы усовершенствования учителей, гимназии, детские сады, вечерние кружки для взрослых, библиотеки и читальные залы – все это довольно мощное уже движение говорило и работало на иврите. Издательство *«Оманут»* снабжало учащихся учебниками, издательский дом *«Штибель»* выпускал массовым тиражом книги на иврите в области гуманитарных и естественных наук.

К самой Евсекции принадлежало относительно небольшое число евреев. Большинство коммунистов-евреев считали себя членами ВКП(б) и не интересовались национальными проблемами. Диманштейн, к примеру, демонстрировал равное пренебрежение как к ивриту, так и к идишу. «Для нас идиш – не святой язык, как для некоторых деятелей Евсекции, – подчеркивал он. – У нас нет никаких отдельных еврейских целей!»

В конце октября 1918 года в Москве состоялся Первый съезд евкомов и коммунистических евсекций. Его участники, среди которых присутствовали и беспартийные, собрались в бывшем доме Персиц. Некоторые делегаты требовали, чтобы школы перешли в ведение общин, а не евкомов. Но главным итогом съезда стало решение о назначении идиша официальным языком обучения. Тем не менее, к удушению иврита пока не перешли.

Между тем в России продолжалась гражданская война. В пламени жестоких боев сгорали старые ценности и зарождались новые. Борьба шла и среди самих евреев. Сионисты и бундовцы, социалисты и религиозные – общего между ними было крайне мало, и договориться не представлялось возможным. Даже когда обсуждали национальную автономию, имели в виду совершенно разные вещи. Одни стремились к автономии культурной, другие отстаивали личную, третьи говорили о классовой...

Но и этим не ограничивался спектр разногласий: каждый из основных цветов дробился на множество оттенков – культурных, политических и общественных. Те, к примеру, – просто сионисты, но за идиш; эти – с уклоном в социализм, но за иврит; третьи – только за русский; четвертые – за комбинацию идиша и иврита; пятые... десятые... двадцать девятые – за все три языка плюс эсперанто!..

Кто-то уповал на создание универсального наречия для всего мирового пролетариата и даже слушать не хотел об отдельном еврейском языке. Другие отстаивали необходимость компромисса – дескать, что бы ни решили, все будет хорошо, – лишь бы только прийти к какому-нибудь согласованному решению, лишь бы покончить со склокой. Однако ни одна из противоборствующих групп не соглашалась на уступки! Немного сдвинуться вправо или влево? Что вы, Боже упаси, ни в коем случае! Будем стоять до последнего! Можно ли было говорить в такой атмосфере хотя бы о минимальном согласии в еврейских общинах?

Никуда, между тем, не делся и антисемитизм. В мае 1918-го на стенах петроградских домов появились листовки: «Ненавидим еврея! Твои дни сочтены! Мы знаем, где ты живешь! Скоро твоя грязная душа вылетит из своего поганого убежища!» Угроза еврейских погромов выглядела настолько реальной, что понадобился специальный декрет, подписанный Лениным в конце июня 1918 года.

В 1918-м Бунд и общие социалисты боролись не только против сионистов. С пеной у рта они нападали также на коммунистов и на Советскую власть. Моше Рафес⁴ – лидер Бунда на Украине и член Центральной Рады, заседал вместе с представителями национальных партий, включая сионистов, и при этом обвинял большевиков в уничтожении еврейских общин. Трудно себе представить, но Рафес делал это во имя той самой Рады, которая породила Петлюру.

«Именно предательская политика большевиков, – утверждал он, – швырнула Россию в объятия анархии, именно большевики усиливают сейчас контрреволюцию. Их власть – это чужая власть, власть оккупантов, не отличающаяся от немецкой или австрийской. Большевики бьют не по контрреволюции, они бьют по самой революции!»

Другой член Рады, бундовец Моисей Литваков⁵, называл большевиков преступными авантюристами и призывал Раду решительно осудить захват Лениным власти и действовать подобно военному правительству Дона. В то же время один из вождей Бунда участвовал в восстании Чехословацкого корпуса против Советской власти.

Но обвинительные речи Рафес и Литваков произносили лишь в 1918 году, когда расстановка сил выглядела неблагоприятной для большевиков. В 1919-ом, на пике гражданской войны, в год

⁴ Рафес Моше – видный деятель Бунда и Евсекции. Родился в Вильне в 1883 г., погиб в лагере в Коми АССР в 1942 г.

⁵ Литваков Моше – видный деятель Бунда и Евсекции, публицист и лит. критик, сын меламеда, родился в 1875 г. в Черкассах, умер в тюрьме в 1937 г.

ужасающих еврейских погромов, Рафес уже иначе взвешивает ситуацию. Легко было храбриться за спиной Рады. Но Рада развалилась, и многие бундовцы, сделав разворот на сто восемьдесят градусов, переходят в лагерь своих бывших смертельных врагов. Левое крыло Бунда вливается в компартию, руководители правого – уходят в Польшу. А что же Рафес? Он становится ни больше ни меньше – главой бундовцев-коммунистов! Теперь уже он предстает последовательным борцом за власть большевиков! Увы, подобный оппортунизм был весьма нередок в Еврейской социалистической единой партии. Вскоре бывшие левые бундовцы объединятся с коммунистами Евсекции в единый «Фарбанд»⁶ – Союз еврейских коммунистов. Такое объединение произойдет как на Украине, так и в Белоруссии.

Но что же бедные, замученные петлюровцами и разгромленные бандитами еврейские местечки? Что с ними – словно проклятыми самим Господом?! Большинство общин еще дышат, но погодите, их еще ждет *окончательное решение*. Пример его можно обнаружить в Ромнах. Там безжалостно разгоняют еврейскую общину и ликвидируют все ее культурные заведения, взамен которых над дымящимися руинами еврейского духа возносится евком, возглавляемый бундовцем. И первое, что он делает – облагает население немислимым налогом на сумму в полмиллиона рублей... С революционным энтузиазмом ликвидируются религиозные школы и учреждения. Впрочем, были и некоторые послабления: например, еврейская больница и дом престарелых продолжают свою работу. Кроме того, высочайше разрешат выпекать мацу к Песаху.

А в большинстве еврейских общин продолжается шумная беспорядочная суэта, бесконечные склоки, вражда между сторонниками иврита и идиша. И под шумок этого беспомощного, обреченного гвалта прокладывает себе дорогу русский язык. В шкафах еще безмолвно ожидают своей участи книги на иврите, религиозные и светские. Воспоминания об их предсмертном молчании разрывают мне сердце... Тогда я был еще совсем юнцом. Получится ли теперь вытащить из забвения давно ушедшие, покрытые пылью события тех дней?

Поглощение – неважно, добровольное или насильственное – еврейских партий Евсекцией ускорило исполнение приговора, вынесенному ивриту и ивритской культуре. Казалось, еврейские ревнителы большевизма совсем обезумели, словно в их вены вкололи сыворотку зависти и подлого карьеризма, вирус жажды власти, главенства и почета! Летом 1919-го года разразилась настоящая беда. В начале июня в Москве прошел Второй съезд еврейских секций и комитетов. В нем приняли участие тридцать два делегата: двадцать пять от центральной России, пять – от Белоруссии, два – от Украины. Эта ничтожная горстка самозванцев объявила себя представителем всего еврейского народа, миллионов людей, которые были обречены на жестокие страдания и лишения на просторах истерзанной страны.

⁶ Фарбанд – (Комфарбанд) – союз евреев-коммунистов, представлявших левое крыло Бунда, основан в мае 1919 г. и просуществовал несколько месяцев до полного слияния с ВКП(б).

Съезд обратился к соответствующим компетентным органам с предложением закрыть все национальные и культурные организации на языке иврит. Возражений не последовало. 4 июня 1919 года Коллегия Наркомпроса приняла дополнение к Постановлению о языке в школах национальных меньшинств. Дополнение гласило: «Родным языком массы трудящихся евреев, проживающих на территории РСФСР, является только идиш, но не иврит!»

Напрасно раввин Мазе⁷ пытался доказать Луначарскому, что иврит – тоже язык еврейского народа. Комиссар Диманштейн от имени пролетариата выступает с категорическим опровержением: «Неправда! Лишь идиш был, есть и будет истинным языком еврейских народных масс!» Что ж, против пролетариата не попрешь, и убойный довод Диманштейна перевешивает мнение уважаемого раввина. Иврит окончательно приговаривается в России к уничтожению.

По окончании работы съезда при Центральном Евкоме организуется специальный отдел – этакий спецназ – по ликвидации буржуазных ивритских организаций и объединений. Уже 17 июня член Евкома Агурский⁸ подписал Декрет о ликвидации Совета еврейских общин и всех его отделений, действующих на территории Российской социалистической республики. Одной из целей декрета называли пресечение антипролетарской деятельности общин в области культуры, которая, по мнению властей, наносила вред молодому поколению. Декрет был утвержден наркомом по делам национальностей Иосифом Сталиным.

Во исполнение указания ивритская школа при московской общине – та, что на Пятницкой, – была немедленно переведена в систему общего образования, официальным языком обучения которой стал идиш. А вслед за этим в июле 1919 года по всем городам и весям Советской России был разослан приказ, подписанный комиссаром Евкома Диманштейном. В нем предлагалось в кратчайшие сроки ликвидировать все еврейские организации, а культурную деятельность общин сосредоточить в рамках евкомов и евсекций.

Это означало конец еврейских общин в России. Диманштейн развернул широкую разъяснительную работу. В молодости он учился в ешиве и, разумеется, имел хорошее представление о том, что намеревался уничтожить. Комиссар Евкома выступал в роли защитника трудящихся евреев. А работа под руководством Сталина обеспечивала ему надежное прикрытие. К тому же Диманштейн широко апеллировал к истории, доказывая, что нет в мире ничего более затхлого и реакционного, чем еврейские общины.

«Вспомните Амстердам, – говорил Диманштейн. – Вспомните, как безжалостно тамошняя община преследовала и гнала Уриэля Акосту и Баруха Спинозу – великих людей и ученых. Этих гениев предали анафеме, отлучению, разрушили их жизни. Угроза бойкота

⁷ Мазе Яков (1859-1924) – известный раввин, публицист и общественный деятель, религиозный сионист, одна из ключевых фигур на процессе Бейлиса.

⁸ Шмуэль Агурский (1884-1947) – деятель Бунда и Евсекции, репрессирован в 1938 г., умер в ссылке.

всегда служила надежным средством давления в руках раввинов и еврейской буржуазии. Общины постоянно выступали против ассимиляции и прогресса. Пора положить конец этому пережитку. Смерть еврейским общинам! Дайте дорогу прогрессу, ассимиляции, языку идиш!»

Вот как! Не кого-нибудь – самих Спинозу и Акосту привлек на свою сторону Диманштейн, чтобы их именами вершить ликвидацию ивритских школ и библиотек. Думали ли преподаватели еврейской гимназии на Пятницкой, что они платят по полному счету за чьи-то давние счеты с Барухом и Уриэлем?

В Белоруссии, приветствуя разгром, гремели трубы Фарбанда: «Общины издевались над тружениками, плевали в них и насмехались над их языком – идишем. Но у пролетариата кончилось терпение. Он уничтожил общины, противоречащие основам советского строя. Надо надеяться, что на очереди – школы общества «Тарбут», портящие еврейскую молодежь и мешающие ее нормальному образованию. На еврейской улице еще слишком много живых трупов, отравляющих воздух».

От Белоруссии не отставала Украина. Новый глава украинской евсекции Рафес, еще год назад проклинавший большевиков, из кожи лез, чтобы искупить грехи прошлого. Вместе со своими сподвижниками он немедленно принимается за уничтожение ивритской культуры. Уже в июле 1919 года Высший комитет Фарбанда на Украине обратился в НКВД с просьбой немедленно прекратить деятельность еврейских национальных организаций. Среди прочего эти организации обвинялись в том, что пытаются искусственно внедрить иврит в еврейскую среду, и это наносит непоправимый урон тем школам, где учатся на идише – общепризнанном языке народных масс.

Эта просьба подписана фамилиями деятелей украинского Комфарбанда во главе с Рафесом. Тотчас же в НКВД создается специальный комитет по ликвидации, а спустя несколько дней во все края и области советской Украины летят телеграммы с приказом немедленно прекратить деятельность «Тарбута», Института по научным исследованиям еврейских общин, общества «Эзра», профессионального объединения ивритских писателей, сообществ «Маген-Давид Адом», «Хевра Кадиша» и т. д. Рафес опасался, что мертвецы – клиенты «Хевра Кадиша» также являются агентами мировой буржуазии!

Членов руководства и ответственных секретарей всех этих организаций обязали срочно прибыть в Ревтрибунал и дать подписку о прекращении деятельности. В противном случае угрожают арестом и судом. Под декретом подписи: Власенко от НКВД, и три члена ликвидкома во главе с Рафесом.

Через некоторое время Рафес рапортует об исполнении поручения: козни буржуазных защитников иврита успешно пресечены карающим мечом диктатуры пролетариата. Контрреволюционеры арестованы, их организации и комитеты ликвидированы. «Кто в советской стране будет их заступником? Еврейская буржуазия? Реакционные еврейские слои? Нет у них права голоса. Настоящий революционер с гордостью бросит призыв: надо уничтожить еврейскую реакцию! Это наша обязанность.»

Но другой еврейский функционер не разделяет этого оптимизма. Он предупреждает, что еще предстоит продолжительная борьба против еврейской реакции, сионизма, иврита, еврейской плутократии и ее религиозных символов, против убожества еврейских религиозных школ и ешив. Этот еврейский большевик подчеркивает, что отныне борьба не будет носить характера интеллигентских дискуссий: «Мы решительно перешли на практические революционные действия. Массы, как известно, не занимаются глупостями, им нужны конкретные дела...»

Так глумились еврейские комфарбанды над ивритской культурой нашего народа! Тысячи гнусных слов стаями летучих мышей носились над парализованной еврейской улицей. Диманштейн, Рафес и прочие «передовые деятели» в своих статьях и выступлениях утверждали, что идиш – это прогресс, а иврит, наоборот, – реакция. Упорствуя в тяжком грехе лжи и клеветы, эти невежды порочили наш древний язык, объявляя его не только мертвым, но и чужим! И говорили они это от имени всех евреев!

Но что происходило на местах, в гуще еврейской массы, пережившей кровавые годы бандитских погромов, убийств и глумления? Это может показаться невероятным, но, невзирая на волны насилия и ненависти, которые одна за другой прокатывались над еврейскими головами, в местечках еще теплилось прошлое, дети учились в хедере и не торопились слушаться ликвидаторов Диманштейна и Рафеса.

Непонятно каким образом еще действовали синагоги и ешивы, собирались миньяны, составлялись цеховые группы ремесленников – портные, сапожники, шорники, жестянщики и другие. Молодые, а среди них и девушки, учили как язык Танаха, так и современный иврит. Суббота по-прежнему оставалась святым днем, праздники, пусть и очень тихо, но отмечались. Большинство народа восприняло декреты Сталина-Рафеса не только с тревогой, но и с отвращением.

В феврале 1920-го харьковская евсекция, действовавшая при местном отделении Наркомпроса, установила жесткий контроль над всеми школами и детскими садами. Религиозную школу закрыли по указанию ликвидкома. Ивритскую – включили в систему общеобразовательных школ с обучением на языке идиш. Уволили учителей, отказавшихся преподавать на идише. Иврит попал под запрет как в частных гимназиях, так и в общих, хотя родительские делегации долго обивали пороги евсекции, умоляя прекратить разгром. Но ликвидкомовцы твердо стояли на своем. Столь же непримиримый характер приняла борьба против общества «Тарбут».

В Одессе известны случаи, когда родители не отпускали детей в идишские школы и объединялись, нанимая частных учителей иврита и устраивая обучение на дому. В городах и местечках еще действовали полуподпольные хедеры и ешивы. В Старокопачеве, например, в конце 1921 года иврит учили на двух вечерних курсах, а в школах – с первых классов. Действовал также драмкружок на иврите.

Растерявшаяся евсекция созвала в Минске съезд, на котором было признано, что «религиозные школы продолжают быть центром еврейского общества». Получалась следующая картина: в

Новозыбкове семьдесят процентов детей школьного возраста посещало хедер, а в местечках области – до девяноста процентов. Множество хедеров и ешив работали в Полании – бывшем польском районе. В еврейских центрах Украины, в Екатеринославской, Николаевской и Луганской областях оставалось еще много тех, кто поддерживал иврит и работу общества «Тарбут».

Так что поначалу Евсекция испытывала определенные трудности в деле уничтожения иврита в России. И, тем не менее, ей удалось совершить это преступление, результаты которого невозможно переоценить. Диманштейну, Рафесу, Литвакову и другим деятелям Евсекции было, конечно, глубоко наплевать на сам иврит – в конечном счете, они боролись не с языком, а с сионизмом. Но при этом вместе с водой они выплеснули из корыта и ребенка. Пожалуй, трудно отыскать в истории более тяжкое преступление, чем преднамеренное уничтожение языка своего народа, объявление его вне закона!

Масса детей лишилась возможности учить язык и древнюю культуру своего народа, наследие отцов. Но несмотря на все старания евсеков, многие семьи продолжали обучать своих сыновей ивриту. Никакие запреты и угрозы не могли заставить людей отказаться от сохранения традиционного уклада жизни, в систему которого входил иврит как одна из главных составляющих.

В дополнение ко всему издательство Штибеля в предшествующие годы буквально завалило страну книгами на иврите – как оригинальными, так и переводными. Но с точки зрения Евсекции, это способствовало распространению реакционной литературы в революционной России!

Да и кто он такой, этот Штибель? – Богач, который заработал кучу денег, снабжая армию худыми сапогами! Солдаты, между прочим, простужаются и болеют, а он богатеет. А теперь еще жертвует пять миллионов рублей на развитие литературы на иврите! Какая наглость! Получив такой подарок, ивритские писатели-реакционеры небось обалдели от радости, и теперь злостно переводят на иврит Пушкина и Лермонтова, Толстого и Тургенева, Гете и Гейне, Байрона и Тагора, Гомера и Овидия... И все это за чей счет? Конечно же, за счет несчастных солдат!

Примерно так звучала пропаганда Евсекции. И, тем не менее, рафесам и диманштейнам не удалось уничтожить нашу культуру одним ударом. Борьба с ивритом была далеко не кончена. Оставалась еще одна проблема: как писать на идише? Главную трудность евсеки видели не столько в словах немецкого происхождения, сколько в наличии ивритских слов. Иврит коробил их даже в малых дозах. Вначале, скрепя сердце, решили оставить эти слова без изменений и в связи с этим продолжить в идишистских школах минимальные уроки иврита – в ничтожном объеме шести часов в неделю. Это постановление Евкома было опубликовано в августе 1918 года.

Но всего через три месяца ненависть вновь перевесила логику, и появилось другое постановление: с января 1919-го полностью исключить иврит из программы обучения. Более того – комиссары от идиша задумали ввести в России новую орфографию этого языка. Если в русском языке отменили «фиту» и «ять», то отчего бы

не отчебучить что-то похожее в пролетарском идише? Разве ивритские буквы «хет» и «тав» важнее «ятя»? – Только не для революционеров и истинных защитников прогресса! И пусть реакция твердит про наследие поколений, про святость древнего алфавита, про моря слез, пролитых над каждой его буквой – это все глупые сантименты.

Ничего страшного не случится, если аристократические «хет» и «тав» уступят место демократическим «каф» и «самех». А что «аристократическими» буквами написаны Десять заповедей и Танах, так для нас это не более чем вздор. Пришло время внести революционные исправления во все стороны жизни – в том числе и в орфографию! И специально учрежденный Комитет Евкома по орфографии сочиняет новые правила правописания. Часть ивритских букв признается контрреволюционными, и они назначаются к ликвидации! Вместо них в идише предлагается использовать другие буквы, а слова с ивритскими корнями – писать согласно новым правилам правописания.

Плохо стало ивриту в России. Никто не смог встать на его защиту. Даже лучшие наши писатели и мыслители предпочли не вмешиваться. Хаим Нахман Бялик – гордость еврейского народа – в начале 1921 года хлопотал лишь о разрешении на выезд из Советской России. По ходатайству Горького оно было получено; Бялик, Черниховский, Равницкий и многие другие, с семьями и без них, покинули Россию легальным путем. Еще многие тысячи уехали без официального разрешения, разъехались по странам, где пока не было погромов и гонений, где евреям еще разрешали жить по своему закону и традициям.

Цвет еврейского народа покидал страну, но евсеков это только радовало. Вот, например, что писал тогда Литваков: «Бялик превратился в источник грязных сплетен против советского строя. Бялик – игрушка в руках спекулянтов-евреев. В сионистском болоте Бялик перестал существовать как поэт».

Война и погромы, продналог и крайняя бедность большинства местечковых жителей породили широко распространенные мессианские настроения. Гонения часто способствуют вере в самые разные небылицы. По местечкам ползли фантастические байки, передавались из дома в дом: Жаботинский и его армия идут к Одессе, чтобы помочь евреям! Этот слух распространился со скоростью степного пожара. Он абсолютно невероятен, но евреи верят, потому что хотят верить. И вот уже кто-то бежит записываться в подпольную сионистскую организацию, начинают составлять какие-то списки – столь же длинные, сколь и бессмысленные... Смешно и грустно.

Другие семьи – и их немало – срываются из дома и покидают местечко; в поисках спасения массы беженцев скапливаются на границах России. Они стремятся укрыться от волны погромов и произвола евсеков. Люди направляются и в Одессу, пытаясь уехать морем – здесь скапливается около двенадцати тысяч беженцев. Положение их ужасно: евсекция ликвидировала все общества по сбору пожертвований и помощи. Доходит до голодных демонстраций: женщины и дети несут лозунги: «Да здравствует Советская власть!» и «Хлеб беженцам!» Во главе шествия – инвалиды на

костылях. Демонстранты доходят до здания евсекции. Нашли у кого просить хлеба!

– Бездельники! – кричат им из окон. – Попрошайки! Кто не работает, тот не ест!

Многие пытаются перебраться в Бессарабию, на румынский берег Днестра. Но румынам не нужны еврейские беженцы – пограничники стреляют без предупреждения, кто-то тонет, кому-то все же удастся перебраться. Такая же картина и на границах с Польшей и Литвой, где массы беженцев ждут возможности ускользнуть.

Нет, нелегко евсекам, тревожно, беспокойно. Ешивы и хедеры все никак не сойдут со сцены. Что ж, не хотят подчиниться добром – найдутся и другие методы. В конце концов – есть у Советской власти и НКВД, и ревтрибунал! Есть кому навести необходимый порядок на еврейской улице. Евсекция собирает в Минске съезд работников просвещения. Делегаты выступают, увещевают, доказывают, разъясняют, но в основном – сообщают скверные вести. Хедеры обнаглели – работают, не таясь. Снова подняли голову ешивы. В синагогах агитируют против советских школ. Еврейское население неспокойно – в особенности женщины, матери семейств, издавна определявшие многое в местечковом укладе. Люди боятся, ждут помощи от небес, верят в приход Мессии...

Что же делать? Каким образом раз и навсегда уничтожить хедеры и ешивы? Что за вопрос? – Там, где не помогли увещевания, следует действовать кнутом! Например, судить родителей, посылающих своих детей в хедеры. Привлечь к работе профсоюзы, провести собрания на заводах, на рабочих местах. Жестко реагировать на каждое проявление еврейского саботажа! Пусть каждый член профсоюза заберет своего сына из хедера!

Нужно заняться и меламедами. Исключить их из союза работников просвещения. Арестовать, направить на принудительные работы! Замеченных в саботаже работников советских учреждений увольнять без сожаления. Немедленно выявить и закрыть ешивы. А тех ешиботников, кому уже исполнилось восемнадцать, лишить продовольственных талонов и призвать в армию, отправить в трудовые лагеря. Наказывать тех, кто подключает реакционерам электричество, снабжает их топливом, предоставляет помещения для ешив и хедеров...

Короче говоря, следует признать, что на сей раз евсеки действительно взялись за дело самым серьезным образом. Был открыт сезон охоты на меламедов, раввинов, учителей иврита. Остервенелые цепные псы получили полную свободу в преследовании беззащитных жертв. В Радомысле арестовали многих верующих и меламедов. Суд над ними проводился на идише. В Харькове судили хедер и еврейскую религию как таковую! На помощь евсекам пришла Одесса, где был создан специальный ликвидационный комитет. В его задачу входили обнаружение и ликвидация хедеров и ешив.

В Гомеле, Витебске, Минске, Староконстантинове, в сотнях городов и местечек состоялись показательные суды. Судили и, конечно же, осуждали хедеры, меламедов и раввинов – *дикарей и фанатиков*. Не оставили вниманием и субботу. Что это вообще за манера – отдыхать именно в этот день? И главное – зачем? Это

ведь наносит очевидный вред советской стране! И вообще, если присмотреться, то в этом мелкобуржуазном обычае проявляется чисто еврейская коварная хитрость. Ведь по субботам открыты учреждения, магазины и кооперативы, можно получить по талонам продукты – и все это – без очереди, в обход честного пролетариата! И уж совсем невозможно себе представить соблюдающего субботу члена партии – но они есть! Есть! Входит такой, с позволения сказать, коммунист, в синагогу и обращается к Богу со словами «... спасибо, что не сделал меня гоем». Ничего себе интернациональная благодарность... Абсурд! Такого не должно быть! Борьба с субботой – это партийный долг!

Широко размахнулись евсеки против Рош а-шана и Йом-Кипура. Дошло до показательных судов над праздниками. В Одессе, Харькове и других местах судили раввинов. В Судный день хмельные от безграничной власти евсеки устроили в Гомеле, Минске, Витебске, Смоленске демонстрации и субботники. Во главе процессий шагал духовой оркестр. Конечной целью шествия стала площадь перед синагогой. Внутри, в синагоге, плакали и молили Всевышнего, а снаружи оглушительно гремели медные трубы. В Шклове, Быхове и других местах религиозные евреи не вынесли осквернения святого дня. Произошли столкновения, но арестованы и отправлены в ревтрибунал были именно молившиеся, а не бесчинствовавшие «демонстранты».

Яростно громили субботу и праздники идишеская газета «Дер Эмес» и ее неутомимый редактор, Моше Литваков. Он был одержим одной заботой: разоблачить и пригвоздить к позорному столбу всех, кто блюдет традиции, чтит субботу, отмечает еврейские праздники. Казалось, Литваков пишет не чернилами, а ненавистью. Но Литваков все писал и писал, типография исправно печатала, газета выходила по расписанию...

И вдруг в стенах официозного «Эмеса» произошло невероятное событие! В дни Рош а-шана и Йом-Кипура 1922 года работники газеты отказались выйти на работу! Вот тебе на! Литваков взбесился не на шутку: как такое могло случиться!? Добро бы еще конфуз произошел где-нибудь в захолустном местечке... Но здесь – в редакции самой передовой еврейской газеты, со страниц которой из номера в номер призывают не поддаваться влиянию обветшавших реакционных символов, восстать против духа мрачного средневековья, не постыться в Йом-Кипур, навсегда заглушить контрреволюционные звуки шофара... – именно здесь?! Это выглядело невероятным, но именно в литваковской газете печатники наотрез отказались работать в Рош а-шана! Неужели они еще и чтут Йом-Кипур, соблюдают субботу и учат своих детей ивritу?! Впору тут было сказать: «Господи, спаси!» – но разве мог Литваков произнести столь реакционную фразу?

Вместе с тем следует отметить, что, убивая иврит, еврейские большевики из Евкома и Евсекции, не покладая рук расчищали пространство для расцвета идиша. В городах и местечках открывались школы на идише, институты и техникумы для учителей, народные университеты, ремесленные курсы, детские сады, интернаты, летние лагеря, клубы, библиотеки, спортивные площадки, хоровые ансамбли, оркестры, драматические студии, театры

литературные кружки. Выходило в свет большое количество газет, журналов, учебников, литературных произведений.

Новая культура постепенно укреплялась. Вначале приходилось нелегко: не хватало учителей, журналистов, литераторов. До революции воспитание шло на иврите, и преподавателям трудно было приспособиться к новым условиям, переключиться на идиш. И все же спустя какое-то время еврейская интеллигенция в России повернулась в сторону идиша. Пришли молодые специалисты – выпускники идишских школ – и они уже стали обучать детей в этих новых условиях. Изгнанный, задущенный иврит молчал...

И лишь в одном из переулков Москвы он еще жил. Там шли спектакли «Габимы». Преследуемое ивритское слово, в полный голос звучавшее в этом единственном месте, излучало свет и грело душу. Как такое могло случиться? Дверь с вызывающей надписью «Габима» находилась всего в пяти минутах ходьбы от главного управления евсекций. Почти четыре года минуло с Октябрьской революции, а перед нами по-прежнему «театрончик на иврите»? Как? Почему? И это – после стольких лет борьбы! Неужели мертвец воскрес и выбрался из могилы?..

Иврит в «Габиме» звучит с сефардским произношением, причем актеры говорят так бегло, как будто впитали его с молоком матери. Даже написанные на идише пьесы Пинского и Шолом-Алейхема звучат здесь на иврите! Это уже, извините, чересчур! Обратный перевод с языка народа на язык реакции?! Экая наглость! Если советский строй уничтожил «Тарбут», то почему он терпит «Габиму»? Надо поскорее прикрыть эту лавочку – точно так же, как это было проделано с другими такими же рассадниками контрреволюции!

Тем не менее, «Габима» долго была не по зубам деятелям из Евсекции. Не потому ли, что ее поддерживали Горький, Станиславский, Луначарский? Кто знает! Но вот и другие новости: в Москве открывается Государственный Камерный театр на идише. Во главе его стоит Грановский – человек с европейским образованием, там же работает художник Марк Шагал, вливаются в театр и другие молодые свежие силы. А вскоре одна за другой пошли премьеры: «Агенты», «Ложь», «Желаем счастья» Шолом-Алейхема. Свой прекрасный и трагический путь начинает Соломон Михоэлс-Вовси. В литературу и искусство приходят действительно талантливые имена. Начинается период недолгого, но великолепного расцвета языка идиш. Напоминаю: мы находимся в самом начале 20-х годов.

19??-1968

Перевел с иврита Вениамин Прейгерзон

Цви Цейгерзон
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЭЛЬЯКУМ¹

Я с толпой не ходил гуртом,
От речей и знамён пунцов,
Равно чужд и голодным ртам,
И сиянью золотых венцов.

Я успеха в любви не знал –
Длинноносый смешной горбун –
Зубы кривы, косят глаза,
Имя странное – Эльякум.

Ни греха не знал, ни поста,
Ни стигматов, ни медных труб –
Моя пища, как жизнь, проста –
Хлеб да лук, да бобовый суп.

Но в тот день и в ту ночь, когда
Моя скрипка рождает стон,
Замирают и боль, и гвалт,
И болтливая явь, и сон.

16.01.1923, Москва

МОЁ МЕСТЕЧКО

Ты всё там же – в несмелых тенях, в одеянье изгоя,
Стены тех же домишек над уличной грязью постылой,
Пусто в дюжине лавок, в молельне – бездельник унылый,
И всё тот же слепящий кошмар в суете и в покое.

Так же в пятые дни выпекают хрустящие дранки,
Собираются девушки – в танце оттаптывать ноги,
Старый реб Авраам всё постится, сердитый и жалкий:
«Ой-вэй, смилуйся, Бог милосердный, – пусты синагоги!»

И заплачет, завоет молитва его на рассвете,
Обернув мою душу молчанием, болью и смертью...

¹ По-видимому, стихотворение посвящено Эльякуму Цунзеру (1835-1913), знаменитому автору и исполнителю песен на идише.

Нет, прощай! Мне – туда, где ненастье, и солнце, и стужа!
Умирай, погребённое в пыльной и темной гробнице!
Хлеб изгнания в котомке – мы снова выходим наружу,
И грядущие дни нам сияют счастливой зарницей.

21.04.1923, Москва

ПАЛЕСТИНА

Ты не мать нам, а мачеха, родина утлых надежд?
Из забытых углов, из лачуг, из кошмара ночного
Беглецы и рабы, мы к тебе обращаемся снова,
Словно дети-сироты в коросте заплаканных вежд.

Неужели твой берег в тени, и подмокли святыни?
Неужели ошиблись пророки, и лгут старики? –
Как заблудшее стадо, мы бродим по мёртвой пустыне,
Без тропы и колодца, без твёрдой и верной руки.

«И будет, в последствии дней...»² –

мы отчаялись ждать, Всемогущий!

Потихоньку поднимемся – прочь из юдоли страданий!
Дряхлый рабби останется здесь, одинокий и ждущий –
Вечный жид в захоlustье, с котомкой привычных рыданий.

Москва, 1-й день Рош а-шана, 5686-го года (19.09.1925)

В ДЕСЯТЬ СТРОК

И – конец!

И конец этой долгой дороге,
спазму нервов, пространству времён,
и судьбе, и минувшим годам...

Где ты, мать милосердная?

Кто нас
приласкает,
утешит, спасёт?

Моих братьев ведут к эшафоту,
и я – среди них.

1934

Перевёл с иврита **Алекс Тарн**

² Начальные слова пророчества Исаии, обещающие всеобщий мир и благоденствие (Исаия 2, 2).

Александр Колмогоров

«НАРИСУЮ, КАК СМОТУ...»

Когда сочиняешь стихотворение, рождается новый мир, новое существо. Ты носишься с ним по весеннему Ташкенту, молодой, влюбленный, не зная, кому можно довериться.

И вдруг кто-то подсказывает: на Сквере, в Союзе Писателей, по субботам разговаривают с такими, как ты. Семинар.

...На втором этаже в просторном помещении – молодежь и не очень. В президиуме два поэта. Им читают стихи по очереди. Двери и окна распахнуты. Несмотря на вечернее время, жарко от весны и эмоций. И вдруг... У раскрытых дверей возникает молодой ладный мужчина в футболке и джинсах. Чуть хмельной. Привалился спиной к дверному косяку, слушает. Двое за столом не удивляются и не возмущаются, а жестами приглашают его зайти. Он молча отказывается, призывая слушать читающего. А тут и моя очередь. Читаю несколько стихотворений. Возвращаюсь на свое место. Тот, у дверей, всё притягивает к себе внимание. Наконец спрашиваю у соседа: не знаешь, кто это? «Ну, ты даешь!.. Это Александр Файнберг, классный поэт!»

Перекур. После него – обсуждение стихов. Вместе со всеми иду к лестничному пролету. Возле урны дымит, переговаривается молодежь. Через какое-то время ко мне подходит этот самый Файнберг и предлагает отойти в сторонку на пару слов.

– Тебя как зовут?

– Саша.

– Ага, тезка... Мой совет тебе, старик: чем быстрее ты свалишь отсюда, тем лучше. – Заметив мой удивленный взгляд, поясняет: – Ничему хорошему тебя тут не научат, а вот испортить могут.

Я растерян и даже расстроен. Он, видимо, понимает это:

– Если хочешь, приходи как-нибудь ко мне со своими стихами. Ты мои читал?

– Нет...

– Ну вот. Заодно и я тебе свои покажу. Поговорим. Дай-ка ручку.

Он пишет номер своего телефона. Уходя, добавляет:

– Я тут рядом живу. Напротив консерватории. Звони, старик!..

...Наступает утро, когда я прихожу в его дом. Попытку назвать его по имени-отчеству пресекает: только по имени и только на ты!

Он совсем недавно въехал в эту однокомнатную квартиру. У окна маленький столик и два разномастных стула. В одном углу несколько стопок книг, в другом – свернутый матрац. И все. Пройдет немало времени, пока эта квартира обретет жилой – по общепринятым понятиям – вид. И пройдет много лет, прежде чем Саша с женой Инной переберутся в этом же доме в трехкомнатную квартиру, на восьмом этаже. А сейчас мне обстановка очень нравится. «Наверное, так и должен жить настоящий поэт», – думаю я.

Саша дарит мне свои сборники – «Велотреки» и «Этюд». Забирает листки со стихами. Мы садимся за столик. Читаем. Курим.

Появляется ощущение, что я давно знаю и этого человека, и его стихи, в которых столько нежности, ироничности, музыкальности...

Первый в моей жизни профессиональный разбор моих сочинений. Не введливость теоретика, а разговор поэта по существу: это стихи, это не стихи, а эту вещь нужно доводить до ума. Мы надолго «зависаем» над какой-нибудь строчкой, метафорой, а то и одним словом.

Эти сосредоточенные часы чтения рукописей в Сашиной квартире – лучшие в моей жизни. Я начинал смелее отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы о непонятном мне в его новых, еще не напечатанных стихах. Он это воспринимал нормально и даже с благодарностью. Видя, что его размышления важны для меня, был предельно откровенен:

– Я догадываюсь, что ты здесь хотел выразить... Но продираюсь к этой догадке так, словно через минное поле шурую! Тут много строчек ярких, но они отвлекают от главного. Может, эта штука еще не созрела? У меня, старик, тоже так бывает.

Или просто советовал:

– Поверти вот эту строчку... Не родная она тут какая-то.

И вдруг:

– Кстати! Глянь-ка вот это: помнишь? Я здесь финал поменял...

Спорили о метафорах. Искали аналогии, подтверждения своим мыслям в стихах других поэтов. Или вдруг начинали хохотать от обнаруженной несурезицы в черновике...

Я наблюдал, как Саша читает мои стихи, и по его глазам, мимике, даже по тому, как он стряхивает пепел с сигареты, почти наверняка знал, что он мне сейчас скажет. Стихи Саша воспринимал, только читая их молча, не на слух. Это уже позже, когда в 1998 году я переехал с семьей в Москву, мы стали читать друг другу стихи по телефону.

Наши пристрастия во многом совпадали. Пушкин, Есенин, Блок, Маяковский, Пастернак... Цитировали Вознесенского, Евтушенко. Знакомя меня с поэзией Мандельштама, Тарковского, Вийона, Мориц, Саша радовался, что именно ему выпала миссия развеять мрак моей беспросветной темени. Удивленно, почти восхищаясь, уточнял:

– Старик!.. Ты правда не читал Ахматову?! Ну-у, стари-ик!.. Так ты, наверное, не знаешь и того, что она жила в Ташкенте во время войны?!

А дальше – подробности, рассказы о друзьях и врагах этого человека, о журналах «Новый Мир», «Октябрь». Заканчивался ликбез снятием с полки книжки поэта и моей клятвой прочесть и проникнуться.

Мне нравилось, как Саша читал стихи. Объединяя нерв, мелодику и сюжетную интригу. С сарказмом читал евтушенковскую «Балладу о стихотворении Лермонтова “На смерть поэта” и шефе жандармов», пронзительно – его же «Балладу о выпивке», «Идут белые снега»... Артистизм и обаяние у него были в крови. В любой компании легко и к удовольствию всех становился ее душой. Неслучайно в последнем интервью Саша полушутя посетовал, что не успел попробовать себя в актерском деле. Хотя это не совсем так: однажды он сыграл в кино вора в законе, и эту его роль хвалили профессионалы.

Но вернемся к поэтам. Что я, мальчишка конца шестидесятых, мог знать о действительно лучших из них? В те годы книги «доставались», и я ощущал радость и восторг, когда Саша с Инной дарили мне то двухтомник Мандельштама, то Вийона, то Солженицына.

Сашина щедрость. Звонил в редакции, издательства, чтобы напечатать чьи-то стихи, рассказы (оба моих ташкентских сборника и все публикации в периодике появились благодаря его заботам). Получив гонорар, мог целый день угощать друзей на Сквере в кафе «Дружба». Знакомил художников с режиссерами, поэтов с композиторами.

Однажды повез меня на «Узбекфильм» – знакомить с режиссерами, редакторами и художниками мультыобъединения. Саша писал сценарии и меня хотел к этому приобщить. Я ходил с ним по кабинетам, мастерским, рассматривал макеты, эскизы, кукол. Договорились, что попытаюсь написать два сценария: по индийской сказке и по сказке Джанни Родари. Написал, но после разговора с редактором понял, что не схватываю специфику. Саша потом весело подытожил:

– Ну, значит, не твой это монастырь! Я вон пьес не пишу и ничего, жив-здоров...

По прошествии лет понимаю, как ненавязчиво и чутко Саша оберегал меня от глупых, вздорных поступков. Я сдавал вступительные экзамены в Театральный институт на режиссерский факультет. По режиссерскому плану и мастерству актера – получил «отлично». И вдруг на последнем экзамене, по истории, бац – «двойка»!.. Уехал к школьному другу и два дня «расстраивался» с ним. А потом выяснилось, что на следующий день разрешили пересдать историю тем, у кого «отлично» по профилирующим предметам... Убитый этими событиями, пришел к Саше. Прощаться навсегда. Принял решение – уехать на стройку в Сибирь. Саша поинтересовался:

– Старик, а куда именно?

– Да какая разница, Саш! Чем дальше, тем лучше!

– Ага... Понятно.

И вот тут он нашел правильный тон, нужные слова, чтобы убедить меня, что жизнь на этом неудачном поступлении не заканчивается. Что есть в ней другие важные вещи и радости: вот эта весна, любовь, книги... От книг он плавно перешел к конкретному предложению:

– Слушай, старик! Да тебе надо поступить на филфак! Как зачем? Ты же стихи пишешь. А там хорошие книжки будешь читать! Там преподаватели классные! Круг общения расширишь... Да не кипятись ты! Это пока, только пока. Потом переведешься...

Два дня он терпеливо остужал мой пыл, и я сдался. На удивление всем – и себе тоже – сдал вступительные экзамены на филфак ТашГУ. Со второго курса сбежал в армию. Но Саша, отслуживший свое, к этой моей выходке отнесся нормально.

В 1983 году наш театр собирался на двухмесячные гастроли в Свердловск. Я заехал к нему с чистой магнитофонной пленкой.

– Будем тебя увековечивать! Увезу твой голос на Урал.

Саша записал в тот день по моей просьбе замечательную поэму «Струна рубайата», которая тогда еще нигде не могла быть напечатана,

и веселую гиперболу о приключениях «пролетарского поэта» Хамзы. (Позже, не зная об этой записи, Инна посетует в интервью, что Саша не оставил рукописи «Хамзы в Милане» и посчитает её утерянной.)

Так вот. Записали Сашу. Он посмотрел на магнитофон.

– Жалко, еще навалом чистой пленки осталось. Оглядел свои кассеты. – Старик! У меня есть парижские записи Высоцкого и Марины Влади. Давай допишем!

Так у меня появилась кассета с записью голоса Саши и песен Высоцкого в придачу.

Мы могли травить с ним анекдоты о русских и евреях, узбеках и чукчах, но когда вопрос стоял серьезно, Саша не отшучивался. Обозначал свою позицию четко и принципиально.

Однажды рассказал мне о встрече в Москве с Александром Межировым, стихи которого мы оба любили. Межирову Сашины стихи понравились. И тот серьезно посоветовал ему... взять псевдоним. Мол, по собственному опыту знает: так проще печататься в столице... Файнберг поблагодарил за совет и сказал, что фамилия отца его вполне устраивает.

Мама у Саши, кстати, русская.

На дух не выносил, не переваривал стадность, одинаковость. С удовольствием подхватил одно из моих любимых определений – «штучный».

Однажды, в семидесятых, поздней осенью, прихожу к Саше. И вижу – на полу разбросаны куски черного искусственного меха, нитки, ножницы, что-то похожее на оторванный или недошитый рукав...

– Старик, шью себе зимнюю куртку! Увидишь, какая это будет штучная, удобная вещь! Смотри! Большой капюшон. Он будет с красным подбоем. Вместо пуговиц – для рифмы! – вошью короткие темно-красные ремни с застежками, ну, типа «венгерок»!.. Огромные карманы! В них что хочешь поместится – хоть книга, хоть бутылка!..

Через месяц увидел его в обновке. Сквозь летящие хлопья снега на меня шел, улыбаясь, взъерошенный городской волчара, не желающий сливаться с толпой.

Саша много переводил с узбекского. Из всех поэтов безоговорочно выделял Абдуллу Арипова. Говорил о нем очень тепло: как о собрате, любящем свою землю, совестливом, понимающем все о своем времени. Однажды, когда я пришел к Саше, застал его и Инну за каким-то веселым разговором. Саша пояснил:

– Встретил Абдуллу. Вижу, он возбужден и чем-то раздражен. Оказывается, в ЦК комсомола республики решили оказать ему, молодому талантливому поэту, большую честь: доверить на предстоящем съезде партии внести в зал знамя этого самого комсомола.

– И что Абдулла?

– Абдулла спросил комсомольского босса: «А ты представляешь, приятель, сколько дней после этого я должен буду пить водку?!»

Кстати, о питии. Некоторые люди, знающие, что я знаком с Сашей, интересовались: а он что, правда?.. Я отвечал: а чего вы у меня

об этом спрашиваете? Читайте его стихи. Он все в них о себе сказал. И об этом тоже. – Ребята! – говорил я в таких случаях. – Если уж на то пошло: пусть десяток трезвенников напишут столько, сколько Файнберг. И, главное – такого, как у него, качества.

Сидим в его квартире и долго, подробно что-то обсуждаем. А потом, проголодавшись, обнаруживаем, что, кроме полбуханки хлеба и бутылки вина, у нас ничего нет. И тогда начинается аттракцион! Саша вдохновенно распаивает холодильник.

– Старик! Сейчас у нас будет пир! Сейчас ты поймешь, что такую королевскую жратву тебе ни в каких ресторанах не подадут!

Напевая что-то из Высоцкого, он достает луковицу, початую банку томатной пасты, ломтик сливочного масла, половинку болгарского перца, остатки какой-то зелени. И нарезает все это мелко, намазывает на хлеб, укладывает кольцами, слоями, посыпают то солью, то перчиком. И на моих глазах сооружает кулинарно-архитектурную роскошь. Он словно убеждает меня: в застолье, даже скромном, все должно быть необычным, красивым, ярким. И уж коль ты поэт, то должен уметь сделать нечто из ничего! Ну, а уж если у тебя имеется кусок баранины и груда овощей... Или, скажем, брат Лева привез клюкву из Подмоскovie... О! Тогда можно вообще сотворить кулинарный шедевр из мяса и царскую настойку в придачу!

...На балконе у Файнбергов – кувшин с сухими горными травами, ковылем, камышом. Вдоль стены развешена сеть. На гвозде висит большой фанерный ключ, подаренный строителями: подарок, которым Саша гордился. Стол. Лампа. Жаркой летней ночью здесь можно дышать и писать под трескотню цикад и дальний ленивый лай собак, долетающий с Алайского базара.

Когда я приезжал из Москвы, Саша начинал рассказывать о талантливых ребятах, появившихся в нашем Ташкенте. Ставил, например, кассету с документальным фильмом о беспризорниках.

– Вот у нее есть и совесть, и талант! Пришла ко мне. Спрашивает: как можно этим ребятам помочь? Пытаемся создать фонд...

«Пришла ко мне». Многие шли к нему. Со стихами, с идеями, с приглашениями, предложениями что-то совместно сделать. Встречались, разумеется, и графоманы, и случайные люди. Но таким Саша однажды и навсегда ответил «Запиской на запертых дверях»:

Нажал на кнопку?

Привет!

Смени изжогу истому.

Меня сегодня дома нет.

И никогда не будет дома.

Считай себе, что ты поэт.

Но больше дверь мою не торкай.

Не всё же я.

Иди к потомкам.

Потомков тоже дома нет.

В 1983 году вышел Сашин сборник «Короткая волна». На 54-ой странице было напечатано стихотворение:

* * *

*Нарисую день холодный,
день без года и числа,
перевёрнутую лодку,
возле лодки – два весла.*

*С низкой крышей, синеокий –
нарисую, как смогу, –
старый домик одинокий
на пустынном берегу.*

*Нарисую сеть пустую.
Птицу в небе нарисую.
Краски есть – о чем тужить?
Нарисую – буду жить.*

Сказать, что мне это стихотворение понравилось – ничего не сказать! Я был в восторге: размахивал руками, бороздил пространство комнаты, убеждая Сашу, что вот она, поэзия, что только так и надо писать, и что это – его программная вещь. Да что – его! Всех, кто пишет!.. Он не без удовольствия ухмылялся:

– Писать нужно по-разному...

Я не мог успокоиться.

– Ты можешь ясно представить этот берег, лодку?

– Ну, могу.

– Нарисуй мне все это вот здесь!

Я протянул ему раскрытый сборник. Саша взял шариковую ручку. Нарисовал под стихотворением картинку. Размашисто расписался.

...В мае 2010 года прилетаю в Ташкент – поставить маме и бабушке памятник на Домрабаде, навестить с Инной Сашину... словом, навестить его. Выхожу из метро на Сквере. Взгляд упирается в трехэтажное здание бывшего Союза писателей. Вот тебе и рифма: здесь познакомились сорок лет назад, сюда и пришел. Подожди, еще не пришел. Еще надо дойти до дома напротив бывшей консерватории. Иду. Вот гастроном «Москва». Покупали с ним сигареты, «сухач» из-под полы. А теперь «Шубы», «Ковры»? Ладно. Через дорогу – книжный магазин. Не книжный? Ладно. А вот кафе «Лаззат». Не кафе? Да ладно, ладно!.. Как я туда войду? В тридцать четвертую квартиру на восьмом этаже...

Говорим, говорим о нем, боимся остановиться, замолчать. Смотрим фотографии, фильмы, хронику. Хочется выключить все и окликнуть, позвать его самого... Инна просит подробнее рассказать о вечере памяти Саши, который в его день рождения, 2 ноября, мы провели в Москве с Вадимом Муратхановым и Санджаром Янышевым. Слушая, кивает, повторяет тихо: «Спасибо, мальчишки...». Потом подробно, переживая все заново, рассказывает о последних днях, о последней ночи, когда он споткнулся вот тут, в коридоре...

Саша иногда ласково называл Инну Мурзилкой. Помните, был такой детский журнал с одноименным главным героем – маленьким взъерошенным существом солнечного цвета в красной беретке и с фотоаппаратом?

Ты спасительна. Инка. Инка.

Журналистка, малышка, льдинка...

Трудно ли это – быть спутником жизни неординарного, «не такого, как все» человека? Когда-то на вопрос: «Трудно ли быть женой гения?» гениально ответила Джульетта Мазина, жена любимого Сашей Феллини: «Трудно. Но это лучше, чем жить с идиотом».

Отдаю Инне все, что когда-то снимал в этой квартире, записывал на пленку. Она передает мне сборник «Лист» и двухтомник.

Впервые – не он выносит книжку из своего кабинета. Впервые – не написал мне ничего своей рукой. Я прочту эти книги потом, в Москве. Потом... Обнаруживаю среди вещей, которых не знал:

*Москва не по шерсти нас гладит, / а снегом сечёт по глазам.
Как прежде, она златоглава, / как прежде, не верит слезам.*

*Со щёк она гонит их ветром, / швыряет их на смех молве.
Но слёзы не знают об этом / и верят, как прежде, Москве.*

Что это?! – думаю с восхищением и любовью. – Ну откуда в нем столько нежности и сострадания к людям в нашем сегодняшнем жестком, хищном мире?

Он смог сделать очень важную вещь в своей жизни: выразить себя. А значит, сказать – пронзительно и точно – о своем времени, обо всех нас.

Он, к моей радости, иногда снится. И тогда мы долго, неспешно ходим с ним по нашему Ташкенту.

ВСТРЕЧА

А. Ф.

О чем мы говорили всласть?
Что власть цепляется за власть,
а молодость – за веру?
Об этом тоже. Впопыхах.
Подробно – только о стихах.
Вот тут не знали меры!

К стихам спешили мы припасть!
Пусть власть цепляется за власть:
ведь это всё не ново...
Не виделись мы столько лет!
Сквозь столько зим, сквозь столько бед
цепляемся за слово!

Александр Файнберг
*ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ**

ХАМЗА В МИЛАНЕ

*Создателям фильма «Огненные дороги»¹,
сняв шляпу, посвящаю*

Рыдай, итальяйская муза!
Гордитесь, Ла Скала тузы!
По классу вокала Карузо
уроки берёт у Хамзы.

Но кончен урок. И за этим
шагает Хамза в ресторан
и жадно рубает спагетти,
с тоской вспоминая лагман.

А после к миланской святыне
идёт, на весь мир знаменит
и, гордость забыв, Паганини
в Ла Скала за ним семенит.

А там уж толпа итальянцев
штурмует ступени и вход.
Униженный Марио Ланца
билетика лишнего ждёт.

Но вот к дирижёрскому пульту
прошёл, словно бог, домулла²,
и рухнули прежние культы:
овация зал взорвала!

Он встал над оркестром, как кесарь,
луча вдохновенье и власть,
и первая скрипка оркестра
под купол Ла Скала взвилась.

В партере восторженны дамы:
прекрасен во фраке Хамза!

* Публикация Александра Колмогорова.

¹ Семнадцатисерийный художественный фильм о судьбе узбекского «пролетарского» поэта Хамзы («Узбекфильм», 1977-1984, режиссер Шухрат Аббасов).

² Домулла (узбекск.) – уважительное обращение у учителю, наставнику.

И в ложе начальник жандармов
платком утирает глаза.

Не знает начальник однако,
Хамзу обожая до слёз,
что ловко – под фалдами фрака –
в страну он листовки пронёс.

В подвале, где грязные стены,
под низким кривым потолком
склонились рабочие сцены,
листовки читая тайком.

В антракте, исчезнув негласно,
в подвал устремился Хамза.
И тут же собратья по классу
на правду открыли глаза!

Но вновь загорается рампа.
Зал полон. Игра не легка.
И бабочку-галстук, как рабство,
срывает Хамза с кадыка!

На ложи, блистая бельканто,
кривит он разгневанно рот!
Он вспомнил о кознях Антанты!
Он высшую ноту берёт!..

Но, срочно прибыв из столицы,
с английскою тростью в руке
над ухом жандарма склонился
изысканный шпик в котелке.

Состроив ужасную мину,
известьем сражен наповал,
жандарм проорал: «Мама мия!»,
и занавес с неба упал.

Хамзу забирают из зала...
Но с песней поэта народ
выходит на свет из подвала
и штурмом Ла Скала берет!

Жандармское вспорото пузо!
Повсюду проснулись умы.
Хамзе помогает Карузо
бежать из миланской тюрьмы.

Пока их полиция ловит,
поднялся народ на господ –
станки побросала Болонья,
бастует неапольский порт!

Флоренция вся в транспарантах!
Министров свергают низы!
В Палермо кричат демонстранты,
вздымая портреты Хамзы!

Бунт в Парме! Восстанье в Турине!
И Римскому Папе привет!..

Вот так, Федерико Феллини.
Гасите, товарищи, свет.

ПРОСТИ МНЕ, АНГЕЛ МОЙ³

Прости мне, ангел мой, мои дела.
Я не хочу ни славы, ни скандала.
Дай потерять всё то, что обрела.
Дай обрести всё то, что потеряла.

Развей, мой ангел, славы ореол
и не оставь душе моей страданье.
Меня на эту сцену ты привёл.
Не дай уйти с нее без покаянья.

С небес нетленных голову склоня
над милой, над заснеженной Москвою,
дай мне забыть, кто обижал меня,
не дай забыть, кто был обижен мною.

Я слёз моих впервые не сотру.
Ни от кого я их скрывать не стану.
Дай пролететь снежинкой на ветру,
снежинкой над Крестьянской заставой.

И пусть вдали, улыбки не тая,
с упрямых глаз смахнув слезу и чёлку,
глядит мне вслед та рыжая девчонка,
которою была когда-то я.

³ Стихотворение было посвящено певице Алле Пугачёвой, но ни с посвящением ей, ни без оногo напечатано никогда не было.

Сусанна Черноброва
ВАЛЬС СО СЛЕЗОЙ

Памяти Бориса Лекаря

Зимнее время сменяют на летнее,
Солнце на лето, зима на мороз,
Полосы тёмные, полосы светлые,
Светлые пятна тёмных полос.

Кружатся пятна, кружатся линии,
Кружатся птицы на проводах.
Кружится жёлтое, сизое, синее
В светло-зелёных и серых глазах.

Кружит фонарь и кружится лужа,
Светлые окна в тёмных домах,
Светлые пятна в темени кружат,
Светлая живопись в тёмных тонах.

В тёмных одеждах, в светлых одеждах
Кружатся строчки: Фет, Пастернак...
Кружат с отчаяньем, кружат с надеждой,
Кружатся в ритме, кружатся в такт.

Что сочинилось, запомнилось с голоса,
Дождь – это просто ветер в слезах,
Светлые полосы, тёмные полосы,
Свет отражается в тёмных глазах.

המחברת: סוסננה צ'רנובובה
המוציא לאור: מרס 20 תשפ"ו
ספריה
9182

ИМЕНА

Илья АЛЫЙ (Аросов) родился в 1978 году в Кишиневе. Репатрировался в 1992 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 20-21 опубликована подборка его стихов «На вдохе мой дом синева».

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Окончил Киевский пединститут. С 1962 года жил в Москве, окончил МИРЭА. Репатрировался в 1992 году. Автор девяти сборников стихов, в т. ч. книг «Анфилада» (2008), «Из ТАНАХА. Стихотворные переложения» (2008) и «Контрапункт» (2010). Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (1999) и Поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006). Живет в Ришон ле-Ционе. В «ИЖ» опубликованы подборки «Место, где каждодневно живёшь» (№ 4), «Новые стихи» (№ 14-15), «Единственная жизнь» (№ 20-21), «Отзвуки» (№ 28), «Где эхо многократно» (№ 31); переложения из Книги Исайи (№ 8) и Книги Псалмов (№ 12); эссе «Три аквариума» (№ 6), «...Созерцать красоту господню» (№ 14-15); рецензии на книги Ю. Колкера (№ 7), З. Палвановой (№ 14-15), Е. Аксельрод (№ 17); заметки о переложении Экклезиаста (№ 7). В 2000 году в «Библиотеке ИЖ» вышли книги стихов Н. Б. «Полнозвучие» (2000) и «Об осени духа и слова» (2004).

Юрий БЕЛИКОВ родился в 1958 году в городе Чусовом. Окончил Пермский госуниверситет (1980). Работал журналистом. Стихи публикует с 1975 года. Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (2002). Автор поэтических книг «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель звания «Махатма российских поэтов» (Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Живет в Перми.

В «ИЖ» № 27 опубликована подборка стихов Ю. Б. «В чугунном сне лесного бытия».

Ася ВЕКСЛЕР родилась в Глазове. С детства жила в Ленинграде. Окончила Институт им. Репина по специальности «Книжная графика». Ее работы вошли в антологию «Гравёры земного шара. Всемирная гравюра на дереве в XXI веке» (Лондон, 2002). Автор книг стихов «Чистые краски» (1972), «Поле зрения» (1980), «Зеркальная галерея» (1989), «Под знаком Стрельца» (1997), «Ближний Свет» (2005). Репатрировалась в 1992 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов А. В. «Иерусалимская прогулка» (№ 3), «Ближний свет» (№ 14-15), «Послесловие» (№ 31).

Теодор (Биньямин Зезв) ГЕРЦЛЬ (1860, Будапешт, – 1904, Эдлах, Австрия), основатель политического сионизма, провозвестник еврейского государства и создатель Всемирной сионистской организации (ВСО). Подобно многим евреям того времени, в юности он был сторонником ассимиляции и полагал, что идеи прогресса заставят человечество избавиться от антисемитизма. Написал ряд пьес, фельетонов и философских рассказов. Некоторые из пьес имели успех на сценах австрийских театров. Крутой поворот в его взглядах и в жизни произошел под влиянием дела Дрейфуса. Программу свою Т. Г. изложил в книге «Еврейское государство» (1896). Основная мысль книги: еврейский вопрос следует решать не эмиграцией

из одной страны диаспоры в другую или ассимиляцией, а созданием независимого государства. Большинство западноевропейских евреев отвергли его план, но участники движения «Ховевей Цион» восприняли эти идеи с огромным энтузиазмом. Общение с ними убедило Т. Г. в том, что для еврейских масс представление о еврейском государстве неотделимо от Эрец-Исраэль. Так движение стало сионистским. Возглавив его, Т. Г. развернул энергичную политическую деятельность и основал еженедельную газету «Ди Вельт». На I Сионистском конгрессе (1897) была основана ВСО, Т. Г. был избран ее президентом и оставался на этом посту до самой смерти. Из многочисленных участников конгресса наибольшее впечатление произвели на Т. Г. русские сионисты. Возрожденное еврейское государство он описал в романе-утопии «Альтнойланд» (в русском переводе – «Страна возрождения», 1902; в переводе на иврит Н. Соколова – «Тель-Авив», 1903). Эпиграф к книге: «Если захотите, это не будет сказкой» – стал лозунгом сионистского движения.

В 1903 году Англия выдвинула предложение об автономном еврейском поселении в подвластной ей Восточной Африке. Под влиянием сообщений о Кишиневском погроме (1903) Т. Г. счел возможным вести переговоры с британским правительством и о «плане Уганды», не прекращая борьбы за еврейское поселение в Палестине. План этот вызвал яростное сопротивление его соратников, особенно из России, которые восприняли план этот как измену основной идее движения. Т. Г. удалось предотвратить раскол. На заседании VI Сионистского конгресса он торжественно процитировал Псалом 137: «Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя». Государство Израиль было провозглашено в мае 1948 года, всего на несколько месяцев позже даты, предсказанной Т. Г. после I Сионистского конгресса. В 1949 году, согласно завещанию Т. Г., его останки были перезахоронены на иерусалимском холме, который носит с тех пор имя «Гора Герцля». Недалеко от его могилы построен музей Герцля. В Иерусалиме его именем назван также один из центральных проспектов.

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина – 1981, Тель-Авив), выдающийся израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движения за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Госпремии Израиля (1957).

В «ИЖ» стихи поэта опубликованы в №№ 13, 16, 19, 20-21, 22, 23. Дом наследия **У. Ц. Гринберга** в Иерусалиме (ул. Яффо, 34) проводит поэтические фестивали памяти поэта; здесь проходят семинары Мастерской поэтического перевода, презентации «Иерусалимского журнала», вечера и заседания литклуба «ИЖ».

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979-84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **И. Г.** «И вышло всё, как если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневника»

(№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13), «Блаженство пьесы этой краткой» (№ 22), «Харон уже строит паромы» (№ 23), «Разговор ангела-хранителя с лирическим героем...» (№ 24-25), «Не думал, что кому зачтётся» (№ 27), «Свобода – странный институт» (№ 29), «Меня хранили три некрупных бога» (№ 31); эссе «Текст к рисункам» (№ 4), «Блики эпохи» (№ 12); главы из «Книги странствий» (№ 8), книг «Вечерний звон» (№ 20-21), «Седьмой иерусалимский дневник» (№ 33). В «Библиотеке ИЖ» вышли «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2003), «Вечерний звон» (2005), «Седьмой дневник» (2010).

Юлия ДРАБКИНА родилась в 1977 году в Гомеле. Окончила филфак Гомельского госуниверситета. Репатрировалась в 2000 году. Живет в Петах-Тикве. Преподает английский язык в школе.

Владимир ДРУК родился в 1957 году в Москве. Окончил МГПИ (1980). Один из основателей московского клуба «Поэзия» (1986). Стихи печатались в газете «Пионер Востока», а также в многочисленных советских, российских, английских, немецких, французских, финских, румынских, бельгийских, польских, итальянских и американских литературных журналах, альманахах и сборниках, вошли в антологии современной русской поэзии. Автор книг «Нарисованное яблоко» (1991), «Коммутатор» (1992), «Второе яблоко» (2002, лит-премия «Русская Америка»), «Одноразовые птицы» (2009, лит-премия «Московский Счёт»). С 1994 года живет в Нью-Йорке. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **В. Д.** «Второе яблоко» (№ 1), «На краю» (№ 8).

Владимир (Зезв) ЖАБОТИНСКИЙ (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк). Поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, основатель ревизионистского течения в сионизме. В 1898-1901 гг. корреспондент одесских газет в Бёрне и в Риме. Перевёл на русский «Сказание о погроме» Х.-Н. Бялика (1904). В 1911 году основал издательство «Тургеман», выпускавшее на иврите произведения мировой литературы. В 1917-1918 гг. служил в созданном по его инициативе Еврейском легионе в составе британской армии. Один из редакторов русскоязычного журнала «Рассвет», редактор выходившей на иврите газеты «Давар а-йом». Автор романов «Самсон Назарей» (1926) и «Пятеро» (1936). Перевел на иврит произведения Данте, Гёте, Ростана, Э. По. В 1964 году, согласно завещанию **В. Ж.**, его останки перезахоронены на горе Герцля в Иерусалиме. Именем Жаботинского названа одна из центральных улиц столицы. В «ИЖ» № 34 впервые после газетных публикаций 1902-1903 гг. опубликованы его избранные сочинения тех лет.

Леонид КАЦИС родился (1958) и живет в Москве. Профессор Центра библеистики и иудаики РГГУ. Автор книг «Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи» (2000, 2004), «Русская эсхатология и русская литература» (2000), «Осип Мандельштам: мускус иудейства» (2002), «Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса». Научный редактор Полного собрания сочинений Владимира Жаботинского. В «ИЖ» № 34 опубликована статья **Л. К.** «Начало пути».

Галина КЛИМОВА родилась (1947) и живет в Москве, окончила МГПИ (1972) и литинститут им. Горького (1990). Автор нескольких сборников стихов, составитель трех поэтических антологий. Переводит с болгарского, сербского, польского, словацкого. Лауреат литературной премии «Венец» (2005).

В «ИЖ» № 19 опубликованы стихи Г. К. памяти Татьяны Бек.

Александр КОЛМОГОРОВ родился 1951 году в Ташкенте. Окончил филфак ТашГУ и студию при театре драмы. Работал актером и режиссером в Ташкентском ТЮЗе, театре «Ильхом», Театре Ленинского комсомола (Ростов-на-Дону). Автор сборников стихов «Созвучие» (1977), «До востребования» (1990), «Глиняная игрушка» (2010), а также пьес и либретто. С 1998 года живет в Москве.

Виктор КОРКИЯ родился (1948) и живет в Москве. Окончил МАИ (1973). В 1976-1990 гг. работал в журнале «Юность». Один из участников (а с 1989 года – председатель) московского клуба «Поэзия». Автор паратрагедии «Черный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили» (1988), с успехом прошедшей на сценах десятков городов СССР, и сборника стихов «Свободное время» (1988). Несколько его пьес вышли отдельными изданиями. Стихи и пьесы В. К. переведены на английский, французский, итальянский, немецкий и др.

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ родился в 1945 году в Ленинграде. Закончил ВГИК (1969), сценарист и режиссер трех десятков фильмов. «Гран-при» ММКФ (2007). Репатриировался в 1996 году. Работал журналистом в концерне «Новости Недели». Автор книг прозы «Рассказы для детей» (1997), «Дело Бейлиса» (1999), «Рассказы в дорогу» (2000), «Навстречу судьбе» (2003). Живет в Ган-Явне. В «ИЖ» опубликованы эссе А. К. «Добрые люди Вениамина Клецеля» (№ 11), «Текст и линия» (№ 13); очерк «Кибуц Эстер Файн» (№ 16), заметки о книгах Г. Кановича (№14-15) и В. Фромера (№ 17); опыт литературного монтажа «Камера пыток» (№ 27).

Борис КРУТИЕР родился в 1940 году в Одессе. Окончил Хабаровский мединститут. Работал кардиологом и иглотерапевтом. Автор нескольких сборников афоризмов, составитель антологии «Парадоксальные мысли отечественных афористов» (2009). Живет в Москве. В «ИЖ» опубликованы подборки Б. К. «Новые крутые афоризмы» (№ 24-25), «Правда всегда побеждает...» (№27), «Тем больше выбор выражений» (№ 33).

Борис ЛЕКАРЬ (Харьков, 1932 – Иерусалим, 2010). Художник, скульптор, доктор архитектуры. С 1959 года жил в Киеве. Репатриировался в 1990 году. Лауреат премии им. Мордехая Наркиса «За развитие еврейского искусства» (1997), премии Министерства абсорбции (1998), премии «Иш Шалом» (2001). Живопись Б. Л. представлена в частных коллекциях и музеях, в том числе в собрании крупнейшего художественного музея страны – «Музеон Исраэль». В течение многих регулярно организовывал у себя дома в Иерусалиме уникальные вернисажи израильских художников.

Рахель (Элла) ЛИХТ родилась в Ульяновске, жила в Саратове. Окончила саратовский Политехнический институт. Репатриировалась в 1991 году. Автор опубликованных в журнале «Волга» эссе о

Б. Пастернаке. Автор комментариев и составитель сборника «Б. Пастернак. "Мой взгляд на искусство"» (Изд-во СГУ, 1990). Живет в Ришон ле-Ционе.

В «ИЖ» опубликованы воспоминания **Р. Л.** о Вл. Ланцберге (№ 23) и документальная проза «Свиток дедушки Давида» (№ 24-25). В «Библиотеке ИЖ» вышла ее книга «Семейные свитки» (2009).

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. Горького, на Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. Репатриировался в 1972 году. Автор более двух десятков книг; восемь из них вышли в переводе на иврит, десять – на другие языки. Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.

В «ИЖ» опубликованы рассказы «Конец света» (№ 6), «Гуревич» (№ 8), «Золотая башня» (№ 11), «Зюня» (№ 12), «Тринадцатая нить» (№ 17), «Рассказы у костра» (№ 24-25), «Старик, который забыл умереть» (№ 27); эссе «Русская рулетка Олеши» (№ 14-15), интервью В. Полухиной с **Д. М.** «Все зависит от Мастера» (№ 31), главы из романа «Тубплиер» (№ 32).

Марина МЕЛАМЕД родилась в Харькове. Окончила музучилище, а также три курса филфака Харьковского университета. Основатель детского клуба авторской песни «Товарищ Гитара» (1985). Репатриировалась в 1990 году. В Иерусалиме окончила «Школу визуального театра». Лауреат многих фестивалей авторской песни, поэтического турнира «Пушкин в Британии» (2005), премии «Олива Иерусалима» (2007). Автор более десяти дисков. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликована проза **М. М.** – «Джаз в стиле идиш» (№ 6), «Прочие слова» (№ 13), «Годовые кольца» (№ 20-21), «Страницы» (№ 29). В «Библиотеке ИЖ» вышли ее книги «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки», «Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду».

Наталья НЕЙМАРК родилась в поселке Вахрушевское (Сахалинская обл.) в 1955 году. С пяти лет жила в Москве. Окончила МЭИС. Работала инженером, преподавала в техникумах и вузе. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Беэр-Шеве, преподает электронику. В «ИЖ» № 31 опубликован рассказ **Н. Н.** «Сара, Самсон и К°».

Сара ПОГРЕБ родилась в Одесской области в 1921 году. Жила на Украине. Преподавала в Запорожском пединституте, в школе. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Ариэле, является почётным гражданином этого города. Автор сборников «Я домолчалась до стихов» (1991), «Под оком небосвода» (1996), «Ариэль» (2003). Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (1997). В «ИЖ» опубликованы подборки **С. П.** «Не годы, но мгновения» (№ 2), «Темный берег разлуки» (№ 9), «Уже я с горочки спустилась» (№ 26).

Вениамин ПРЕЙГЕРЗОН родился в 1937 году в Москве. Окончил Горный институт (1959). Репатриировался в 1971 году. В Израиле работал в фосфатной промышленности. Участвовал в подготовке перевода на русский язык книги Ц. Прейгерзона «Дневник воспоминаний бывшего лагерника» (2005). Живет в поселении Лехавим.

Цви Гирш (Григорий) ПРЕЙГЕРЗОН (1900, Шепетовка – 1969, Москва; прах захоронен в Израиле, в кибуце Шфаим). Прозаик и поэт. Писал на иврите. В 1919 году после недолгой службы в Красной армии поступил в Московскую горную академию. Преподавал в Московском горном институте. Печатался за рубежом (до 1934 года – под своим именем). В 1949 году был осужден на десять лет «исправительно-трудовых» лагерей за участие в «антисоветской националистической группе». В 1965 году ему удалось переправить рукописи в Израиль, где они были опубликованы под псевдонимом А. Цфони. Начиная с 1985 года произведения писателя публикуются под его именем, в т. ч. и в переводе на русский язык.

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и семи книг прозы, вышедших в московских издательствах. Лауреат премии им. Марка Алданова (2009). Живет в поселении Бейт-Арье. В «ИЖ» опубликованы эссе А. Т. «Сумерки идеологий» (№ 14-15), «Пятая звезда» (№ 33), романы «Протоколы Сионских Мудрецов» (№ 16), «Иона» (№ 19), «Пепел» (№№ 22, 23; финальная шестерка «Русского Букера», 2007), «Записки кукловода» (№ 27), «Летит, летит ракета» (№ 30) «Дор» (№ 31); повесть «Дом» (№ 24-25), переводы стихов Натана Альтермана и Рахели (№ 28, 33); глава из романа «Гиршуни» (№ 29).

Александр ФАЙНБЕРГ (Ташкент, 1939 – 2009). Поэт, киносценарист. Окончил Топографический техникум и журфак Ташкентского госуниверситета. Автор пятнадцати книг стихов (включая посмертно вышедший двухтомник). По его сценариям поставлены шесть полнометражных художественных и полсотни документальных фильмов, более двадцати мультфильмов. Перевел на русский язык стихи многих узбекских поэтов. Несколько лет руководил поэтическим семинаром при Союзе писателей Узбекистана. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов А. Ф. «Блаженны, кто себя не потерял» (№ 5), «Яхта на ветру» (№ 14-15), «Охапка кленовых листьев» (№ 20-21), «В дыму костров осенних» (№ 26), «Прощальные строки»; поэма «Изабелла» (№ 8).

Сусанна ЧЕРНОБРОВА родом из Риги. Репатриировалась в 1991 году. Автор поэтического сборника «На правах рукописи» (1997) и книги «Электронная почта» (2008). Живет в Иерусалиме. Художник «Иерусалимского журнала».

В «ИЖ» опубликованы подборка стихов «Пустыня и море»; эссе «О художнике Исраэле Малере» (№ 2), «Линия Гимейна» (№ 5), «Вид на живопись» (№ 9), «Цвет интонации» (№ 21-22), «Слова прощания» (№ 30); главы из книги «Электронная почта» (№ 16).

ШЛОМО́ (в русской традиции – **Соломон**) – третий еврейский царь, легендарный правитель объединённого Израильского царства в 965-928 до н. э., в период его наивысшего расцвета. Сын царя Давида и Бат-Шевы (Вирсавии). Считается автором «Книги Экклезиаста», книги «Песнь песней», «Книги Притчей Соломоновых», а также некоторых псалмов. Во время правления Соломона в Иерусалиме был построен Первый Храм.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Из Восьмого дневника. <i>Гарики</i>	3
МАРИНА МЕЛАМЕД. Этюды для флейты. <i>Рассказ</i>	8
ИЛЬЯ АЛЫЙ. Вплавь. <i>Стихи</i>	14

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

САРА ПОГРЕБ. Все сто холмов. <i>Стихи</i>	16
АЛЕКС ТАРН. В поисках утраченного героя. <i>Роман</i>	18

УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ

УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Эхо долин. <i>Стихи</i>	164
<i>Перевела с иврита Ася Векслер</i>	

СИОНСКИЕ ВОРОТА

НАТАЛЬЯ НЕЙМАРК. Дворянское гнездо. <i>Рассказ</i>	168
--	-----

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

НАУМ БАСОВСКИЙ. По краю ущелья. <i>Стихи</i>	180
ДАВИД МАРКИШ. Луковый мёд. <i>Рассказ</i>	187
ЮЛИЯ ДРАБКИНА. Времялов. <i>Стихи</i>	197
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ. За обрывом многоточий. <i>Фрагменты будущей книги</i>	204

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

ВИКТОР КОРКИЯ. Голос мой становится седым. <i>Стихи</i> . .	219
ЮРИЙ БЕЛИКОВ. Сквозь пальцы. <i>Стихи</i>	227
ГАЛИНА КЛИМОВА. Линия перемены дат. <i>Стихи</i>	234
БОРИС КРУТИЕР. Когда идеи овладевают массами. <i>Афоризмы</i>	238

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

ЛЕОНИД КАЦИС. 1904: о Герцле и о себе	240
ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. Во что бы то ни стало. <i>Из сочинений 1904 года</i>	243

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

ВЛАДИМИР ДРУК. Песни Шломó. <i>Поэма</i>	262
--	-----

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

РАХЕЛЬ ЛИХТ. «...Замысел упрямый». <i>Из книги «Черновик биографии Бориса Пастернака»</i> . . .	270
--	-----

ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ

АЛЕКС ТАРН. Делай, что должно...	282
ЦВИ ПРЕЙГЕРЗОН. Ликвидация. <i>Отрывок из романа «Врачи»</i> . <i>Перевел с иврита Вениамин Прейгерзон</i>	284
ЦВИ ПРЕЙГЕРЗОН. Стихи разных лет. <i>Перевел с иврита Алекс Тарн</i>	297

ХОЛМ ПАМЯТИ

АЛЕКСАНДР КОЛМОГОРОВ. «Нарисую, как смогу...»	299
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ. Два стихотворения	306
СУСАННА ЧЕРНОБРОВА. Вальс со слезой. <i>Стихи</i>	309

ИМЕНА

Авторы и персонажи	310
------------------------------	-----

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычной (не заказной) почтой свои координаты
и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,

P. O. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-2822551; E-mail: olvic1@012.net.il.)

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Иерусалим), Андрея Анпилова (Москва), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Леонида Кациса (Москва), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехизля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)
за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2010 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме»; Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка»;

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,

«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»; Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустия три года»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведевко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Владимира ДРУКА, Григория КАНОВИЧА,

Феликса КРИВИНА, Хавы КОРЗАКОВОЙ, Виктора ЛОЗИНСКОГО,

Ицхокаса МЕРАСА, Евгения МИНИНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net/index.html

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE

IGOR GUBERMAN. From The Eighth Diary. *Garriks*

MARINA MELAMED. Etudes for a flute. *Short story*

ILIYA ALY. By swimming. *Poems*

SHKHEM GATE

SARAH POGREB. All hundred hills. *Poems*

ALEX TARN. In search of lost character. *Novel*

DESIRED LAND STREET

URI TZVI GREENBERG. On the long way. *Poems*.

Translated from Hebrew by Asya Veksler

ZION GATE

NATALIYA NEUMARK. A nest of the gentry. *Short story*

JAFFA GATE

NAHUM BASOVSKY. By the brink of the ravine. *Poems*

DAVID MARKISH. The onion honey. *Short story*

JULIA DRABKINA. The time catcher. *Poems*

ARKADY KRASILSHCHIKOV. After the ellipses,...

Fragments from the new book

RUSSIAN COMPOUND

VICTOR KORKIYA. My voice is beginning to go gray... *Poems*

YURI BELIKOV. Through fingers. *Poems*

GALINA KLIMOVA. International Date Line. *Poems*

BORIS KRUTIER. When the ideas get control over masses.

Aphorisms

ZHABOTINSKY STREET

LEONID KATSIS. 1904: about Herzl and about himself

VLADIMIR (ZEEV) ZHABOTINSKY. Inspite of all.

Works of 1904

AMERICAN COLONY

VLADIMIR DRUK. Songs of Shlomo. *Poem*

MOUNT SCOPUS

RACHEL LIKHT. "...A persistent scheme".

Chapters from the book "Boris Pasternak: A draft of the biography

JEWISH QUARTER

ALEX TARN. Do what is to be done

TSVI PREYGERSOHN. Liquidation. *Excerpts from the novel*

"Physicians". Translated from Hebrew by Benjamin Preygersohn

TSVI PREYGERSOHN. Poems of various years.

Translated from Hebrew by Alex Tarn

MEMORY HILL

ALEXANDER KHOLMOGOROV. "I'll draw it as I can..."

ALEXANDER FEINBERG. Two poems

SUSANNA CHERNOBTOVA. The waltz with a tear

NAMES

Authors and Characters

תוכן העניינים:

שער אריות

איגור גוברמן. מהיומן השמיני – גאריקים
מרינה מלמד. סקיצות לחליל – סיפור
איליה אלי. בשחייה – שירים

שער שכם

שרה פוגרב. כל מאה הגבעות – שירים
אלכס טארן. בעקבות הגיבור האבוד – רומן

רחוב ארץ חפץ

אורי צבי גרינברג. הד העמקים – שירים
מעברית – אסיה ווכסלר

שער ציון

נטליה ניימרק. קן האצולה – סיפור

שער יפו

נחום בסובסקי. על קצהו של גיא – שירים
דוד מרקיש. דבש בצל – סיפור
יוליה דרבקינה. תפסן הזמן. – שירים
ארקדי קרסילש'יקוב. מאחורי הצוק... – פרגמנטים מספר עתידי

מגרש הרוסים

ויקטור קורקיה. קולי הופך שיבה – שירים
יורי בליקוב. בין האצבעות – שירים
גלינה קלימובה. קו של החלפת תאריכים – שירים
בוריס קרוטיאר. כשרעיון משתלט על המונים – אפוריזמים

רחוב ז'בוטינסקי

לאוניד קאציס. 1904: על הרצל ועל עצמו
וולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי. בכל תרחיש אפשרי
מיצירות שנת 1904

המושבה האמריקאית

וולדימיר דרוק. שירים אשר לשלמה

הר הצופים

רחל ליכט. "רעיון עקשני..."
פרקים מהספר "טיטת הביוגרפיה של בוריס פסטרנאק"

הרובע היהודי

אלכס טארן. עשה את הנדרש...
צבי פריגרזון. חיסול – קטע מהרומן "רופאים"
מעברית – בנימין פריגרזון
צבי פריגרזון. שירים משנים שונות
מעברית – אלכס טארן

הר הזיכרון

אלכסנדר קולמוגורוב. "אצייר כמו שאוכל..."
אלכסנדר פיינברג. שני שירים
סוסנה צ'רנוברובה. ולס עם דמעה – שיר

שמות

דמויות ויוצרים

